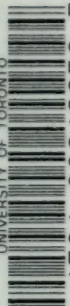


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00312853 5











# SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

*edited by*

C. H. VAN SCHOONEVELD

*Indiana University*

147

1968

MOUTON

THE HAGUE · PARIS

IN COOPERATION WITH



EUROPE PRINTING, VADUZ

Н. Страховъ.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

объ

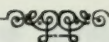
**И. С. ТУРГЕНЕВЪ и Л. Н. ТОЛСТОМЪ.**

(1862—1885)

Издание четвертое.

**ТОМЪ ПЕРВЫЙ.**

Издание И. П. МАТЧЕНКО.



КІЕВЪ.

Типографія И. И. Чоколова. Фундуклеевская ул., д. № 22.  
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7 декабря, 1900 года.

PG  
3443  
S8  
1901a





## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стрaн.
Предисловіе къ первому изданію . . . . .	I— VII
Предисловіе ко второму изданію . . . . .	VII — XIII
Предисловіе къ третьему изданію . . . . .	IXI — IXV
Къ четвертому изданію. Отъ издателя . . . . .	XV
<b>И. С. ТУРГЕНЕВЪ</b> . . . . .	1— 144
I. <i>Отцы и Дети</i> . . . . .	1— 39
II. <i>Дымъ</i> . . . . .	40— 68
III. Два письма Н. Косицы . . . . .	69— 97
За Тургенева . . . . .	69— 79
Еще за Тургенева . . . . .	80— 97
IV. Последнія произведенія Тургенева (1871) . . . . .	98— 131
V. Поминки по Тургеневъ . . . . .	132— 144
<b>Л. Н. ТОЛСТОЙ</b> . . . . .	145— 387
I. Собраніе сочиненій (1864) . . . . .	145— 178
II. <i>Война и Миръ</i> , т. I, II, III и IV. Статья первая. . . . .	179— 218
III. <i>Война и Миръ</i> , т. I, II, III и IV. Статья вторая. . . . .	219— 268
IV. Литературная новость (появленіе V-го тома) . . . . .	269— 270
V. <i>Война и Миръ</i> , т. V и VI. . . . .	271— 310
VI. Нѣсколько словъ къ предыдущимъ статьямъ . . . . .	311— 313
VII. Обученіе народа ( <i>О народномъ образованіи</i> ). . . . .	314— 331
VIII. Чѣмъ люди живы . . . . .	332— 334
IX. Взглядъ на текущую литературу ( <i>Объ Аникъ Карениной</i> ) . . . . .	335— 365
X. Французская статья о гр. Л. Н. Толстомъ . . . . .	366— 387



## Предисловіе къ первому изданію.

---

Часто мнѣ совѣтовали издать мои критическія статьи, и я давно бы послѣдовалъ этому совѣту, если бы самъ былъ такъ же ими доволенъ, какъ нѣкоторые изъ моихъ читателей. Но критика въ тѣсномъ смыслѣ, то есть оцѣнка и характеристика художественныхъ произведеній литературы, всегда казалась мнѣ дѣломъ чрезвычайно труднымъ; я всегда думалъ, что едва-ли могу исполнять его въ совершенствѣ. Мои статьи этого рода были писаны большею частію по желанію журналовъ, въ которыхъ я участвовалъ; и хотя я прилагалъ къ этому писанію всяческую точность и добросовѣстность, всегда я чувствовалъ, что къ мыслямъ, изложеннымъ мною, слѣдовало бы прибавить еще другія черты и поясненія. Хорошая критика требуетъ не только горячей любви къ художественнымъ произведеніямъ, но и особенной чуткости къ формѣ искусства, такъ чтобы общее впечатлѣніе и крупныя черты произведенія не заслоняли, въ глазахъ критика, частныхъ и второстепенныхъ развитій идеи. Кромѣ того, критикъ долженъ обладать глубокимъ и многостороннимъ чутьемъ жизни, то есть всякаго рода сердечныхъ движеній, различныхъ типовъ душевнаго склада людей, различныхъ видовъ красоты и безобразія, силы и слабости въ человѣческомъ образѣ дѣйствій. Въ такой чуткости къ жизни и къ искусству никто у насъ не превзошелъ *Аполлона Григорьева*. Вотъ почему, прежде чѣмъ издавать свои статьи, я приложилъ заботы о томъ, чтобы издать сочиненія этого

у насъ несравненнаго критика; \*) да и теперь, такъ какъ я обращаюсь къ читателямъ, интересующимся критикою русской литературы, то прежде всего посоветую имъ читать прилежно Ап. Григорьева, и лучшаго совѣта дать не могу.

Впрочемъ, хотя мои статьи не достигаютъ идеала критики, хотя въ нихъ больше господствуютъ мысли общія и отвлеченныя, однако же, настоящій критическій элементъ въ нихъ также есть, и, можетъ быть, иные читатели одобрятъ меня за ясность и опредѣленность тѣхъ чертъ, на которыхъ я останавливаюсь.

Прибавляю еще, что моя книга, вѣроятно, никогда бы не явилась на свѣтъ, если бы мнѣ не довелось и въ последнее время написать нѣсколькихъ критическихъ статей. Содержаніе ихъ настолько важно въ моихъ глазахъ, и я на столько доволенъ ихъ изложеніемъ, что съ болѣею смѣлостью рѣшаюсь предложить ихъ читателямъ въ отдѣльномъ изданіи. Прошу не упускать этого изъ вида, такъ какъ статьи расположены въ строго хронологическомъ порядкѣ, и слѣдовательно, къ моему огорченію, впереди стоятъ тѣ, на которыя я всего менѣе надѣюсь. Но читатель менѣе нетерпѣливый увидитъ пользу этой послѣдовательности. По этимъ статьямъ, писаннымъ во время перваго появленія различныхъ произведеній Тургенева и Толстаго, можно въ извѣстной мѣрѣ судить, какого рода интересъ связывался тогда съ этими произведеніями, каково было настроеніе публики и литературы, и какъ оно измѣнялось. Въ точности же моихъ указаній я до сихъ поръ не имѣю повода сомнѣваться.

Изъ своихъ критическихъ статей я издаю здѣсь только относящіяся къ двумъ названнымъ писателямъ. Причина, во-первыхъ, та, что это—главныя мои статьи, что въ теченіе этого долгаго времени я преимущественно писалъ о Тургеневѣ и Толстомъ, и слѣдовательно, тутъ именно и могу полагаться на ясность и выработку своего сужденія. А во-вторыхъ, эти два ряда статей представляютъ не только нѣко-

---

\*) *Сочиненія Апололона Григорьева. Томъ первый (съ портретомъ).* Изданіе Н. Н. Страхова. Спб. 1876.



торую полноту, но и контрастъ, поясняющій все дѣло. Во многихъ отношеніяхъ, Тургеневъ и Толстой противоположны другъ другу. Одного можно назвать западникомъ, другого славянофиломъ, хотя въ строгомъ смыслѣ эти названія къ нимъ не приложимы; искусство, по самой своей природѣ, слишкомъ свободно, чтобы вполне подходить подъ опредѣленія нашихъ партій. Далѣе, одинъ—подражатель и идетъ по теченію; другой—чрезвычайно самобытенъ и независимъ отъ всякихъ теченій; одинъ обнаружилъ слабость въ своихъ отношеніяхъ къ общественному мнѣнію, другой очевидную нравственную силу, и т. д. Мнѣ слѣдуетъ предупредить читателей, что они найдутъ въ настоящей книгѣ рѣзкія страницы противъ Тургенева. Пусть, однако, его поклонники обратятъ вниманіе на то, что и всѣ его достоинства здѣсь не упущены изъ вида.

Но главный центръ моей книги, отъ котораго зависитъ наибольшій ея вѣсъ, есть, конечно, Толстой. Тутъ помѣщены въ полномъ составѣ статьи, которыя могли бы подать мнѣ поводъ къ большой гордости. Задолго до нынѣшней славы Толстаго, до восторговъ, вызванныхъ его произведеніями за границей и повторенныхъ у насъ, въ то время, когда даже еще не была кончена *Война и миръ*, я почувствовалъ великое значеніе этого писателя и старался объяснить его читателямъ. Во всякомъ случаѣ, я могу сослаться на этотъ фактъ, какъ на доказательство живости и независимости чувства, внушившаго мнѣ поклоненіе, которое я съ тѣхъ поръ исповѣдую. Долго я подвергался за него насмѣшкамъ, но наконецъ сила вещей побѣдила, и теперь, вѣроятно, тотъ самъ заслужить похвалу, кто превзойдетъ другихъ въ похвалахъ Толстому.

Дѣло, конечно, не въ томъ, что я первый, и уже давно, печатно провозгласилъ Толстаго геніальнымъ и причислилъ его къ великимъ русскимъ писателямъ. Главное всегда—въ пониманіи духа писателя, въ томъ внутреннемъ сочувствіи, которое открываетъ намъ самую глубину его произведеній. Пусть судятъ читатели, на сколько вѣрно и полно я, уже тогда, понялъ смыслъ Толстаго.

До сихъ поръ это необычайное явленіе, чѣмъ больше

уясняется въ моихъ глазахъ, тѣмъ дороже и выше становится, въ силу того же самаго смысла. Все въ немъ цѣльно и связано, какъ въ настоящемъ существѣ. Его искусство выполнѣ своеобразно; оно представляетъ сліяніе самой яркой объективности съ самой глубокой субъективностью, и слѣдовательно, осуществляетъ идеаль *современнаго* искусства, не прежняго, античнаго, а нашего, христіанскаго. Что такое для насъ искусство? Мы, вѣдь, уже не можемъ, какъ древніе греки, уходить выполнѣ въ созерцаніе красоты и, напримѣръ, смотрѣть на формы человѣческаго тѣла, какъ на ея божественное воплощеніе. Для насъ искусство, какъ и все другое, есть только пища для духа. Мы не сливаемся съ предметами нашего созерцанія, а становимся отъ нихъ въ сторонѣ, стремимся стать выше ихъ. Возможность подняться надъ явленіями, расширить свой горизонтъ, ничего не потерявъ въ немъ, получить отъ предметовъ наиболѣе духовное воздѣйствіе—вотъ, что мы цѣнимъ въ искусствѣ. Такимъ образомъ, субъективность есть необходимый элементъ нашего искусства, какъ-будто душа этого тѣла. Существенная разница между художниками для насъ будетъ заключаться не только въ мастерствѣ ихъ объективности, но и въ силѣ и въ качествѣ ихъ субъективности. Въ приложеніи къ Толстому можно сказать, что едва-ли есть художникъ, созерцающій съ такимъ живымъ чувствомъ тѣ самые образы, которые онъ творить. Всѣ усилія безподобной объективности, очевидно, дѣлаются лишь для удовлетворенія глубокой субъективной потребности, и художникъ иногда даже прерываетъ работу, уходя въ область отвлеченной мысли (напримѣръ, въ концѣ *Войны и мира*).

Но разрыва, противорѣчія у него нѣтъ. Настоящее искусство никогда не можетъ быть ни орудіемъ, ни помѣхою; оно, какъ и другія духовныя области человѣческой дѣятельности, имѣетъ свои неизмѣнные законы, но ведетъ, какъ и всѣ эти области, къ одной и той же цѣли, совмѣщающей въ себѣ лучшія человѣческія задачи, сливающей ихъ въ одно высшее стремленіе.

Какое дѣйствіе искусство производитъ въ душѣ человѣка? Созерцая свой предметъ во всей полнотѣ его существа,

художникъ стремится не погрузиться въ него, а, напротивъ, *освободиться* отъ него, покорить его себѣ. Этотъ процессъ, то есть, какъ извѣстныя чувства и явленія не даютъ покоя художнику, поглощаютъ его душу, пока онъ наконецъ не воплотитъ ихъ въ ясныя формы, хорошо знакомъ людямъ, одареннымъ творческою силою, и на него указывалъ, напри-мѣръ, Гёте, а у насъ Гоголь. Понятно, что, вообще, должно происходить нѣкоторое отрѣшеніе отъ того предмета, которымъ наша мысль вполне овладѣла и который поставила *передъ* собою.

Итакъ, художникъ есть человѣкъ *свободный* душою. Не даромъ поэтовъ восхваляютъ за высоту ихъ взгляда, за то, что передъ ними наше великое оказывается ничтожнымъ, а наше малое открываетъ свою невидимую намъ красоту; не даромъ имъ приписываютъ также и олимпійское равнодушіе, и даже пантеистическое безразличіе, смѣшеніе добра и зла.

Но свобода, этотъ опасный даръ, не сама сбиваетъ насъ съ истиннаго пути; она есть только просторъ для дѣйствія существующихъ силъ. Поэтому, она есть необходимое условіе и для того, чтобы въ душѣ человѣка раскрылось самое чистое чувство, самое высокое разумѣніе, все, что подавляется и заглушается своекорыстною и будничною жизнью. Поэтъ вполне свободный, вполне чистый, непременно найдетъ въ себѣ путь къ Богу.

Произведенія Толстаго поразительны тою искренностію и серіозностію, съ которою въ нихъ совершается дѣло художества, и потому могутъ служить наилучшимъ примѣромъ, поясняющимъ сущность этого дѣла. Всякій предметъ, за который онъ берется, онъ стремится проникнуть насквозь, и вмѣстѣ съ тѣмъ вы ясно видите, что онъ отвергаетъ его, уходитъ отъ него неудовлетворенный. Нѣтъ писателя, который бы съ большею охотою останавливался на картинахъ человѣческаго счастья, у котораго было бы столько сценъ мирныхъ, идиллическихъ; и нѣтъ писателя, у котораго было бы такъ ясно, что онъ не увлеченъ этими радостями, что онъ ихъ не воспѣваетъ, а, напротивъ, изображаетъ ихъ пзмѣчивость и пустоту. Сколько различныхъ формъ жизни онъ изобразилъ,



сколько формъ быта, занятій, забавъ и дѣлъ,—и всё онъ отвергнулъ, ни за одну не признавъ полной законности.

Люди съ художественнымъ даромъ часто дѣлаютъ изъ своего добра забаву; они живутъ двойною жизнью, то подымаясь въ область поэтической свободы, то опускаясь въ ту сѣть интересовъ, страстей и привычекъ, которая составляетъ ихъ настоящую жизнь. Читая Толстаго, можно почувствовать, что для него такая двойственность невозможна, что здѣсь человѣкъ дѣйствительно страстно ищетъ свободы и, когда найдетъ для нея точку, уже никогда не покинетъ ея.

Какой же идеалъ постоянно раскрывается изъ этой освобождающейся души? Отъ самаго начала, ея борьба и трудъ имѣютъ ясный смыслъ, видимо направляются къ извѣстной цѣли. Не скептицизмъ, не обманутая жадность къ жизни, не холодъ гордости и себялюбія составляютъ главный нервъ этихъ исканій. Всѣмъ теперь очевидно, что, отъ самаго начала, сочувствія Толстаго устремлялись къ *простому и доброму*, что эта освобожденная душа, умѣющая видѣть жизнь не въ ствлеченныхъ формахъ и не съ частныхъ точекъ зрѣнія, а во всей ея полнотѣ и цѣльности, упорно доискивается *истинной жизни* среди всякаго рода фальшивыхъ явленій, и что она находитъ ее только въ томъ, что представляетъ самую чистую нравственную красоту, что бываетъ просто и смиренно до самоуниженія и въ то же время твердо и спокойно до степеней высочайшаго великодушія. Пусть это называютъ пантензмомъ, или фатализмомъ, или буддизмомъ, но во всякомъ случаѣ пусть признаютъ, что это путь, идущій къ Богу, и что Толстой, вышедши на него, до сихъ поръ идетъ прямо, а не въ обратномъ направленіи.

Не буду и не могу здѣсь, въ предисловіи, останавливаться дольше на такомъ плодovitомъ вопросѣ. Прибавлю только, что ни на какомъ писателѣ не лежитъ такъ ясно печать *русскаго духа*, какъ на Толстомъ. Это та самая форма нравственныхъ понятій, которую внушило нашему народу христіанство, или, если угодно, та, въ которую нашъ народъ воплотилъ религіозныя понятія. Духъ этотъ въ насъ живетъ, какъ мы ни заслушаемъ и не отрицаемъ его, и если бы онъ покинулъ насъ, то Россія рушилась бы, какъ



трупъ, оставленный жизнью. Поэтому не можетъ быть писателя болѣе намъ любезнаго, болѣе соотвѣтственнаго самымъ глубокимъ позывамъ нашего сердца, чѣмъ Толстой. Можно находить въ немъ много недостатковъ: можно быть недовольнымъ размѣрами его творческихъ силъ, признавать въ его произведеніяхъ неполноту и незаконченность, слабая мѣста, безтактности, пробѣлы; но я одно хочу сказать: по своему *качеству* онъ писатель несравненный и единственный, стоящій на высотѣ, которую теперь намъ даже трудно и опредѣлить. Одно уже и теперь ясно: не только *намъ* онъ кровно дорогъ, но, по величайшей цѣнности своего качества и по высокой степени, въ которой онъ проявилъ его, онъ долженъ занять мѣсто въ первыхъ рядахъ всемірной литературы.

22 севт. 1885 г.

---

## Предисловіе ко второму изданію.

---

Ich sah des Ruhmes heil'ge Kranze  
Auf der gemeinen Stirn entweiht.  
*Schiller.*

И въ печати и на словахъ меня упрекали въ томъ, что статьи мои о Тургеневѣ противорѣчатъ одна другой, и что вмѣсто того, чтобы предложить читателямъ опредѣленное сужденіе, я передъ ихъ глазами перехожу отъ одного взгляда къ другому. Въ извиненіе можно бы сказать, что, для внимательныхъ и соображающихъ читателей, основаніе и, слѣдовательно, смыслъ такого перехода можетъ не нуждаться въ толкованіяхъ. Но, конечно, мнѣ самому это дѣло вообще должно быть ясно, чѣмъ читателямъ; поэтому, на мнѣ лежитъ обязанность изложить его, и я постараюсь сдѣлать это, хотя бы лишь въ самыхъ главныхъ чертахъ.

Собственно, разногласіе есть только между первою статьею объ *Отцахъ и дѣтяхъ* и остальными статьями. Въ то

время, когда я писалъ разборъ знаменитаго романа *Отцы и дѣти*, Тургеневъ стоялъ на верху своей славы, а нигилизмъ проходилъ лучшую пору своего развитія. Живю помню, съ какимъ сердечнымъ благоговѣніемъ, почти непростительнымъ для тридцатилѣтняго человѣка, смотрѣлъ я на Тургенева въ 1859, или въ 1860 году, на университетскомъ обѣдѣ. Онъ уже написалъ тогда *Дворянское гнѣздо* и совмѣщалъ въ себѣ, для меня, все очарованіе, какое я привыкъ связывать съ мыслью о литературѣ и великихъ писателяхъ. Въ тѣ годы онъ былъ, по общему признанію, первый между своими сверстниками и, казалось, далеко выше другихъ. Думаю, что нѣтъ нужды описывать мои чувства; они такъ понятны и обыкновенны.

Другое дѣло—нигилизмъ. То, что творилось въ умахъ въ 1860, 1861, 1862 годахъ, есть нѣчто совершенно особенное, о чемъ едва-ли многіе ясно помнятъ, или имѣютъ ясное понятіе. Было что-то фантастическое въ томъ радостномъ возбужденіи и движеніи, которое господствовало тогда въ образованномъ классѣ, и всего больше въ литературѣ. Освобожденіе крестьянъ какъ-будто подало лозунгъ ко всяческому освобожденію умовъ. Обновленіе, обновленіе во всемъ, обновленіе до самыхъ основъ жизни и мысли,—таково было общее стремленіе, неудержимо захватывавшее не однихъ юношей, а и людей пожилыхъ, и извѣстныхъ ученыхъ, и сановниковъ.

Работа языковъ и перьевъ шла неутомимо, кипѣла ключемъ. Никогда въ Петербургѣ не было такихъ оживленныхъ собраний, такого множества шумныхъ и интересныхъ кружковъ по понедѣльникамъ, вторникамъ, и по всѣмъ днямъ недѣли. Литература была коноводомъ всего движенія и росла не по днямъ, а по часамъ. Общюю же цѣлью литературы считался переворотъ въ умахъ, и вся она безпощадно гнала и ломала старое и стремилась проповѣдывать новыя идеи. Журналисты задавались цѣлью раскрыть и разработать въ своемъ журналѣ нѣкоторое новое направленіе, еще неслыханное, но единое истинное. Писатели стремились дать—кто новую педагогію, кто новую эстетику, новую исторію рода человѣческаго, новую философію, и т. п. Это происходило публично; въ частныхъ же разговорахъ можно было услышать

предложеніе сочинить и новую религію. Въ сущности, во всемъ этомъ уже сказывался нигилизмъ, но еще въ самыхъ широкихъ и общихъ своихъ формахъ, еще полный надеждъ и чреватый неизвѣстнымъ будущимъ. Для болѣе зоркаго взора тутъ обнаруживалось только то, какъ мало крѣпкихъ корней имѣли всѣ понятія, весь обиходъ мыслей нашей интеллигенціи. При малѣйшемъ толчкѣ, люди отрывались отъ почвы и носились своимъ умомъ по волѣ вѣтра. Но я тогда не былъ расположенъ къ такимъ низменнымъ взглядамъ.

Прямого участія въ тогдашнемъ кипучемъ движеніи я никакого не принималъ, да и никогда не чувствовалъ я въ себѣ ни охоты, ни способности выступать предводителемъ, поучать, направлять умы. Поэтому, я стоялъ въ сторонѣ и только наблюдалъ, только судилъ о томъ, что дѣлаютъ другіе. Естественно, что я смотрѣлъ на нихъ съ ихъ лучшей стороны и охотно готовъ былъ отдавать имъ справедливость. Мнѣ казалось, что это огромное возбужденіе умовъ не можетъ не принести какихъ-нибудь хорошихъ плодовъ. Отрицаніе, сомнѣніе, пытливость—это лишь первый шагъ, думалъ я, это—неизбѣжное условіе свободной работы мысли. А затѣмъ второй шагъ будетъ уже—выходъ изъ отрицанія, положительная мысль, подъемъ на болѣе высокую степень пониманія. Такъ, вѣдь, выходитъ и по Гегелю. И мнѣ приходили на умъ всякіе философы съ ихъ глубокими запросами и отрицаніями. Такимъ образомъ, я вообразилъ, что въ родной литературѣ совершается важное движеніе мысли. По уваженію къ литературѣ, еще не охладѣвшему у новичка, я не могъ прійти къ дерзкой мысли, что вся она дастъ одинъ пустоцвѣтъ въ огромныхъ размѣрахъ. Несмотря на всѣ безобразія, рѣзавшія мнѣ глаза и противъ которыхъ я уже сталъ полемизировать, я все продолжалъ думать, что живу не въ будни, а въ праздникъ, что передъ моими глазами русскій умъ, такъ или иначе, вступитъ въ какой-то новый фазисъ.

Вотъ объясненіе того настроенія, въ которомъ написана статья объ *Отцахъ и дѣтяхъ*. На Тургенева я въ ней смотрѣлъ какъ на чистаго художника, руководящагося своимъ высшимъ даромъ и потому обладающаго такою проницатель-



ностію и многосторонностію взгляда, какой не бываетъ у простыхъ смертныхъ. Роль художества состоитъ именно въ томъ, что оно выводитъ «на всенародныя очи» самую глубину и ширину жизни, почему оно сильнѣе и правдивѣе всякихъ умствованій. Такую самостоятельность и высоту приписывалъ я Тургеневу. Въ *Отцахъ и дѣтяхъ* онъ, очевидно, преклоняется передъ Базаровымъ, точно такъ, какъ въ послѣдствіи въ *Нови* преклонился передъ Соломинымъ. И я послѣдовалъ за поэтомъ и подробно указалъ на всѣ черты его героя, которыми онъ превосходитъ окружающія лица. Исповѣданіе Базарова, нигилизмъ, я также выставилъ съ самой сильной его стороны, какъ чистое отрицаніе, какъ порывъ мысли освободиться отъ старыхъ понятій, какъ послѣдовательное исканіе новаго пути для жизни и дѣятельности ума. Однако же, такъ какъ это исканіе есть лишь минута перехода, незаконченный процессъ, такъ какъ весь Базаровъ, въ самомъ его изображеніи въ романѣ, есть только зачатокъ, эмбрионъ какого-то будущаго дѣятеля (такихъ эмбрионовъ вообще не мало изобразилъ Тургеневъ), то мнѣ казалось, что Тургеневъ не просто преклоняется передъ нимъ, а стремится взять его объективно. Приписывая Тургеневу всю силу поэтической зоркости и поэтического возвышенія надъ изображаемымъ предметомъ, я думалъ, что свѣтлыя и нѣжныя краски, которыми писана вся картина, окружающая Базарова, употреблены въ романѣ вслѣдствіе чувства художественнаго контраста между душевнымъ складомъ этого упорнаго теоретика, и теплою, истинно-живою жизнью. Поэтому я и написалъ, что, по смыслу романа, жизнь, въ настоящемъ значеніи этого слова, стоитъ выше, одерживаетъ верхъ надъ Базаровымъ. Думаю, что это сужденіе вѣрное, даже независимо отъ романа. Можно было предполагать, что изъ тогдашняго нигилизма выродится и нѣчто положительное; но самъ по себѣ этотъ нигилизмъ никакъ не могъ считаться прогрессомъ, еще не имѣлъ въ себѣ ничего зиждительнаго; потому-то онъ, такъ или иначе, былъ подавленъ и подавляется истинно-живыми началами.

Такимъ образомъ, разбирая *Отцевъ и дѣтей*, я, очевидно, идеализировалъ и Тургенева, и, слѣдуя за Тургене-



вымъ, самый нигилизмъ; на автора я смотрѣлъ, какъ на настоящаго поэта, а на нигилизмъ, какъ на настоящий поворотъ умовъ. Мнѣ кажется, что я имѣлъ нѣкоторое право на такую идеализацію. Если потомъ стало ясно, что я ошибся и въ томъ, и въ другомъ, и въ Тургеневѣ, и въ нигилизмѣ, то, вѣдь, источникъ ошибки не во мнѣ одномъ; поворачивая обвиненіе, я могъ бы сказать, что виноваты и самъ Тургеневъ, и самъ нигилизмъ: они меня обманули, они выступили съ притязаніями, которыхъ не выдержали, и съ надеждами, которыхъ не исполнили.

Уже при первыхъ разговорахъ съ Тургеневымъ въ 1862 году, и потомъ въ 1864, я замѣтилъ въ немъ безпокойство, которое мнѣ было не по душѣ. Онъ, видимо, боялся той брани, которая тогда сыпалась на него въ журналахъ. По моей наивности, я воображалъ, что онъ долженъ былъ бы оставаться въ томъ олимпійскомъ спокойствіи, которое прилично художнику, и развѣ только радоваться шуму, какъ доказательству вниманія къ его произведенію. Передъ нашими глазами такъ поступалъ и поступаетъ Л. Н. Толстой,—блестательный примѣръ, который, къ нашему счастью, существуетъ въ нашей литературѣ, и на который можно сослаться, когда рѣчь идетъ о самостоятельности писателей.

Впрочемъ, время *Отцевъ и дѣтей* и тогдашнее положеніе Тургенева было особенное и, можетъ быть, и судилъ его слишкомъ строго. Это было время *литературнаго террора*, когда писателей казнили, лишая ихъ, такъ сказать, гражданской чести. Но я, по вольнодумству, которое не прошло мнѣ даромъ, никакъ не могъ, даже въ самый разгаръ этого террора, принять его за серьезное дѣло. Тургеневъ, болѣе опытный и близко знакомый съ литературными кружками, очевидно, лучше понималъ опасность и не совсѣмъ напрасно тревожился.

Нѣкоторое время, однако, онъ держался въ приличномъ спокойствіи, хотя и видно было, что онъ чѣмъ-то пораженъ. *Призраки* (1863), *Довольно* (1864), *Дымъ* (1867)—все это отзывается тоскою и раздумьемъ. «Все русское—дымъ», говорилъ себѣ Тургеневъ, какъ-будто желая утѣшиться, желая считать пустякомъ и то осужденіе, которому подвергся.

Но онъ не выдержалъ такого напряженнаго положенія и скоро склонилъ голову и призналъ себя виноватымъ. «На мое имя легла тѣнь; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ!» — напечаталъ онъ въ 1869 году.

Итакъ, Тургеневъ, въ сущности, не хотѣлъ и не могъ быть тѣмъ художникомъ, свободу и высоту котораго я такъ восторженно восхвалилъ въ *Отцахъ и дѣтяхъ*. Онъ былъ неисклѣнно зараженъ вѣрою въ прогрессъ, и прогрессомъ для него было то движеніе, которое совершалось въ литературномъ кружкѣ, когда-то его воспитавшемъ. Это отсутствіе всякихъ твердыхъ опоръ внутри человѣка, эта боязнь, при которой онъ уже не можетъ самъ различить, правъ ли онъ, или виноватъ, наконецъ, это очевидное желаніе загладить свою мнимую вину и заслужить прощеніе, все это было поразительно въ такомъ талантливомъ и знаменитомъ человѣкѣ, и, мнѣ кажется, невозможно было смотрѣть на это безъ горькаго чувства. Тургеневъ, вѣдь, кончилъ тѣмъ, что воспѣлъ намъ Соломина (*Новь*, 1877), какъ нѣчто положительное, какъ послѣдній фазисъ нашего прогресса, послѣднюю ступень нашего развитія.

Непонятное, слѣпое суевѣріе! Какъ можно было такъ упорно коснѣть въ этомъ предразсудкѣ, когда этотъ прогрессъ давно уже обнаружилъ свою сущность? Нигилизмъ ничего не произвелъ и не могъ произвести; онъ оказался простымъ подражаніемъ, и только повторилъ давнишніе ходы мысли, приводящіе ко всякому злу, но ничего не созидающіе. Грустно подумать, въ какихъ огромныхъ размѣрахъ тутъ проявилось безплодіе русскихъ умовъ. Нигилизмъ есть новая черта въ русской литературѣ; эта черта составляетъ главную характеристику большого періода, всей литературы прошлаго царствованія, и эта черта, къ величайшему нашему горю, имѣетъ отрицательный показатель, она есть признакъ подражательности и безплодія. Когда въ 1866 году разнеслась вѣсть о покушеніи Каракозова, мнѣ живо представилось, что циклъ всего содержанія нигилизма закончился. Въмѣсто литературнаго террора наступалъ уже терроръ физическій. Послѣдовательность была очевидная, и меня только изумило, что за первымъ злодѣйствомъ такъ долго не наступали новыя по-

пытки. Но смыслъ нигилистическаго движенія былъ уже окончательно ясенъ. Оно было запоздалою реакціею противъ Николаевскаго царствованія, и никакихъ сѣмянъ мысли въ немъ не было. Это былъ не умственный поворотъ, а безплодное шатаніе мыслей, не умѣющихъ и не стремящихся во что-нибудь сложиться. Это шатаніе быстро пошло по давно пробитымъ колеямъ революціонаризма и анархизма, то есть пошло въ отрицательную сторону, какъ самую легкую и всегда открытую, но оно не дало намъ никакого положительнаго плода. Мы остались на томъ же мѣстѣ, гдѣ и прежде были, потому что мы не любимъ медленно строить, не хотимъ трудиться и думать, а предпочитаемъ говорить и дѣйствовать.

Пусть же читатели мнѣ простятъ, что я когда-то не хотѣлъ повѣрить такому печальному взгляду на наше литературное движеніе, а также, что приписалъ сперва Тургеневу силу, которой у него не было.

27 сент. 1887.

---

## Предисловіе къ третьему изданію.

---

Этой книгѣ посчастливилось: она выходитъ третьимъ изданіемъ. Причина такого успѣха, конечно, не въ особенныхъ качествахъ книги, а въ ея предметѣ. Каждый желаетъ имѣть сужденіе о Тургеневѣ и о Толстомъ, а потому нашлись читатели и для моихъ статей.

Таково направленіе современной образованности. Она стремится къ знакомству со всякими выдающимися предметами, со всѣми славными дѣятелями науки, искусства, религіи, политики, и прошлыми и настоящими. А кто хочетъ дать полноту своему образованію, тому, по нынѣшнему взгляду, слѣдуетъ не только знать нѣсколько языковъ и читать самому великихъ писателей, но, сверхъ того, побѣздить по знаменитымъ городамъ и мѣстностямъ, взглянуть на знамени-



тыя собранія художественныхъ произведеній, на памятники и слѣды древности, даже, если можно, объѣхать вокругъ земного шара.

Все это очень сложно, очень трудно и необыкновенно разсѣиваетъ нашъ умъ и нашу душу. Для облегченія составляются энциклопедическіе словари, сборники, историческіе обзоры, біографіи и т. д. Эта межеумочная литература имѣетъ огромный успѣхъ, случается даже большій, чѣмъ иные писатели, художники, композиторы, которымъ она посвящена. Дѣло кончается, однако же, какъ извѣстно, тѣмъ, что мы бываемъ со всѣмъ знакомы, но ничего хорошенько не знаемъ, что мы перестаемъ цутать имена безчисленныхъ знаменитостей, но почти ни объ одной изъ нихъ не имѣемъ основательнаго понятія.

Что же касается до разсѣянія нашихъ мыслей, то это уже дѣйствительное зло, противъ котораго нужно вооружаться всѣми мѣрами. Нужно откинуть заботу объ энциклопедизмѣ и болѣе всего добиваться во всякой области сознательнаго и строгаго усвоенія хотя бы не многихъ главныхъ предметовъ. Недавно знаменитый современный философъ Спенсеръ объявилъ, что онъ вовсе не знакомъ съ сочиненіями Ренана. Вотъ намъ поученіе; изъ него можно смѣло вывести, что образованному человѣку не стоитъ непремѣнной надобности читать всѣхъ знаменитостей, напримѣръ, что позволительно не читать и самого Спенсера. Какъ жалко было бы наше просвѣщеніе, если бы главнымъ предметомъ его было то, что появилось лишь въ послѣдніе годы!

Русская литература въ настоящее время, кажется, больше всего другого привлекаетъ вниманіе нашихъ читателей. Нѣтъ конца изданіямъ полныхъ собраній сочиненій нашихъ писателей и старыхъ и новыхъ, и даже самоновѣйшихъ. Тѣмъ больше тутъ нужно отличать главное и существенное отъ побочнаго и неважнаго. Позволительно не читать всѣхъ изданныхъ авторовъ; но не будетъ никогда свѣдущимъ въ русской литературѣ тотъ, кто не читалъ прилежно Пушкина, кто не вчитался въ него, не дошелъ до нѣкотораго пониманія его силы и прелести. А теперь, съ великой гордостью, мы можемъ присоединить здѣсь къ имени Пушкина еще имя

Толстаго. Если настоящая моя книга помогаетъ читателямъ понимать произведенія автора *Войны и мира*, то я имѣю право считать ее не бесполезною и искренно этому радоваться.

Н. Страховъ.

25 февр. 1885. Спб.

---

## КЪ четвѣртому изданію.

### ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Переиздавая, четвертымъ изданіемъ, настоящую книгу Н. Н. Страхова безъ измѣненій, я назвалъ ее первымъ томомъ, такъ какъ въ непродолжительномъ времени предполагаю приступить къ изданію второго тома, въ который войдутъ другія критическія статьи покойнаго писателя, невошедшія въ настоящій сборникъ.

6 ноября 1900 г.

---





# КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

## И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

---

### I.

#### **Отцы и дѣти.** Русскій Вѣстникъ 1862 г., № 2.

Чувствую заранѣе (да это, вѣроятно, чувствуютъ и всѣ, кто у насъ нынче пишетъ), что читатель всего больше будетъ искать въ моей статьѣ поученія, наставленія, проповѣди. Таково настоящее положеніе, таково наше душевное настроеніе, что насъ мало интересуютъ какія-нибудь холодныя разсужденія, сухіе, строгіе анализы, спокойная дѣятельность мысли и творчества. Чтобы занять и расшевелить насъ, нужно нѣчто болѣе ѣдкое, болѣе острое и рѣжущее. Мы чувствуемъ нѣкоторое удовлетвореніе только тогда, когда хоть ненадолго въ насъ вспыхиваетъ нравственный энтузіазмъ, или закипаетъ негодованіе и презрѣніе къ господствующему злу. Чтобы насъ затронуть и поразить, нужно заставить заговорить нашу совѣсть, нужно коснуться до самыхъ глубокихъ изгибовъ нашей души. Иначе мы останемся холодны и равнодушны, какъ бы ни были велики чудеса ума и таланта. Живѣ всѣхъ другихъ потребностей говоритъ въ насъ потребность нравственнаго обновленія, и потому потребность обличенія, потребность бичеванія собственной плоти. Къ каждому, владѣющему словомъ, мы готовы обратиться съ тою рѣчью, которую нѣкогда слышалъ поэтъ:

Мы малодушны, мы коварны,  
Безстыдны, злы, неблагодарны;

Мы сердцемъ хладные скопцы,  
 Клеветники, рабы, глупцы;  
 Гибзятся клубомъ въ насъ пороки...  
 . . .  
 Давай намъ смѣлые уроки!

Чтобы убѣдиться во всей силѣ этого запроса на проповѣдь, чтобы видѣть, какъ ясно чувствовалась и выражалась эта потребность, достаточно вспомнить хотя немногіе факты. Пушкинъ, какъ мы сейчасъ замѣтили, слышалъ это требованіе. Оно поразило его страннымъ недоумѣніемъ. «Таинственный пѣвецъ», какъ онъ самъ называлъ себя, то есть пѣвецъ, для котораго была загадкою его собственная судьба, поэтъ, чувствовавшій, что «ему нѣтъ отзыва», онъ встрѣтилъ требованіе проповѣди какъ что-то непонятное и никакъ не могъ отнестись къ нему опредѣленно и правильно. Много разъ онъ обращался своими думами къ этому загадочному явленію. Отсюда вышли его полемическія стихотворенія, нѣсколько неправильныя и, такъ сказать, фальшивыя въ поэтическомъ отношеніи (большая рѣдкость у Пушкина!), на примѣръ *Чернь*, или

Не дорого цѣню я громкія права.

Отсюда произошло то, что поэтъ воспѣвалъ «мечты невольныя», «свободный умъ» и приходилъ иногда къ энергическому требованію *свободы* для себя, какъ для поэта:

Не гнуть ни свѣти, ни помысловъ, ни шен..  
 Вотъ счастье, вотъ права!...

Отсюда, наконецъ, та жалоба, которая такъ грустно звучитъ въ стихотвореніяхъ «Поэту», «Памятникъ», и то недовѣданіе, съ которымъ онъ писалъ:

Подите прочь! Какое дѣло  
 Поэту мирному до васъ?  
 Въ развратѣ каменѣйте смѣло,  
 Не оживить васъ лиры гласъ.

Пушкинъ умеръ среди этого разлада, и, можетъ быть, этотъ разладъ не мало участвовалъ въ его смерти.

Вспомнимъ потомъ, что Гоголь не только слышалъ требованіе проповѣди, но и самъ уже былъ зараженъ энтузіазмомъ проповѣдыванія. Онъ рѣшился выступить прямо, открыто, какъ проповѣдникъ въ своей «Перепискѣ съ друзьями». Когда же онъ увидѣлъ, какъ страшно ошибся и въ тонѣ и въ текстѣ своей проповѣди, онъ уже ни въ чемъ не могъ найти спасенія. У него пропалъ и творческій талантъ, исчезло мужество и довѣріе къ себѣ, и онъ погибъ, какъ будто убитый неудачею въ томъ, что считалъ главнымъ дѣломъ своей жизни.

Въ то же самое время Бѣлинскій находилъ свою силу въ пламенномъ негодованіи на окружающую жизнь. Подъ конецъ онъ сталъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ смотрѣть на свое призваніе критика; онъ увѣрялъ, что рожденъ публицистомъ. Справедливо замѣчаютъ, что въ послѣдніе годы его критика вдалась въ односторонность и потеряла чуткость, которою отличалась прежде. И здѣсь, потребность проповѣди помѣшала спокойному развитію силъ.

Какъ бы то ни было, но только требованіе урока и поученія, какъ нельзя яснѣе, обнаружилось у насъ при появленіи новаго романа Тургенева. Къ нему вдругъ приступили съ лихорадочными и настоятельными вопросами: кого онъ хвалить? кого осуждаетъ? кто у него образецъ для подражанія? кто предметъ презрѣнія и негодованія? какой это романъ—прогрессивный, или ретроградный?

И вотъ, на эту тему поднялись безчисленные толки. Дѣло дошло до мелочей, до самыхъ тонкихъ подробностей. Базаровъ пьетъ шампанское! Базаровъ играетъ въ карты! Базаровъ небрежно одѣвается! Что это значитъ? спрашиваютъ въ недоумѣніи. *Должно* это, или *не должно*? Каждый рѣшилъ по своему, но всякій считалъ необходимымъ вывести нравоученіе и подписать его подъ загадочную басню. Рѣшенія однако же вышли совершенно разногласныя. Одни нашли, что «Отцы и дѣти» есть сатира на молодое поколѣніе, что всѣ симпатіи автора на сторонѣ *отцовъ*. Другіе говорятъ, что осмѣяны и опозорены въ романѣ *отцы*, а молодое поколѣніе, напротивъ, превознесено. Одни находятъ, что Базаровъ самъ виноватъ въ своихъ несчастныхъ отно-



шеніяхъ къ людямъ, съ которыми онъ встрѣтился; другіе утверждаютъ, что, напротивъ, эти люди виноваты въ томъ, что Базарову такъ трудно жить на свѣтѣ.

Такимъ образомъ, если свести всѣ эти разнорѣчивыя мнѣнія, то должно прийти къ заключенію, что въ баснѣ или вовсе нѣтъ нравоученія, или же, что нравоученіе не такъ легко найти, что оно находится совсѣмъ не тамъ, гдѣ его ищутъ. Несмотря на то, романъ читается съ жадностью и возбуждаетъ такой интересъ, какого, смѣло можно сказать, не возбуждало еще ни одно произведеніе Тургенева. Вотъ любопытное явленіе, которое стоитъ полнаго вниманія. Романъ, по видимому, явился не во-время; онъ какъ-будто не соответствуетъ потребностямъ общества; онъ не даетъ ему того, чего оно ищетъ. А между тѣмъ, онъ производитъ сильнѣйшее впечатлѣніе. Г. Тургеневъ во всякомъ случаѣ можетъ быть доволенъ. Его *таинственная* цѣль вполне достигнута. Но мы должны отдать себѣ отчетъ въ смыслѣ его произведенія.

Если романъ Тургенева подвергаетъ читателей въ недоумѣніе, то это происходитъ по очень простой причинѣ: онъ приводитъ къ сознанію то, что еще не было замѣчено. Главный герой романа есть Базаровъ; онъ и составляетъ теперь яблоко раздора. Базаровъ есть лицо новое, котораго рѣзкія черты мы увидѣли въ первый разъ; понятно, что мы задумаемся надъ нимъ. Если бы авторъ вывелъ намъ опять помѣщиковъ прежняго времени, или другія лица, давно уже намъ знакомыя, то, конечно, онъ не подаль бы намъ никакого повода къ изумленію, и всѣ бы дивились развѣ только вѣрности и мастерству его изображенія. Но въ настоящемъ случаѣ дѣло имѣетъ другой видъ. Постоянно слышится даже вопросъ: да гдѣ же существуютъ Базаровы? кто видѣлъ Базаровыхъ? кто изъ насъ Базаровъ? наконецъ, есть ли дѣйствительно такіе люди, какъ Базаровъ?

Разумѣется, лучшее доказательство дѣйствительности Базарова есть самый романъ; Базаровъ въ немъ такъ вѣренъ самому себѣ, такъ полонъ, такъ щедро снабженъ плотью и кровью, что назвать его *сочиненнымъ* человѣкомъ нѣтъ никакой возможности. Но онъ не есть ходячій типъ, всѣмъ

знакомый и только схваченный художникомъ и выставленный имъ «на все народныя очи». Базаровъ во всякомъ случаѣ есть лицо созданное, а не только воспроизведенное, предугаданное, а не только разоблаченное. Такъ это должно было быть по самой задачѣ, которая возбуждала творчество художника. Тургеневъ, какъ уже давно извѣстно, есть писатель, усердно слѣдящій за движеніемъ русской мысли и русской жизни. Онъ заинтересованъ этимъ движеніемъ необыкновенно сильно; не только въ «Отцахъ и дѣтяхъ», но и во всѣхъ прежнихъ своихъ произведеніяхъ онъ постоянно схватывалъ и изображалъ отношенія между отцами и дѣтьми. Послѣдняя мысль, послѣдняя волна жизни — вотъ, что всего болѣе приковывало его вниманіе. Онъ представляетъ образецъ писателя, одареннаго совершенной подвижностью и вмѣстѣ глубокою чуткостью, глубокою любовью къ современной ему жизни.

Таковъ онъ и въ своемъ новомъ романѣ. Если мы не знаемъ полныхъ Базаровыхъ въ дѣйствительности, то, однако же, всѣ мы встрѣчаемъ много базаровскихъ чертъ, всѣмъ знакомы люди, то съ одной, то съ другой стороны напоминающіе Базарова. Если никто не проповѣдуетъ всей системы мнѣній Базарова, то, однако же, всѣ слышали тѣ же мысли поодинокѣ, отрывочно, несвязно, нескладно. Эти бродячіе элементы, эти неразвившіеся зародыши, недоконченныя формы, несложившіяся мнѣнія Тургеневъ воплотилъ цѣльно, полно, стройно въ Базаровѣ.

Отсюда происходитъ и глубокая занимательность романа, и то недоумѣніе, которое онъ производитъ. Базаровы на половину, Базаровы на одну четверть, Базаровы на одну сотую долю — не узнаютъ себя въ романѣ. Но это ихъ горе, а не горе Тургенева. Гораздо лучше быть полнымъ Базаровымъ, чѣмъ быть его уродливымъ и неполнымъ подобіемъ. Противники же базаровщины радуются, думая, что Тургеневъ умышленно исказилъ дѣло, что онъ написалъ карикатуру на молодое поколѣніе: они не замѣчаютъ, какъ много величія кладетъ на Базарова глубина его жизни, его законченность, его непреклонная и послѣдовательная своеобразность, принимаемая ими за безобразіе.

Напрасныя обвиненія! Тургеневъ остался вѣренъ своему художническому дару: онъ не выдумываетъ, а создаетъ, не искажаетъ, а только свѣщаетъ свои фигуры.

Подойдемъ къ дѣлу ближе. Система убѣждений, кругъ мыслей, которыхъ представителемъ является Базаровъ, болѣе или менѣе ясно выражались въ нашей литературѣ. Главными ихъ выразителями были два журнала: «Современникъ» и «Русское Слово», недавно заивившее ихъ съ особенною рѣзкостью. Трудно сомнѣваться, что отсюда, изъ этихъ чисто теоретическихъ и отвлеченныхъ проявленій извѣстнаго образа мыслей взять Тургеневымъ складъ ума, воплощенный имъ въ Базаровъ. Тургеневъ взялъ извѣстный взглядъ на вещи, имѣвшій притязанія на господство, на первенство въ нашемъ умственномъ движеніи: онъ послѣдовательно и стройно развилъ этотъ взглядъ до его крайнихъ выводовъ и—такъ какъ дѣло художника не мысль, а жизнь—онъ воплотилъ его въ живыя формы. Онъ далъ плоть и кровь тому, что явно уже существовало въ видѣ мысли и убѣжденія. Онъ придалъ наружное проявленіе тому, что уже существовало, какъ внутреннее основаніе.

Отсюда, конечно, должно объяснить упрекъ, сдѣланный Тургеневу, что онъ изобразилъ въ Базаровѣ не одного изъ представителей молодого поколѣнія, а скорѣе главу кружка, порожденіе нашей оторванной отъ жизни литературы.

Упрекъ былъ бы справедливъ, если бы мы не знали, что мысль, рано или поздно, въ большей или меньшей степени, но непременно переходитъ въ жизнь, въ дѣло. Если базаровское направленіе имѣло силу, имѣло поклонниковъ и проповѣдниковъ, то оно непременно должно было порождать базаровыхъ. Такъ что остается только одинъ вопросъ: вѣрно ли схвачено базаровское направленіе?

Въ этомъ отношеніи для насъ существенно важны отзывы тѣхъ самыхъ журналовъ, которые прямо заинтересованы въ дѣлѣ, именно «Современника» и «Русскаго Слова». Изъ этихъ отзывовъ должно вполнѣ обнаружиться, на сколько вѣрно Тургеневъ понялъ ихъ духъ. Довольны ли они или недовольны, поняли ли Базарова или не поняли,—каждая черта здѣсь характеристична.



Оба журнала поспѣшили отозваться большими статьями. Въ мартовской книжкѣ «Русскаго Слова» явилась статья г. Писарева, а въ мартовской книжкѣ «Современника» — статья г. Антоновича. Оказывается, что «Современникъ» весьма недоволенъ романомъ Тургенева. Онъ думаетъ, что романъ написанъ въ укоръ и поученіе молодому поколѣнію, что онъ представляетъ клевету на молодое поколѣніе и можетъ быть поставленъ на ряду съ «Асмодеемъ нашего времени», соч. Асоченскаго.

Совершенно очевидно, что «Современникъ» желаетъ убить г. Тургенева во мнѣніи читателей, убить наповаль, безъ всякой жалости. Это было бы очень страшно, если бы только такъ легко было это сдѣлать, какъ воображаетъ «Современникъ». Не успѣла выйти въ свѣтъ его грозная книжка, какъ явилась статья г. Писарева, составляющая столь радикальное противоядіе злобнымъ намѣреніямъ «Современника», что лучше ничего не остается желать. «Современникъ» расчитывалъ, что повѣрять на слово въ этомъ дѣлѣ. Ну, можетъ быть, найдутся такіе, что и усумнятся. Если бы мы стали защищать Тургенева, насъ тоже, можетъ быть, заподозрили бы въ заднихъ мысляхъ. Но кто усумнится въ г. Писаревъ? Кто ему не повѣритъ?

Если чѣмъ извѣстенъ г. Писаревъ въ нашей литературѣ, такъ именно прямою и откровенностью своего изложенія. Г. Писаревъ никогда не лукавитъ съ читателями; онъ договариваетъ свою мысль до конца. Благодаря этому драгоценному свойству, романъ Тургенева получилъ блистательнѣйшее подтвержденіе, какого только можно было ожидать.

Г. Писаревъ, человѣкъ молодого поколѣнія, свидѣтельствуетъ о томъ, что Базаровъ есть дѣйствительный типъ этого поколѣнія и что онъ изображенъ совершенно вѣрно. «Все наше поколѣніе» — говоритъ г. Писаревъ — «со своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа». «Базаровъ — представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ, и образъ этого человѣка ярко и отчетливо вырисовывается передъ воображеніемъ читателей». «Тургеневъ вду-



«мался въ типъ Базарова и понялъ его такъ вѣрно, какъ «не поймать ни одинъ изъ молодыхъ реалистовъ». «Онъ не «покривилъ душою въ своемъ послѣднемъ произведеніи». «Общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и без-«пристрастны, такъ свободны отъ поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ «отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго». Тургеневъ есть «искренній художникъ, не уродующій дѣйствительность, «я изображающій ее, какъ она есть». Вслѣдствіе этой «чест-«ной, чистой натуры художника», «его образы живутъ своею жизнью; онъ любитъ ихъ, увлекается ими, онъ привязывается къ нимъ во время процесса творчества, и ему «становится невозможнымъ помыкать ими по своей прихоти «и превращать картину жизни въ аллегорію съ нравственною цѣлью и съ добродѣтельной развязкою».

Всѣ эти отзывы сопровождаются тонкимъ разборомъ дѣйствій и мнѣній Базарова, показывающимъ, что критикъ понимаетъ ихъ и вполне имъ сочувствуетъ. Послѣ этого понятно, къ какому заключенію долженъ былъ прійти г. Писаревъ, какъ членъ молодого поколѣнія.

«Тургеневъ» — пишетъ онъ — «оправдалъ Базарова и оцѣ-«нилъ его по достоинству. Базаровъ вышелъ у него изъ «испытанія чистымъ и крѣпкимъ». «Смысль романа вышелъ «такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ «крайности; но въ самыхъ увлеченіяхъ сказываются свѣжая «сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ даютъ себя «знать въ минуту тяжелыхъ испытаній; эта сила и этотъ «умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ «молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержать ихъ «въ жизни».

«Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрасную «мысль, тотъ не можетъ не изъяснить ему глубокой «и горячей признательности, какъ великому худож-«нику и честному гражданину Россіи!»

Вотъ искреннее и неопровержимое свидѣтельство того, какъ вѣренъ поэтической инстинктъ Тургенева; вотъ полное торжество всепокоряющей и всепримиряющей силы поэзіи!

Въ подражаніе г. Писареву, мы готовы воскликнуть: честь и слава художнику, который дождался такого отзыва отъ тѣхъ, кого онъ изображалъ.

Восторгъ г. Писарева вполне доказываетъ, что Базаровы существуютъ если не въ дѣйствительности, то въ возможности, и что они поняты г. Тургеневымъ по крайней мѣрѣ въ той степени, въ какой сами себя понимаютъ. Для предотвращенія недоразумѣній замѣтимъ, что совершенно неумѣстна придирчивость, съ которою нѣкоторые смотрятъ на романъ Тургенева. Судя по его заглавію, они требуютъ, чтобы въ немъ было *вполнѣ* изображено все старое и все новое поколѣніе. Почему же такъ? Почему не удовольствоваться изображеніемъ *нѣкоторыхъ* отцовъ и *нѣкоторыхъ* дѣтей? Если же Базаровъ есть, дѣйствительно, *одинъ* изъ представителей молодого поколѣнія, то другіе представители должны необходимо находиться въ родствѣ съ этимъ представителемъ.

Доказавъ фактамъ, что Тургеневъ понимаетъ Базаровыхъ по крайней мѣрѣ настолько, насколько они сами себя понимаютъ, мы теперь пойдемъ дальше и покажемъ, что Тургеневъ понимаетъ ихъ гораздо лучше, чѣмъ они сами себя понимаютъ. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго и необыкновеннаго: таково всегдашнее преимущество, неизмѣнная привилегія поэтовъ. Поэты вѣдь—пророки, провидцы; они проникаютъ въ самую глубину вещей и открываютъ въ нихъ то, что оставалось скрытымъ для обыкновенныхъ глазъ. Базаровъ есть типъ, идеалъ, явленіе, «возведенное въ перлъ созданія»; понятно, что онъ стоитъ выше дѣйствительныхъ явленій базаровщины. Наши Базаровы—только Базаровы отчасти, тогда какъ Базаровъ Тургенева есть Базаровъ по превосходству, по преимуществу. И, слѣдовательно, когда о немъ станутъ судить тѣ, которые не доросли до него, они во многихъ случаяхъ не поймутъ его.

Наши критики, даже и г. Писаревъ, недовольны Базаровымъ. Люди отрицательнаго направленія не могутъ помириться съ тѣмъ, что Базаровъ въ отрицаніи дошелъ до конца. Въ самомъ дѣлѣ, они недовольны героемъ за то, что онъ отрицаетъ 1) изящество жизни, 2) эстетическое наслажде-

ніе, 3) науку. Разберемъ эти три отрицанія подробно; такимъ образомъ намъ уяснится самъ Базаровъ.

Фигура Базарова имѣетъ въ себѣ нѣчто мрачное и рѣзкое. Въ его наружности нѣтъ ничего мягкаго и красиваго; его лицо имѣло другую, не виѣшнюю красоту: «оно оживлялось спокойною улыбкою и выражало самоувѣренность и умъ». Онъ мало заботится о своей наружности и одѣвается небрежно. Точно также, въ своемъ обращеніи онъ не любитъ никакихъ изысканныхъ вѣжливостей, пустыхъ, неимѣющихъ значенія формъ, виѣшняго лаку, который ничего не покрываетъ. Базаровъ *простъ* въ высшей степени, и отъ этого, между прочимъ, зависитъ та легкость, съ которою онъ сходится съ людьми, начиная отъ дворовыхъ мальчишекъ и до Анны Сергѣевны Одинцовой. Такъ опредѣляетъ Базарова самъ юный другъ его Аркадій Кирсановъ:

«Ты съ нимъ пожалуйста не перемонься»,—говоритъ онъ своему отцу;—«онъ чудесный малый, такой простой, ты увидишь».

Чтобы рѣзче выставить простоту Базарова, Тургеневъ противопоставилъ ей изысканность и щепетильность Павла Петровича. Отъ начала до конца повѣсти авторъ не забываетъ подсмѣяться надъ его воротниками, духами, усами, ногтями и всеми другими признаками нѣжнаго ухода за собственною особой. Не менѣе юмористически изображено обращеніе Павла Петровича, его *прикосновеніе усами* вмѣсто поцѣлуя, его ненужныя деликатности и пр.

Послѣ этого, очень странно, что почитатели Базарова недовольны его изображеніемъ въ этомъ отношеніи. Они находятъ, что авторъ придалъ ему *грубыя манеры*, что онъ выставилъ его *неотесаннымъ, дурно воспитаннымъ*, котораго *нельзя пустить въ порядочную гостиную*. Такъ выражается г. Писаревъ и на этомъ основаніи приписываетъ г. Тургеневу *коварный умыселъ уронить и опошлить* своего героя въ глазахъ читателей. По мнѣнію г. Писарева, Тургеневъ поступилъ весьма несправедливо; «можно быть крайнимъ матеріалистомъ, полнѣйшимъ эмпирикомъ и въ то же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно-вѣжливо со своими знакомыми, быть любезнымъ со-



бесѣдникомъ и совершеннымъ джентльменомъ. Это я говорю» — прибавляетъ критикъ — «для тѣхъ читателей, которые, придавая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, съ отвращеніемъ посмотрятъ на Базарова, какъ на человѣка *mal élevé* и *mauvais ton*. Онъ, дѣйствительно, *mal élevé* и *mauvais ton*, но это нисколько не относится къ сущности типа...».

Разсужденія объ изяществѣ манеръ и о тонкости обращенія, какъ извѣстно, предметъ весьма затруднительный. Нашъ критикъ, какъ видно, большой знатокъ въ этомъ дѣлѣ, и потому мы не станемъ съ нимъ тягаться. Это тѣмъ легче для насъ, что мы вовсе не желаемъ имѣть въ виду читателей, которые *придаютъ важное значеніе утонченнымъ манерамъ* и заботамъ о туалетѣ. Такъ какъ мы не сочувствуемъ этимъ читателямъ и мало знаемъ толку въ этихъ вещахъ, то понятно, что Базаровъ ни мало не возбуждаетъ въ насъ отвращенія и не кажется намъ ни *mal élevé*, ни *mauvais ton*. Съ нами, кажется, согласны и всѣ дѣйствующія лица романа. Простота обращенія и фигуры Базарова возбуждаютъ въ нихъ не отвращеніе, а скорѣе внушаютъ къ нему уваженіе; онъ радушно принятъ въ *гостиной* Анны Сергѣевны, гдѣ засѣдала даже какая-то плохенькая *княжна*.

Изящныя манеры и хорошій туалетъ, конечно, суть вещи хорошія; но мы сомнѣваемся, чтобы они были къ лицу Базарову и шли къ его характеру. Человѣкъ, глубоко преданный одному дѣлу, предназначившій себя, какъ онъ самъ говоритъ, для «жизни горькой, терпкой, бобыльной», онъ ни въ какомъ случаѣ не могъ играть роль утонченнаго джентльмена, не могъ быть собесѣдникомъ. Онъ легко сходится съ людьми; онъ живо интересуется всѣхъ, кто его знаетъ; но этотъ интересъ заключается вовсе не въ тонкости обращенія.

Глубокій аскетизмъ проникаетъ собою всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая. Характеръ этого аскетизма совершенно особенный, и въ этомъ отношеніи должно строго держаться настоящей точки зрѣнія, то есть той самой, съ которой смотритъ Тургеневъ. Базаровъ отрывается отъ благъ этого міра, но онъ дѣлаетъ



между этими благами строгое различіе. Онъ охотно ѣсть вкусные обѣды и пьетъ шампанское; онъ не прочь даже поиграть въ карты. Г. Антоновичъ въ «Современникѣ» вподить здѣсь тоже *коварный умыселъ* Тургенева и увѣряеть насъ, что поэтъ выставилъ своего героя *обжорой, пьянчужкой и картежникомъ*. Дѣло, однако же, имѣетъ совсѣмъ не такой видъ. Базаровъ понимаетъ, что простыя или чисто тѣлесныя удовольствія гораздо законнѣе и простительнѣе наслажденій инаго рода. Базаровъ понимаетъ, что есть соблазны болѣе гибельные, болѣе растлѣвающіе душу, чѣмъ, напримѣръ, бутылка вина, и онъ бережется не того, что можетъ погубить тѣло, а того, что погубляетъ душу. Наслажденіе тщеславіемъ, джентльменствомъ, мысленный и сердечный развратъ всякаго рода для него гораздо противнѣе и ненавистнѣе, чѣмъ ягоды со сливками или пулька въ преферансъ. Вотъ отъ какихъ соблазновъ онъ бережетъ себя; вотъ тотъ вышій аскетизмъ, которому преданъ Базаровъ. За чувственными удовольствіями онъ не гоняется, онъ наслаждается ими только при случаѣ; онъ такъ глубоко занятъ своими мыслями, что для него никогда не можетъ быть затрудненія отказаться отъ этихъ удовольствій; однимъ словомъ, онъ потому предается этимъ простымъ удовольствіямъ, что онъ всегда выше ихъ, что они никогда не могутъ завладѣть имъ. Зато тѣмъ упорнѣе и суровѣе онъ отказывается отъ такихъ наслажденій, которыя могли бы стать выше его и завладѣть его душою.

Вотъ откуда объясняется и то болѣе разительное обстоятельство, что Базаровъ отрицаетъ эстетическія наслажденія, что онъ не хочетъ любоваться природою и не признаетъ искусства. Обоихъ нашихъ критиковъ это отрицаніе искусства привело въ великое недоумѣніе.

«Мы отрицаемъ»—пишетъ г. Антоновичъ—«только ваше искусство, вашу поэзію, г. Тургеневъ; но не отрицаемъ «и даже требуемъ другаго искусства и поэзіи, хоть такой «поэзіи, какую представилъ, напримѣръ, Гёте». «Были люди»,—замѣчаетъ критикъ въ другомъ мѣстѣ—«которые изучали природу и наслаждались ею, понимали смыслъ ея явленийъ, знали движеніе волнъ и травъ прозябанье, читали «звѣздную книгу ясно, научно, безъ мечтательности, и были «великими поэтами».

Г. Антоновичъ, очевидно, не хочетъ приводить стиховъ, которые всѣмъ извѣстны:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ.  
Ручья разумѣлъ лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понимаетъ,  
И чувствовалъ травъ прозобанье;  
Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна.

Дѣло ясное: г. Антоновичъ объявляетъ себя поклонникомъ Гёте и утверждаетъ, что молодое поколѣніе признаетъ поэзію *великаго старца*. Отъ него, говоритъ онъ, мы научились «вышему и разумному наслажденію природой». Вотъ неожиданный и, признаемся, весьма сомнительный фактъ! Давно ли же это «Современникъ» сдѣлался поклонникомъ тайнаго совѣтника Гёте? «Современникъ», вѣдь, очень много говоритъ о литературѣ; онъ особенно любитъ стихишки. Чуть бывало появится сборникъ какихъ-нибудь стихотвореній, ужъ на него непременно пишется разборъ. Но чтобы онъ много толковать о Гёте, чтобы ставить его въ образецъ,—этого, кажется, вовсе не бывало. «Современникъ» бранилъ Пушкина: вотъ это всѣ помнить; но прославлять Гёте, —ему случается, кажется, въ первый разъ, если не поминать давно прошедшихъ и забытыхъ годовъ. Что же это значить? Развѣ ужъ очень понадобился?

Да и возможное ли дѣло, чтобы «Современникъ» восхищался Гёте, эгоистомъ Гёте, который служить вѣчною ссылкою для поклонниковъ искусства для искусства, который представляетъ образецъ олимпійскаго безучастія къ земнымъ дѣламъ, который пережилъ революцію, покореніе Германіи и войну освобожденія, не принимая въ нихъ сердечнаго участія, глядя на всѣ событія свысока!...

Не можемъ мы также думать, чтобы молодое поколѣніе училось наслажденію природой или чему-нибудь другому у Гёте. Дѣло это извѣстное; если молодое поколѣніе читаетъ поэтовъ, то ужъ никакъ не Гёте; вмѣсто Гёте оно много читаетъ Гейне, вмѣсто Пушкина—Некрасова. Если г. Антоновичъ столь неожиданно объявилъ себя приверженцемъ

Гёте, то это еще не доказываетъ, что молодое поколѣніе расположено увѣриваться гётевскою поэзіею, что оно учится у Гёте наслаждаться природою.

Гораздо прямѣе и откровеннѣе залагаетъ дѣло г. Писаревъ. Онъ также находитъ, что, отрицая искусство, Базаровъ *завирается*, *стригаетъ* вещи, *которыхъ не знаетъ или не понимаетъ*. «Поэзія» — говоритъ критикъ — «по его смѣлнѣю ерунда; читать Пушкина — потерянное время: заниматься музыкою — смѣшно; наслаждаться природою — нелѣпно». Для опроверженія такихъ заблужденій г. Писаревъ не прибѣгаетъ къ авторитетамъ, какъ сдѣлалъ г. Антоновичъ, но старается собственноручно объяснить намъ законность эстетическихъ наслажденій. Отвергать ихъ, говоритъ онъ, нельзя: вѣдь, это значило бы отвергать наслажденіе «пріятнымъ раздраженіемъ зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ». Вѣдь, напримѣръ, «наслажденіе музыкою есть чисто-физическое ощущеніе». «Послѣдовательные матеріалисты, въ родѣ Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ въ употребленіи наркотическихъ веществъ. Они смотрятъ снисходительно даже на нарушенія должной мѣры, хотя признаютъ подобныя нарушенія вредными для здоровья». «Отчего же, допуская употребленіе водки и наркотическихъ веществъ вообще, не допустить наслажденія природою»? И точно такъ, если можно пить водку, то отчего же нельзя читать Пушкина? Отсюда мы уже должны ясно видѣть, что такъ какъ Базаровъ допускалъ питье водки и самъ ее пилъ, то онъ поступаетъ непослѣдовательно, смѣясь надъ чтеніемъ Пушкина и надъ игрою на віолончели.

Очевидно, Базаровъ смотритъ на вещи не такъ, какъ г. Писаревъ. Г. Писаревъ, по видимому, признаетъ искусство, а на самомъ дѣлѣ онъ его отвергаетъ, то есть не признаетъ за нимъ его настоящаго значенія. Базаровъ прямо отрицаетъ искусство, но отрицаетъ его потому, что глубже понимаетъ его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто-физическое занятіе и читать Пушкина не все равно, что пить водку. Въ этомъ отношеніи герой Тургенева несравненно выше своихъ послѣдователей. Въ мелодіи Шуберта и въ стихахъ Пуш-



кина онъ ясно слышитъ враждебное начало; онъ чувствуетъ ихъ всеувлекающую силу и потому вооружается противъ нихъ.

Въ чемъ же состоитъ эта сила искусства, враждебная Базарову? Выражаясь, какъ можно проще, можно сказать, что искусство есть нѣчто слишкомъ *сладкое*, тогда какъ Базаровъ никакихъ сладостей не любитъ, а предпочитаетъ имъ горькое. Выражаясь точнѣе, но нѣсколько старымъ языкомъ, можно сказать, что искусство всегда носитъ въ себѣ элементъ *примиренія*, тогда какъ Базаровъ вовсе не желаетъ примиряться съ жизнью. Искусство есть идеализмъ, созерцаніе, отрѣшеніе отъ жизни и поклоненіе идеаламъ; Базаровъ же реалистъ, не созерцатель, а дѣятель, признающій одни дѣйствительныя явленія и отрицающій идеалы.

Все это вѣрно чувствовалось и чувствуется многими, между прочимъ и «Современникомъ». «Современникъ» стяжалъ себѣ не мало лавровъ въ борьбѣ противъ искусства, начиная отъ хвалебной рецензіи на диссертацию г. Чернышевскаго: «*Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*» (1854) и до послѣднихъ экономическихъ соображеній самого г. Чернышевскаго, по которымъ художники не заслуживаютъ *никакого вещественнаго вознагражденія* за свои произведенія, а наслаждаться этими произведеніями позволительно только тогда, когда уже ничѣмъ полезнымъ заняться невозможно («Современникъ» 1861 г., № 11).

Вражда къ искусству составляетъ важное явленіе и не есть мимолетное заблужденіе; напротивъ, она глубоко коренится въ духѣ настоящаго времени. Искусство всегда было и всегда будетъ областью *вѣчнаго*: отсюда понятно, что жрецы искусства, какъ жрецы вѣчнаго, легко начинаютъ презрительно смотрѣть на все временное; по крайней мѣрѣ, они иногда считаютъ себя правыми, когда предаются вѣчнымъ интересамъ, не принимая никакого участія во временныхъ. И, слѣдовательно, тѣ, которые дорожатъ временнымъ, которые требуютъ сосредоточенія всей дѣятельности на потребности настоящей минуты, на насущныхъ дѣлахъ, — необходимо должны стать во враждебное отношеніе къ искусству.

Что значитъ, на примѣръ, мелодія Шуберта? Попробуйте объяснить, какое дѣло дѣлалъ художникъ, создавая эту ме-



лодію, и какое дѣло дѣлають тѣ, кто ее слушаетъ? Искусство, говорятъ иные, есть суррогатъ науки; оно коевенно способствуетъ распространенію свѣдѣній. Попробуйте же разсмотрѣть, какое знаніе или свѣдѣніе содержится и распространяется въ этой мелодіи? Что-нибудь одно изъ двухъ: или тотъ, кто предается наслажденію музыки, занимается совершенными пустяками, *физическимъ ощущеніемъ*; или же его восторгъ относится къ чему-то отвлеченному, общему, безпредѣльному и, однако же, живому и до конца овладѣвающему человѣческой душою.

*Восторгъ*—вотъ зло, противъ котораго идетъ Базаровъ и котораго онъ не имѣетъ причины опасаться отъ рюмки водки. Искусство имѣетъ притязаніе и силу становиться гораздо выше *пріятнаго раздраженія зрительныхъ и слышательныхъ нервовъ*; вотъ этого-то притязанія и этой власти не признаетъ законными Базаровъ.

Какъ мы сказали, отрицаніе искусства есть одно изъ современныхъ стремленій. Напрасно г. Антоновичъ испугался Гёте или по крайней мѣрѣ пугаетъ имъ другихъ: можно отрицать и Гёте. Не даромъ нашъ вѣкъ называютъ анти-эстетическимъ. Конечно, искусство необходимо и содержитъ въ себѣ неистощимую, вѣчно обновляющуюся силу; тѣмъ не менѣе, вѣяніе новаго духа, которое обнаружилось въ отрицаніи искусства, имѣетъ, конечно, глубокое значеніе.

Оно особенно понятно для насъ русскихъ. Базаровъ въ этомъ случаѣ представляетъ живое воплощеніе одной изъ сторонъ русскаго духа. Мы вообще мало расположены къ изящному; мы для этого слишкомъ трезвы, слишкомъ практичны. Силою и рядомъ можно найти между нами людей, для которыхъ стихи и музыка кажутся чѣмъ-то или приторнымъ, или ребяческимъ. Восторженность и высокопарность намъ не по нутру; мы больше любимъ простоту, ѣдкій юморъ, насмѣшку. А на этотъ счетъ, какъ видно изъ романа, Базаровъ самъ великій художникъ.

Пойдемъ далѣе. Базаровъ отрицаетъ науку. На этотъ разъ наши критики раздѣлились. Г. Писаревъ вполне понимаетъ и одобряетъ это отрицаніе, г. Антоновичъ принимаетъ его за клевету, взведенную Тургеневымъ на молодое поколѣніе.

«Курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ, прослушанный Базаровымъ»,—говоритъ г. Писаревъ,—«развилъ его природный умъ и отучилъ его принимать на вѣру какія бы то ни было понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чистымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познания, личное ощущеніе—единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. *Я придерживаюсь отрицательнаго направленія*—говоритъ онъ—*въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ—и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія—это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу*». Итакъ,—заключаетъ критикъ—«ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя Базаровъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого (теоретическаго) принципа».

Что касается до г. Антоновича, то такое умственное настроеніе Базарова онъ считаетъ весьма нелѣпымъ и позорнымъ. Весьма жаль только, что, какъ онъ ни усиливается, онъ никакъ не можетъ показать, въ чемъ же состоитъ эта нелѣпость.

«Разберите»—говоритъ онъ—«приведенныя выше воззрѣнія и мысли, выдаваемые романомъ за современныя: развѣ они не походятъ на кашу? Теперь *нѣтъ принциповъ*, то есть ни одного принципа не принимаютъ на вѣру»; «да самое же это рѣшеніе не принимать ничего на вѣру и *есть принципъ!*»

Конечно, такъ. Однако же, какой хитрый человѣкъ г. Антоновичъ: нашелъ противорѣчіе у Базарова! Тотъ говоритъ, что у него нѣтъ принциповъ,—и вдругъ оказывается, что есть!

«И ужели этотъ принципъ не хорошъ?» продолжаетъ г. Антоновичъ.—«Ужели человѣкъ энергическій будетъ отстаивать и проводить въ жизнь то, что онъ принялъ извнѣ, отъ другого, на вѣру, и что не соотвѣтствуетъ всему его настроенію и всему его развитію?».

Ну вотъ это странно. Противъ кого вы говорите, г. Антоновичъ? Вѣдь вы, очевидно, защищаете *принципъ* Базарова; а, вѣдь, вы собрались доказывать, что у него каша въ головѣ. Что же это значить?

Но чѣмъ дальше, тѣмъ удивительнѣе.

«И даже» — пишетъ критикъ — «когда принципъ принимается на вѣру, это дѣлается не безпричинно, а въслѣдствіе какого-нибудь основанія, лежащаго въ самомъ же человѣкѣ. Есть много принциповъ на вѣру; но признать тотъ или другой изъ нихъ зависить отъ личности, отъ ея расположенія и развитія; значить, все сводится къ авторитету, который заключается въ личности человѣка (*т. е., какъ говоритъ г. Писаревъ, личное ощущеніе есть единственное и послѣднее убѣдительное доказательство*); онъ самъ опредѣляетъ и вѣнныя авторитеты, и значеніе ихъ для себя. И когда молодое поколѣніе не принимаетъ вашихъ *принциповъ* \*), значить, они не удовлетворяютъ его натурѣ; внутреннія побужденія (*ощущенія*?) располагаютъ въ пользу другихъ *принциповъ*».

Ясно же днѣ, что все это суть базаровскія идеи. Г. Антоновичъ, очевидно, противъ кого-то ратуетъ; но противъ кого, неизвѣстно; потому что все, что онъ говоритъ, служитъ подтвержденіемъ мнѣній Базарова, а никакъ не доказательствомъ, что они представляютъ *кашу*.

Должно быть самъ г. Антоновичъ почувствовалъ, наконецъ, что изъ его словъ выходитъ не совсѣмъ то, что нужно, и потому онъ заключаетъ такъ: «Что значить невѣріе въ науку и непризнаніе науки вообще.—объ этомъ нужно спросить у самого г. Тургенева; гдѣ онъ наблюдалъ такое явленіе, и въ чемъ оно обнаруживается, нельзя понять изъ его романа».

По этому случаю мы могли бы многое вспомнить, на-примѣръ, хотя бы то, какъ «Современникъ» смѣялся надъ исторіей, какъ онъ потомъ намекалъ, что можно обойтись и безъ философіи и что иѣмцы нынче дошли до такой премудрости, что опровергли нѣкоторыя науки цѣликомъ. Говоримъ это для примѣра, а не то чтобы мы указывали важнѣйшіе случаи. Но — не станемъ отвлекаться отъ дѣла.

\* ) По произношенію Павла Петровича



Не говоря о проявленіи образа мыслей Базарова въ цѣломъ романѣ, укажемъ здѣсь на нѣкоторые разговоры, которые поясняютъ дѣло.

— Это вы все стало-быть отвергаете? (говорить Базарову Павелъ Петровичъ).—Положимъ. Значить, вы вѣрите въ одну науку?

— Я уже доложилъ вамъ, отвѣчалъ Базаровъ,—что ни во что не вѣрю; и что такое наука, наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, званія, а науки вообще не существуетъ вовсе.

Въ другой разъ не менѣе рѣзко и отчетливо возразилъ Базаровъ своему сопернику.

— Помилуйте, (сказалъ тотъ)—логика исторіи требуетъ...

— Да на что намъ эта логика? отвѣчалъ Базаровъ:—мы и безъ нея обходимся.

— Какъ такъ?

— Да такъ-же. Вы, я надѣюсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей!

Уже отсюда можно видѣть, что воззрѣнія Базарова не представляютъ камня, какъ старается увѣрить критикъ, а, напротивъ, образуютъ твердую и строгую цѣпь понятій. Вражда противъ науки есть также современная черта, и даже болѣе глубокая и болѣе распространенная, чѣмъ вражда противъ искусства. Подъ наукою мы разумѣемъ именно то, что разумѣется подъ *наукою вообще* и что, по мнѣнію нашего героя, не существуетъ вовсе. Наука для насъ не существуетъ, какъ скоро мы признаемъ, что она не имѣетъ никакихъ общихъ требованій, никакихъ общихъ методовъ и общихъ законовъ, что каждое знаніе существуетъ само по себѣ. Такое отрицаніе отвлеченности, такое стремленіе къ конкретности въ самой области отвлеченія, въ области знанія, составляетъ одно изъ вѣяній новаго духа. Представителемъ его былъ и есть тотъ знаменитый философъ, котораго нѣкоторые мыслители у насъ провозгласили *последнимъ* философомъ, а себя при этомъ случаѣ его вѣрными учениками \*). Ему принадлежатъ отрицаніе науки въ ея чистѣйшей формѣ, въ формѣ

\*) Фейербахъ



философін: «*моя философія—говоритъ онъ—состоитъ въ томъ, что я отвергаю всякую философію*».

Конечно, г. Антоновичъ легко бы поймать его, точно такъ, какъ онъ поймать Базарова: «ну вотъ,—сказалъ бы онъ:—вы отрицаете всякую философію, а между тѣмъ самое это отрицаніе уже и составляетъ философію!» Дѣло это, однако же, не разрѣшается такъ легко.

Отрицаніе отвлеченныхъ понятій, отрицаніе мысли составляетъ слѣдствіе болѣе крѣпкаго, болѣе прямого признанія дѣйствительныхъ явленій, признанія жизни. Это разногласіе между жизнью и мыслью нѣкогда такъ сильно не чувствовалось, какъ теперь. Оно проявляется въ безчисленныхъ формахъ и есть важное современное явленіе. Нѣкогда философія не играла такой жалкой роли, какъ въ настоящее время. Надъ нею, кажется, сбывается пророчество Шеллинга (1806): «тогда»—говоритъ онъ—«пресыщеніе отвлеченностями и большими понятіями само укажетъ намъ единственное средство исцѣлить душу—именно погрузиться въ частныя явленія.» И дѣйствительно, всего болѣе разрабатываются, всего болѣе уважаются всѣмъ естественныя науки, т. е. науки, для которыхъ исходомъ служатъ факты, частныя явленія. Другія науки потеряли то уваженіе, которымъ нѣкогда пользовались. Мы даже привыкли къ мысли, что онѣ нѣсколько портятъ человѣка, уродуютъ его, а не возвышаютъ. Мы знаемъ, что занятія науками отвлекаютъ отъ жизни, порождаютъ доктринеровъ, мѣшаютъ живому сочувствію къ современности.

Ученость стала для насъ подозрительною; кафедра потеряла свое значеніе, исторія—свой авторитетъ. Это *обратное движеніе ума*, это самоотверженіе мысли совершается съ глубокою силою и составляетъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ современной умственной жизни.

Чтобы еще указать нѣкоторые его характеристическія черты, приведемъ здѣсь мѣста изъ романа, поразившія насъ необыкновенною прояснительностью, съ которою Тургеневъ понялъ духъ базаровскаго направленія.

— Мы ломаемъ, потому что мы сила, замѣтилъ Аркадій.

Павель Петровичъ посмотрѣлъ на своего племянника и усмѣхнулся.

— Да, сила, такъ и не даетъ отчета,—проговорилъ Аркадій и выпрямился.

— Несчастный!—возопилъ Павелъ Петровичъ—хоть бы ты подумалъ, что въ Россіи ты поддерживаешь твою пошлую сентенцію?... Но васъ—раздавятъ!

— Коли раздавятъ, туда и дорога!—промолвилъ Базаровъ,—только бабушка еще надвое сказала. Намъ не такъ мало, какъ вы полагаете.

Это прямое и чистое признаніе силы за право есть не что иное, какъ прямое и чистое признаніе *дѣйствительности*; не оправданіе, не объясненіе или выводъ ея,—все это здѣсь лишнее,—а именно простое *признаніе*, которое такъ крѣпко само по себѣ, что не требуетъ никакихъ постороннихъ поддержекъ. Отреченіе отъ мысли, какъ отъ чего-то совершенно ненужнаго, здѣсь вполне ясно. Разсужденія ничего не могутъ прибавить къ этому признанію.

«Нашъ народъ—(говорить въ другомъ мѣстѣ Базаровъ)—русскій, а развѣ я самъ не русскій?» «Мой дѣдъ землю пахалъ». «Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы ратуете?»

Такова эта простая логика, сильная именно тѣмъ, что не разсуждаетъ тамъ, гдѣ разсужденія ненужны. Базаровы, какъ скоро они стали, дѣйствительно, Базаровыми, не имѣютъ никакой нужды оправдывать себя. Они не фантазмагорія, не миражъ: они суть нѣчто крѣпкое и дѣйствительное; имъ нѣтъ нужды доказывать свои права на существованіе, потому что они уже, дѣйствительно, существуютъ. Оправданіе нужно только явленіямъ, которыя подозрѣваются въ фальши, или которыя еще не достигли дѣйствительности.

«Я пою, какъ птица поетъ», говоритъ въ свое оправданіе поэтъ.—«Я, Базаровъ, точно такъ, какъ липа есть липа, а береза—береза», могъ бы сказать Базаровъ. Зачѣмъ ему подчиняться исторіи и народному духу, или какъ-нибудь сообразоваться съ ними, или даже, просто, думать о нихъ, когда онъ самъ и есть исторія, самъ и есть проявленіе народнаго духа?

Вѣруа *такимъ образомъ* въ себя, Базаровъ несомнѣнно увѣренъ въ тѣхъ силахъ, которыхъ часть онъ составляетъ. «Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете».

Изъ такого пониманія себя послѣдовательно вытекаетъ еще одна важная черта въ настроеніи и дѣятельности истинныхъ Базаровыхъ. Два раза горячій Павелъ Петровичъ приступаетъ къ своему противнику съ сильнѣйшимъ своимъ возраженіемъ и получаетъ одинаковый многозначительный отвѣтъ.

— Матеріализмъ, — (говоритъ Павелъ Петровичъ), — который вы проповѣдуете, былъ уже не разъ въ ходу и не разъ оказывался несостоятельнымъ...

— Опять иностранное слово! — перебилъ Базаровъ. — Во первыхъ, мы *ничего не проповѣдуемъ*: это не въ нашихъ привычкахъ...

Черезъ нѣсколько времени Павелъ Петровичъ попадаетъ на эту же тему.

— За что же — (говоритъ онъ) — вы другихъ-то, хоть бы тѣхъ же обличителей честите? Не такъ же ли вы болгаете, какъ и мы.

— Чѣмъ другимъ, а *этими црѣхъмъ не црѣшны*, — произнесъ сквозь зубы Базаровъ.

Чтобы быть вполне и до конца послѣдовательнымъ, Базаровъ отказывается отъ проповѣдыванія, какъ отъ праздной болтовни. И въ самомъ дѣлѣ, проповѣдь, вѣдь, была бы ничѣмъ инымъ, какъ признаніемъ правъ мысли, силы идей. Проповѣдь была бы тѣмъ оправданіемъ, которое, какъ мы видели, для Базарова излишне. Придавать важность проповѣди, значило бы признать умственную дѣятельность, признать, что людьми управляютъ не *ощущенія* и нужды, а также мысль и облакающее ее слово. Пуститься проповѣдывать, значить пуститься въ отвлеченности, значить призвать въ помощь логику и исторію, значить сдѣлать себѣ дѣло изъ того, что уже признано пустяками въ самой своей сущности. Вотъ почему Базаровъ не охотникъ до споровъ и разглагольствій и не придаетъ имъ большой цѣны. Онъ видитъ, что логикой много взять нельзя; онъ старается больше дѣйствовать личнымъ примѣромъ и увѣренъ, что Базаровы сами собою народятся въ изобиліи, какъ рождаются извѣстныя



растенія тамъ, гдѣ есть ихъ сѣмена. Прекрасно понимаетъ этотъ взглядъ г. Писаревъ. Напримѣръ, онъ говоритъ: «негодование противъ глупости и подлости вообще понятно, но впрочемъ оно также плодотворно, какъ негодование противъ осенней сырости или зимняго холода». Точно также онъ судитъ и о направленіи Базарова: «если базаровщина болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ, какъ угодно—это ваше дѣло, а остановить не остановите; это та же холера».

Отсюда понятно, что всѣ Базаровы-болтуны, Базаровы-проповѣдники, Базаровы, занятые не дѣломъ, а только своею базаровщиною,—идутъ по ложному пути, который приводитъ ихъ къ непрерывнымъ противорѣчіямъ и недѣлостямъ, что они гораздо непослѣдовательнѣе и стоятъ гораздо ниже настоящаго Базарова.

---

Вотъ какое строгое настроеніе ума, какой твердый складъ мыслей воплотилъ Тургеневъ въ своемъ Базаровѣ. Онъ одѣлъ этотъ умъ плотью и кровью, и исполнилъ эту задачу съ удивительнымъ мастерствомъ. Базаровъ вышелъ человѣкомъ простымъ, чуждымъ всякой изломанности, и вмѣстѣ крѣпкимъ, могучимъ душою и тѣломъ. Все въ немъ необыкновенно идетъ къ его сильной натурѣ. Весьма замѣчательно, что онъ, такъ сказать, *болѣе русскій*, чѣмъ всѣ остальные лица романа. Его рѣчь отличается простотою, мѣткостью, насмѣшливостію и совершенно русскимъ складомъ. Точно также, между лицами романа онъ всѣхъ легче сближается съ народомъ, всѣхъ лучше умѣетъ держать себя съ нимъ.

Все это, какъ нельзя лучше, соответствуетъ простотѣ и прямотѣ того взгляда, который исповѣдуется Базаровымъ. Человѣкъ, глубоко проникнутый извѣстными убѣжденіями, составляющій ихъ полное воплощеніе, необходимо долженъ выйти и естественнымъ, слѣдовательно, близкимъ къ своей народности, и вмѣстѣ человѣкомъ сильнымъ. Вотъ почему Тургеневъ, создававшій до сихъ поръ, такъ сказать, раздвоенныя лица, напримѣръ Гамлета шигровскаго уѣзда, Рудина,

Лаврецкаго, достигъ, наконецъ, въ Базаровъ до типа цѣльнаго человѣка. Базаровъ есть первое сильное лицо, первый цѣльный характеръ, явившійся въ русской литературѣ изъ среды, такъ называемаго, образованнаго общества. Кто этого не цѣнитъ, кто не понимаетъ всей важности такого явленія, тотъ пусть лучше не судить о нашей литературѣ. Даже г. Антоновичъ это замѣтилъ, какъ можно судить по слѣдующей странной фразѣ: «по видимому, г. Тургеневъ хотѣлъ изобразить въ своемъ героѣ, какъ говорится, *демоническую или байроническую натуру, что-то въ родъ Гамлета*». Гамлетъ—демоническая натура! Это указываетъ на смутныя понятія о Байронѣ и Шекспирѣ. Но дѣйствительно, у Тургенева вышло *что-то въ родъ демоническаго*, то есть натура богатая силою, хотя эта сила и не чистая.

Въ чемъ же состоитъ дѣйствіе романа?

Базаровъ вмѣстѣ съ своимъ пріятелемъ Аркадіемъ Кирсановымъ, оба студенты, только что окончившіе курсъ,—одинъ въ медицинской академіи, другой въ университетѣ,—пріѣзжаютъ изъ Петербурга въ провинцію. Базаровъ, впрочемъ, человѣкъ уже не первой молодости; онъ уже составилъ себѣ нѣкоторую извѣстность, успѣлъ заявить свой образъ мыслей. Аркадій же—совершенный юноша. Все дѣйствіе романа происходитъ въ одни *каникулы*, можетъ быть для обоихъ первые каникулы послѣ окончанія курса. Пріятели гостятъ большею частью вмѣстѣ, то въ семействѣ Кирсановыхъ, то въ семействѣ Базарова, то въ губернскомъ городѣ, то въ деревнѣ вдовы Одинцовой. Они встрѣчаются со множествомъ лицъ, съ которыми или видятся только въ первый разъ, или давно уже не видались; именно, Базаровъ не ѣздилъ домой цѣлыхъ три года. Такимъ образомъ, происходитъ разнообразное столкновеніе ихъ новыхъ воззрѣній, вывезенныхъ изъ Петербурга, съ воззрѣніями этихъ лицъ. Въ этомъ столкновеніи заключается весь интересъ романа. Событій и дѣйствій въ немъ очень мало. Подъ конецъ каникулъ Базаровъ почти случайно умираетъ, заразившись отъ гноянаго трупа, а Кирсановъ женится, влюбившись въ сестру Одинцовой. Тѣмъ и кончается весь романъ.

Базаровъ является при этомъ истиннымъ героемъ, не-

смотря на то, что въ немъ нѣтъ, по видному, ничего блестящаго и поражающаго. Съ перваго его шагу къ нему приковывается вниманіе читателя, и всѣ другія лица начинаютъ вращаться около него, какъ около главнаго центра тяжести. Онъ всего меньше заинтересованъ другими лицами; зато другія лица тѣмъ больше имъ интересуются. Онъ никому не навязывается и не напрашивается, и, однако же, вездѣ, гдѣ появляется, возбуждаетъ самое сильное вниманіе, составляетъ главный предметъ чувствъ и размышленій, любви и ненависти.

Отправляясь гостить у родныхъ и пріятелей, Базаровъ не имѣлъ въ виду никакой особенной цѣли; онъ ничего не ищетъ, ничего не ждетъ отъ этой поѣздки; ему, просто, хотѣлось отдохнуть, проѣздиться; много-много, что онъ желаетъ иногда *посмотрѣть людей*. Но при томъ превосходствѣ, которое онъ имѣетъ надъ окружающими его лицами, и вслѣдствіе того, что всѣ они чувствуютъ его силу, сами эти лица напрашиваются на болѣе тѣсныя отношенія къ нему и запутываютъ его въ драму, которой онъ вовсе не хотѣлъ и даже не предвидѣлъ.

Едва онъ явился въ семействѣ Кирсановыхъ, какъ онъ тотчасъ возбуждаетъ въ Павлѣ Петровичѣ раздраженіе и ненависть, въ Николаѣ Петровичѣ уваженіе, смѣшанное со страхомъ, расположеніе Өенички, Дуняши, дворовыхъ мальчишекъ, даже грудного ребенка Мити, и презрѣніе Прокофьича. Впослѣдствіи дѣло доходитъ до того, что онъ самъ на минуту увлекается и цѣлуетъ Өеничку, а Павелъ Петровичъ вызываетъ его на дуэль. «Экая глупость! экая глупость!» повторяетъ Базаровъ, никакъ не ожидавшій такихъ *событій*.

Поѣздка въ городъ, имѣвшая цѣлью *смотреть народъ*, также не обходится ему даромъ. Около него начинаютъ вертѣться разныя лица. За нимъ ухаживаютъ Ситниковъ и Кукшина; мастерски изображенные лица фальшиваго прогрессиста и фальшивой эманципированной женщины. Они, конечно, не смущаютъ Базарова; онъ относится къ нимъ съ презрѣніемъ, и они служатъ только контрастомъ, отъ котораго еще рѣзче и рельефнѣе выступаютъ его умъ и сила, его полная неподдѣльность. Но тутъ же встрѣчается и ка-



мень преткновеній—Анна Сергѣевна Одинцова. Несмотря на все свое хладнокровіе, Базаровъ начинаетъ колебаться. Къ величайшему удивленію своего поклонника Аркадія, онъ разъ даже сконфузился, а другой разъ покраснѣлъ. Не подозрѣвая, однако же, никакой опасности, твердо надѣясь на себя, Базаровъ ѣдетъ гостить къ Одинцовой въ Никольское. И дѣйствительно, онъ владѣетъ собою превосходно. И Одинцова, какъ и всѣ другія лица, заинтересовывается имъ такъ, какъ, вѣроятно, никѣмъ не интересовалась во всю свою жизнь. Дѣло оканчивается, однако же, плохо. Въ Базаровѣ загорается слишкомъ сильная страсть, а увлеченіе Одинцовой не достигаетъ до настоящей любви. Базаровъ уѣзжаетъ почти отвергнутый совершенно, и опять начинаетъ дивиться себѣ и бранить себя. «Чортъ знаетъ, что за вздоръ! Каждый человѣкъ на ниточкѣ виситъ, бездна подъ нимъ ежеминутно разверзнуться можетъ, а онъ еще самъ придумываетъ себѣ всякія непріятности, портитъ свою жизнь».

Но, несмотря на эти мудрыя разсужденія, Базаровъ все-таки продолжаетъ невольно портить свою жизнь. Уже послѣ этого урока, уже во время вторичнаго посѣщенія Кирсановыхъ онъ увлекается Оеничкой и принужденъ выйти на дуэль съ Павломъ Петровичемъ.

Очевидно, Базаровъ вовсе не желаетъ и не ждетъ романа; но романъ совершается помимо его желѣзной воли; жизнь, надъ которою онъ думалъ стоять властелиномъ, захватываетъ его своею широкою волною.

Подъ конецъ разсказа, когда Базаровъ гоститъ у своихъ отца и матери, онъ, очевидно, нѣсколько потерялся послѣ всѣхъ вынесенныхъ потрясеній. Не настолько онъ потерялся, чтобы не могъ поправиться, не могъ черезъ короткое время воскреснуть въ полной силѣ; но все-таки тѣнь тоски, которая и въ самомъ началѣ лежала на этомъ желѣзномъ человѣкѣ, подъ конецъ становится гуще. Онъ теритъ охоту заниматься, худѣетъ, начинаетъ трунить надъ мужиками уже не дружелюбно, а желчно. Отъ этого и выходитъ, что на этотъ разъ онъ и мужикъ оказываются непонимающими другъ друга, тогда какъ прежде взаимное пониманіе было до извѣстной степени возможно. Наконецъ, Базаровъ нѣсколько

оправляется и увлекается медицинскою практикой. Зараженіе, отъ котораго онъ умираетъ, все-таки какъ-будто свидѣтельствуесть о недостаткѣ вниманія и ловкости, о случайномъ отвлеченіи душевныхъ силъ.

Смерть—такова послѣдняя проба жизни, послѣдняя случайность, которой не ожидать Базаровъ. Онъ умираетъ, но и до послѣдняго мгновенія остается чуждымъ этой жизни, съ которою такъ странно столкнулся, которая встревожила его такими *пустяками*, заставила его надѣлать такихъ *глупостей* и, наконецъ, погубила его влѣдствіе такой *ничтожной* причины.

Базаровъ умираетъ совершеннымъ героемъ, и его смерть производитъ потрясающее впечатлѣніе. До самаго конца, до послѣдней вспышки сознанія, онъ не измѣняетъ себя ни единымъ словомъ, ни единымъ признакомъ малодушія. Онъ сломленъ, но не побѣжденъ.

Такимъ образомъ, несмотря на короткій срокъ дѣйствія романа и несмотря на быструю смерть Базаровъ, онъ успѣлъ высказаться вполне, вполне показать свою силу. Жизнь не погубила его,—этого заключенія никакъ нельзя вывести изъ романа,—а пока только дала ему поводы обнаружить свою энергію. Въ глазахъ читателей Базаровъ выходитъ изъ искушенія побѣдителемъ. Всякій скажетъ, что такіе люди, какъ Базаровъ, способны много сдѣлать, что при этихъ силахъ отъ нихъ можно многого ожидать.

Базаровъ, собственно говоря, показанъ только въ узкой рамкѣ, а не во всю ширину человѣческой жизни. Авторъ ничего почти не говоритъ о томъ, какъ развился его герой, какимъ образомъ могло сложиться такое лицо. Точно также, быстрое окончаніе романа оставляетъ совершенною загадкою вопросъ: остался ли бы Базаровъ тѣмъ же Базаровымъ, или вообще,—какое развитіе суждено ему впереди? И, однако же, то и другое умолчаніе имѣетъ, какъ намъ кажется, свою причину, свое существенное основаніе. Если не показано постепенное развитіе героя, то, безъ сомнѣнія, потому, что Базаровъ образовался не медленнымъ накопленіемъ вліяній, а, напротивъ, быстрымъ, крутымъ переломомъ. Базаровъ три года не былъ дома. Эти три года онъ уцепся, и вотъ онъ

вдругъ является намъ напштааннымъ всѣмъ тѣмъ, чему онъ успѣлъ выучиться. На другое утро послѣ пріѣзда, онъ уже отправляется за лягушками, и вообще онъ продолжаетъ *учебную* жизнь при каждомъ удобномъ случаѣ. Онъ—человѣкъ теоріи, и его создала теорія, создала незамѣтно, безъ событій, безъ всего такого, что можно бы было рассказать, создала однимъ умственнымъ переворотомъ.

Базаровъ скоро умираетъ. Это нужно было художнику для простоты и ясности картины. Въ своемъ теперешнемъ, напряженномъ настроеніи Базаровъ остановиться надолго не можетъ. Рано или поздно онъ долженъ измѣниться, долженъ перестать быть Базаровымъ. Мы не имѣемъ права сѣтовать на художника за то, что онъ не взялъ болѣе широкой задачи и ограничился болѣе узкою. Онъ рѣшился остановиться только на одной ступени въ развитіи своего героя. Тѣмъ не менѣе, на этой ступени развитія, какъ вообще бываетъ въ развитіи, передъ нами явился *весь человѣкъ*, а не отрывочныя его черты. Въ отношеніи къ полнотѣ лица задача художника исполнена превосходно.

Живой, цѣльный человѣкъ схваченъ авторомъ въ каждомъ дѣйствіи, въ каждомъ движеніи Базарова. Вотъ великое достоинство романа, которое содержитъ въ себѣ главный его смыслъ и котораго не замѣтили наши поспѣшные нравоучители. Базаровъ—теоретикъ; онъ человѣкъ странный, односторонне-рѣзкій; онъ проповѣдуетъ необыкновенныя вещи; онъ поступаетъ эксцентрически; онъ школьникъ, въ которомъ вмѣстѣ съ глубокою искренностью соединяется самое грубое *ломанье*; какъ мы сказали—онъ человѣкъ чуждый жизни, то есть онъ самъ чуждается жизни. Но подъ всѣми этими виѣшними формами льется теплая струя жизни; при всей рѣзкости и дѣланности своихъ проявленій—Базаровъ человѣкъ вполне живой, не фантомъ, не выдумка, а настоящая плоть и кровь. Онъ отрицается отъ жизни, а между тѣмъ живетъ глубоко и сильно.

Послѣ одной изъ самыхъ удивительныхъ сценъ романа, именно послѣ разговора, въ которомъ Павелъ Петровичъ вызываетъ Базарова на дуэль и тотъ принимаетъ его предложеніе и уговливается съ нимъ, Базаровъ, изумленный не-



ожиданнымъ поворотомъ дѣла и странною разговора восклицаетъ: «Фу ты чортъ! Какъ красно и какъ глупо! Экую «мы комедію отломали! Ученыя собаки такъ на заднихъ лапкахъ танцуютъ!» Мудрено сдѣлать болѣе ядовитое замѣчаніе; и однако же, читатель романа чувствуетъ, что разговоръ, который такъ характеризуется Базаровымъ, въ сущности весьма живой и серьезный разговоръ; что, несмотря на всю уродливость и фальшивость его формъ, въ немъ отчетливо выразилось столкновеніе двухъ энергическихъ характеровъ.

То же самое съ необыкновенною ясностью указываетъ намъ поэтъ въ цѣломъ своемъ созданіи. Безпрестанно можетъ показаться, что дѣйствующія лица, и особенно Базаровъ, *комедію ломаютъ*, что они, какъ ученые собаки, *танцуютъ на заднихъ лапкахъ*; а между тѣмъ, изъ подъ этой видимости, какъ изъ-подъ прозрачнаго покрывала, читателю отчетливо видно, что чувства и дѣйствія, лежащія въ основаніи, совсѣмъ не собачьи, а чисто и глубоко человѣческія.

Вотъ съ какой точки зрѣнія всего вѣрнѣе можно оцѣнить дѣйствія и событія романа. Изъ-за всѣхъ шероховатостей, уродливостей, фальшивыхъ и напускныхъ формъ слышна глубокая жизненность всѣхъ явленій и лицъ, выводимыхъ на сцену. Если, напримѣръ, Базаровъ овладѣваетъ вниманіемъ и сочувствіемъ читателя, то вовсе не потому, что каждое его слово свято и каждое дѣйствіе справедливо, но именно потому, что въ сущности всѣ эти слова и дѣйствія вытекаютъ изъ живой души. По видимому, Базаровъ человѣкъ гордый, страшно самолюбивый и оскорбляющій другихъ своимъ самолюбіемъ; но читатель примиряется съ этой гордостью, потому что въ то же время въ Базаровѣ нѣтъ никакого самодовольства, самоулаженія; гордость не приноситъ ему никакого счастья. Базаровъ пренебрежительно и сухо обходится со своими родителями; но никто ни въ какомъ случаѣ не заподозритъ его въ улаженіи чувствомъ собственного превосходства или чувствомъ своей власти надъ ними; еще менѣе его можно упрекнуть въ злоупотребленіи этимъ превосходствомъ и этою властью. Онъ, просто, отказывается отъ нѣжныхъ отношеній къ родителямъ, да и отказывается неполнѣ. Выходитъ что-

то странное: онъ неразговорчивъ съ отцомъ, подсмѣивается надъ нимъ, рѣзко уличаетъ его либо въ невѣжествѣ, либо въ нѣжничаньи; а между тѣмъ отецъ не только не оскорбляется, а радъ и доволенъ. «Насмѣшки Базарова нисколько не смущали Василія Ивановича; онъ даже утѣшали его. «Придерживая свой засаленный шлафрокъ двумя пальцами «на желудкѣ и покуривая трубочку, онъ съ наслажденіемъ «слушалъ Базарова, и чѣмъ болѣе злости было въ его вы-«ходкахъ, тѣмъ добродушнѣе хохоталъ, выказывая всѣ свои «черные зубы, его осчастливленный отецъ». Таковы чудеса любви! Никогда мягкій и добродушный Аркадій не могъ такъ *осчастливить* своего отца, какъ Базаровъ осчастливилъ своего. Базаровъ, конечно, самъ очень хорошо чувствуетъ и понимаетъ это. Зачѣмъ же ему было еще нѣжничать съ отцомъ и измѣнять своей непреклонной послѣдовательности!

Базаровъ вовсе не такой сухой человѣкъ, какъ можно бы думать по его внѣшнимъ поступкамъ и по складу его мыслей. Въ жизни, въ отношеніяхъ къ людямъ Базаровъ не послѣдователенъ себѣ; но въ этомъ самомъ и обнаруживается его жизненность. Онъ любитъ людей. «Странное существо человѣкъ», говоритъ онъ, замѣтивъ въ себѣ присутствіе этой любви,—«хочется съ людьми возиться, хотъ ругать ихъ, да возиться съ ними». Базаровъ не есть отвлеченный теоретикъ, порѣшившій всѣ вопросы и совершенно успокоившійся на этомъ рѣшеніи. Въ такомъ случаѣ онъ былъ бы уродливымъ явленіемъ, каррикатурою, а не человѣкомъ. Вотъ почему, несмотря на всю свою твердость и послѣдовательность въ словахъ и дѣйствіяхъ, Базаровъ легко волнуется, все его задѣваетъ, все на него дѣйствуетъ. Эти волненія не измѣняютъ ни въ чемъ его взгляда и его намѣреній; большею частью, они только возбуждаютъ его желчь, озлобляютъ его. Однажды онъ держитъ своему другу Аркадію такую рѣчь: «вотъ ты сегодня сказалъ, проходи мимо избы вашего «старосты Филиппа—она такая славная, бѣлая—вотъ, ска-«зать ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у «послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій «изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненави-«дѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для

«котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже «спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну «будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти «будетъ; ну, а дальше?» Не правда ли, какія ужасныя, возмутительныя рѣчи?

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ нихъ Базаровъ дѣлаетъ еще хуже; онъ обнаруживаетъ поползновеніе задуть своего нѣжнаго пріятеля, Аркадія, задуть такъ, ни съ того, ни съ сего, и въ видѣ пріятной пробы уже растопыриваетъ свои длинныя и жесткіе пальцы...

Отчего же все это ни мало не вооружаетъ читателя противъ Базарова? Казалось бы, чего хуже? А между тѣмъ, впечатлѣніе, производимое этими случаями, служитъ не во вредъ Базарову, до того не во вредъ, что самъ г. Антоновичъ (разительное доказательство!), который для того, чтобы доказать коварное намѣреніе Тургенева очернить Базарова, съ чрезмѣрнымъ усердіемъ перетолковываетъ въ немъ все въ дурную сторону, — совершенно упустилъ изъ виду эти случаи!

Что же это значитъ? Очевидно, Базаровъ, столь легко сходящійся съ людьми, столь живо интересующійся ими и столь легко начинающій питать къ нимъ злобу, самъ страдаетъ отъ этой злобы болѣе, чѣмъ тѣ, къ кому она относится. Эта злоба не есть выраженіе нарушеннаго эгоизма или оскорбленнаго себялюбія, она есть выраженіе страданія, томленія, производимое отсутствіемъ любви. Несмотря на всѣ свои взгляды, Базаровъ жаждетъ любви къ людямъ. Если эта жажда проявляется злобою, то такая злоба составляетъ только обратную сторону любви. Холоднымъ, отвлеченнымъ человекомъ Базаровъ быть не могъ; его сердце требовало полноты, требовало чувствъ; и вотъ онъ злится на другихъ, но чувствуетъ, что ему еще больше слѣдуетъ злиться на себя.

Изъ всего этого видно, по крайней мѣрѣ, какую трудную задачу взялъ и, какъ мы думаемъ, выполнилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ Тургеневъ. Онъ изобразилъ жизнь подъ мертвящимъ вліяніемъ теорій; онъ далъ намъ живого человека, хотя этотъ человекъ, по видимому, самъ себя безъ остатка воплотилъ въ отвлеченную формулу. Отъ этого романъ, если его судить поверхностно, мало понятенъ, предъ-



ставляетъ мало симпатическаго и какъ-будто весь состоитъ изъ неяснаго логическаго построенія; но въ сущности, на самомъ дѣлѣ,—онъ великолѣпно ясенъ, необыкновенно увлекателенъ и трепещетъ самую теплую жизнь.

Почти нѣтъ нужды объяснять, почему Базаровъ вышелъ и долженъ былъ выйти теоретикомъ. Всѣмъ извѣстно, что наши *живые* представители, что «носители думъ» нашихъ поколѣній уже съ давняго времени отказываются быть *практиками*, что дѣятельное участіе въ окружающей ихъ жизни для нихъ издавна было невозможно. Въ этомъ смыслѣ Базаровъ есть прямой, непосредственный подражатель Онѣгинныхъ, Печориныхъ, Рудинныхъ, Лаврецкихъ. Точно такъ, какъ они, онъ живетъ пока въ умственной сферѣ и на нее тратитъ душевныя силы. Но въ немъ жажда дѣятельности уже дошла до послѣдней, крайней степени; его теорія вся состоитъ въ прямомъ требованіи дѣла; его настроеніе таково, что онъ неизбѣжно схватится за это дѣло при первомъ удобномъ случаѣ.

Лица, окружающія Базарова, безсознательно чувствуютъ въ немъ живого человѣка; вотъ почему къ нему обращено столько привязанностей, сколько не сосредоточиваетъ на себѣ ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа. Не только отецъ и мать вспоминаютъ и молятся о немъ съ безконечной и невыразимой нѣжностью; воспоминаніе о Базаровѣ, безъ сомнѣнія, и у другихъ лицъ соединено съ любовью; въ минуту счастья Катя и Аркадій чокаются «въ память Базарова».

Таковъ образъ Базарова и для насъ. Онъ не есть существо ненавистное, отталкивающее своими недостатками; напротивъ, его мрачная фигура величава и привлекательна.

Какой же смыслъ романа? спросятъ любители голыхъ и точныхъ выводовъ. Составляетъ ли, по вашему, Базаровъ предметъ для подражанія? Или же, скорѣе, его неудачи и шероховатости должны научить Базаровыхъ не впадать въ ошибки и крайности настоящаго Базарова? Однимъ словомъ, написанъ ли романъ *за* молодое поколѣніе, или *противъ* него? Прогрессивный онъ, или ретроградный?

Если ужъ дѣло такъ настоятельно идетъ о намѣреніяхъ

автора, о томъ, чему онъ хотѣлъ научить и отъ чего отучить, то на эти вопросы слѣдуетъ, какъ кажется, отвѣчать такъ: дѣйствительно, Тургеневъ хочетъ быть поучительнымъ, но при этомъ онъ выбираетъ задачи, которыя гораздо выше и труднѣе, чѣмъ вы думаете. Написать романъ съ прогрессивнымъ или ретрограднымъ направленіемъ еще вещь нетрудная. Тургеневъ же имѣлъ притязанія и дерзость создать романъ, имѣющій *всевозможныя* направленія; поклонникъ вѣчной истины, вѣчной красоты, онъ имѣлъ гордую цѣль во временномъ указать на вѣчное и написать романъ не прогрессивный и не ретроградный, а, такъ сказать, *всегдашній*. Въ этомъ случаѣ его можно сравнить съ математикомъ, старающимся найти какую-нибудь важную теорему. Положимъ, что онъ нашелъ, наконецъ, эту теорему; неправда ли, что онъ долженъ быть сильно удивленъ и озадаченъ, если бы къ нему вдругъ приступили съ вопросами: да какая твоя теорема—прогрессивная или ретроградная? Сообразна ли она съ *новымъ* духомъ, или же угождаетъ *старому*?

На такія рѣчи онъ могъ бы отвѣчать только такъ: ваши вопросы не имѣютъ никакого смысла, никакого отношенія къ моему дѣлу: моя теорема есть *вѣчная истина*.

Увы! на жизненныхъ браздахъ,  
По тайной волѣ провидѣнья,  
Мгновенной жатвой—поколѣнья  
Восходятъ, зрѣютъ и падаютъ;  
Другія ямъ во слѣдъ идутъ...

*Смѣна поколѣній*—вотъ наружная тема романа. Если Тургеневъ изобразилъ не всѣхъ отцовъ и дѣтей, или не *тѣхъ* отцовъ и дѣтей, какихъ хотѣлось бы другимъ, то *вообще* отцовъ и *вообще* дѣтей, и отношеніе между этими двумя поколѣніями онъ изобразилъ превосходно. Можетъ быть, разница между поколѣніями никогда не была такъ велика, какъ въ настоящее время, а потому и отношеніе ихъ обнаружилось особенно рѣзко. Какъ бы то ни было, для того, чтобы измѣрять разницу между двумя предметами, нужно употребить одну и ту же мѣрку для обоихъ; чтобы рисовать картину, нужно взять изображаемые предметы съ одной точки зрѣнія, общей для всѣхъ ихъ.

Эта одинаковая мѣра, эта общая точка зрѣнія у Тургенева есть *жизнь человѣческая*, въ самомъ широкомъ и полномъ ея значеніи. Читатель его романа чувствуетъ, что за миражемъ вѣщныхъ дѣйствій и сценъ льется такой глубокой, такой неистощимый потокъ жизни, что все эти дѣйствія и сцены, все лица и событія ничтожны передъ этимъ потокомъ.

Если мы такъ поймемъ романъ Тургенева, то, можетъ быть, передъ нами всего яснѣе обнаружится и то нравоученіе, котораго мы добиваемся. Нравоученіе есть, и даже весьма важное, потому что истина и поэзія всегда поучительны.

Глядя на картину романа спокойнѣе и въ нѣкоторомъ отдаленіи, мы легко замѣтимъ, что, хотя Базаровъ головою выше всѣхъ другихъ лицъ, хотя онъ величественно проходитъ по сценѣ, торжествующій, покланяемый, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однако же, что-то, что въ цѣломъ стоитъ выше Базарова. Что же это такое? Всмотриваясь внимательнѣе, мы найдемъ, что это высшее—не какія-нибудь лица, а та *жизнь*, которая ихъ воодушевляетъ. Выше Базарова—тотъ страхъ, та любовь, тѣ слезы, которыя онъ внушаетъ. Выше Базарова—та сцена, по которой онъ проходитъ. Обаяніе природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская, *даже* религія, все это—живое, полное, могущественное,—составляетъ фонъ, на которомъ рисуется Базаровъ. Этотъ фонъ такъ ярокъ, такъ сверкаетъ, что огромная фигура Базарова вырѣзывается на немъ отчетливо, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мрачно. Тѣ, которые думаютъ, что, ради умышеннаго осужденія Базарова, авторъ противопоставляетъ ему какое-нибудь изъ своихъ лицъ, напримѣръ, Павла Петровича, или Аркадія, или Одинцова, —странно ошибаются. Все эти лица ничтожны въ сравненіи съ Базаровымъ. И, однако же, жизнь ихъ, человѣческій элементъ ихъ чувствъ—не ничтожны.

Не будемъ говорить здѣсь объ описаніи природы, той русской природы, которую такъ трудно описывать, и на описаніе которой Тургеневъ такой мастеръ. Въ новомъ романѣ онъ таковъ же, какъ и прежде. Небо, воздухъ, поля, деревья, даже лошади, даже цыплята—все схвачено живописно и точно.



Возьмемъ прямо людей. Что можетъ быть слабѣе и незначительнѣе юнаго пріятеля Базарова, Аркадія?—Онъ, по видимому, подчиняется каждому встрѣчному вліянію; онъ—обыкновеннѣйшій изъ смертныхъ. Между тѣмъ, онъ милъ чрезвычайно. Великодушное волненіе его молодыхъ чувствъ, его благородство и чистота—подмѣчены авторомъ съ большою тонкостью и обрисованы отчетливо. Николай Петровичъ, какъ и слѣдуетъ,—настоящій отецъ своего сына. Въ немъ нѣтъ ни единой яркой черты и хорошаго только одно, что онъ человѣкъ, хотя и простѣйшій человѣкъ. Далѣе, что можетъ быть пустѣе Оенички? «Прелестно было»—говоритъ авторъ—«выраженіе ея глазъ, когда она глядѣла какъ бы исподлобья, «да посмѣивалась ласково и немножко глупо». Самъ Павелъ Петровичъ называетъ ее *пустымъ существомъ*. И, однако же, эта глупенькая Оеничка набираетъ чуть ли не больше поклонниковъ, чѣмъ умница Одинцова. Ее не только любитъ Николай Петровичъ, но въ нее, отчасти, влюбляется и Павелъ Петровичъ, и самъ Базаровъ. И, однако же, эта любовь и эта влюбленность суть истинныя и дорогія человѣческія чувства. Наконецъ, что такое Павелъ Петровичъ, щеголь, франтъ съ сѣдыми волосами, весь погруженный въ заботы о туалетѣ? Но и въ немъ, несмотря на видимую извращенность, есть живыя и даже энергически звучащія сердечныя струны.

Чѣмъ дальше мы идемъ въ романѣ, чѣмъ ближе къ концу драма, тѣмъ мрачнѣе и напряженнѣе становится фигура Базарова, но вмѣстѣ съ тѣмъ, все ярче и ярче фонъ картины. Созданіе такихъ лицъ, какъ отецъ и мать Базарова, есть истинное торжество таланта. По видимому, что можетъ быть ничтожнѣе и негоднѣе этихъ людей, отжившихъ свой вѣкъ и со всѣми предразсудками старины уродливо дряхлѣющихъ среди новой жизни? А между тѣмъ, какое богатство *простыхъ* человѣческихъ чувствъ! Какая глубина и ширина душевныхъ явленій—среди обыденнѣйшей жизни, не подымающейся ни на волосъ выше самаго низменнаго уровня!

Когда же Базаровъ заболѣваетъ, когда онъ заживо гниетъ и непреклонно выдерживаетъ жестокую борьбу съ бо-

лѣзною, жизнь, его окружающая, становится тѣмъ напряженнѣе и ярче, чѣмъ мрачнѣе самъ Базаровъ. Одинцова прѣзжаетъ проститься съ Базаровымъ; вѣроятно, ничего великодушнѣе она не сдѣлала и не сдѣлаетъ во всю жизнь. Что же касается до отца и матери, то трудно найти что-нибудь болѣе трогательное. Ихъ любовь вспыхиваетъ какими-то молніями, мгновенно потрясающими читателя; изъ ихъ простыхъ сердець какъ-будто вырываются безконечно жалобные гимны, какіе-то безпредѣльно глубокіе и нѣжные вопли, неотразимо хватающіе за душу.

Среди этого свѣта и этой теплоты умираетъ Базаровъ. На минуту въ душѣ его отца закипаетъ буря, страшнѣе которой ничего быть не можетъ. Но она быстро затихаетъ, и снова все становится свѣтло. Самая могила Базарова озарена свѣтомъ и миромъ. Надъ нею поютъ птицы, и на нее льются слезы...

Итакъ, вотъ оно, вотъ то таинственное нравоученіе, которое вложилъ Тургеневъ въ свое произведеніе. Базаровъ отворачивается отъ природы; не коритъ его за это Тургеневъ, а только рисуетъ природу во всей красотѣ. Базаровъ не дорожитъ дружбою и отрекается отъ романтической любви; не порочитъ его за это авторъ, а только изображаетъ дружбу Аркадія къ самому Базарову и его счастливую любовь къ Катѣ. Базаровъ отрицаетъ тѣсныя связи между родителями и дѣтьми; не упрекаетъ его за это авторъ, а только развѣтываетъ передъ нами картину родительской любви. Базаровъ чуждается жизни; не выставляетъ его авторъ за это злодѣемъ, а только показываетъ намъ жизнь во всей ея красотѣ. Базаровъ отвергаетъ поэзію; Тургеневъ не дѣлаетъ его за это дуракомъ, а только изображаетъ его самого со всею роскошью и проникательностью поэзіи.

Однимъ словомъ, Тургеневъ стоитъ за вѣчныя начала человѣческой жизни, за тѣ основные элементы, которые могутъ безконечно измѣнять свои формы, но въ сущности всегда остаются неизмѣнными. Что же мы сказали? Выходитъ, что Тургеневъ стоитъ за то же, за что стоятъ все поэты, за что необходимо стоитъ каждый истинный поэтъ. И, слѣдовательно, Тургеневъ въ настоящемъ случаѣ поставилъ себя вы-

ше всякаго упрека въ задней мысли; каковы бы ни были частныя явленія, которыя онъ выбралъ для своего произведенія, онъ разсматриваетъ ихъ съ самой общей и самой высокою точки зрѣнія.

Общія силы жизни—вотъ на что устремлено все его вниманіе. Онъ показалъ намъ, какъ воплощаются эти силы въ Базаровъ, въ томъ самомъ Базаровъ, который ихъ отрицаетъ; онъ показалъ намъ, если не болѣе могущественное, то болѣе открытое, болѣе явственное воплощеніе ихъ въ тѣхъ простыхъ людяхъ, которые окружаютъ Базарова. Базаровъ—это титанъ, возставшій противъ своей матери-земли; какъ ни велика его сила, она только свидѣтельствуетъ о величій силы, его породившей и питающей, но не равняется съ матернею силою.

Какъ бы то ни было, Базаровъ все-таки побѣжденъ; побѣжденъ не лицами и не случайностями жизни, но самую идею этой жизни. Такая идеальная побѣда надъ нимъ возможна была только при условіи, чтобы ему была отдана всевозможная справедливость, чтобы онъ былъ возвеличенъ настолько, насколько ему свойственно величіе. Иначе въ самой побѣдѣ не было бы силы и значенія.

Гоголь объ своемъ «Ревизорѣ» говорилъ, что въ немъ есть одно честное лицо—смѣхъ; такъ точно объ «Отцахъ и дѣтяхъ» можно сказать, что въ нихъ есть лицо, стоящее выше всѣхъ лицъ и даже выше Базарова—жизнь. Эта жизнь, поднимающаяся выше Базарова, очевидно, была бы тѣмъ мельче и низменнѣе, чѣмъ мельче и низменнѣе былъ бы Базаровъ—главное лицо романа.

Перейдемъ теперь отъ поэзіи къ прозѣ: нужно всегда строго различать эти двѣ области. Мы видѣли, что, какъ поэтъ, Тургеневъ на этотъ разъ является намъ безукоризненнымъ. Его новое произведеніе есть истинно поэтическое дѣло и, слѣдовательно, носить въ себѣ самомъ свое полное оправданіе. Всѣ сужденія будутъ фальшивы, если они основываются на чемъ-нибудь другомъ, кромѣ самого творенія поэта. Между тѣмъ поводовъ къ такимъ фальшивымъ сужденіямъ въ настоящемъ случаѣ скопилось много. И до выхода, и послѣ выхода романа дѣлались болѣе или менѣе явственные намеки,



что Тургеневъ писалъ его съ заднею мыслью, что онъ недоволенъ новыми поколѣніемъ и хочетъ покарать его. Публичнымъ же представителемъ новаго поколѣнія, судя по этимъ указаніямъ, служилъ для него «Современникъ». Такъ что романъ представляетъ будто бы не что иное, какъ открытую битву съ «Современникомъ».

Все это, по видимому, похоже на дѣло. Конечно, Тургеневъ ничѣмъ не обнаружилъ ничего похожего на полемику; самый романъ такъ хорошъ, что на первый планъ побѣдно выступаетъ чистая поэзія, а не постороннія мысли. Но зато, тѣмъ явственнѣе обнаружился въ этомъ случаѣ «Современникъ». Вотъ уже полтора года, какъ онъ враждуетъ съ Тургеневымъ и преслѣдуетъ его выходками, или прямыми, или даже незамѣтными для читателей. Наконецъ, статья г. Антоновича объ «Отцахъ и дѣтяхъ» есть уже не просто разрывъ, а полная баталія, данная Тургеневу «Современникомъ».

Положимъ, что «Современникъ» имѣетъ въ себѣ много базаровскаго, что онъ можетъ принять на свой счетъ то, что относится къ Базарову. Если даже такъ, если даже принять, что весь романъ написанъ только въ пику «Современнику», то и въ такомъ превратномъ и недостойномъ поэта смыслъ все-таки побѣда остается на сторонѣ Тургенева. Въ самомъ дѣлѣ, если въ чемъ могла существовать вражда между Тургеневымъ и «Современникомъ», то, конечно, въ нѣкоторыхъ идеяхъ, во взаимномъ непониманіи и несогласіи мыслей. Положимъ (все это, просимъ замѣтить, одни предположенія), что разногласіе произошло въ разсужденіи искусства и заключалось въ томъ, что Тургеневъ цѣнилъ искусство гораздо выше, чѣмъ это допускали основныя стремленія «Современника». Отъ этого «Современникъ» и началъ, положимъ, преслѣдовать Тургенева. Что же сдѣлалъ Тургеневъ? Онъ создалъ Базарова, т. е. онъ показалъ, что понимаетъ идеи «Современника», и при томъ онъ постарался блескомъ поэзіи, глубокими отзывами на теченіе жизни подняться на болѣе свѣтлую и высокую точку зрѣнія.

Очевидно, побѣда на сторонѣ Тургенева. Трудно, вѣдь, справиться съ поэтомъ! Вы отвергаете поэзію? Это возможно

только въ теоріи, въ отвлеченіи, на бумагѣ. Нѣтъ, попробуйте отвергнуть ее въ дѣйствительности, когда она васъ самихъ схватитъ, живьемъ воплотитъ васъ въ свои образы и покажетъ васъ всѣмъ въ своемъ неотразимомъ свѣтѣ! Вы думаете, что поэтъ отсталъ, что онъ дурно понимаетъ ваши высокія мысли? Попробуйте же сказать это тогда, когда поэтъ изобразитъ васъ не только въ вашихъ мысляхъ, но и во всѣхъ движеніяхъ вашего сердца, во всѣхъ тайнахъ вашего существа, которыхъ вы сами не замѣчали!

Все это, какъ мы уже говорили, одни чистыя предположенія. Въ самомъ дѣлѣ, мы не имѣемъ причины обижать Тургенева, предполагая въ его романѣ заднія мысли и постороннія цѣли. Эти мысли и эти цѣли до тѣхъ поръ недостойны поэта, пока онѣ не просвѣтлѣютъ, не проникнутся поэзіею, не потеряютъ своего чисто временнаго и частнаго характера. Если бы этого не было, то не было бы и никакой поэзіи.

(Время 1862. Апрель).

---

## II.

**Дымъ**, повѣсть. Русскій Вѣстникъ 1867, мартъ.

Главный герой этой повѣсти есть, очевидно, Литвиновъ; его чувствамъ, волненіямъ и дѣйствіямъ отведено въ разсказѣ самое большое мѣсто; ему достается то, что достается только избраннымъ, именно, любовь—даже не одной, а двухъ, далеко выдающихся надъ общимъ уровнемъ женщинъ ослѣпительной Ирины и ангельской Татьяны; наконецъ, изъ его мыслей, изъ его разсужденій о собственныхъ его приключеніяхъ, взято и самое слово «Дымъ», которымъ такъ много-знаменательно обозначена повѣсть.

Итакъ, хотя ошибка невольно напрашивается, но ошибиться невозможно: Литвиновъ—главное лицо. Что же это за герой?

Подобно прежнимъ гороямъ г. Тургенева, это мелкопомѣстный владѣлецъ, человѣкъ средней руки; подобно прежнимъ героямъ, онъ взятъ въ цвѣтущую эпоху жизни—главныя событія совершаются съ нимъ, когда ему наступаетъ тридцать лѣтъ. Но затѣмъ начинается новое. Литвиновъ, какъ оказывается, человѣкъ *положительный* (стр. 127), *предусмотрительный, благоразумный* (стр. 108), *честный и справедливый* (стр. 95), *человѣкъ прямой и всегда говорящій правду* (стр. 72), *человѣкъ живой, а не мертвая кукла* (стр. 67 и стр. 74), *дѣльный, нѣсколько самоуверенный малый* (стр. 8), *спокойный и простой* (стр. 11).

Вотъ какими похвальными чертами рисуется герой. Онъ стоитъ далеко выше окружающей его толпы юношей, такъ что и смѣло обрываетъ ихъ, какъ власть имущій, и возбуж-



даетъ ихъ удивленіе. Восторженный Бамбаевъ такъ говоритъ о немъ съ пріятелями: «Видите вы этого человѣка? Это каменъ! Это скала!! Это гранить!!!» (стр. 86).

Ну, а дальше? Какіе взгляды, какіе вкусы у этого человѣка? По тщательномъ изслѣдованіи оказывается, что Литвиновъ не имѣетъ никакихъ политическихъ убѣжденій (стр. 19) и равнодушенъ къ родной словесности (стр. 147). У этого положительнаго человѣка существуетъ, однако же, одно пристрастіе. «Поживъ въ деревнѣ, онъ пристрастился къ хозяйству», и потому отправился за границу и тамъ четыре года изучалъ агрономію и технологію (стр. 10).

Вотъ вамъ и весь герой. Въ немъ ничего нѣтъ, кромѣ благоразумія и честности. Этому человѣку нѣ о чемъ думать и нечего говорить, и онъ, дѣйствительно, ничего не говоритъ, а только слушаетъ, что говорятъ другіе. Совершенно ясно, что, несмотря на похвалы, расточаемыя Литвинову и авторомъ, и другими лицами, авторъ не могъ даже порядочно заинтересоваться такою будничною, безцвѣтною личностію. Тургеневу ли не знать, какъ рисуются интересныя лица, Рудины, Базаровы, какъ схватывается въ нихъ каждая черта, каждое слово, каждое движеніе и какъ все вмѣстѣ составляетъ отчетливый, ясный образъ! Въ отношеніи къ Литвинову авторъ и не пытается сдѣлать что-либо подобное, и образа передъ нами никакого нѣтъ.

Между тѣмъ, вѣдь, ясно, что въ немъ авторъ хотѣлъ изобразить одного изъ представителей современной молодежи, изъ тѣхъ трезвыхъ или отрезвленныхъ людей, которые теперь нужны для Россіи, которые имѣютъ принести пользу своимъ землякамъ (стр. 10), которымъ въ настоящую минуту принадлежитъ дѣятельность, жизнь, будущность. Но, какъ видно, не знаетъ этихъ людей художникъ, или и знаетъ, да нѣтъ у него къ нимъ сердечнаго вниманія.

Съ Литвиновымъ, судя по его натурѣ, не должно бы случаться никакихъ особыхъ приключеній; «но», какъ замѣчаетъ авторъ, «природа не справляется съ логикой, съ нашею человѣческою логикой; у ней есть своя, которой мы не понимаемъ и не признаемъ до тѣхъ поръ, пока она насъ, какъ колесомъ, не переѣдетъ» (стр. 127). Вотъ въ силу та-

кого-то, таинственного, но всемогущаго и неотразимаго дѣйствія природы (мысль истинно-поэтическая!) и сбылись съ Литвиновымъ происшествія, о которыхъ рассказываетъ повѣсть.

Представительницею таинственной природы является нѣкоторая Ирина и по справедливости приковывается къ себѣ все вниманіе художника и все сочувствіе читателей. Ирина весьма сильно заинтересовалась Литвиновымъ—гораздо сильнѣе, чѣмъ интересуются имъ и авторъ и читатели,—и тѣмъ чуть-было не погубила героя. Два раза она сходится съ Литвиновымъ: въ первый разъ она чуть не вышла за него замужъ, во второй разъ чуть не убѣжала съ нимъ отъ своего мужа. И въ томъ и въ другомъ случаѣ гибель Литвинова была бы неизбежна. Въ самомъ дѣлѣ, и въ томъ и въ другомъ случаѣ Литвиновъ отдается Иринѣ весь, всѣмъ существомъ своимъ; Ирина же скоро чувствуетъ, что не можетъ отдаться Литвинову вся, всѣми своими мыслями, чувствами и потребностями. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, Литвиновъ цѣликомъ заполненъ только частью Ирины, только внѣшнею ея прелестью, обаяніемъ красоты; души ея онъ не понимаетъ и по складу своего ума совершенно не способенъ понять ее и сродниться съ нею. Такимъ образомъ, послѣ того, какъ два раза эта женщина обращала на него порывы своей страстности, послѣ того, какъ онъ даже владѣлъ ею, она все-таки не стала для него понятною и знакомою: черезъ два года въ его душѣ Ирина «поблѣднѣла и скрылась, и только *смутно* чувствовалъ Литвинову *что-то опасное* подъ туманомъ, постепенно окутавшимъ ея образъ» (стр. 153).

Въ первый разъ, когда Иринѣ довелось сойтись съ Литвиновымъ, она была семнадцатилѣтней дѣвушкой, а онъ двадцатилѣтнимъ юношей, студентомъ. Красота Ирины была такъ поразительна, что «онъ влюбился въ нее, какъ только увидалъ ее» (стр. 36). Съ ея стороны, вѣроятно, было не то: любовь къ Литвинову явилась какъ отзывъ на его любовь, какъ первое пробужденіе женскаго сердца. Какъ бы то ни было, онъ счастливъ, онъ ея женихъ. Но въ дѣвушкѣ говорить еще другіе инстинкты. Она возмущается тѣмъ, что сама ходитъ замарашкой, что Литвиновъ часто бываетъ вовсе не distingué. Не то съ Литвиновымъ: «Ирина вполне завладѣла

«своимъ будущимъ женихомъ, да и онъ самъ охотно отдался ей въ руки. Онъ словно попалъ въ водоворотъ, словно потерялъ себя... Размышлять о значеніи, объ обязанностяхъ супружества, о томъ, *можетъ ли онъ, столь безвозвратно покоренный, быть хорошимъ мужемъ*, и какая выйдетъ изъ Ирины жена, и *правильны ли отношенія между ними*, онъ не могъ рѣшительно: кровь его загорѣлась, и онъ зналъ одно: идти за нею, съ нею, впередъ и «безъ конца, а тамъ будь, что будетъ!» (стр. 39).

И все-таки—какая сила и нѣжность въ чувствѣ Ирины! Наступаетъ минута испытанія—балъ въ дворянскомъ собраніи, гдѣ будетъ и дворъ. Ирина отказывается ѣхать. Такъ вѣрно знаетъ она себѣ цѣну, такъ хорошо понимаетъ, что можетъ случиться на этомъ балѣ. Для Литвинова она отказывается отъ дороги, открытой ей *въ высшій свѣтъ*.

Литвиновъ ничего не понимаетъ. Онъ самъ уговариваетъ Ирину ѣхать на балъ. Вѣроятно, и тогда уже мечтавшій объ агрономіи и равнодушный къ русской словесности, онъ не имѣетъ настолько воображенія, чтобы представить, что дѣлается и можетъ сдѣлаться въ душѣ Ирины, чтобы приревновать ее къ этому блеску, въ которомъ она будетъ жить нѣсколько часовъ, въ которомъ не онъ, а что-то другое можетъ до конца наполнить ея душу.

Его непониманіе раздражаетъ Ирину.

«— Помните», говоритъ она ему, «вы сами этого желали. Затѣмъ она требуетъ, чтобы его не было на балѣ.

«— Покоряюсь», отвѣчаетъ со вздохомъ Литвиновъ и, схватившись, прибавляетъ:—«Ирина, ты какъ-будто сердилась?»

«— О, нѣтъ, я не сержусь. Только ты... Она вперила въ него свои глаза, и ему показалось, что онъ еще никогда не «видалъ въ нихъ такого выраженія» (стр. 42).

Очевидно, въ этомъ недоконченномъ «ты»... и въ этомъ взглядѣ содержится приговоръ Литвинову. Ирина ищетъ надъ собою власти и управы и ясно чувствуетъ, что она не найдетъ ихъ въ Литвиновѣ. Уже совсѣмъ одѣтая на балъ, она еще разъ отдается во власть и распоряженіе его и опять встрѣчаетъ покорный отказъ. Тогда она уже перестаетъ и слушать его и глядѣть на него.



Несмотря на все это, Ирина ужасно страдаетъ; она плачетъ цѣлую ночь, она во всемъ обвиняетъ себя и пишетъ Литвинову, чтобы онъ простилъ ее, что она его не стоитъ.

Литвиновъ же, уже на третій день послѣ была, послѣ того, какъ Ирина дважды отказалась его видѣть, все еще ничего не понимаетъ.

«Ирина не хочетъ меня видѣть, безпрестанно вертѣлось «у него въ головѣ:—это ясно; но почему же? *Что такое могло произойти на этомъ злополучномъ балѣ?*»

И понимаетъ все только тогда, наконецъ, когда прочиталъ ея записку.

«Все это естественно», думаетъ онъ; «я всегда этого ожидалъ... (Онъ лгалъ передъ самимъ собою, замѣчаетъ авторъ: «онъ никогда ничего подобнаго не ожидалъ»)».

Онъ сомнѣвается въ ея страданіяхъ:

«Плакала?.. Она плакала... О чемъ она плакала? Вѣдь, «она не любила меня!» (стр. 47).

Но и въ самомъ порывѣ отчаянія онъ чувствуетъ ея превосходство.

«Она, она меня не стоитъ... Вотъ какъ!» (стр. 48).

Очевидно, еслибъ она рѣшилась удовольствоваться Литвиновымъ, то онъ былъ бы въ ея рукахъ, никогда бы ей не понялъ и былъ бы несчастливъ.

Проходитъ десять лѣтъ. Литвиновъ опять счастливъ. Онъ изучилъ агрономію и технологію; у него есть невѣста, подруга его дѣтства, Татьяна Шестова, которая, неизвѣстно зачѣмъ, можетъ быть, ради нѣкотораго довершенія образованія, тоже находится за границею, въ Дрезденѣ, гдѣ и приняла его предложеніе. Литвинову предстоитъ жениться и вступить на новое поприще, къ которому онъ вполне готовъ. Онъ спокоенъ и веселъ.

А Ирина? Ирина не нашла себѣ счастья. Она вступила въ высшій свѣтъ, и даже, въ силу какихъ-то странныхъ обстоятельствъ, на которыя авторъ набрасываетъ покровъ, заняла въ этомъ свѣтѣ высокое и твердое мѣсто. Это видно изъ того, какъ она помыкаетъ своимъ мужемъ, посылая его къ какому-то графу, котораго называетъ дуракомъ (стр. 70), изъ того, что презрительно смѣется надъ мужемъ, когда тотъ взду-

малъ приревновать ее (стр. 93), изъ того, что она общается Литвинову, если тотъ хочетъ, найти занятія въ Петербургѣ (стр. 134). Но, занимая высокое и твердое положеніе въ высшемъ свѣтѣ, Ирина глубоко несчастлива, потому что находитъ этотъ свѣтъ пустымъ, глупымъ и бездушнымъ. У нея нѣтъ въ немъ никакихъ привязанностей; единственный ея пріятель, Потугинъ, взятъ ею изъ другого міра. Это мелкій чиновникъ изъ семинаристовъ, человѣкъ, надломленный жизнью и глубоко симпатичный.

И вотъ они случайно встрѣчаются послѣ десятилѣтней разлуки. Литвиновъ все забылъ, душа его полна новыми чувствами и заботами. Ирина ничего не забыла; «среди блеска, который ее окружаетъ», она слѣдила за судьбою Литвинова, и никто не успѣлъ загладить и вытѣснить изъ ея души этого воспоминанія. Поэтому Литвиновъ встрѣчается съ нею холодно, а она ужасно ему обрадовалась.

Но при первой встрѣчѣ пустые аристократы, среди которыхъ онъ застаётъ ее, возмущаютъ его гордость, «его честную, плебейскую гордость» (стр. 58), въ которой, однако, слишкомъ много щекотливости и слишкомъ мало самоувѣренности, и онъ рѣшается нейти къ ней. Однако же и тутъ, несмотря на свою холодность и стѣсненіе, онъ не могъ не замѣтить душевной силы и прелести Ирины. «Почему», думаетъ онъ, «на ней не лежитъ того противнаго свѣтскаго отпечатка, которымъ такъ рѣзко отмѣчены всѣ тѣ другіе? Почему, ему сдается, она какъ-будто скучаетъ, или груститъ, или тяготится своимъ положеніемъ? Она въ ихъ станѣ, но «она не врагъ» (стр. 59).

Литвиновъ опять ничего не понимаетъ. «Литвиновъ взялся за книгу», пишетъ авторъ, вѣроятно, за агрономическую и, конечно, не нашелъ въ ней разъясненія своихъ мыслей.

А какъ должно было поразить Ирину то, что онъ идетъ къ ней! Когда, наконецъ, Потугинъ привелъ къ ней Литвинова, она такъ выражаетъ свою радость: «Наконецъ-то, наконецъ, одинъ человѣкъ, живой человѣкъ, который нашего ничего не знаетъ! И по русски можно съ нимъ говорить, хоть дурнымъ русскимъ языкомъ, да русскимъ, а не этимъ

вѣчнымъ, приторнымъ, противнымъ, петербургскимъ французскимъ языкомъ!» (стр. 67).

Но Литвиновъ начинаетъ чувствовать опасность и тяжело упирается. Онъ не кланяется Иринѣ, встрѣтивъ ее въ горахъ. Больно подстрекается это Ирину.

«Мнѣ стало», говоритъ она ему на третьемъ свиданіи, «уже слишкомъ невыносимо, нестерпимо, душно въ этомъ свѣтѣ, въ этомъ завидномъ положеніи, о которомъ вы говорите; встрѣтивъ васъ, живаго человека, послѣ всѣхъ этихъ мертвыхъ куколъ, я обрадовалась, какъ источнику въ пустынѣ»... (стр. 74).

«Я протягиваю къ вамъ руку, какъ нищая, я милостыни прошу, а вы...»

«Я требую малаго, очень малаго, только немножко участія, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести»... (стр. 75).

А что же Литвиновъ? «Онъ не могъ себѣ дать яснаго отчета въ томъ, что онъ ощущалъ». «Чудачки эти свѣтскія женщины, думалъ онъ; никакой въ нихъ нѣтъ послѣдовательности»... (стр. 76).

Происходитъ еще свиданіе, на которомъ Ирина показываетъ Литвинову большой свѣтъ, и затѣмъ все кончено. Литвиновъ не спитъ ночь въ тяжелыхъ думахъ. «Онъ еще удивлялся и недоумѣвалъ», пишетъ авторъ, «а вотъ уже передъ нимъ, словно изъ мягкой душистой мглы выступалъ плѣнительный обликъ, поднимались лучистыя рѣсницы—и тихо, неотразимо вонзались ему въ сердце волшебные глаза, и голосъ звенѣлъ сладостно, и блестящія плечи молодой царицы дышали свѣжестію и жаромъ нѣги»... (стр. 96).

Литвиновъ влюбленъ, какъ говорится, по уши.

Все ясно, все отчетливо въ душѣ Ирины. Пусть читатели перечтутъ тѣ немногія, но удивительныя страницы, гдѣ она является на сцену. Она не даромъ говоритъ Литвинову при первой же встрѣчѣ, что она «ни въ чемъ не перемѣнилась». Какая искренность, простота въ каждомъ ея словѣ! Сколько задушевности, теплоты, живой, такъ сказать, горячей прелести!

Напротивъ, все смутно и тяжело въ душѣ Литвинова.



Онъ отдается страстному чувству не свободно, не радуясь этому наплыву и избытку жизни, а стараясь подавить его и сохранить свое спокойствіе. Дѣло въ томъ, что любовь Литвинова только половинчатая. Онъ не сочувствуетъ, не сострадаетъ Иринѣ, онъ скорѣе боится ея и смотритъ на нее, какъ на существо болѣе сильное. Его покорила одна ея красота. Опять онъ чувствуетъ, какъ въ Москвѣ, что онъ попалъ въ руки Ирины, что онъ «тотчасъ попалъ въ водоворотъ» (стр. 97).

Литвиновъ понимаетъ, что ему слѣдуетъ ѣхать, но онъ хитритъ самъ съ собою, какъ хитрятъ люди влюбленные, и идетъ къ Иринѣ, по видимому, съ тѣмъ, чтобы проститься, а втайнѣ съ тѣмъ, чтобы признаться ей въ любви и посмотреть, что будетъ. Дѣйствіе, произведенное признаніемъ на Ирину, опять совершенно ясное и отчетливое; на лицѣ ея, ея, закрытомъ руками, происходило вотъ что: «и страхъ и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможеніе и тревогу; глаза едва мерцали изъ-подъ нависшихъ вѣкъ, и протяжное, прерывистое дыханіе холодило раскрытыя, словно жаждавшія губы»...

Когда, черезъ два часа, онъ вернулся къ ней, она съ своей стороны признается ему въ любви. Дѣйствіе, произведенное на него признаніемъ, вполне сообразно съ его состояніемъ. «Литвиновъ пошатнулся, словно кто его въ грудь ударилъ». И далѣе: «онъ задышался: восторгъ, но восторгъ безотрадный и безнадежный, давилъ и рвалъ его грудь» (стр. 103).

Послѣ признаній Литвиновъ рѣшается ѣхать, потому что, какъ сказала Ирина, оставаться опасно, страшно... Литвиновъ, конечно, и уѣхалъ бы, точно такъ, какъ онъ уѣхалъ черезъ три дня. Но не такъ рѣшила Ирина. Она идетъ къ Литвинову, и тотъ «побѣжденъ, но бѣжденъ внезапно...» (стр. 105).

Въ ней загорѣлась удивительная нѣжность къ этому человеку. Ей было ужасно жаль его и тогда, изъ Москвѣ, и теперь, и вотъ она рѣшилась всѣмъ пренебречь, всѣмъ пожертвовать, чтобы только его осчастливить (стр. 129). Чувства Ирины вполне выражаются въ словахъ, сказанныхъ ею Литвинову на другой день.

«— О, мой милый! ты не знаешь, какъ я тебя люблю, но вчера я только долгъ свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ахъ! я не могла отдать тебѣ мою молодость, какъ бы я хотѣла, но никакихъ обязанностей я не наложила на тебя, ни отъ какого обѣщанія я не разрѣшила тебя, мой милый! Дѣлай, что хочешь; ты свободенъ, какъ воздухъ, ты ничѣмъ, ничѣмъ не связанъ; знай это, знай!» (стр. 114).

Какая беззавѣтная, безконечная нѣжность! Въ отвѣтъ на эти слова Литвиновъ говорить:

«Но я не могу жить безъ тебя, Ирина; я твой на вѣки и навсегда со вчерашняго дня... Только у ногъ твоихъ я могу дышать»...

«Онъ трепетно припалъ къ ея рукамъ. Ирина посмотрѣла на его наклоненную голову».

«— Ну, такъ знай же, что и я не пожалѣю никого и ничего. Какъ ты рѣшишь, такъ и будетъ. Я тоже на вѣкъ твоя... твоя».

Итакъ, любовь, всеильная страсть покорила себѣ эти существа и взяла верхъ надъ всѣми прежними связями и отношеніями. Литвиновъ отказывается отъ своей невѣсты и своей будущности. Ирина нарушила свой супружескій долгъ и готова покинуть свое блестящее положеніе.

Но что же дѣлать дальше? На минуту страсть покрывала все и не даетъ любящимся видѣть своего положенія. Но безвыходность этого положенія должна же раскрыться, и она раскрывается очень быстро, благодаря душевному разладу, происходящему въ душѣ Литвинова. Ирина весьма справедливо замѣчаетъ, что это «человѣкъ, который самъ не знаетъ, что происходитъ въ его душѣ» (стр. 130). И художникъ, правдиво изображающій безобразіе его чувствъ, невольно приходитъ къ заключенію, что «людямъ положительнымъ, въ родѣ Литвинова, не слѣдовало бы увлекаться страстью» (стр. 127). Въ самомъ дѣлѣ, Литвиновъ не хотѣлъ любить Ирину и полюбилъ; не хотѣлъ овладѣть ею и владѣлъ; не хотѣлъ отказываться отъ Татьяны и отказался. Надѣлавши такихъ дѣлъ, которыхъ не слѣдовало бы дѣлать, и весьма послѣдовательно считая себя за то воромъ и подлецомъ, Литвиновъ думаетъ поправить все тѣмъ, что увезетъ Ирину и навсегда

соединится съ нею, то есть думаетъ все поправить дѣломъ, которое всего менѣе слѣдуетъ ему дѣлать, которое окончательно погубило бы и его и Ирину.

Ирина согласна. Она первая написала ему, что готова пойти за нимъ на край свѣта. Но гдѣ же ему, такому слабому, «безвозвратно покоренному», съ такой сумятицею въ головѣ и сердцѣ, увлечь за собою такую сильную женщину! И потомъ, чѣмъ онъ наполнить ея жизнь, чѣмъ замѣнить тотъ блескъ, который теперь ее окружаетъ?

Литвиновъ колеблется и пишетъ Иринѣ письмо, въ которомъ проситъ подумать и «не брать на себя ношу не по плечамъ». Когда онъ потомъ приходитъ къ ней и заставши ее въ слезахъ, проситъ объявить ему приговоръ, она невольно мѣрятся глазами его душу.

«— Не гляди на меня такими глазами», говоритъ онъ ей... «Они напоминаютъ мнѣ прежніе московскіе глаза».

«Ирина вдругъ покраснѣла и отвернулась, какъ-будто сама чувствуя что-то неладное въ своемъ взорѣ» (стр. 139).

Литвиновъ, по обычаю, не понимаетъ, что приговоръ уже сказанъ. Но Иринѣ не хочется выйти изъ-подъ обаянія; она, плача, все обѣщаетъ Литвинову и начинаетъ ласкать его. «День нашъ—вѣкъ нашъ», говоритъ она благоразумному юношѣ, и тотъ ничего не возражаетъ на такое неблагоразумное правило.

И до того потерялся Литвиновъ, до того его отуманила страсть, что онъ не видитъ практической несбыточности дѣла, которое затѣялъ. Онъ попадаетъ въ комическое положеніе человѣка, несмѣющаго самому себѣ сознаться въ нелѣпости своихъ плановъ. По художественной правдивости, авторъ, столь много восхваляющій своего героя, изобразилъ, однако, его и въ эту минуту, изобразилъ съ сожалѣніемъ, но не безъ язвительности. Литвиновъ, положительный, практическій Литвиновъ идетъ къ банкиру занимать деньги! Потомъ играетъ въ рулетку; «и онъ, дѣйствительно», замѣчаетъ авторъ,—«округлилъ свой капиталъ, спустивъ излишніе двадцать восемь гульденовъ» (стр. 142). Разумъ его не былъ, однако, заглушенъ до конца, до полной слѣпоты. «Противъ его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало,



просачивалось сквозь всё его размышленія, точно самое его предпріятіе было шуточнымъ».

Такимъ оно и оказалось. Ирина написала ему, что не можетъ бѣжать съ нимъ, не въ силахъ оставить свѣтъ, въ которомъ она живетъ.

Послѣ бури, поднятой въ немъ этимъ письмомъ, Литвиновъ, наконецъ, принимаетъ твердое рѣшеніе уѣхать. (Вообще рѣшительности въ немъ очѣнь много, по словамъ автора). Онъ извѣщаетъ Ирину, что отказывается отъ нея и, дѣйствительно, уѣзжаетъ, то есть онъ поступаетъ, наконецъ, такъ, какъ слѣдуетъ и перестаетъ дѣлать то, чего дѣлать не слѣдовало.

Проходитъ два года. Литвиновъ опять счастливъ, какъ и слѣдуетъ быть счастливымъ человѣку положительному. Онъ мирится со своею прежнею невѣстою, женится на ней и благоденствуетъ, прилагая къ дѣлу свои агрономическія познанія.

А Ирина? Ирина по прежнему несчастлива, по прежнему блистаетъ въ большомъ свѣтѣ, по прежнему ненавидитъ и язвить его. Можетъ быть, она по прежнему даже слѣдитъ за Литвиновымъ; но только никого нѣтъ, кто-бы занялъ въ ея сердцѣ какое-нибудь мѣсто. Литвиновъ очень ошибся, когда въ порывѣ негодованія думалъ, что «его замѣнить тучный генералъ, или господинъ Финиковъ» (стр. 144).

Вотъ и вся басня новой повѣсти г. Тургенева. Чему же сія басня научаетъ? Кому въ ней сочувствовать и кого осуждать?

Не пожалѣть ли Литвинова? Но за что же? Очевидно, такимъ людямъ легко живется на бѣломъ свѣтѣ. Обыкновенное ихъ состояніе есть состояніе спокойствія, веселости и нѣкоторой самоувѣренности. Конечно, Ирина заставляетъ его нѣсколько страдать. Но у благоразумнаго юноши достало духу тогчасъ (черезъ три дня) оторваться отъ своей соблазнительницы, и затѣмъ вся эта исторія не оставила на немъ никакой мрачной тѣни, никакого неизгладимаго слѣда.

Другое дѣло Ирина. Она гораздо памятливѣе, и не питаетъ особенно свѣтлаго взгляда на жизнь. Когда Литвиновъ приходитъ къ ней послѣ своего мучительно-вырвавшагося признанія, она говоритъ ему:

«— Жить, вообще, не легко, Григорій Михайловичъ, какъ вы полагаете?» (стр. 102).

«— Какъ кому!» грубо отвѣчаетъ непроницательный юноша, желая намекнуть, что ей, вѣроятно, жить легко, а вотъ ему—такъ очень тяжело. Но, судя по правдивому изображенію художника, Принцъ не обошлись безъ страданій ея встрѣчи съ Литвиновымъ, и даже нѣтъ сомнѣнія, что на ея долю выпали болѣе жгучія, болѣе живыя мученія. Вспомните сцены, когда Потугинъ уводитъ ее отъ квартиры Литвинова, и когда она прибѣгаетъ къ отъѣзжающему вагону. Литвиновъ постоянно считаетъ себя правымъ и имѣющимъ на Ирину какія-то права; она же всегда кается, какъ виноватая, какъ нанесшая рану любимому существу.

Но Тургеневъ давно уже научилъ насъ, какъ судить въ подобныхъ случаяхъ. Мораль, которую онъ такъ долго проповѣдывалъ, которую онъ развилъ и разъяснилъ въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ произведеній, заключается въ томъ, что если мужчина не успѣваетъ вполне овладѣть женщиною, добиться отъ нея полной, беззавѣтной любви, то значитъ, онъ ея не стоитъ, онъ такъ слабъ, такъ малъ, что не можетъ наполнить собою ея душу. Слѣдовательно, Литвинову по дѣломъ досталось. Онъ пигмей передъ Ириной, какъ весьма выразительно и намекаетъ ему на это философствующій Потугинъ: «человѣкъ слабъ, женщина сильна» \*), говоритъ онъ ему въ видѣ предостереженія (стр. 84).

*Человѣкъ слабъ, женщина сильна; природа имѣетъ свою непостижимую для насъ логику*—вотъ единственная мораль нашей басни. Она извлечена изъ нашей русской жизни и показываетъ намъ, что у насъ бываютъ женщины, въ которыхъ природа воплощаетъ свою таинственную силу, женщины съ такимъ обиліемъ душевной мощи и прелести, съ такою сіяющею внутреннею и внѣшнею красотою, что передъ ними все покоряется, и высшій и низшій свѣтъ, какъ-будто передъ урожденными царицами, что Потугины и Литвиновы внезапно теряютъ передъ ними все свое благоразуміе

---

\*) Это неправильный переводъ съ французскаго: *l'homme est faible etc.* Правильно нужно перевести: *мужчина слабъ* и пр.

и рѣшительность. Эти женщины иногда изливаютъ избытокъ своей душевной жизни на такихъ людей, какъ Литвиновъ; но онѣ не могутъ навсегда остановиться на Литвиновыхъ, какъ-бы искренно этого ни хотѣли; надъ Финиковыми же и изящными генералами онѣ смѣются въ глаза, и потому остаются всю жизнь несчастными и страдающими, такъ какъ нигдѣ не находятъ себѣ полного отвѣта равноправной силы.

Итакъ, Тургеневъ къ числу прежнихъ своихъ женскихъ образовъ, которые онъ одинъ умѣетъ рисовать съ такимъ глубокимъ пониманіемъ, присоединилъ новый, который, по прелести и по несчастливой судьбѣ, станетъ рядомъ съ Нагашей (въ «Руднѣ»), Асей, Лизой (въ «Дворянскомъ гнѣздѣ»), Еленой (въ «Наканунѣ»)...

Но что же это? Куда мы зашли, слѣдуя, однако, по стопамъ поэта, руководясь его ясными указаніями? Мы пришли къ заключеніямъ, которыя прямо противорѣчатъ словамъ поэта, буквальнымъ выраженіямъ его повѣсти. Насколько всѣ лица повѣсти хвалятъ Литвинова, настолько же они осуждаютъ Ирину. Только самъ поэтъ, самъ рассказчикъ не рѣшился коснуться ея ни единымъ словомъ. Но, по словамъ Потугина, эта женщина *испорчена до мозга костей* (стр. 84); ея недовольство своимъ положеніемъ Литвиновъ называетъ *развращенною меланхоліею модной дамы* (стр. 142); наконецъ, сама она, вѣчно виноватая и вѣчно кающаяся Ирина, пишетъ, что *ядъ слишкомъ глубоко проникъ въ нее*, что видно нельзя безнаказанно въ теченіе многихъ лѣтъ дышать этимъ воздухомъ (стр. 143). И такимъ образомъ, вся повѣсть превращается, въ глазахъ Литвинова, въ рассказъ *о безнравственности высшаго свѣта и о гибели, уготовляемой свѣтскими дамами неопытнымъ юношамъ* (стр. 118).

Посмотримъ, однако, въ чемъ состоитъ эта испорченность, этотъ ядъ. Образъ Ирины далеко не дорисованъ художникомъ, но тѣ черты, которыя онъ успѣлъ набросать, очень ясны. Ирина любитъ роскошную, блестящую свѣтскую жизнь. Но роскошь, какъ замѣчаетъ одна изъ героинь г. Тургенева (Зинаида въ «Первой любви») — красива, слѣдовательно, имѣетъ непререкаемое право на любовь. Въ самомъ «Дымѣ»



графъ Рейзенбахъ весьма остроумно замѣчаетъ по поводу этого, что «медъ сладокъ» (стр. 48). Что же касается до пустоты и пошлости, скрывающейся подъ блескомъ и роскошью въ высшемъ свѣтѣ, то Ирина ихъ ненавидитъ всею душою. На ней самой не лежитъ «противнаго свѣтскаго отпечатка» (стр. 59); «она никогда не гнушалась людей, низко поставленныхъ, и графиня не разъ пеняла ей за ея излишнюю, *московскую фамиллярность*» (стр. 120); Ирина даже не равнодушна къ русскому языку (стр. 67).

Итакъ, гдѣ же испорченность? Не въ томъ ли, что она полюбила Литвинова? Да, вѣдь, это—новое доказательство правильности ея симпатій, если судить по словамъ автора. Итакъ, все обвиненіе противъ Ирины заключается въ томъ, что она не ушла съ Литвиновымъ. Но спрашивается, взамѣнъ той, хотя призрачной, но блестящей жизни, которую она любила, чтѣ предлагалъ ей съ своей стороны Литвиновъ? Какой міръ, какую жизнь, какую дѣятельность, какую пищу для жадной души? Ничего, кромѣ собственной особы. Ну, если этого оказалось мало, то не другіе же виноваты. Литвиновъ даже не Рудинъ съ его неистощимымъ, увлекательнымъ энтузіазмомъ, не Базаровъ, съ которымъ, по выраженію Одинцовой, «говоришь—точно по краю пропасти ходишь»; Литвиновъ просто—потерявшійся мальчикъ; изъ-за чего же тутъ жертвовать жизнью?

А, вѣдь, она чуть не пожертвовала! Чѣмъ жалѣть Литвинова, не лучше ли немножко ее пожалѣть? Мы рѣшительно становимся на сторону почтеннаго Созонта Ивановича, который такъ хорошо знаетъ Ирину; замѣтивъ отношенія ея къ Литвинову, онъ говоритъ ему: «Но я за нее боюсь... я боюсь за нее» (стр. 119).

«— Много чести, господинъ Потугинъ», иронически отвѣчаетъ Литвиновъ.

Но, какъ бы то ни было, честь эта досталась господину Литвинову. Возьмемъ дѣло съ этой, такъ сказать, мужской точки зрѣнія. Тогда окажется, что «Дымъ» повѣствуетъ о томъ, какъ обольстительные юноши, подобные Литвинову опасны для свѣтскихъ дамъ, какъ одинъ изъ нихъ чуть не

погубилъ до конца одну изъ блистательнѣйшихъ царицъ великосвѣтскаго общества.

Вотъ мы и довели до конца это трудное разбирательство. Мы изложили дѣло подробно для того, чтобы читатель могъ отчетливо судить, насколько правильно заключеніе, выводимое изъ рассказанныхъ событій самимъ авторомъ. Это заключеніе онъ влагаетъ въ размышленія Литвинова, которымъ тотъ предается, уѣзжая изъ Бадена и глядя на дымъ, вылетающій изъ трубы паровоза.

«Онъ глядѣлъ-глядѣлъ, и странное напало на него размышленіе... Онъ сидѣлъ одинъ въ вагонѣ; никто не мѣшалъ ему. «Дымъ, дымъ», повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, *собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское*» (стр. 150).

Положительно нѣтъ ничего въ повѣсти, что оправдывало бы такое странное размышленіе. даже ничего такого, что вязалось бы съ нимъ.

Не дымъ ли высшій свѣтъ? Конечно, не дымъ, если въ немъ являются такія сильныя и прелестныя женщины, какъ Ирина. Обладая всѣмъ, что есть хорошаго въ этомъ свѣтѣ, онѣ протестуютъ противъ его пошлости и пустоты, онѣ неустанно язвятъ его и ищутъ для себя какого-нибудь выхода. Эти ищущія и страдающія силы, конечно, представляютъ прекрасный задатокъ. Какъ искренни онѣ въ своихъ исканіяхъ, видно изъ того, что, будь Литвиновъ крошечку пошире и покрѣпче, Ирина отдалась бы ему безвозвратно.

Что же касается до низшаго свѣта, то тутъ дѣла обстоятъ еще благополучнѣе. Оказывается, что тутъ, при помощи одного изученія агрономіи и технологіи, можно быть веселымъ, спокойнымъ и нѣсколько самоувѣреннымъ, можно почти неотразимо привлекать къ себѣ царицъ высшаго общества, не видящихъ вокругъ себя подобныхъ свѣтлыхъ личностей, и наконецъ, можно достигнуть полнаго счастья, можно найти дѣвушку, у которой «золотое сердце, истинно ангельская душа» (стр. 116), и навсегда соединить съ нею свою судьбу.

Серіозно, мы находимъ въ повѣсти Тургенева слишкомъ много счастья; на этотъ разъ онъ слишкомъ на него расточителенъ. Ни одного изъ прежнихъ своихъ героевъ онъ не

надѣлялъ счастьемъ такъ легко и такъ надолго, какъ Литвинова. Кромѣ несчастнаго Инсарова, такъ быстро умершаго, Тургеневъ даже не женилъ ни одного изъ своихъ героевъ и не давалъ имъ удачи въ любви. Мы уже говорили, какая здѣсь крылась мораль. Мораль все та же со временъ Онѣгина и Татьяны. Русское общество имѣетъ такъ мало крѣпкихъ основъ, такъ сильно поражено различными недугами, что въ немъ трудно быть счастливымъ, ибо для счастья требуется прочный строй жизни, требуется атмосфера, въ которой бы спокойно и свободно могли раскрываться душевныя силы.

Какъ не сказать послѣ этого, что Литвинову дешево досталось его счастье! Современные недуги прошли мимо него, и никакое сильное внутреннее стремленіе не беспокоило его.

Итакъ, откуда же отчаянная мысль, что все человѣческое дымъ? Нужно говорить правду, это мысль не Литвинова, а самого г. Тургенева. Вотъ уже третье произведеніе, въ которомъ проглядываетъ эта мысль. «Призраки», «Довольно», «Дымъ» — все это варіаціи на старинную тему: *суета суетъ и всяческая суета!* Въ «Дымѣ» авторъ развиваетъ ее почти такъ же, какъ древній Экклезіастъ:

«Все дымъ и паръ; все какъ-будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же, да то же; все торопится, спѣшитъ куда-то, и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая».

Не то же ли говоритъ Экклезіастъ:

«Что пользы человѣку во всемъ трудѣ его, которымъ онъ трудится подъ солнцемъ? То, что было, есть то же, что будетъ; и то, что сдѣлано было, есть то же, что сдѣлано будетъ; и нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ».

Мысль хотя не новая, какъ видитъ читатель, но хорошая; нельзя запретить поэту смотрѣть на вещи съ этой стороны, если къ тому влечетъ его душевное настроеніе. Нужно только, чтобы мысль была выражаема съ надлежащею силою и поэтическою ясностью. Къ сожалѣнію, этого нѣтъ. «Призраки» есть наиболѣе правильное изъ этихъ произведеній. Эллисъ, сама воплощенная поэзія, носитъ поэта по землѣ, показываетъ ему современный міръ и воскрешаетъ передъ нимъ грозныя картины исторіи. Съ тоскою и уныніемъ отворачи-



вается поэтъ отъ настоящаго и прошедшаго и, наконецъ, встрѣчаетъ смерть и отдается ужасу при мысли о ничтожествѣ всего на свѣтѣ.

Въ «Довольно» мысль о суетѣ суетъ выражена наголо, и не оправдана поэтически, а обставлена холодными и слабыми разсужденіями.

Наконецъ, въ «Дымѣ», какъ мы видѣли, она ни мало не связана съ предметомъ, которому посвященъ разсказъ. Литвиновъ и проповѣдь о ничтожествѣ всего земнаго—можно ли не видѣть здѣсь явнаго разногласія?

Что не связано, то такъ несвязнымъ и остается. Разсуждая о суетѣ мірской, Литвиновъ ни мало не думаетъ пояснить свои разсужденія событіями своей жизни, но вдругъ начинаетъ говорить о совершенно другихъ вещахъ, совершенно до него не касающихся. Вотъ продолженіе его страннаго размышленія:

*«Другой вѣтеръ подулъ, и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная—и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что съ громомъ и трескомъ совершалось на его глазахъ въ послѣдніе годы... дымъ, шепталъ онъ, дымъ; вспомнились горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ, высоко и низко-поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... дымъ, повторялъ онъ, дымъ и паръ; вспомнился, наконецъ, и знаменитый пикникъ, вспомнились и другія сужденія и рѣчи другихъ государственныхъ людей—и даже все то, что проповѣдывалъ По-тугинъ... дымъ, дымъ и больше ничего»* (тамъ же).

Вѣтеръ перемѣнился! Вотъ отчего все и показалось дымомъ, показалось опять-таки не въ глазахъ Литвинова, а въ глазахъ г. Тургенева; вотъ слово, объясняющее весь смыслъ романа, настоящій ключъ къ его загадкѣ.

Что же это за вѣтеръ? Конечно, дѣло здѣсь не о томъ, что Ирина измѣнила Литвинову, или что онъ измѣнилъ Татьянѣ и т. п. Нѣтъ, Литвиновъ ни съ того, ни съ сего начинаетъ размышлять о тѣхъ партіяхъ, спорахъ и крикахъ, въ которыхъ не принималъ ни малѣйшаго участія, которые не имѣли никакого отношенія къ исторіи его любви, и о ко-

торыхъ, поэтому, намъ и не пришлось до сихъ поръ говорить. Въ романѣ выведена на сцену цѣлая толпа лицъ всевозможныхъ отгѣнковъ, консерваторовъ, либераловъ, радикаловъ и пр.; есть даже одинъ спиритъ. Консерваторы, спириты и т. п. группируются около Ирины; радикалы и революціонеры около нѣкотораго Губарева. Сказать что-нибудь объ этихъ лицахъ, нѣтъ никакой возможности, до того слабо они обрисованы; объ иномъ ничего и не узнаешь, кромѣ того, что у него *гнусный затылокъ*; три генерала различаются тѣмъ, что одинъ тучный, другой раздражительный, а третій снисходительный и т. д. По справедливому замѣчанію одного человѣка со вкусомъ, повѣсть г. Тургенева представляетъ большую картину, на которой не вполне дописано прелестное лицо Ирины, другихъ же лицъ совсѣмъ нѣтъ, и тамъ, гдѣ имъ слѣдуетъ быть, поставлены мѣломъ кружки вмѣсто головъ и линіями обозначено положеніе тѣла. Вотъ эти-то люди и составляютъ *дымъ*, а отнюдь не Ирина и Литвиновъ, которые не имѣютъ съ ними ничего общаго.

Куда же несется этотъ дымъ? И какая случилась перемѣна вѣтра, въ силу которой дымъ, какъ и подобаетъ дыму, понесся въ другую сторону? Къ сожалѣнію, едва ли кто найдетъ въ повѣсти ясные отвѣты на эти вопросы. Одно только ясное и определенное указаніе нашли мы по сему предмету. Продолжая утѣшать себя размышленіями о важныхъ матеріяхъ, Литвиновъ между прочимъ думаетъ:

«Вотъ въ Гейдельбергѣ теперь (1862) болѣе сотни русскихъ студентовъ; всѣ учатся химіи, физикѣ, физиологіи, ни о чемъ другомъ и слышать не хотятъ... а пройдетъ пять-шесть лѣтъ, и пятнадцати человѣкъ на курсахъ не будетъ у тѣхъ же знаменитыхъ профессоровъ... Вѣтеръ перемѣнится, дымъ хлынетъ въ другую сторону... дымъ... дымъ... дымъ!» (стр. 152).

«Предчувствія Литвинова сбылись» — прибавляетъ авторъ. «Въ 1866 году было въ Гейдельбергѣ учащихся въ лѣтній семестръ 13, въ зимній 12».

Другое указаніе авторъ сдѣлалъ невольнo, обмолвившись. Именно, Потугинъ очень горячится въ одномъ мѣстѣ противъ повѣсти г-жи Кохановской *Рой на покой*. Но эта

повѣсть появилась въ 1864 году, а г. Потугинъ, предполагается, философствуетъ противъ нея въ 1862 г. Итакъ, эпохи нѣсколько смѣшаны въ повѣсти, и все показываетъ, что ея тенденціи ничуть не ограничиваются чертою 1862 года, а простираются и до настоящихъ дней. Вслушайтесь еще разъ въ рѣчи Потугина, вникните въ намеки, разбѣянные въ повѣсти, и вы, наконецъ, поймете, о какой *перемѣнѣ вѣтра* глубокомысленно разсуждаетъ Литвиновъ.

Да, вотъ оно что! Дѣйствительно, вѣтеръ-то перемѣнился. дѣйствительно, несетъ въ другую сторону. Это фактъ очевидный, обширный, ясный, общезвѣстный. До 1862 года движеніе, постепенно возрастая, шло въ одну сторону, послѣ 1862 года оно поворотило и пошло въ другую. Если ужъ говорить о перемѣнахъ вѣтра, то сейчасъ же придетъ на мысль эта перемѣна, передъ которой всѣ другія ничтожны; опустить ее или не имѣть ея въ виду невозможно.

Увидѣвъ эту перемѣну, столь крутую, неожиданную, поразительную, г. Тургеневъ воскликнулъ изъ своего прекраснаго далека: суета суетъ и всяческая суета! Все человѣческое — дымъ, а все русское — дымъ по преимуществу!

Теперь, когда мы вскрыли внутреннюю подкладку повѣсти, такъ сказать, ея нервъ, намъ легко уже будетъ судить о тѣхъ ея мѣстахъ, гдѣ выражаются не поэтическія, а публицистическія мнѣнія. Въ этой повѣсти все задѣто, всѣ наши партіи, почти всѣ явленія нашей жизни, и высшій свѣтъ, и учащаяся молодежь, и Глинка, и Телушкинъ, и проч., и проч. Можно подуматъ, что для отвѣта на всѣ эти бранчивые и брезгливые отзывы придется воевать съ г. Тургеневымъ цѣлые годы, придется спорить безъ конца. Но дѣло гораздо проще и не требуетъ особенно сильныхъ военныхъ приготовленій.

Не мало въ «Дымѣ» выходокъ противъ людей и мнѣній, принадлежащихъ къ движенію до 1862 года; но несравненно многочисленнѣе, продолжительнѣе и сравнительно сильнѣе выходки противъ мнѣній и настроеній, получившихъ верхъ послѣ 1862 года. Увы! Не равнодушенъ нашъ поэтъ и не до конца искренно онъ исповѣдуетъ, что все прахъ и суета. Вѣтеръ перемѣнился, и все понесло въ другую сторону; «все



дымъ», шепчетъ поэтъ; но, несмотря на это успокоительное изреченіе, перемѣна, очевидно, раздражила поэта, и онъ написалъ повѣсть *противъ господствующаго вѣтра*.

Ясно, какъ день, что въ повѣсти слышна раздражительность; ясно, какъ день, что эта раздражительность направлена противъ господствующаго вѣтра. Этотъ вѣтеръ, вѣроятно, слышится г. Тургеневу, какъ и всякому, въ каждомъ листкѣ любой русской газеты. Это вѣтеръ противный обличительному и самооплевательному, вѣяніе нѣкоторой народной гордости, самоувѣренности, большее уваженіе къ нашей исторіи, большая вѣра въ насущныя силы Россіи, большая надежда на ея будущность. Говоря литературными формулами, все мы до 1862 года были болѣе или менѣе западниками, а послѣ этого года все болѣе или менѣе стали славянофилами. Вотъ та превратность земныхъ вещей, которая не нашла себѣ сочувствія въ душѣ нашего поэта.

Но—трудно плыть противъ вѣтра! Кто же обратитъ вниманіе на эти брезгливыя и мелкія выходки, когда жизнь, сама жизнь, сама исторія увлекаетъ насъ, когда то, надъ чѣмъ издѣвается г. Тургеневъ, не находится вдалекѣ отъ насъ, не составляетъ предмета нашихъ наблюденій со стороны, а составляетъ часть насъ самихъ, составляетъ то, чѣмъ мы живемъ и волнуемся?

Мы, напримѣръ, прилежно изучаемъ расколъ; литература по расколу растетъ, и мы вникаемъ въ нравственныя причины, которыя его породили и такъ тѣсно связаны съ самою глубио нашего народнаго духа, а намъ вдругъ предлагаютъ такое остроумное мнѣніе: «Видятъ люди: большого мнѣнія о себѣ человекъ, вѣрить въ себя, приказываетъ—главное приказываетъ; стало быть, онъ правъ, и слушаться его надо. *Вся наши расколы, наши Онуфриевичины да Акулиновицыны точно такъ и основались. Кто палку взялъ, тотъ и капризъ*» (стр. 27).

Мы, напримѣръ, оказались способными къ естественнымъ наукамъ. Имена нашихъ натуралистовъ почетно извѣстны въ ученомъ мірѣ; въ нашихъ университетахъ кафедры по этимъ наукамъ все заняты, заняты людьми, стоящими на уровнѣ современныхъ знаній, а объ этомъ разсуждается такъ:

«теперь мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... *Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу, это дѣло темное*; такая уже видно наша натура. Но главное дѣло, чтобы былъ у насъ баринъ» (стр. 26).

Мы, напримѣръ, любимъ музыку Глинки; серьезный, строгій музыкальный вкусъ развивается въ нашей публикѣ; являются композиторы съ своеобразными, неподдѣльными талантами; мы встрѣчаемъ ихъ съ восторгомъ, и будущность русской музыки намъ кажется несомнѣнною. А намъ говорить на это: «о, убогіе дурачки-варвары, для которыхъ не существуетъ преемственность искусства!» (79). То есть, какъ же, дескать, вы надѣтесь, что у васъ будетъ русская музыка, когда она еще нѣтъ? Забавное разсужденіе! Вѣдь, только на то и можно надѣяться, чего еще нѣтъ. Но она есть, русская музыка! Самъ Созонтъ Ивановичъ говоритъ, что Глинка чуть было не «основалъ русской оперы». А что, какъ въ дѣйствительности онъ ее основалъ, а вы ошибаетесь? Съ какимъ вы длиннымъ тогда останетесь носомъ! Шутка ли—*русская опера!*

Вообще, замѣчанія г. Потугина иногда остроумны, но въ цѣломъ удивительно мелки и поверхностны и доказываютъ, что русская жизнь можетъ показаться дымомъ только тому, кто эту жизнь не живетъ, кто не участвуетъ ни въ единомъ ея интересѣ. Темна, бѣдна русская жизнь—кто говоритъ! Но отъ этого русскимъ людямъ какъ людямъ живымъ, бываетъ трудно и тяжело жить, а не летать они по вѣтру съ легкостію дыма. Въ самыхъ шатаніяхъ и увлеченіяхъ, которыя, по видимому, хочетъ казнить г. Тургеневъ своею повѣстью, мы очень серьезны, доводимъ дѣло до конца, часто дорого-дорого за него платимся и, слѣдовательно, доказываемъ, что мы живемъ и хотимъ жить, а не несемся, куда вѣтеръ повѣстѣ.

Если же смутно и странно наше умственное и нравственное настроеніе, если все бродитъ у насъ, какъ чреватый хаосъ, то это не значитъ еще, что все это одинъ дымъ. Внимательный наблюдатель долженъ признать, что, благодаря нынѣшнему царствованію, дѣйствительно вскрылись всѣ язвы, которыя мы носили въ своемъ тѣлѣ, воображая себя вполне

здоровыми; мы знаемъ теперь свои болѣзни, и еще болѣе;— появились нѣкоторыя черты, обозначились извѣстныя точки, указывающія намъ на складъ въ будущемъ нашего постепенно обновляющагося нравственнаго организма. Еще много дыму пускается на эти черты; но онѣ все яснѣе и яснѣе проступаютъ изъ-подъ него.

Собственно, здѣсь мы могли бы кончить нашъ разборъ. Мы видѣли изъ самой повѣсти, что жизнь русская въ ней нимаго не казнится, и знаемъ, что выходы дѣйствующихъ лицъ относятся къ такому важному перелому и перевороту въ этой жизни, что никакъ не могутъ представлять собою серьезное сужденіе о немъ. Но положимъ, что въ «Дымѣ», дѣйствительно, казнится русская жизнь, какъ полагаетъ самъ авторъ. Тогда спрашивается, во имя чего же она казнится? Передъ какимъ свѣтлымъ и опредѣленнымъ идеаломъ ея явленія оказываются мутнымъ дымомъ, летящимъ по вѣтру? Въ повѣсти есть очень бойкія указанія на этотъ идеалъ, такъ что ихъ невозможно оставить безъ вниманія. Возьмемъ главное, центральное мѣсто, которое, по видимому, должно объяснить всѣ остальные замѣчанія, разсѣянные въ повѣсти.

Бесѣдуютъ Потугинъ и Литвиновъ, то есть два лица, къ которымъ авторъ относится совершенно сочувственно, и въ бесѣдѣ своей касаются самыхъ общихъ вопросовъ. Потугинъ весьма жестоко отозвался о славянофилахъ вообще и о г-жѣ Кохановской въ особенности; тогда Литвиновъ замѣчаетъ:

«— Послѣ того, что вы сейчасъ сказали, мнѣ нечего спрашивать, къ какой вы принадлежите партіи и какого вы мнѣнія о Европѣ» (стр. 29).

Итакъ, Потугинъ принадлежитъ къ нѣкоторой партіи, и Литвиновъ нимаго надъ нимъ за это не смѣется, хотя, по его мнѣнію, *русскимъ еще рано имѣть политическія убѣжденія или воображать, что мы ихъ имѣемъ* (стр. 20). Притомъ Литвиновъ такъ проникателенъ, что даже вполне угадываетъ *мнѣніе Потугина о Европѣ*. Любопытно! Въ чемъ же состоитъ это мнѣніе?

«Потугинъ приподнялъ голову» (*очевидно, движеніе гордости и увѣренности*).

«— Я удивляюсь ей (Европѣ) и преданъ ея началамъ



до чрезвычайности, и нисколько не считаю нужнымъ это скрывать».

Казалось бы, за этою смѣлою и открытою рѣчью немедленно должно было послѣдовать хотя какое-нибудь указаніе на предметы, передъ которыми преклоняется Потугинъ. Онъ долженъ былъ бы хоть намекнуть, *въ чемъ* онъ удивляется Европѣ, и *какимъ* началамъ онъ такъ преданъ. Вѣдь, Европа велика, и чего-чего въ ней нѣтъ! Какія начала разумѣть Потугинъ? Англійское начало самоуправленія, или французское начало администраціи? Свободу печати, или систему предостереженій? Народность, или космополитизмъ? Соціализмъ, или политическую экономію? Ужъ не начала ли 89 года, на которыя любить ссылаться французскій императоръ? Что-нибудь и какъ-нибудь да долженъ бы былъ обозначить Потугинъ.

Ничуть не бывало. Онъ совершенно довольствуется тѣмъ, что сказалъ. Онъ начинаетъ хвалиться тѣмъ, что смѣло всѣмъ высказываетъ это свое мнѣніе (какое? желательно бы знать). И съ нѣкоторымъ азартомъ такъ продолжаетъ рѣчь:

«Да-съ, да-съ, я западникъ, я преданъ Европѣ; то есть, «говори точнѣе (посмотримъ!), я преданъ образованности, той «самой образованности, надъ которою такъ мило у насъ теперь потѣшаются, цивилизаціи—да, да, это слово еще лучше,—и люблю ее *всѣмъ сердцемъ, и вѣрю въ нее, и другой любви, другой вѣры у меня нѣтъ и не будетъ*» (Видите, какъ горячо!). Это слово: *ци...ви...ли...зація* (Потугинъ отчетливо, съ удареніемъ произнесъ каждый слогъ), «и понятно, и чисто, и свято, а другіе всѣ, народность тамъ, «что-ли, слава,—кровью пахнутъ... Богъ съ ними!»

Итакъ, г. Потугинъ преданъ той цивилизаціи, которая противоположна народности, славѣ и другимъ словамъ, пахнущимъ кровью. Кто пойметъ подобную складную рѣчь? *Народность* есть начало, какъ извѣстно, заправляющее современною исторіею Европы. Но этому началу г. Потугинъ не преданъ. *Слава* никогда никакимъ началомъ не была. Ужъ не разумѣть ли здѣсь г. Потугинъ *la gloire militaire* французовъ, которая, дѣйствительно, пахнетъ кровью? Если такъ, то значить, воинственности французовъ онъ не сочувствуетъ. Но чему же онъ сочувствуетъ и чему преданъ?

Цивилизаціи, ци-ви-ли-заціи.

Признаемся, это намъ невольно напомнило то, какъ г. Анучкину, любителю французскаго языка и тонкаго обращенія, понравилось слово Сицилія (въ «Женитьбѣ» Гоголя). «Сицилія»—обращается онъ къ Жевакину—«вотъ вы говорите Сицилія, какъ же это Сицилія...»

Да, хорошія бываютъ слова!

Между тѣмъ, собесѣдникъ Потугина вполнѣ удовлетворяется его словами. Онъ какъ-будто до тонкости узналъ мнѣнія Потугина о Европѣ, и потому, оставляя исчерпанный сюжетъ, обращаетъ разговоръ на любезное отечество.

«—Ну, а Россію, Созонтъ Ивановичъ, свою родину, вы любите?»

«Потугинъ провелъ рукой по лицу.

— «Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу».

Прекрасно. Спрашивается, послѣ подобныхъ словъ какой вопросъ долженъ быть предложенъ Созонту Ивановичу? Казалось бы, любопытствующій Литвиновъ долженъ былъ спросить: что же вы въ Россіи страстно любите, и что вы въ ней ненавидите? Какія стороны вы находите свѣтлыя, и какія темныя?

Но ничуть не бывало. Можно подуматъ, что опять Литвиновъ какъ-будто до тонкости узналъ мнѣнія Потугина о Россіи, что онъ угадалъ ихъ. Однако, нѣтъ.

Литвиновъ пожалъ плечами.

— «Это старо, Созонтъ Ивановичъ, это—общее мѣсто».

Совершенно справедливое замѣчаніе. Литвиновъ ничего не узналъ и не могъ узнать изъ такого общаго мѣста, что Россія имѣетъ и темныя и свѣтлыя стороны. Собесѣдникамъ, очевидно, слѣдуетъ пуститься въ частности; тогда разговоръ будетъ интереснѣе. Но не тутъ-то было. Созонтъ Ивановичъ возражаетъ.

— «Такъ что-жъ такое? Что за бѣда? Вотъ чего испугались! Общее мѣсто! Я знаю много хорошихъ общихъ мѣстъ». И проч.

На это, конечно, слѣдовало бы отвѣчать, что никто общихъ мѣстъ не пугается, и никто не отрицаетъ ихъ достоинствъ; но только никто же на общихъ мѣстахъ не останавли-

ливается и не считаетъ ихъ выраженіемъ яснаго и опредѣленнаго мнѣнія о частномъ вопросѣ.

Вмѣсто того, Литвиновъ нападаетъ на Потугина съ той точки, будто взглядъ его устарѣлъ.

— «Байроновщина, перебилъ Литвиновъ,—романтизмъ тридцатыхъ годовъ».

На это Потугинъ побѣдоносно отвѣчаетъ цитатою изъ Катулла, которая неопровержимо доказываетъ, что его общее мѣсто есть, дѣйствительно, очень общее мѣсто. Затѣмъ онъ начинаетъ горячиться по поводу Россіи точно такъ, какъ прежде горячился по поводу Европы.

«Да-съ» — говорятъ онъ — «я и люблю и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вотъ ее покинулъ: нужно было провѣтриться немного послѣ двадцатилѣтняго сидѣнья за казеннымъ столомъ, въ казенномъ зданіи; я покинулъ Россію, и здѣсь мнѣ очень пріятно и весело: но я скоро назадъ поѣду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошкѣ!»

Вотъ и понимайте, какъ знаетъ! Литвиновъ, однако, вполне довольствуется этою тирадою, и разговоръ переходитъ на другіе предметы.

Какъ не подивиться послѣ этого русскимъ людямъ! Вотъ изъ толпы набитыхъ дураковъ и безпардонныхъ болтуновъ выходятъ двое умныхъ людей. Одинъ изъ нихъ только-что язвительно подсмѣялся надъ своими соотечественниками за то, что у нихъ вѣчно «возникаетъ вопросъ о значеніи, о будущности Россіи, да въ такихъ общихъ чертахъ, отъ лица Леды, бездоказательно, безвыходно» (стр. 26). Но о чемъ-же бесѣдуютъ сами два умника?

— Какого вы мнѣнія о Европѣ? — спрашиваетъ одинъ.

— Хорошаго мнѣнія — отвѣчаетъ другой. — Только вотъ не люблю, когда что-нибудь кровью пахнетъ.

— А о Россіи?

— Многое одобряю, но многое и порицаю.

Ну можетъ ли быть еще что-нибудь общаго этихъ общихъ чертъ и общихъ мѣстъ?

Приглядитесь еще немножко, и вы увидите, что разговаривающіе сами не понимаютъ своего отношенія къ предме-



тамъ рѣчи. Что за вопросъ: какого вы мнѣнія о Европѣ? Развѣ на европейской точкѣ зрѣнія можно быть какого-нибудь, хорошаго или дурнаго, мнѣнія разомъ о всей Европѣ, о всѣхъ ея государствахъ, дѣлахъ и партіяхъ? Вопросъ есть нелѣпость для всякаго, кто не считаетъ Европу особымъ міромъ, развившимся изъ особыхъ началъ, напримѣръ, положимъ изъ римской цивилизаціи, и кто не противопоставляетъ этому міру нѣкотораго другаго міра. Для настоящаго европейца Европа есть все, всецѣлый міръ, и онъ называетъ и чувствуетъ себя европейцемъ только передъ людьми, которыхъ считаетъ чуждыми настоящей исторической жизни, передъ китайцами, малайцами, неграми. Среди же Европы никто себя европейцемъ не величаетъ и если питаетъ какія-нибудь мнѣнія о Европѣ вообще, то эти мнѣнія для него равнозначительны съ мнѣніями о состояніи и развитіи человѣчества вообще.

Точно такъ, никакой настоящій западникъ не называетъ себя западникомъ. Слово это придумано славянофилами и означаетъ людей, отрицающихъ существованіе у насъ народныхъ началъ. Но никто не станетъ опредѣлять себя однимъ отрицаніемъ. Всякій западникъ назоветъ себя вамъ или конституціоналистомъ, или республиканцемъ, демократомъ, соціалистомъ и т. д., но никто не назоветъ себя, просто, западникомъ. Никто не скажетъ, что онъ держится *западныхъ* началъ; всякій скажетъ, что онъ держится общечеловѣческихъ началъ, и именно такихъ-то и такихъ-то.

Итакъ, о чемъ же разсуждаютъ умные люди г. Тургенева? Согласно съ славянофильскими понятіями, они вообразили, что можно отнести къ Европѣ, какъ къ особому *единому* міру и, согласно съ славянофильской терминологіей, именуютъ себя *западниками*. Въ смыслѣ славянофиловъ, какой бы вы западной теоріи ни держались, вы будете западникъ, человѣкъ, держащійся началъ особаго европейскаго міра. Вотъ почему Потугинъ вмѣсто всякихъ мнѣній твердитъ только одно:— я западникъ, я европеецъ!

Вотъ, слѣдовательно, въ чемъ разгадка: умные люди не столько пылаютъ любовью къ цивилизаціи, сколько нерасположеніемъ къ славянофильской теоріи. Они разсуждаютъ о вопросахъ этой теоріи, употребляютъ ея же формулы, но

заявляютъ свое полное несогласіе съ нею. Своего же за душой у нихъ пока ничего нѣтъ.

Приведемъ еще одно поясненіе. Ни одинъ французъ, ни одинъ нѣмецъ, конечно, не задастъ своему соотечественнику такого неопредѣлительнаго и въ сущности ничего незначащаго вопроса: какого вы мнѣнія о Европѣ? Но есть одинъ народъ,—въ настоящую минуту, конечно, первый изъ народовъ міра,—въ которомъ встрѣчается нѣчто подобное нашимъ русскимъ разговорамъ. Это англичане. Когда англичанинъ въ первый разъ отправляется съ своего острова на материкъ Европы, то по возвращеніи, или среди самого материка, онъ слышитъ отъ своихъ соотечественниковъ вопросъ: ну что вы скажете о *континентѣ*? Какъ вы находите континентальную жизнь, континентальные порядки?

Понятно, на какомъ взглядѣ опираются подобные вопросы. Все не англійское, все чуждое тѣхъ широкихъ, крѣпкихъ, правильно развитыхъ, ясно сознаваемыхъ началъ, которыми проникнута англійская жизнь, должно являться англичанину чужимъ міромъ, міромъ, держащимся на какихъ-то иныхъ началахъ, слѣдующимъ въ жизни иной, не англійской логикѣ. Тутъ является такая опредѣленная противоположность, что континентъ сливается въ глазахъ англичанина въ одно цѣлое, все его разнообразіе покрывается однимъ общимъ колоритомъ.

Спрашивается теперь, въ такомъ ли смыслѣ Потугинъ и Литвиновъ сообщаютъ другъ другу свои *мнѣнія о Европѣ*? Увы! Оказывается, что передъ нами не два образованныхъ европейца, изъ которыхъ каждый имѣетъ свое опредѣленное мнѣніе, свое *profession de foi*, осуществленію котораго и посвящаетъ свои мысли и труды; но это также и не два образованныхъ русскихъ, сознающихъ своеобразие своей народности и размышляющихъ объ отношеніи ея къ *иному* міру, къ Европѣ. Нѣтъ, они всего скорѣе похожи на какихъ-нибудь попавшихъ въ Европу сіамцевъ, или японцевъ, которые въ каждой странѣ ея одинаково чувствуютъ себя не европейцами; это, дѣйствительно, *убогіе дурачки-варвары*, которые столбѣются въ тупомъ и неопредѣленномъ удивленіи къ зрѣлищу, раскрывающемуся передъ ними, люди, восхи-

щающіеся цивилизаціею вообще—въ противоположность варварству, господствующему въ ихъ темномъ отечествѣ.

Но неужели же мы, русскіе, находимся въ такомъ положеніи? Опять замѣтимъ, что, телько глядя на русскую жизнь со стороны, можно было такъ поверхностно понять это отношеніе. Въ дѣйствительности, въ настоящую минуту ни одинъ русскій человѣкъ *не можетъ* стоять въ такомъ отношеніи къ Европѣ, въ какое ставитъ себя почтенный Созонтъ Ивановичъ. Потому что, вѣдь, скоро будетъ двѣсти лѣтъ, какъ мы явились въ Европу такими точно «варварами-дурачками», и съ той поры много воды утекло. Съ тѣхъ поръ, какихъ вліяній мы не пережили, кому не подражали, кого не передразнивали! Мы и передъ гробомъ Рихелье преклонялись, и писали «Наказъ» въ духѣ энциклопедистовъ, мы проникались и началами 89 года, и началами первой имперіи, мы когда-то «Гегеля изучали и знали Гёте наизусть», мы были бойцами республики 48 года, и потомъ плакали о ея паденіи, какъ о гибели кровныхъ нашихъ надеждъ; мы всегда сочувствовали лучшимъ, избраннѣйшимъ умамъ Европы, но вообще, каждому ея крупному явленію мы непремѣнно платили и платимъ дань; мы платимъ ее, напримѣръ, теперь и Наполеону III, и свободной торговлѣ Англіи, и т. д.

И чѣмъ дальше, тѣмъ шире и глубже этотъ наплывъ, какъ это и въ порядкѣ вещей. Этотъ вѣтеръ вѣетъ сильно. И мы все менѣе понимаемъ его дѣйствіе, потому что переживаемъ это дѣйствіе на себѣ, на своихъ костяхъ и своей плоти. Мы знаемъ, что вліяніе Европы вызываетъ не одни свѣтлыя явленія; мы перенесли отъ него и переносимъ не только явленія жалкія, смѣшныя, пустыя и безплодныя, но и мрачныя и грустныя до высочайшей степени и, слѣдовательно, мы не можемъ стоять въ такомъ идиллическомъ отношеніи къ вліянію Европы, какъ Созонтъ Ивановичъ.

Но есть у насъ другой вѣтеръ, тоже постепенно усиливающейся, но далеко еще недостигшій силы для равноправной борьбы съ западнымъ вѣтромъ. Это—вѣяніе того, что г. Тургеневъ нѣкогда остроумно назвалъ «черноземною силою», вѣяніе духа нашей народности. Отъ времени до времени, мы, гнущіеся, какъ тростникъ, отъ западнаго вѣтра,



обнаруживаемъ силу упругости, выпрямляемся и даже наклоняемся въ другую сторону отъ вѣтра, потянувшего съ востока. Естественная реакція умовъ и душъ, но главное—столкновенія съ Европою, ходъ событій, неизбежно заставляющій дѣйствовать насъ, насъ, въ другое время готовыхъ стереться съ лица земли, слетѣть съ нея подобно дыму,—даютъ у насъ просторъ этому вѣтру. Его дѣйствія мы тоже знаемъ, ибо переносимъ ихъ на себѣ, на своей плоти и своихъ костяхъ, и все яснѣе различаемъ темныя и свѣтлыя явленія, имъ порождаемыя.

Эти два вѣтра не случайны, какъ видитъ читатель. Существованіе именно ихъ, а не какихъ другихъ вѣтровъ, всего лучше показываетъ, что не *дымъ* все русское, что не капризъ случая вертитъ нами. Напротивъ, кто живетъ среди борьбы этихъ направленій, для кого она составляетъ насущную задачу, радость и горе, для того должны показаться дымомъ слова и разсужденія, отрицающія серьезность нашей жизни.

(«Отечественныя Записки», 1867, май).

---

### III.

## ДВА ПИСЬМА Н. КОСИЦЫ \*)

ЗА ТУРГЕНЕВА

(Письмо въ редакцію «Зари»).

Вотъ уже восемь лѣтъ, милостивый государь, какъ я выступилъ на литературное поприще, и мое несчастное положеніе не только не улучшается, а съ каждымъ днемъ становится хуже и хуже. Увлекаемый пагубнымъ, но непреодолимымъ пристрастіемъ къ нашей литературѣ, я съ каждымъ днемъ живѣе чувствую горечь и тяжесть участи, которую самъ себѣ уготовилъ. Подумайте обо мнѣ и пожалѣйте. Я постоянно читаю книги, которыя вовсе не заслуживаютъ чтенія; я задаю себѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ не имѣетъ никакой дѣйствительной важности; я по цѣлымъ днямъ, и недѣлямъ, и мѣсяцамъ упражняю свою проникающую способность на предметахъ, не заключающихъ въ себѣ никакого серьезнаго значенія. Эти книги, вопросы и предметы закрываютъ отъ меня міръ, не даютъ мнѣ видѣть того, что, дѣйствительно, заслуживаетъ вниманія, чѣмъ волнуются люди разумные и любящіе свое отечество. Читали ли вы, напримѣръ, романъ

---

\*) Н. Косица — былъ мой псевдонимъ, подъ которымъ явился рядъ писемъ, подобныхъ этимъ двумъ. „Заря“ — ежемѣсячный журналъ В. В. Каширева, выходившій въ 1869—72 годахъ. Н. С.

г. Авдѣева «Межъ двухъ огней» и романъ Марка Вовчка «Живая душа»? Если и принимались читать, то вѣрно не дочитали; а я прочелъ эти романы отъ первой строки до послѣдней, изучалъ, сравнивалъ. Вникали вы въ отношеніи Камышлинцевъ къ Ольгѣ Мытищевой, или Маши къ Загайному? Едва ли вы нашли ихъ достойными продолжительнаго вниманія; а я вникалъ, я прослѣдилъ всѣ слова, всѣ дѣйствія и душевныя движенія этихъ героевъ и героинь; я создалъ эти лица въ своемъ воображеніи, и отдалъ себѣ отчетъ въ образѣ ихъ мыслей и поступковъ.

Не думаете ли вы, что это весело и занимательно? О, какая тяжкая работа, что за зѣвота, по выраженію Байрона, *неутолимая никакимъ сномъ!* Часто бросаю я книгу, часто собираюсь съ силами, чтобы вновь пуститься въ этотъ бѣдный хаосъ лицъ, сценъ, разговоровъ—и только изрѣдка, среди этого мрачнаго плаванія, я вдругъ обрадуюсь, когда натолкнусь на какое-нибудь мѣсто, на сценку, на замѣчаніе, гдѣ, наконецъ, наголо, на чистоту высказалась у автора вся пошлость его взгляда на жизнь, все чудовищное искаженіе истинныхъ отношеній къ предмету. Помните ли, напримѣръ, то мѣсто, когда герой приходитъ къ барынѣ, которая по его милости находится въ интересномъ положеніи, и обращаетъ вниманіе...? Но я совершенно увѣренъ, что вы давно забыли эти пошлости, которыя лишь я осужденъ носить въ своей памяти. Могу васъ увѣрить только, что тутъ среди потока безсвязныхъ и ничего не выражающихъ звуковъ вдругъ слышится рѣзкій, отчетливый диссонансъ,—вдругъ ясно открывается вся бездна пустоты и безсердечія, выдаваемыхъ авторомъ за душевную глубину и сердечную теплоту.

Насчастный! замѣтите вы, чему же тутъ радоваться? И вообще, изъ-за чего все это волненіе, всѣ эти труды и усилія? Я буду съ вами вполне откровененъ, милостивый государь. Все это я дѣлаю для достиженія весьма незначительнаго результата. Все это для того, чтобы иногда, ходя по своей комнатѣ, я могъ сказать себѣ съ совершенной увѣренностію: «я ихъ понимаю; я знаю, что такое пишется въ русской литературѣ; для меня вполне ясны: смыслъ, источникъ, глубочайшій корень этихъ писаній». Вы спросите меня:



что же такого сладкаго и утѣшительнаго я нахожу въ этой мысли? Ужъ не гордость ли? Повѣрьте, что нѣтъ. Да и какая можетъ быть гордость въ томъ, что русскій человѣкъ понимаетъ русскія книги, при томъ книги, писанныя для огромнаго большинства читателей, для дамъ, для дѣвицъ? А я, вѣдь, человѣкъ давно бородатый и даже съ сѣдиною.

Нѣтъ, дѣло не въ гордости; если я добиваюсь полного и яснаго уразумѣнія русской литературы, то единственно для моего душевнаго спокойствія. Дѣло въ томъ, что эта литература вотъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ занимается предметомъ, который затрогиваетъ меня въ высокой степени. Именно, она постоянно ищетъ какихъ-то *новыхъ, свѣжихъ, живыхъ* мыслей, она постоянно увѣряетъ, что она находитъ такія мысли, что она обладаетъ ими вполне, что она затѣмъ и существуетъ, чтобы проводить ихъ, развивать и вкоренять въ обществѣ. Посудите сами, какъ это раздражаетъ любопытство! Несмотря на то, что во всѣхъ этихъ мысляхъ я еще ни разу не нашелъ (при тщательномъ изслѣдованіи) ни новости, ни свѣжести, ни даже особой живости, -- я до сихъ поръ не могу отдѣлаться отъ этой завлекательной игры. Несмотря на постоянныя разочарованія, я вотъ уже болѣе десяти лѣтъ хватаюсь съ жадностію за новыя книги и тотчасъ принимаюсь разыскивать, не явилась ли въ нихъ какая-нибудь новая, свѣжая, живая мысль? И до тѣхъ поръ я не успокоюсь, пока не дойду до полного убѣжденія, что все это мыльный пузырь, и что я тревожился понапрасну. Читали ли вы, напримѣръ, статью г. Алкандрова о Тургеневѣ? А я читалъ, именно потому, что въ одномъ журналѣ говорилось, будто въ этой статьѣ есть свѣжая мысль. Замѣтили ли вы, что г-жа Конради въ своихъ критическихъ приемахъ начинаетъ подражать г. Писареву? А я замѣтилъ. Читали ли вы...! Но, милостивый государь, мнѣ, наконецъ, совѣстно становится указывать, что я читаю, во что вникаю, на что трачу свое время и свои силы.

Но дѣло не въ одной раздраженной любознательности; русская литература затрогиваетъ сверхъ того и мое нравственное чувство. Невозможно выразить, съ какою самоувѣренностью, съ какимъ пророческимъ воодушевленіемъ выступали,

а многіе и до сихъ поръ выступаютъ у насъ съ проповѣдью новыхъ идей. Можно подумать, что они первые открыли различіе между добромъ и зломъ, что имъ выпала доля просвѣтить въ этомъ отношеніи родъ человѣческій. «Начнешь читать», говаривалъ одинъ изъ моихъ пріятелей—«и тотчасъ видишь, что авторъ обращается съ тобой, какъ съ дуракомъ; читаешь дальше,—и чувствуешь, что онъ считаетъ тебя не только дуракомъ, но и подлецомъ».

Вы знаете, къ чему повели эти заносчивыя наставленія, эти наглыя посягательства на человѣческое достоинство читателей. Они имѣли необыкновенный успѣхъ. Нашлось множество читателей, которые вполне подчинились впечатлѣнію, потеряли всякую вѣру въ себя и стали мало-по-малу считать себя дѣйствительно дураками и дѣйствительно подлецами. Они усумнились въ самыхъ простыхъ и, по видимому, натуральныхъ своихъ дѣйствіяхъ; они вдругъ стали стыдиться своихъ всегдашнихъ мнѣній и своего образа жизни. Понятно, что отсюда произошло. Изъ дураковъ и подлецовъ они вдругъ пожелали сдѣлаться умниками и добродѣтельными—и вы найдете теперь множество людей, которые вполне увѣрены, что они совершили надъ собой столь дивное и полезное для нашего отечества превращеніе. Они были прежде глупы, а теперь блистаютъ умомъ,—были прежде себялюбивы и малодушны, а теперь преисполнены великодушія и благородства.

Но что касается до меня, то дѣло происходило совершенно иначе. Представьте—едва смѣю высказать этотъ фактъ, безъ котораго мнѣ, однако же, невозможно изъяснить свою мысль,—представьте, что я никогда не считалъ себя дуракомъ и подлецомъ. Прошу васъ понять меня, какъ слѣдуетъ. Конечно, случалось мнѣ говорить и дѣлать глупости, конечно, есть грѣхи на моей совѣсти; но потерять всякое самоуваженіе, почувствовать, что вплоть до настоящей минуты я разсуждалъ, какъ дуракъ и дѣйствовалъ, какъ подлецъ,—такого несчастія, благодареніе небу, я никогда не испытывалъ.

Вы понимаете теперь, въ какой разладъ я пришелъ съ нашею литературой. Когда ко мнѣ обращаются съ такою нахальною рѣчью, какъ-будто я ровно ничего не знаю и не

умѣю разобратъ, что хорошо и что дурно,—то, несмотря на всю свою скромность, я не могу воздержаться отъ нѣкотораго волненія. Скажу откровенно—меня немножко злитъ это непомѣрное самодовольство и самовозношеніе. Вотъ почему для меня составляетъ нѣкоторое удовольствіе—добратъ до корня этихъ ярыхъ нравоученій, вотъ почему я и радуюсь, когда найду мѣсто, обличающее тѣхъ, кто такъ гордо признаетъ себя свѣтильниками правды и добра. Мнѣ пріятно видѣть, что гордость и легкомысліе наказываютъ сами себя,—что истинная нравственная чистота (какъ тому и подобаеть) не мирится съ ними; я убѣждаюсь, что все идетъ надлежащимъ образомъ, что вѣчные законы души человѣческой соблюдаются,—и успокоиваюсь.

Таковы странныя и, по правдѣ сказать, почти безпользныя какъ для ума, такъ и для сердца занятія, которымъ я предаюсь по своему пристрастію къ нашей литературѣ. По счастью, не всѣ мои изслѣдованія безплодны—и если я рѣшился писать къ вамъ, то лишь потому, что, какъ вы сейчасъ увидите, я встрѣтилъ нѣчто, можетъ быть, не совсѣмъ недостойное вашего вниманія.

Вы понимаете, что я говорилъ до сихъ поръ не обо всей нашей литературѣ, а только объ одной ея части, о той, которая у насъ всего больше процвѣтаетъ, имѣетъ наибольшее число органовъ и составляетъ пищу главной массы читателей.

Но не думаете ли вы, что объ остальной, такъ сказать, болѣе правильной и спокойной части нашей литературы можно судить безъ особыхъ затрудненій,—что она допускаетъ простое и ясное пониманіе? Вы жестоко ошибаетесь; по моему мнѣнію, эта часть литературы требуетъ еще большихъ, еще напряженнѣйшихъ усилій. Она такъ темна, такъ тревожна, воодушевлена такими глубокими и неопредѣленными стремленіями, порождаетъ свои произведенія съ такими болями и муками, что передъ нею ничего не значатъ всѣ шалости новыхъ идей, обыкновенно отличающіяся соблазнительною ясностію. Вообще русскую литературу я считаю однимъ изъ самыхъ непонятныхъ явленій, какія только есть на свѣтѣ.

Хотите доказательствъ? Возьмите появленіе «Войны и Мира». Какое неожиданное, ошеломляющее впечатлѣніе! Кто



былъ готовъ къ этому произведенію? Кто понялъ его, какъ слѣдуетъ? Не говорю о нашемъ журналѣ, о которомъ можно сказать, по крайней мѣрѣ, что онъ не посрамилъ себя въ этомъ случаѣ. Но какъ осрамились другіе! Съ одной стороны, великое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго подобно нѣкоторой бомбѣ обрушилось въ нигилистическій муравейникъ—и этотъ муравейникъ до сихъ поръ не можетъ прійти въ себя, не постигая, что за предметъ ихъ давить, и не имѣя возможности ни обозрѣть этотъ предметъ своими крошечными глазами, ни искушать его своими крошечными челюстями. Съ другой стороны, такой заслуженный журналъ, какъ «Русскій Вѣстникъ», не только не сумѣлъ въ этомъ случаѣ побѣдить свое обыкновенное равнодушіе и высокомеріе относительно русской литературы, но даже—*credite posteri!*—ничего лучшаго не нашелъ сказать по поводу «Войны и Мира», какъ обвинить гр. Л. Н. Толстаго въ какомъ-то «историческомъ нигилизмѣ!» Чего же вамъ больше подобной сумятицы!

Возьму другой случай, который собственно я и хочу разобрать въ этомъ письмѣ. Припомните то недоумѣніе, которое возбудилъ «Дымъ» г. Тургенева, припомните до сихъ поръ продолжающіеся толки объ этой повѣсти. Какая туча недоразумѣній! Какое глубокое непониманіе писателя, давно любимаго! Кончилось дѣло тѣмъ, что читатели вознегодовали на автора, и авторъ возропталъ на свою судьбу, утверждая, что карьера писателя вовсе не можетъ быть названа карьерою, такъ какъ при каждомъ новомъ произведеніи самый знаменитый авторъ испытываетъ тѣ же непріятности, какъ и новичекъ, въ первый разъ появляющійся на литературномъ поприщѣ \*).

Вотъ этотъ-то горестный случай былъ моимъ истиннымъ торжествомъ, милостивый государь, былъ одною изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ въ моей жизни. Оказалось, что я недаромъ трудился, что есть хоть какой-нибудь прокъ въ моихъ плачевныхъ занятіяхъ. Именно, я убѣдился, что я понимаю Тургенева, что я его совершенно понимаю, и что для

---

\*) См. „Дымъ“, отдѣльное изданіе, предисловіе. Это предисловіе не перепечатано въ собраніи сочиненій Тургенева.

меня не существуетъ тѣхъ недоумѣній, съ которыми возятъся другіе.

При томъ,—не лестное ли обстоятельство? — оказалось, что я его понимаю давно и что давно напечаталъ, какъ слѣдуетъ его понимать. Слѣдовательно, не можетъ быть и сомнѣнія въ моей проникательности. Не угодно ли прочесть? Когда поднялся шумъ и гвалтъ изъ-за романа «Отцы и Дѣти», я тогда же написалъ слѣдующее:

«За что раздаются эти нескончаемые упреки, за что «сыплются на Тургенева эти безчисленные обиды, за что «чуть ли не ежедневно порицается онъ не въ одномъ, такъ «въ другомъ мѣстѣ? Все это за то, что самъ онъ забракoвалъ Базарова,—что въ своемъ послѣднемъ романѣ онъ «развѣнчалъ и казнилъ его. До этого романа Тургеневъ былъ «предметомъ всеобщаго почтенія, считался первымъ русскимъ «литераторомъ: впечатлительные люди изъ его знакомыхъ «часто видали его во снѣ \*), и въ цѣлой литературѣ онъ не «встрѣчалъ ни одного враждебнаго голоса».

«Что же такое случилось? Что такое слѣлалъ Тургеневъ? «Пересталъ онъ что-ли быть прежнимъ Тургеневымъ? Измѣнилъ самому себѣ? Сталъ признавать то, что прежде от«вергалъ, и осуждать то, что прежде хвалилъ?»

«Нисколько и ничуть не бывало. Конечно, онъ разобла«чилъ, развѣнчалъ и казнилъ Базарова; но наша критика «была, значить, совершенно слѣпа, если не замѣчала, что «онъ занимается подобными дѣлами давно,—что развѣнчи«ваніе и казнь разныхъ представителей составляетъ даже «главное его занятіе. Передовой человѣкъ, носитель думъ по«колѣнія—составляетъ постоянную тему его созданій, и не«состоятельность передоваго человѣка—постоянный выводъ, «который въ нихъ таится. Тургеневъ казнилъ иногда даже «жестоко, безчеловѣчно: вспомните «Гамлета Щигровскаго «уѣзда»; вѣдь, этотъ юноша былъ также передовымъ чело«вѣкомъ въ Москвѣ, былъ ораторомъ и звѣздой тамошнихъ

---

\*) Намекъ на одно совершенно забытое дѣло, на письмо г. Некрасова къ г. Тургеневу, въ которомъ письмѣ редакторъ „Современника“, если не ошибаемся, убѣждалъ г. Тургенева отдать въ этотъ журналъ романъ „Отцы и Дѣти“. См. „С.-Петербург. Вѣдом.“ 1863 года.

«кружковъ. Другіе были казнены мягче, но все-таки казнены. «Одинъ за другимъ были разоблачены и сведены съ пьеде-  
«сталовъ: и *Веретьевъ*—сильная натура, и *Рудинъ*—энту-  
«зіастъ, и *Инсаровъ*—человѣкъ дѣла; та же судьба, нако-  
«нецъ, постигла и *Базарова*. Съ напряженнымъ вниманіемъ  
«Тургеневъ всматривается въ эти типы, но, по страшной  
«силѣ своего анализа и изумительной тонкости пониманія,  
«онъ не можетъ на нихъ успокоиться и развѣнчиваетъ ихъ  
«одного за другимъ. Онъ постоянно не увлеченъ до конца,  
«постоянно смотритъ скептически».

«Если же такъ, то какъ же могло случиться, что по-  
«слѣднее его дѣло, послѣдняя казнь, совершенная надъ по-  
«слѣднимъ героемъ, показалась какою-то удивительною но-  
«востью? Кто могъ быть до того ослѣпленъ, чтобы ожидать  
«пощады отъ такого проницательнаго человѣка? Кто могъ  
«быть до того простодушенъ и самодоволенъ, что ожидать  
«похвалы отъ Тургенева? Нечего сказать, куда какъ при-  
«стало Тургеневу—расточать похвалы! Ждите отъ него воску-  
«реній—скоро дождетесь!»

«Есть, конечно, вещи, которыя хвалить Тургеневъ, но  
«всякій долженъ бы давно уже замѣтить, что это за вещи.  
«Онъ чутокъ къ красотамъ природы; онъ восхищается лѣ-  
«сомъ, лугомъ, рѣкою, и при томъ съ удивительнымъ мастер-  
«ствомъ умѣетъ рисовать *нашу* природу, «эту бѣдную при-  
«роду». Въ человѣческомъ же мірѣ онъ съ невозмутимою  
«любовью останавливается на томъ, что попроще,—на томъ,  
«что прежде называлось «непосредственнымъ»; онъ любитъ  
«на какого-нибудь Кисьяна съ Красной Мечи, на какую-ни-  
«будь глупенькую Оеничку, на старушку-мать Базарова... Но,  
«какъ скоро дѣло идетъ о представителѣ, о человѣкѣ разви-  
«томъ и передовомъ,—на сочувствіи и любви дѣло не оста-  
«навливается; мирныя отношенія начинаютъ колебаться, Тур-  
«геневъ вдумывается, разлагаетъ, анализируетъ и кончаетъ  
«тѣмъ, что осуждаетъ».

«По поводу матери Базарова, наша критика со злобою  
«укорила поэта, зачѣмъ онъ похвалилъ эту женщину. Что  
«же дѣлать! Похвала не вамъ досталась—и Богъ знаетъ,  
«когда еще достанется. Вы думаете, я говорю о Тургеневѣ?



«Вовсе нѣтъ; я говорю о поэзіи; не скоро вы дождетесь, чтобы поэзія возвела васъ въ свѣтлый идеалъ».

«Въ самомъ дѣлѣ, что же значить вся эта дѣятельность Тургенева? Ужъ нѣтъ ли тутъ умысленной вражды къ прогрессу? Ужъ не пишетъ ли онъ своихъ романовъ съ заднею мыслью? Не осуждаетъ ли своихъ героевъ нарочно, злонамѣренно? Какое странное предположеніе! Нѣтъ, не такъ дѣлаются поэтическія дѣла; невозможно ихъ объяснять такимъ образомъ. Поэты менѣе властны надъ собою, чѣмъ другіе люди; они могутъ создавать только то, что вытекаетъ изъ самой глубины ихъ души, въ чемъ они участвуютъ цѣлымъ своимъ существомъ; нарочно они ничего поэтическаго произвести не могутъ. И на Тургеневѣ, какъ на истинномъ поэтѣ, это подтверждается наяснѣйшимъ образомъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, на то, какъ онъ относится къ своимъ героямъ. Если онъ привязывается къ нимъ съ такимъ настойчивымъ вниманіемъ, то это прямо записать отъ его расположенія любить ихъ и вѣрить въ нихъ. И онъ, дѣйствительно, иногда успѣвалъ обмануть себя до того, что вѣрилъ въ нихъ,—вѣдь, онъ явно вѣрилъ въ своего Инсарова. Онъ, дѣйствительно, любитъ своихъ героевъ; это совершенно ясно въ отношеніи къ Рудину, и замѣтно даже въ отношеніи къ Базарову. Но что же выходитъ? Страшная сила анализа и изумительная тонкость пониманія не даютъ примиренія поэту и идутъ наперекоръ его симпатіи: онъ постоянно одерживаютъ верхъ—и за ними остается послѣднее слово, окончательный приговоръ. Вспомните, въ самомъ дѣлѣ, Рудина; вѣдь, Тургеневъ самъ не свой, вѣдь, онъ чуть не плачетъ, разоблачивъ и развѣнчавъ эту любимую фигуру. Но не быть искреннимъ и правдивымъ настоящимъ поэтъ не можетъ,—и вотъ онъ, хоть и плачетъ, а казнитъ своего героя. Нѣчто подобное было и съ Базаровымъ. Скажу болѣе: даже и «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», мнѣ кажется, не обошелся поэту безъ нѣкоторой боли».

«Если же мы убѣдимся въ этомъ (а, кажется, это ясно), что мы увидимъ, что *Тургеневъ есть одинъ изъ людей, наиболее болѣющихъ своимъ вѣкомъ, что онъ представитель и выразитель одной изъ глубочайшихъ*

«*сторонѣ нашей жизни. Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ до страсти, до болѣзни увлеченный идеею прогресса. Онъ слѣдитъ за нею со всею зоркостью своего поэтического ума; онъ безпрестанно ищетъ, онъ ждетъ съ минуты на минуту— вотъ-вотъ эта идея воплотится, вотъ она приметъ живыя черты. Но, пожираемый желаніемъ видѣть свой идеалъ въ дѣйствительности, поэтъ въ то же время полонъ безпощаднаго анализа и самаго пронзительнаго скептицизма. Имъ обладаетъ въ высшей степени тотъ бѣсъ, о которомъ одинъ изъ критиковъ говоритъ въ шуточныхъ стихахъ, намекающихъ, впрочемъ, на серіозныя мысли:*

«Бѣсъ отрицанья, бѣсъ сомнѣнья,  
«Бѣсъ, отвергающій прогрессъ».

«Многіе радостно подчинялись этому бѣсу и усердно одобряли все, что совершалось по его внушеніямъ. Но когда этотъ самый бѣсъ внушилъ Тургеневу коснуться и этихъ многихъ, тогда они вдругъ стали увѣрять, что у насъ есть прогрессъ, котораго нельзя отвергать, котораго никакой бѣсъ не смѣетъ подвергать отрицанію и въ которомъ сомнѣваться— сущее святотатство...»

«И оказалось, слѣдовательно, то, что давно извѣстно: сомнѣніе для людей трудно и невыносимо; для нихъ легче и пріятнѣе вѣра; скептицизмъ у нихъ только на губахъ, въ сердцѣ же, навѣрное, поклоненіе не тѣмъ, такъ другимъ идоламъ».

«Во всякомъ случаѣ, нельзя не признать крайне забавнымъ то, что наша критика такъ поздно спохватилась отъ носительно Тургенева. Занятая разными важными предметами, она только тутъ, только въ послѣднемъ романѣ увидѣла, что онъ—человѣкъ вольнодумный, дерзкій, неуважительный. Между тѣмъ, онъ всегда былъ такой, онъ постоянно отличался самымъ яркимъ вольнодумствомъ. Какъ же можно было не замѣчать этого такъ долго?» («Время», 1863, № 2).

Ну что скажете, милостивый государь? Неправда ли, что мною совершенно вѣрно указана одна изъ главныхъ чертъ таланта г. Тургенева? Неправда ли, что мои слова мо-

жно исполнѣ примѣнить и къ «Дыму»? Не та же ли это исторія? Г. Тургеневъ скептически отнесся къ нашему новому прогрессу,—къ тому направленію, лозунгомъ котораго стала *народность*,—и мы разсердились на него, какъ-будто не знали свойствъ его таланта. Нѣкогда, когда на первомъ планѣ стоялъ нигилизмъ, Тургеневъ не преклонился передъ нимъ, а напротивъ—назвалъ его по имени и разоблачилъ его. Теперь другія времена. Г. Тургеневъ, въ силу своей изумительной чуткости, хорошо видитъ, что наиболѣе значительное явленіе въ нашей умственной жизни за послѣдніе годы есть поворотъ къ народности. И къ этому явленію онъ отнесся точно такъ же, какъ и ко всѣмъ другимъ; онъ пытался разоблачить и развѣнчать его.

Многіе упрекали г. Тургенева въ измѣнчивости,—въ томъ, что онъ подчинялся всѣмъ колебаніямъ и волненіямъ нашего умственного движенія; вы видите, какъ это несправедливо. Въ сущности, онъ всегда оставался однимъ и тѣмъ же; въ сущности онъ никогда ничему не отдавался до конца и всегда относился отрицательно къ тѣмъ самымъ явленіямъ, къ которымъ, по видимому, питалъ такой живой и чуткій интересъ. Такова его натура, такова существенная черта его умственного настроенія, подъ вліяніемъ которой работаетъ его талантъ. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣло совершается здѣсь искренно и серіозно. Тургеневъ, какъ подобаешь всякому истинному поэту, обнаруживаетъ въ своихъ произведеніяхъ свою душу. Давно уже намъ слѣдовало бы это понять; давно уже намъ слѣдовало бы не ждать отъ него того, чего онъ дать не можетъ.

Вотъ, милостивый государь, понятіе о дѣятельности Тургенева, которое я уже давно себѣ составилъ, но которое, конечно, вслѣдствіе слабости моихъ силъ и дарованій, или забыто читателями, или осталось имъ вовсе неизвѣстнымъ. Буду весьма вамъ благодаренъ, если вы напечатаніемъ настоящаго письма распространите въ читающей публикѣ эти сообщенія, касающіяся столь немаловажныхъ предметовъ.

7-го сентября.

Н. Косица.

(Заря 1869, сентябрь).



## ЕЩЕ ЗА ТУРГЕНЕВА.

---

(Письмо въ редакцію «Зари» по поводу выхода перваго тома его сочиненій\*).

Пишу къ вамъ, милостивый государь, весьма грустный и опечаленный. Я уже не вполне доволенъ былъ тѣми замѣчаніями, которыми сопровождается въ сентябрьской книжкѣ «Зари» мое послѣднее письмо; мнѣ былъ не по душѣ тотъ рѣзкій и чрезчуръ опредѣленный вопросъ, который задавала себѣ «Заря»: что такое г. Тургеневъ, западникъ или славянофилъ? По свойственному людямъ самолюбію я полагаю, что высказать свое мнѣніе о г. Тургеневѣ вполне ясно, что по самому существу дѣла его нельзя признавать ни западникомъ, ни славянофиломъ, и что всѣ достоинства его славной дѣятельности заключаются не въ какихъ-либо опредѣленныхъ мнѣніяхъ и стремленіяхъ, а въ той *поэтической правдѣ*, которая не давала ему фальшивить ни въ какомъ случаѣ, ни передъ какими явленіями. Насколько Тургеневъ поэтъ, настолько онъ правъ вездѣ и во всемъ,—ибо поэзія есть правда. Вотъ, милостивый государь, какую простую и давнишнюю истину я рѣшился примѣнить къ Тургеневу; вотъ съ какой точки зрѣнія, какъ мнѣ казалось, слѣдовало судить его. Поэтовъ нельзя подводить подъ готовыя формулы извѣ-

---

\*) Вотъ полное заглавіе этого изданія: *Сочиненія И. С. Тургенева (1844—1868)*. Изданіе братьевъ Сатаевыхъ. Москва. Тип. Грачева. Семь томовъ. Т. II и IV. 1868. Томы I, III, V, VI и VII. 1869. При первомъ томѣ портретъ автора.

стныхъ ученій, раздѣляющихъ на враждебные лагеря нашу литературу; поэты не могутъ быть слугами и пособниками опредѣленнаго литературнаго лагеря; мѣсто ихъ выше и почетнѣе: изъ нихъ всѣ должны черпать поученіе и отъ нихъ ожидать откровеній, озаряющихъ мысль жизни.

Такъ я думалъ, милостивый государь, и такъ мысленно возражалъ на то мѣсто «Зари», гдѣ прямо сказано, что Тургеневъ есть западникъ. Но вскорѣ меня ожидалъ ударъ несравненно болѣе тяжкій и чувствительный. Явился, наконецъ, первый томъ новаго изданія сочиненій Тургенева, а въ немъ явились тѣ «Литературныя воспоминанія» г. Тургенева, которыхъ такъ давно ждали, и отрывокъ изъ которыхъ былъ напечатанъ въ «Вѣстникѣ Европы». Съ величайшей жадностію я прочелъ это новое произведеніе знаменитаго нашего писателя—и былъ потрясенъ имъ до глубины души. Г. Тургеневъ излагаетъ тутъ мнѣніе о своей дѣятельности, по видимому, глубоко различающееся отъ того, которое я изложилъ.

Кто бы могъ подумать? Кто могъ этого ожидать? Г. Тургеневъ объявляетъ, что онъ всегда былъ и теперь остается западникомъ (см. стр. IX), что ученіе славянофиловъ онъ признаетъ ложнымъ и бесплоднымъ (см. стр. ХСІІІ). Этого мало. Говоря о томъ, какъ создались у него «Отцы и Дѣти», г. Тургеневъ всячески увѣряетъ и доказываетъ, что онъ сочувствовалъ Базарову, и почти раскаивается, что изобразилъ его слишкомъ объективно. «Это многихъ сбilo съ толку»,—говоритъ онъ,—«и кто знаетъ! въ этомъ была—быть можетъ—если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ, по крайней мѣрѣ, столько же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы» (стр. ХСV).

Но и этого мало. Приводя замѣчаніе одной дамы, которая, по прочтеніи «Отцовъ и Дѣтей», сказала ему: *вы сами нигилистъ*, г. Тургеневъ говоритъ: «не берусь возражать; быть можетъ, эта дама и правду сказала» (стр. ХСVІ). Наконецъ, и этого мало. Г. Тургеневъ прямо объявляетъ, что «за исключеніемъ возрѣвнѣй Базарова на художество» онъ, г. Тургеневъ, «почти раздѣляетъ всѣ его убѣжденія» (стр. ХСІV).

«Вѣроятно», пишетъ г. Тургеневъ, «многіе изъ моихъ

читателей удивятся, если я имъ это скажу». Еще бы не удивиться! Еще бы не прійти въ крайнее изумленіе! Тургеневъ—нигилистъ! Тургеневъ раздѣляетъ убѣждѣнія Базарова! Да что же можетъ быть удивительнѣе подобной новости? Не затѣмъ ли она и написана, не затѣмъ ли и напечатана въ десяти тысячахъ экземпляровъ, во главѣ полного собранія его сочиненій, чтобы произвести какъ можно больше удивленія, чтобы оглушить, поразить, раздавить читателей?

А я-то, я-то, несчастный! Не я ли проповѣдывалъ о Тургеневѣ самое высокое мнѣніе, расточалъ ему тончайшія похвалы и заносился въ самыя выспреннія соображенія, толкуя о его твореніяхъ? Не я ли говорилъ, что Тургеневъ постоянно развѣнчиваетъ своихъ героевъ въ силу своей неподкупной поэтической искренности и правдивости, которая ясно показываетъ ему, что эти герои со всѣми своими притязаніями далеко не воплощаютъ въ себѣ идеала человѣческой жизни? Не я ли по этому случаю распространялся о «страшной силѣ анализа и изумительной тонкости пониманія», свойственной Тургеневу, о томъ, что онъ «полонъ безпощаднаго анализа и самаго пронзительнаго скептицизма?»

И вдругъ оказывается, что эта поэтическая зоркость, о которой я мечталъ, эти чудеса проницательности и мѣткости, что все это—моя выдумка, что Тургеневъ есть, просто, нигилистъ, да при томъ и не самаго высокаго разбора, не изъ чистыхъ, а изъ, такъ называемыхъ, *пестрыхъ нигилистовъ*, которые, напримѣръ, любятъ искусство, или во время грозы читаютъ «Отче нашъ», не замѣчая, что подобными склонностями и дѣйствіями противорѣчатъ своимъ началамъ. Какое для меня посрамленіе! Какой тяжкій ударъ для моей репутаціи любителя русской литературы и скромнаго, но безукоризненнаго и безошибочнаго истолкователя ея произведеній!

Признаюсь вамъ, что я былъ почти испуганъ столь неожиданнымъ, столь рѣзкимъ оборотомъ дѣла, и только немного сталъ приходить въ себя и собираться съ мыслями. Вообще замѣчу, что, несмотря на волненіе, съ которымъ я слѣжу за всякими подвигами и переворотами русской литературы, я очень упоренъ въ своихъ мнѣніяхъ, и живость



моихъ впечатлѣній не должна внушать мысли о какой-либо паткости въ моихъ убѣжденіяхъ. Я сталъ понемножку размышлять, сравнивать, навелъ кой-какія справки, и вотъ результаты, до которыхъ я достигнулъ.

Возьмемъ сначала то, что говоритъ г. Тургеневъ о своей любви къ Базарову, о томъ, что онъ отнесся къ выведенному въ этомъ лицѣ типу «не только безъ предубѣжденія, а также съ сочувствіемъ» (стр. ХСII). Невозможно представить, какъ тщательно и подробно г. Тургеневъ доказываетъ это. Онъ ссылается на самые различные и неопровержимые документы.

1) На свой дневникъ; 30 іюля (должно быть 1861 года) въ немъ было записано: «*Современникъ*, вѣроятно, обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова—и не повѣритъ, что во все время писанія я чувствовалъ къ нему невольное влеченіе» (стр. ХСII).

2) На нѣмецкую газету (*Vossische Zeitung*, 10 Juni\*), гдѣ было сказано о Базаровѣ: «всякій новѣйшій радикалъ съ чувствомъ радостнаго удовлетворенія признаетъ изображеніе свсе и своихъ единомышленниковъ въ такомъ гордомъ образѣ, одаренномъ такою силою характера и такою полной независимостію отъ всего мелкаго, пошлаго, вялаго и ложнаго» (стр. ХСIV).

3) На даму, слова которой мы приводили.

4) На письмо какого-то мужчины, который писалъ г. Тургеневу: «вы ползаете у ногъ Базарова! вы только при-творяетесь, что осуждаете его; въ сущности вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки» (стр. ХСVI).

5) На письмо Каткова, который, получивъ рукопись г. Тургенева, писалъ ему: «Если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ, то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ, дѣйствительно, по-

---

\*) Какого года—неизвѣстно. Г. Тургеневъ въ своемъ волненіи указалъ даже отдѣлъ и страницу, *Zweite Beilage*, Seite 3, но годъ забылъ указать. Впрочемъ, любопытные могутъ добраться до этой важной даты по слѣдующему признаку: г. Тургеневъ не забылъ упомянуть, что 10 іюня было *Donnerstag*, т. е. четвергъ.

«давляетъ все окружающее. Все передъ нимъ или ветошь, или слабо и зелено. *Такого ли впечатлѣнія нужно было желать?*» (стр. ХСVII). Каткову, очевидно, и въ голову не могло прийти, что г. Тургеневъ втайнѣ придерживается нигилизма и вовсе не намѣренъ его осуждать.

Итакъ, впечатлѣнія, испытанныя дамами и мужчинами, свидѣтельство собственнаго дневника автора, сужденія писателей отечественныхъ и иностранныхъ—все доказываетъ, что г. Тургеневъ написалъ «Отцовъ и Дѣтей» безъ всякаго злаго умысла, безъ малѣйшей коварной мысли. Оправданіе полное и блистательное! Г. Тургеневъ можетъ надѣяться, что теперь самые упрямые и задорные нигилисты признають его совершенную невинность и, наконецъ, сознаются, какъ жестоко и несправедливо они поступили съ писателемъ, столь сочувственно отнесшимся къ ихъ мнѣніямъ, питавшимъ *невольное влеченіе*, родъ недуга, къ Базарову.

Но, милостивый государь, не одни нигилисты будутъ торжествовать по поводу этихъ неожиданныхъ открытій; я тоже торжествую, я тоже могу счесть первый томъ Тургенева за одну изъ самыхъ славныхъ своихъ побѣдъ. Припомните, въ самомъ дѣлѣ, что я вамъ писалъ. Не говорилъ ли я вамъ развѣ о постоянной нѣжности, которую питаетъ къ своимъ героямъ г. Тургеневъ? Не говорилъ ли я о томъ, что онъ постоянно расположенъ любить ихъ и вѣрить въ нихъ? Его герои суть его любимцы, предметы его поклоненія. Я утверждалъ, что если онъ ихъ казнить и развѣнчиваетъ, то дѣлаетъ это только въ силу высшихъ требованій, во исполненіе своего высокаго служенія поэту, такъ что подобныя жертвы, приносимыя имъ на алтарѣ правды, даже обходятся ему не безъ нѣкотораго страданія, не безъ тяжкаго чувства, вызываемаго борьбою со своими симпатіями. «Даже *Гамлетъ Шизровскаго узда*», смѣло восклицалъ я, не обошелся, мнѣ кажется, поэту безъ нѣкоторой боли».

Итакъ, я никогда не отрицалъ сочувствія г. Тургенева къ мнѣніямъ и характерамъ его героевъ! я, напротивъ, настаивалъ на живости и глубинѣ этого сочувствія, и думалъ только въ своемъ простодушіи, что нашъ знаменитый писатель болѣе свободно относится къ своимъ твореніямъ, что

онъ, какъ это бываетъ съ поэтами, умѣетъ подниматься въ сферу идей и воззрѣній, стоящую выше уровня его героевъ, что онъ глядитъ на изображаемыя имъ явленія съ нѣкоторой поэтической высоты, съ которой они открываются ему въ своемъ истинномъ свѣтѣ и въ своихъ надлежащихъ размѣрахъ. И вдругъ—какое разочарованіе! Оказывается, что ничего подобнаго нѣтъ у Тургенева, что онъ, напротивъ, влагаетъ героямъ свои собственные мысли и чувства, что онъ не въ силахъ отдѣлиться отъ своихъ созданій и сливается съ ними въ своемъ настроеніи и міросозерцаніи.

Если бы это было вполне справедливо, то я, конечно, долженъ бы былъ признаться въ глубокой ошибкѣ относительно Тургенева. Но, несмотря на собственные его завѣренія, я, кажется, имѣю нѣкоторое право не признавать себя побѣжденнымъ. Поэтамъ не всегда слѣдуетъ вѣрить, когда они принимаются сами истолковывать свои творенія. Тутъ возможны всякаго рода самообманыванія, для которыхъ нѣтъ причинъ у человѣка посторонняго и обсуждающаго дѣло съ хладнокровіемъ и безъ торопливости, какъ, напримѣръ, дѣлаю это я. Обратите вниманіе, милостивый государь, на то, какія жестокія слѣдствія можно вывести, если мы повѣримъ г. Тургеневу безпрекословно, если признаемъ, что онъ отождествляетъ себя съ своими героями.

Можно, напримѣръ, сказать, что онъ напрасно думаетъ, что по своему душевному настроенію онъ всего ближе подходитъ или подходилъ къ Рудину, къ Иясарову, или къ Базарову. Если въ характерахъ и мнѣніяхъ героевъ Тургенева искать того лица, съ которымъ онъ имѣетъ наибольшее сходство, то безъ сомнѣнія это лицо есть Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Вотъ нѣкоторыя черты этого разительнаго сходства. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда:

1. Былъ за границею для своего образованія,—тогда какъ Базаровъ не выѣзжалъ изъ Россіи.

2. Изучалъ Гегеля и знаетъ наизусть Гёте,—тогда какъ Базаровъ этихъ писателей презираетъ.

3. Пришелъ къ тому же отчаянію, какое выражается въ «Призракахъ», «Довольно», и пр.,—тогда какъ Базаровъ чуждъ подобныхъ слабостей.



4. Былъ нѣкогда передовымъ человѣкомъ и оракуломъ молодыхъ кружковъ, но «не сумѣлъ удержаться на высотѣ своей славы», не сумѣлъ «спокойно переждать напасть», тогда какъ Базаровъ едва ли бы сплеховалъ въ этомъ случаѣ.

5. Умѣеть превосходно описывать природу и житейскія спены (см. описаніе вечеровъ у невѣсты и смерти жены), тогда какъ Базаровъ вовсе къ этому не расположенъ и неспособенъ.

6. Заѣденъ рефлексіей, и пр. и пр.

Вотъ какую злобную параллель можно бы было сдѣлать, и сдѣлать не безъ основанія, если мы признаемъ, что Тургеневъ отражается въ своихъ герояхъ. Всякій безпристрастный читатель, я полагаю, согласится, что или самъ Тургеневъ вовсе не похожъ ни на Базарова, ни на Гамлета Щигровскаго уѣзда, или же онъ несравненно больше похожъ на этого Гамлета, чѣмъ на Базарова. Самъ г. Тургеневъ замѣчаетъ, что онъ не раздѣляетъ мнѣній Базарова объ искусствѣ. А развѣ это шутка или мелочь? Развѣ отрицаніе искусства не связано тѣснѣйшимъ образомъ съ другими убѣжденіями Базарова? Развѣ можно быть нигилистомъ, какъ объявляетъ себя г. Тургеневъ, и не отрицать искусства? Посмотрите при этомъ на то, какъ странны и нерѣшительны выраженія, въ которыхъ г. Тургеневъ заявляетъ свое сочувствіе нигилизму. Въ дневникѣ онъ замѣчаетъ, что чувствуетъ къ Базарову *невольное* влеченіе. Отъ невольнаго влеченія до сознательнаго сочувствія очень далеко. Дама назвала г. Тургенева нигилистомъ: *можетъ быть*, говоритъ славный авторъ «Отцовъ и Дѣтей», *она и правду сказала*. Если правду, то кому же это ближе знать, какъ не г. Тургеневу. Зачѣмъ тутъ *можетъ быть*? Говоря о томъ, что, по его милости, Базаровскій типъ уже не могъ быть идеализированъ, нашъ загадочный писатель выражаетъ о томъ свое сожалѣніе весьма загадочнымъ образомъ. «Кто знаетъ»,—говоритъ онъ,—«въ этомъ была—быть можетъ—если не ошибка, то несправедливость». Вотъ тутъ и разбирайте! Была, можетъ быть, ошибка, а, можетъ быть, ея и не было; но если ошибки и не было, то, можетъ быть, было хуже ошибки—несправедливость; а

кто все это знает и может разрѣшить, о томъ ничего неизвѣстно.

Итакъ, несмотря на все желаніе г. Тургенева выставить себя нигилистомъ и записаться въ послѣдователи лица, созданнаго имъ самимъ и, по давнишнему замѣчанію, гораздо болѣе умнаго, чѣмъ тѣ юноши, съ которыхъ это лицо списано, я принимаю на себя смѣлость—отказать г. Тургеневу въ его притязаніяхъ. Въ виду опасности, грозящей общему дѣлу литературы, въ виду соблазна, могущаго увлечь собою, можетъ быть, многихъ неопытныхъ и малосвѣдущихъ читателей, я рѣшаюсь защищать г. Тургенева противъ него самого, я хотѣлъ бы доказать, что тотъ пестрый нигилизмъ, который онъ теперь исповѣдуетъ, нисколько не согласуется съ его поэтической дѣятельностью, что заслуги и смыслъ этой дѣятельности гораздо выше, чѣмъ полагаетъ самъ г. Тургеневъ. Крайне прискорбно было бы, если бы имя нашего повѣствователя, занимавшаго столь долго первое мѣсто между отечественными писателями и стяжавшаго не малую славу и въ просвѣщенной Европѣ, перешло въ потомство съ такою злополучною памятью, что это былъ тайный нигилистъ, который въ сущности не вѣрилъ ни въ философію, ни въ исторію, ни въ народность, ни въ какіе общіе и частные авторитеты, который изъ всѣхъ наукъ уважалъ одни естественныя, который на любовь, на дружбу, на семейство, на красоты природы и вдохновенія искусства смотрѣлъ отнюдь не тѣмъ благоговѣйнымъ взглядомъ, какой свойственъ поэтамъ по нашему обыкновенному представленію. Этотъ нигилистъ сперва скрывалъ свои отчаянныя мнѣнія, прикидывался совершенно инымъ человекомъ, такъ что успѣлъ обмануть даже проницательнаго и неподкупнаго г. Каткова, думавшаго, что авторъ «Отцовъ и Дѣтей» искренно желаетъ совершенно *иного впечатлѣнія*, желаетъ въ своей повѣсти обличить и казнить нигилизмъ. Когда же повѣсть явилась на свѣтъ, когда множество юношей и во главѣ ихъ знаменитый молодой критикъ Писаревъ признали въ ней настоящій кодексъ своихъ мыслей и правилъ, когда нигилизмъ, нашедшій себѣ имя и выраженіе, распространился, укрѣпился и былъ истолкованъ читателямъ въ тысячѣ всякаго рода статей и критикъ, сло-

вомъ, когда произошло именно то *впечатлѣніе*, котораго Катковъ боялся и котораго втайнѣ добивался г. Тургеневъ, когда маститый нигилистъ откровенно объявилъ, что онъ сыгралъ съ русскимъ обществомъ штуку и что онъ въ сущности раздѣляетъ мнѣнія Базарова. Съдые безстыдники!... Я вспоминаю грозныя слова Каткова, еще недавно имъ произнесенныя относительно нѣкоторыхъ нигилистовъ. «А эти», говорилъ онъ, «съдые безстыдники, которые причисляютъ себя къ молодому поколѣнію, конечно, хорошо знаютъ, что они дѣлаютъ!» Вотъ какъ обманулся г. Катковъ, безъ сомнѣнія никогда не предполагавшій, что, произнося столь рѣзкое осужденіе, онъ можетъ хотя бы въ самой слабой степени коснуться этимъ осужденіемъ и своего бывшего сотрудника.

Нѣтъ,—оправдать г. Тургенева противъ его поклеповъ на самого себя, вывести его изъ столь безвыходнаго и по истинѣ жалостнаго положенія,—вотъ цѣль, которая, по моему мнѣнію, достойна самаго блестящаго и искуснаго пера, а не только моихъ слабыхъ силъ. Но честь отечественной литературы и моя неліцемерная любовь къ поэзіи такъ сильно вдохновляютъ меня, что я безъ всякаго колебанія рѣшаюсь на эту смѣлую попытку.

Давно уже я расхожусь съ г. Катковымъ въ нѣкоторыхъ своихъ воззрѣніяхъ на внутреннія наши дѣла. Именно, говоря о всякаго рода людяхъ, онъ чаще всего судитъ такъ, какъ я упоминалъ, то есть полагаетъ, что они *знаютъ*, что они *дѣлаютъ*. Я же питаю болѣе мягкій взглядъ на человѣческія дѣйствія, именно полагаю, что совсѣмъ не такъ рѣдки случаи, когда люди сами хорошенько не знаютъ, что они дѣлаютъ. Это снисходительное воззрѣніе на человѣческіе поступки, мнѣ кажется, во всей своей силѣ можетъ быть приложено къ г. Тургеневу. По всей справедливости можно сказать, что, создавая «Отцовъ и Дѣтей», онъ самъ не зналъ, что дѣлаетъ, и такое убѣжденіе укрѣпится въ душѣ каждаго безпристрастнаго читателя по прочтеніи статьи г. Тургенева, озаглавленной: «По поводу Отцовъ и Дѣтей» (4-я глава «Литературныхъ воспоминаній»). Изъ всѣхъ объясненій, заключающихся въ этой статьѣ, слѣдуетъ, что авторъ до сихъ поръ не можетъ понять, виноватъ ли онъ или не виноватъ,



хорошее ли онъ сдѣлалъ дѣло или дурное, радоваться ему или печалиться? Онъ совершенно и вполнѣ не разумѣетъ, почему его романъ могъ быть принятъ за сатиру на молодое поколѣніе. Свои отношенія къ Базарову онъ объясняетъ слѣдующимъ непонятнымъ образомъ. «Эти отношенія», говоритъ онъ, «были свойства очень неопредѣленнаго: авторъ самъ не зналъ, любить ли онъ или нѣтъ выставленный характеръ: ибо то «невольное влеченіе», о которомъ упоминается въ дневникѣ—*не любовь*» (стр. ХСV). Такимъ образомъ, свой романъ г. Тургеневъ признаетъ неяснымъ, непонятнымъ, *сбивающимъ съ толку* (см. на той же страницѣ, строки 8 и 9). Но самъ онъ все-таки не виновать, а виноваты будто-бы другіе, какіе-то «спасители отечества», которые воспользовались словомъ *нигилистъ*, сдѣлали изъ этого слова орудіе доноса, клеймо позора и, такимъ образомъ, «обратили *Отцовъ и Дѣтей* въ предлогъ, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ» (стр. ХСVІІ). И вотъ какъ случилось, что, нимало не желая мѣшать этому отрадному движенію, невинный поэтъ, не знавшій самъ, любить онъ или не любить Базарова, былъ обвиненъ въ ненависти къ этому типу и способствовалъ тому, что «общественное мнѣніе хлынуло обратной волной» и что *на его имя легла тѣнь, которая съ него не сойдетъ!* (стр. ХСVІІІ).

Смотрите, милостивый государь, смотрите, съ какою ясностію отсюда видно, что г. Тургеневъ и не подозреваетъ, какія страшныя вины онъ взводитъ на себя въ глазахъ нигилистовъ своими оправданіями. Онъ, изволите видѣть, не зналъ, любить онъ или нѣтъ Базарова! Да не заключается ли уже въ этомъ жесточайшее преступленіе передъ тѣми, кто всею душою и всѣмъ сердцемъ преданъ нигилизму? Онъ—объективенъ, онъ равнодушенъ, онъ холоденъ, какъ ледъ—и еще удивляется, что люди, пламенно преданные извѣстному дѣлу, покрыли его презрѣніемъ и осыпали насмѣшками! Да какъ же могло быть иначе? Онъ сочувствуетъ втайнѣ, а явно насмѣхается; онъ въ душѣ исповѣдуетъ извѣстныя мнѣнія, а на дѣлѣ выставляетъ ихъ на общее обсужденіе и порицаніе, какъ что-то постороннее, ни мало ему не дорогое,

нисколько до него не касающагося! кому и въ какомъ дѣлѣ можетъ быть пріятно, когда на васъ смотрятъ со стороны и съ высока? Только какой-нибудь наивный нѣмецъ могъ обмануться въ этомъ случаѣ, такъ какъ для него непонятна иронія и онъ сарказмы принимаетъ за чистую монету.

А откуда вся бѣда? Отчего все вышло? Оттого, что г. Тургеневъ занимается поэзіей, старается создавать поэтическія произведенія. Не лучший ли это примѣръ того, какъ вредна и опасна поэзія? Не ясно ли, что она приводитъ къ равнодушію въ самыхъ важныхъ дѣлахъ и вопросахъ? Не очевидно ли, что она только сбиваетъ съ толку и путаетъ и авторовъ и читателей? Не лучше ли было бы, если бы г. Тургеневъ пошелъ по слѣдамъ любимаго имъ критика Писарева и писалъ бы критическія и публицистическія статьи? Тогда бы мы давно знали его убѣжденія, никто бы не былъ сбитъ съ толку и никакой тѣни на его имени не легло бы, а, напротивъ, слава его была бы столь же чиста и безупречна, какъ слава Писарева и многихъ другихъ.

Между тѣмъ г. Тургеневъ упорствуетъ и, несмотря на ясное заявленіе своихъ убѣжденій, въ противность сознанію, что онъ принесъ вредъ русскому обществу, въ противность тому, что самъ же уличилъ себя въ глубочайшей винѣ—въ равнодушіи къ общественнымъ интересамъ, продолжаетъ настаивать, что онъ правъ, что можетъ считать себя не только невиннымъ, а даже полезнымъ писателемъ. Обративъ вниманіе на эти оправданія, и мы, какъ я надѣюсь, найдемъ въ нихъ точку опоры для разрѣшенія странныхъ противорѣчій, опутавшихъ собою нашего славнаго соотечественника.

«Господа критики»,—пишетъ онъ,—«вообще не совсѣмъ вѣрно представляютъ себѣ то, что происходитъ въ душѣ автора, то, въ чемъ именно состоятъ его радости и горести, его стремленія, удачи и неудачи. Они, на примѣръ, и не подозреваютъ того наслажденія, о которомъ упоминаетъ Гоголь и которое состоитъ въ казненіи самого себя, своихъ недостатковъ въ изображаемыхъ вымышленныхъ лицахъ; они вполнѣ убѣждены, что авторъ только и дѣлаетъ, что проводитъ свои идеи; не хотятъ вѣрить, что *точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни, есть высое-*

«чайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадаетъ съ его собственными симпатіями» (стр. ХСІІІ).

«Я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ» (тамъ же).

«Совѣсть не упрекала меня: я хорошо зналъ, что я честно отнесся къ выведенному мною типу; я слишкомъ уважалъ призваніе художника, литератора, чтобы покривить душою въ такомъ дѣлѣ» (стр. ХСІІ).

Не правда ли, милостивый государь, что это другого рода рѣчи, которыя весьма пріятно слушать? Итакъ, есть нѣчто, что должно для поэта стоять выше его личныхъ симпатій, выше всякаго желанія провести ту или другую любимую идею. Это нѣчто, этотъ высшій авторитетъ, передъ которымъ все другое ничтожно, есть истина, поэтическая правда, есть та реальность жизни, противъ которой никогда не долженъ кривить душою художникъ. Художникъ, слѣдовательно, признаетъ для себя руководствомъ нѣчто непонятное и таинственное, независимое отъ его идей и убѣжденій, превышающее его разумъ, его частныя соображенія, нѣчто абсолютное, не нуждающееся ни въ какихъ оправданіяхъ, не пользу, не наслажденіе, не патріотизмъ, не общественное мнѣніе и т. п., а правду, благоговѣнное прониканіе въ то, чѣмъ и какъ обнаруживаетъ себя жизнь. Этотъ авторитетъ, широкій и неуловимый для не художническаго смысла, очевидно, освобождаетъ художника отъ всѣхъ другихъ авторитетовъ, даетъ ему полнѣйшую независимость отъ нихъ.

Въ такомъ смыслѣ, конечно, слѣдуетъ понимать и тѣ немногія, но краснорѣчивыя слова г. Тургенева, въ которыхъ онъ, нѣсколько далѣе, ратуетъ за художническую свободу. «Нигдѣ», говоритъ онъ, «такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи». «Можетъ ли человѣкъ схватывать, уловлять то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; недаромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ сонетѣ, который каждый начинающій писатель долженъ вытвердить наизусть и помнить какъ заповѣдь—онъ сказалъ:



«Дорогою *свободной*  
Иди, куда влечетъ тебя *свободный* умъ...»

«Безъ свободы въ обширѣйшемъ смыслѣ,—въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи,—не-мыслимъ истинный художникъ» (стр. ХСІХ и С).

Вотъ, милостивый государь, прекрасныя оправданія! Вотъ ссылка на права поэта самыя священныя, самыя непререкаемыя! И никакихъ другихъ ссылокъ, никакихъ другихъ оправданій намъ не нужно! Если поэтъ правъ передъ лицомъ поэзіи, то онъ правъ передъ всѣмъ, что есть хорошаго и высокаго на свѣтѣ; зачѣмъ же было пускаться въ унижительныя объясненія своей благонамѣренности относительно нигилизма? Зачѣмъ было толковать о своихъ идеяхъ и симпатіяхъ, когда поэтъ, по собственнымъ словамъ Тургенева, долженъ отрѣшиться отъ своихъ симпатій и остерегаться всякаго *проведенія идеи*.

Кажется мнѣ, что теперь дѣло начинается нѣсколько уясняться. Поэзія сыграла злую шутку съ г. Тургеневымъ, заставила его надѣлать вещей, которыхъ онъ самъ не понимаетъ, въ которыхъ готовъ раскаиваться и просить прощенія. Онъ теперь не знаетъ, что ему дѣлать,—держаться ли за поэзію и отказаться отъ своего нигилизма, или же держаться за нигилизмъ и отказаться отъ своей поэзіи. По нелогичности, вполне объясняемой затруднительностію столь сложныхъ обстоятельствъ, г. Тургеневъ не усмотрѣлъ необходимости выбрать одно изъ двухъ и, очевидно, волнуемый пламеннымъ желаніемъ оправдаться, ссылается въ одно время и на свой нигилизмъ и на свою поэзію. Какое униженіе для поэзіи!

Собственно говоря, эти «Литературныя воспоминанія», красующіяся во главѣ полного собранія сочиненій Тургенева, имѣютъ одну главную цѣль—доказать читателямъ, что авторъ есть искренній нигилистъ. Поэзія же, со всѣми ея высокими правами, служитъ только извиненіемъ въ тѣхъ безпокойствахъ и непріятностяхъ, которыя г. Тургеневъ надѣлалъ нигилистамъ. Извѣстно, напримѣръ, что лучшее произведеніе нашего автора есть «Дворянское Гнѣздо». Смыслъ этого пре-

краснаго романа, наиболѣе теплаго, наиболѣе поэтическаго изъ всѣхъ произведеній г. Тургенева—славянофильскій. Мы помнимъ, какъ нѣкогда проникателяныя люди радовались этому повороту въ воззрѣнιάхъ и симпатіяхъ поэта. Но что же оказывается? Г. Тургеневъ объявляетъ нынче, что самъ онъ тутъ нисколько не виноватъ, а виновата одна поэзія: онъ считаетъ нужнымъ поставить это читателямъ на видъ, чтобы кто-нибудь не подумалъ, что онъ сочувствуетъ тому, что тогда написалъ; словомъ, ради нигилизма онъ отрекается отъ лучшаго созданія своей поэзіи. «Я,—говоритъ онъ,—ко-ренной, неисправимый западникъ, и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Паншина (въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ») всѣ комическія и пошлыя стороны «западничества; я заставилъ славянофила Лаврецкаго «разбить его на всѣхъ пунктахъ». Почему я это сдѣлалъ—я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ и безплоднымъ? Потому, что въ данномъ случаѣ такимъ именно образомъ, по моимъ понятіямъ, сложилась жизнь, а я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ» (стр. ХСІІІ).

Не грустное ли, не смѣшное ли зрѣлище представляетъ подобное оправданіе съ точки зрѣнія нигилизма? Западникъ вдругъ написалъ романъ въ славянофильскомъ духѣ,—и еще оправдывается! Опять повторимъ—не ясный ли это примѣръ того, какъ вредна поэзія? Два раза, какъ видно изъ словъ самого г. Тургенева, онъ самымъ непростительнымъ образомъ сбивалъ съ толку своихъ читателей; одинъ разъ онъ расточилъ самую глубокую симпатію на славянофила Лаврецкаго, на человѣка, душевное настроеніе котораго должно быть омерзительно для всякаго западника; другой разъ онъ равнодушно и скѣптически отнесся къ Базарову, къ человѣку, весь строй мысли котораго составляетъ лучшій цвѣтъ западническаго направленія. И послѣ этого онъ думаетъ еще оправдаться! Да пропадай она вся поэзія со всѣми ея высокими претензіями, если она приводитъ къ подобнымъ медвѣжьимъ услугамъ обществу, развитію, молодому поколѣнію!

Нѣтъ, милостивый государь, ни въ какомъ случаѣ в

никакимъ образомъ не можетъ быть правъ Тургеневъ, если мы станемъ судить его по основаніямъ, на которыя онъ самъ ссылается. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ:

Онъ виноватъ передъ своими убѣжденіями, которыя въ Базаровѣ вывелъ на общій судъ не какъ ихъ защитникъ и послѣдователь, а какъ дѣло для него чужое, какъ нѣчто сомнительное, дерзкое и дикое.

Онъ виноватъ передъ читателями, которыхъ дважды сбивалъ съ толку, «Дворянскимъ Гнѣздомъ» и «Отцами и Дѣтьми». Въ послѣднемъ случаѣ онъ успѣлъ отвести глаза даже столь проницательному человѣку, какъ г. Катковъ.

Онъ виноватъ передъ нашимъ прогрессомъ, такъ какъ способствовалъ тому, что этотъ прогрессъ замедлился и пріостановился.

Онъ виноватъ передъ молодымъ поколѣніемъ, такъ какъ въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» выступилъ не его сторонникомъ, а его строгимъ судьей и хладнокровнымъ цѣнителемъ.

Онъ виноватъ, наконецъ, передъ поэзіею, такъ какъ въ «Воспоминаніяхъ» не умѣлъ постоять за ея священные права и сталъ прибѣгать къ другимъ оправданіямъ, отречься отъ мысли своихъ произведеній и увѣрять, что онъ больше дорожитъ своимъ нигилизмомъ, чѣмъ своею поэзіею.

Такъ что, милостивый государь, если я не вступаю за Тургенева противъ него самого, если я не покажу его истинныхъ заслугъ, то слава его, какъ мнѣ кажется, будетъ померачена на вѣки, къ истинному прискорбію всѣхъ любителей отечественной литературы. Къ такой защитѣ я, наконецъ, и приступаю. Я полагаю, что о Тургеневѣ можно и необходимо судить съ иныхъ точекъ зрѣнія, и именно слѣдующимъ образомъ:

Не своими поэтическими произведеніями провинился передъ нами г. Тургеневъ, а развѣ всѣмъ тѣмъ, что у него является помимо поэзіи, напримѣръ, тѣми вставочными разсужденіями, которыми онъ наполнилъ «Дымъ», тѣми «Воспоминаніями», которыя лежатъ теперь передъ нами. Впрочемъ, и тутъ—какая вина? Себѣ самому, кажется, г. Тургеневъ повредилъ всего больше. Но вездѣ, гдѣ онъ оставался поэтомъ, онъ былъ правъ и чистъ и полезенъ. Итакъ, мы раз-



личаемъ Тургенева-мыслителя и Тургенева-художника. Для спасенія славы одного изъ нашихъ знаменитыхъ писателей нужно твердо держаться этого различія; ибо оказывается, что въ одномъ и томъ же человѣкѣ поэтъ и мыслитель могутъ приходить въ крайнее противорѣчiе. Въ настоящемъ случаѣ, какой разумный человѣкъ усумнится, что ради Тургенева-поэта намъ слѣдуетъ пожертвовать Тургеневымъ-мыслителемъ? Поэтъ онъ хорошій, но мыслитель... не составляющій украшенія нашей литературы. Въ немъ съ удивительной ясностью обнаружилось то явленіе, что поэзія даетъ людямъ прозорливость и глубину, далеко превышающія силу ихъ разума. И потому, да будетъ поэзія прославлена во вѣки! Какъ не подивиться въ самомъ дѣлѣ тому, напримѣръ, что сдѣлано Тургеневымъ? Если повѣрить его словамъ, то онъ все время былъ искреннимъ западникомъ; а между тѣмъ, чему онъ послужилъ своими произведеніями? Онъ безпрестанно казнилъ и развѣнчивалъ западничество. Вслѣдствіе чудесной правдивости, свойственной поэзіи, выходило такъ, что явленія, передъ которыми онъ готовъ былъ преклониться, обнаружили въ его произведеніяхъ свою истинную натуру, ту гнилость, которою они были поражены. Такъ случилось съ Базаровымъ. Да и съ однимъ ли Базаровымъ? Чтò такое всё семь томовъ Тургенева, законченные только-что вышедшимъ первымъ томомъ? Это пространнѣйшій *лазаретъ*, какъ выразился одинъ изъ моихъ знакомыхъ; это правдивая картина людей, искалѣченныхъ внутреннею-духовною болѣзнью. Мы видимъ передъ собою цѣлые ряды *лишнихъ людей*, *Гамлетовъ*, *Рудиныхъ*, *Базаровыхъ*, то есть всевозможныхъ представителей нашего западничества послѣднихъ двадцати лѣтъ. Передъ нами происходитъ длинная комедія, повѣствующая объ ихъ жалкой участи, о слабости ихъ силъ и несостоятельности во всѣхъ дѣлахъ, начиная отъ любовныхъ. Это уныніе, этотъ внутренній разладъ и разрывъ съ окружающимъ міромъ, это отсутствіе прочныхъ и ясныхъ основъ жизни—все это болѣзненные черты, которыми отличались наши западники. И слѣдовательно, всѣми своими произведеніями г. Тургеневъ достигъ одного результата—изобразилъ наше западничество въ его истинномъ свѣтѣ и, слѣдовательно, казнилъ и развѣнчивалъ его. Такова благотворная сила поэзіи!

Нынѣ г. Тургеневъ удивляется, почему его Базаровъ не нравится молодому поколѣнію. Что касается до меня, то я искренно готовъ радоваться за нашихъ юношей, не нашедшихъ ничего для себя лестнаго въ этомъ изображеніи. Еще бы они были довольны! Кому же не ясно, что, напримѣръ, глупенькая Феничка, или старушка-мать Базарова представляютъ людей въ тысячу разъ болѣе симпатическихъ, чѣмъ высокоумный Базаровъ? Кому не ясно, что та оторванность отъ жизни, которая отличаетъ героя «Отцовъ и Дѣтей», его отчужденіе отъ всего живого и теплаго, его гордость, самолюбіе, его медицинскій цинизмъ и матеріализмъ, наконецъ, тоска и пустота его собственной души—должны были оттолкнуть отъ этой фигуры не только холодную Одинцову, но еще болѣе всякаго не черстваго человѣка? Мнѣ кажется, г. Тургеневъ ошибается въ своемъ чувствѣ къ Базарову; онъ не сочувствуетъ ему, а онъ его *боится*. Написавши портретъ страшнаго для себя человѣка, г. Тургеневъ теперь никакъ не можетъ понять, почему и тѣ, которыхъ онъ предполагалъ испугать, и тѣ, которымъ онъ надѣялся польстить, находятъ такъ мало страшнаго и величественнаго въ этой фигурѣ. Недоумѣніе нашего автора можно сравнить съ изумленіемъ мыши, которая, изображая Геркулеса, придала бы ему черты кошки, и потомъ убѣдилась бы, что это изображеніе ни львовъ не пугаетъ, ни самому Геркулесу не льститъ. Между тѣмъ бѣды бы никакой не было, если бы мышь только никому не сказывала, что она непременно хотѣла изобразить могучаго и непобѣдимаго Геркулеса; всѣ любовались бы прекраснымъ портретомъ и дивились бы только мѣткости, съ которою схвачена кошачья фізіономія. Это замѣчаніе можно расширить и распространить на всю дѣятельность г. Тургенева. Изображая жизнь нашего образованнаго класса, онъ видѣлъ въ ея волненіяхъ и представителяхъ нѣчто великое и важное, онъ думалъ, что живетъ въ мірѣ геройскихъ лицъ и дѣяній и изображалъ ихъ съ благоговѣніемъ и правдивостью. Вдругъ оказывается, что это міръ фальшивый, чуждый настоящей здоровой жизни; тѣмъ не менѣе, изображенія нашего поэта должны быть признаны прекрасными и добросовѣстными, хотя они получаютъ для насъ совершенно не тотъ смыслъ, ка-

кой имѣли для него, даютъ намъ иное поученіе, приводятъ къ инымъ выводамъ.

Итакъ, вотъ мое заключеніе. Если бы у г. Тургенева не было поэтического дара, онъ представилъ бы собою одного изъ самыхъ жалкихъ нигилистовъ. Но по милости небесъ онъ одаренъ былъ зоркостью поэта и потому оказалъ не малыя услуги русскому обществу. Онъ способствовалъ разъясненію и правильной постановкѣ многихъ хаотическихъ и трудно-уловимыхъ явленій. Правда, что истинный смыслъ этихъ явленій остался недоступенъ для него самого; но для насъ они явились въ живыхъ, яркихъ образахъ, и всякій разумѣющій можетъ изслѣдовать ихъ дѣйствительную сущность.

И если въ концѣ концовъ мы откроемъ, что г. Тургеневъ въ сущности скептикъ, что онъ въ томъ мірѣ, который составлялъ законную область его поэзіи, ни къ чему не могъ отнестись вполнѣ любовно, что, слѣдовательно, чудесная сила поэзіи помимо его воли и разума поднимала его выше этого міра, что онъ нигилистъ не потому, что будто-бы любить Базарова и раздѣляетъ его убѣжденія, а потому, что онъ не нажилъ никакихъ убѣжденій и умѣетъ лишь ко всему относиться отрицательно,—то вы убѣдитесь, что я былъ правъ въ своемъ прошломъ письмѣ, и согласитесь, что въ этой характеристикѣ г. Тургенева выходитъ несравненно лучше, чѣмъ онъ самъ себя рекомендуетъ въ своемъ первомъ томѣ.

10 декабря.

*Н. Косица.*

*(Заря 1869, декабрь).*

---



#### IV.

### ПОСЛѢДНІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ ТУРГЕНЕВА (1871).

Призраки. Фантазія. 1863.

Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника. 1864.

Собака. 1866.

Дымъ. 1867.

Исторія лейтенанта Ергунова. 1867.

Бригадиръ. 1867.

Несчастная. 1868. (См. Сочиненія И. С. Тургенева. Ч. V и VI. Москва, 1869).

Странная исторія. Разсказъ. (Вѣстн. Европы 1869, янв.).

Степной король Лиръ. (Вѣстн. Европы 1870, окт.).

Стукъ, стукъ, стукъ! Студія. (Вѣстн. Европы 1871, янв.).

#### I.

Литературная судьба г. Тургенева очень интересна. Въ его дѣятельности на нашихъ глазахъ совершился нѣкоторый переворотъ, переломъ; неожиданно-негаданно (какъ это всегда бываетъ) упалъ на него какой-то ударъ судьбы, и Тургеневъ, по видимому, утратилъ въ одно время и вліяніе на читателей, и прежнюю творческую силу. Его нынче всѣ бранятъ, никто имъ недоволенъ, всѣ наперерывъ удивляются слабости его послѣднихъ произведеній. И дѣйствительно, въ этихъ произведеніяхъ нѣтъ прежней силы, нѣтъ прежней значительности.

Что же случилось? Дѣло, кажется, такое, что о немъ стоитъ подумать. Наша литература, вѣдь, не пустякъ. Она нынче *процвѣтаетъ* въ полномъ смыслѣ этого слова; она процвѣтаетъ, ширится и развертывается, тогда какъ, напри-

мѣртъ, литература французская, нѣмецкая, англійская — или падаютъ, или находятся въ застоѣ. Мы говоримъ здѣсь, разумеется, о литературѣ въ тѣсномъ смыслѣ, то есть о художественной словесности. Какъ бы строго мы ни стали судить о нашихъ художникахъ слова (а мы, русскіе, всегда расположены строго судить о самихъ себѣ), нельзя не согласиться, что у насъ не мало хорошихъ писателей, что они много сдѣлали, много дѣлаютъ теперь и много обѣщаютъ въ будущемъ. Европейскіе критики, нѣмцы и англичане, находятъ, что наши писатели по силѣ и мастерству своего искусства *не уступаютъ никакимъ европейскимъ*. А что сказали бы эти критики, если бы они могли понять внутреннюю задачу русскихъ писателей, ту задачу, которая составляетъ душу нашей литературы и разрѣшается ею съ такимъ напряженіемъ и успѣхомъ, съ такою глубокую и неутомимую серіозностію! У насъ нѣтъ установившихся, окрѣпшихъ формъ и воззрѣній; у насъ все растетъ, все вновь складывается. Большею частію наши писатели даже не останавливаются въ своемъ развитіи, а продолжаютъ дѣлать все новые и новые шаги до тѣхъ поръ, пока пишутъ. Такъ Тургеневъ выросъ безмѣрно въ сравненіи съ тѣмъ, чего ожидалъ отъ него Бѣлинскій. Такъ Левъ Толстой поднимался еще правильнѣе и неуклоннѣе, и взмшелъ еще выше. Такъ Достоевскій, несмотря на колебанія, все еще продолжаетъ подыматься, и для русскаго критика ясно, что, напримѣръ, въ повѣсти «Вѣчный мужъ» этотъ писатель, работающій такъ давно, сдѣлалъ новый шагъ въ развитіи своихъ идей. Этихъ примѣровъ довольно. Въ силу этого непрерывнаго роста — наша литература теперь уже не та, что была пять лѣтъ назадъ; она растетъ быстро, какъ сказочный богатырь. Уловить душу этого развитія, его движущую силу, — вотъ задача нашей критики; этой критикѣ есть надъ чѣмъ поработать — предметъ ея достигъ огромной значительности, даже европейской славы (если ужъ непременно нужно мнѣніе Европы), а важность его непонятна только тому, кто не имѣетъ достаточно смысла, чтобы интересоваться духовнымъ развитіемъ своего народа.

Итакъ, въ нашей процвѣтающей литературѣ случился фактъ самыхъ крупныхъ размѣровъ. Писатель, безспорно за-

нимавшій долгое время первое мѣсто, любимецъ всего общества и молодого поколѣнія, вдругъ подвергся гоненію журналистики и публики. Это подѣйствовало на него такъ, что онъ, по видимому, потерялъ свою прежнюю силу и хотя продолжаетъ писать, но, очевидно, понизилъ свой голосъ. Вотъ уже девять лѣтъ, какъ дѣло находится въ такомъ положеніи. Казалось бы смыслъ его давно долженъ быть ясенъ, а между тѣмъ едва ли это такъ.

Вотъ, между прочимъ, свидѣтельство, какое трудное и жестокое дѣло наша литература. Тургеневъ не первый лишается внезапно благоволенія нашей капризной публики; нѣчто подобное, и даже въ гораздо большихъ размѣрахъ, случилось съ Пушкинымъ, Гоголемъ, Герценомъ... Изслѣдованіе этихъ случаевъ весьма любопытно, можетъ дать нѣкоторыя откровенія относительно нашего духовнаго роста, умственного склада нашего общества. Есть, очевидно, какая-то странная зыбкость, какая-то неустойчивость и лихорадочность въ развитіи нашего общества и нашей литературы. Обыкновенно дѣло идетъ такъ, что писатели *перерастаютъ* своихъ читателей. Они нравятся толпѣ и бываютъ ея любимцами, пока не вполне обнаружили себя, не достигли своего высшаго развитія. Пока толпа можетъ понимать ихъ по своему, можетъ находить въ нихъ пищу для своихъ нравственныхъ вкусовъ, она ихъ превозноситъ и балуетъ. Но, когда понемногу оказывается, что идолъ совсѣмъ не то думаетъ и не туда смотритъ, куда хотѣлось бы толпѣ,—она безжалостно, какъ истинная толпа, свергаетъ свое божество и топчетъ его въ грязь. Вотъ жестокая игра, безпрестанно повторяющаяся въ нашей литературѣ и приносящая столько страданій нашимъ писателямъ. Толпа обыкновенно увѣряетъ, что писатели отстаютъ отъ ея движенія, что будто они остаются назади, а она впереди; но этому трудно повѣрить и вообще, судя по обыкновеннымъ свойствамъ толпы, и въ частности, по свойству и подробностямъ тѣхъ случаевъ, о которыхъ мы говоримъ. *Люди понимаютъ только то, что имъ нравится*; для всего остального они слѣпы и глухи. Поэтому мы мало расположены довѣрять пониманію толпы и, въ случаѣ недоразумѣнія и разногласія, заранѣе становимся на сторону писателей.



## II.

Относительно Тургенева можно впрочемъ замѣтить, что онъ и самъ виноватъ. Едва ли бы онъ подвергся такимъ жестокимъ и долгимъ нападеніямъ, если бы онъ самъ не старался всячески дразнить общественное мнѣніе, дерзко касаться его любимыхъ идей и вкусовъ, дотрогиваться до самыхъ больныхъ и чувствительныхъ мѣстъ. Эта опасная игра не прошла Тургеневу даромъ, но онъ долженъ сознаться, что съ своей стороны онъ подвергалъ терпѣніе общества значительному испытанію. Какъ-будто онъ не чувствовалъ, что онъ дѣлаетъ, когда писалъ *Отцовъ и Дѣтей*, или *Дымъ*? Желаніе противорѣчить общему настроенію, взглянуть объективно, со стороны, на послѣдній фазисъ нашего прогресса, не участвовать въ немъ, а судить, и даже прямо осуждать его,—это желаніе очень ясно видно въ названныхъ произведеніяхъ. Кому же это могло быть пріятно? Въ самую горячую минуту, когда люди лихорадочно увлечены извѣстными стремленіями, вдругъ раздается скептической, недовольный, охлаждающій голосъ. Когда все общество бредило *Современникомъ*, вдругъ появляются *Отцы и Дѣти*, въ которыхъ мѣтко, ясно, съ плотью и кровью выставленъ на всенародныя очи *нигилизмъ*. Когда вѣтеръ перемѣнился, и все общество затолковало о народности, о величїи нашего государства и о будущности Россіи, вдругъ появляется *Дымъ*, въ которомъ безпощадно, въ рѣзкихъ и животренецующихъ образахъ осуждается нашъ *патріотизмъ*. Не это ли называется крикнуть людямъ подъ руку, или неожиданно облить ихъ холодной водою?

Но что же изъ этого? Можно сказать только, что Тургеневъ въ значительной мѣрѣ воспользовался правами писателя. Права писателя, какъ извѣстно, столь велики и обширны, что съ ними ничьи другія не сравнятся. По давнишнему ученію, писатель можетъ говорить о чемъ угодно, когда угодно и какъ ему угодно. Онъ можетъ не отвѣчать ни на какіе вопросы, ни на общественные, ни на лично къ нему обращенные, и можетъ говорить о томъ, о чемъ его вовсе не спрашиваютъ. Онъ можетъ заниматься тѣмъ, что никого не

занимаетъ, и молчать о томъ, о чемъ всѣ говорятъ. Онъ можетъ смѣяться надъ тѣмъ, что всѣ уважаютъ, сомнѣваться въ томъ, во что всѣ вѣрятъ, и вѣрить въ то, чего никто не признаетъ, и что онъ самъ выдумалъ. Своимъ мыслямъ онъ можетъ придавать такую форму, какая ему заблагоразсудится. Онъ можетъ излагать ихъ въ ясныхъ и связныхъ разсужденіяхъ, или въ художественныхъ образахъ, или въ видѣ фантазій и иносказаній: можетъ говорить прямо, или однимъ намеками, загадками, капризными выходками, отрывочными и безсвязными. Онъ можетъ говорить сегодня одно, а завтра другое, объявивши, что онъ перемѣнилъ свое мнѣніе, или даже не объявляя этого. Все дозволяется писателю, и что бы онъ ни дѣлалъ, ему воздается честь и слава, если онъ успѣетъ сдѣлать то, что задумалъ. Если онъ возбудилъ недоумѣніе и сомнѣніе въ томъ, что было выше всякихъ недоумѣній и сомнѣній,—слава. Если пошатнулъ кумирь, которому всѣ поклонялись,—слава. Если заставилъ читателей сегодня думать не такъ, какъ они думали вчера,—слава. Если нашелъ то, чего никто не зналъ, и сталъ на точку зрѣнія, на которой никто не стоялъ,—слава. Словомъ, если только писатель успѣлъ что-нибудь создать, или что-нибудь погубить, то, не разбирая, что и какъ создано, что и какъ погублено,—слава и слава.

Таковы общепризнанные права писателей, и въ этомъ либерализмъ относительно литературы, обыкновенно проповѣдываемомъ и защищаемомъ самою же литературой, есть нѣкоторый важный смыслъ. Этотъ либерализмъ основывается на вѣрѣ въ разумъ, въ законность и неизмѣнность его развитія. Предполагается, что всѣ явленія мысли имѣютъ разумность, что есть неизбѣжная логика въ развитіи мнѣній и сужденій, ведущая ихъ непремѣнно *впередъ*, непремѣнно *къ лучшему*. Такъ точно, защитники свободной торговли и всяческой свободы обмѣна увѣрены, что эта свобода ведетъ къ большому накопленію богатствъ и къ лучшему ихъ распредѣленію. Въ литературѣ предполагается, что какой бы кавардакъ мы ни сочинили, какого бы туману ни напустили въ глаза, какъ бы сильно и неожиданно ни сбивали людей съ толку и ни приводили ихъ въ недоумѣніе, изъ этого безпорядка самъ со-

бою возникнетъ новый порядокъ, еще лучшій, чѣмъ прежній, такъ какъ онъ и побѣдитъ и сохранитъ въ себѣ всѣ элементы, внесенные безпорядкомъ. Вѣра, побѣдившая сомнѣнія, станетъ выше прежней несомнѣвавшейся вѣры; истина, выдержавшая критику, станетъ еще яснѣе и обогатится всѣмъ содержаніемъ вынесенной борьбы, и т. д.

Вотъ тотъ оптимистическій взглядъ на явленія литературы, на который можетъ сослаться Тургеневъ, и который, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ когда-нибудь къ нему примѣнить. Не довольно ли мы его бранили и не пора ли перестать?

Оказывается однако же, что либеральная теорія, столь прекрасная и ясная въ отвлеченномъ видѣ, на практикѣ прилагается вовсе не такъ удобно и порождаетъ явленія весьма некрасивыя, смутныя и печальныя. На дерзкія произведенія Тургенева, непочтительно затрогивавшія наши любимыя идеи, общество и литература отвѣчали такъ запальчиво, съ такимъ живымъ и долгимъ негодованіемъ, что художникъ, хорошо знавшій свои права на свободу мнѣній, смутился однако же до глубины души. Объ этомъ смущеніи свидѣлствуютъ—упадокъ дѣятельности Тургенева со времени *Отцовъ и Дѣтей*, и еще прямѣе—тѣ оправданія, въ которыя онъ вдается въ своихъ «Воспоминаніяхъ» и въ предисловіи къ отдѣльному изданію *Дымъ*. Такимъ образомъ, ни общество, ни художникъ не выдержали игры въ свободу творчества и въ терпимость всякихъ литературныхъ явленій. Тургеневу объявили, что онъ вреденъ; не нашлось почти никого, кто бы попытался стать выше раздраженія и извлечь пользу изъ произведеній, на которыя положено было столько тонкаго, упornaго чутья, столько талантливой работы. Самъ Тургеневъ готовъ признать, что, напримѣръ, *Отцы и Дѣти*, гдѣ онъ былъ такъ объективенъ, такъ безпристрастенъ, такъ искренно стремился къ правдѣ и точному воспроизведенію жизни, не принесли пользы, а повели къ одному вреду. «На мое имя», горестно замѣчаетъ онъ, «легла тѣнь. Я себя не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ» (Соч. Тург. Т. I, стр. XCVIII).

Вотъ до чего доводитъ вѣра въ разумъ, теорія литературной свободы, тотъ взглядъ, что чѣмъ больше кутерма умовъ



и мнѣній, тѣмъ быстрѣе совершается прогрессъ, и что все непременно пойдетъ къ лучшему! Вотъ вамъ примѣръ, неопытные, еще не знающіе осторожности юноши! Судьба Тургенева да научитъ васъ: не довѣряйтесь теченію вашихъ думъ и чувствъ; не смѣйте идти, куда васъ повлекутъ *невольныя мечты*, какъ говоритъ Пушкинъ; берегитесь, чтобы и на ваше имя не легла тѣнь, какъ она легла на имя Тургенева!

Такое заключеніе мы находимъ, однако же, слишкомъ печальнымъ, и потому не расположены ему вѣрить. Неужели же до этого дошло? Неужели мы должны отречься отъ свободы въ литературѣ и дѣлать нашихъ писателей не на умныхъ и глупыхъ, а на полезныхъ и вредныхъ? Мы этого не думаемъ. Не даромъ же мы построили безмѣрно-огромное государство, ревниво берегли свою независимость, боролись съ Европою, и вообще составляемъ народъ самостоятельный, желающій жить своею жизнью. Мы можемъ, кажется, дать волю своему уму и воображенію, можемъ свободно помечтать и философствовать. Нетерпимость, которая появилась у насъ въ литературѣ, и отъ которой пострадалъ Тургеневъ, кажется, есть явленіе временное, есть слѣдствіе того, что наши партіи слишкомъ разгорячились въ недавній періодъ своего усиленнаго развитія. Было бы слишкомъ печально, если бы мы всѣхъ нашихъ писателей, всѣ наши умственные силы принуждены были запрягать въ государственное или какое-нибудь другое тягло, если бы постановили правиломъ, какъ это было у грековъ, что всякій человѣкъ долженъ принадлежать къ извѣстной партіи, а иначе онъ намъ бесполезенъ, или даже вреденъ.

Какъ бы то ни было, какъ бы мы ни смотрѣли вообще на теорію литературной свободы, мы во всякомъ случаѣ сдѣлаемъ хорошо, если *сумѣемъ* ей слѣдовать, если *сможемъ* приложить ея правила. Есть случаи, когда на насъ не лежитъ прямой обязанности сдѣлать извѣстное дѣло и когда, однако же, мы будемъ и счастливы, и достойны похвалы, если успѣемъ сдѣлать это дѣло. Если мы попробуемъ отдѣлаться отъ случайнаго и минутнаго настроенія, если не поддадимся раздраженію, возбуждаемому въ насъ извѣстными произведеніями, если сумѣемъ стать выше этихъ произведеній и раз-

смаатривать ихъ какъ возраженіе, какъ поясненіе и дальнѣйшее развитіе вопроса, то мы поступимъ наилучшимъ образомъ. Высокія дарованія Тургенева, его основательная образованность, его искренность и добросовѣстность, даже его любовь къ Россіи—не подлежатъ сомнѣнію. Трудно допустить, чтобы при такихъ условіяхъ онъ былъ вреднымъ писателемъ, чтобы творческая работа такого человѣка не приносила прямой пользы, не способствовала развитію нашихъ идей, не была цѣннымъ вкладомъ въ сокровищницу нашей литературы.

Посмотримъ ближе, въ чемъ дѣло.

### III.

Тургеневъ задѣлъ и раздражилъ обѣ наши главныя партіи, западниковъ и славянофиловъ, первыхъ преимущественно *Отцами и Дѣтьми*, вторыхъ преимущественно *Дымо*мъ. Говоримъ преимущественно, потому что и въ другихъ его произведеніяхъ обѣ партіи находили не мало поводовъ къ неудовольствію.

Что касается до западниковъ, до нигилистовъ, которымъ Тургеневъ далъ имя и образъ, то причины раздора между ними и нашимъ романистомъ до сихъ поръ остаются покрытыми густымъ мракомъ. Покойный Писаревъ совершенно справедливо назвалъ это дѣло *Неръшеннымъ вопросомъ*. До послѣднихъ дней не понимаетъ этого дѣла самъ Тургеневъ, не хотятъ понимать «Отечественныя Записки», никакъ не могутъ понять нѣмецкіе критики. Въ газетѣ *Vossische Zeitung*, какъ указываетъ Тургеневъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», было сказано, что въ Базаровѣ «всякій новѣйшій радикалъ долженъ бы съ чувствомъ радостнаго удовлетворенія признать свой портретъ» (Соч. Тург. т. I, стр. XCIV). Юліанъ Шмидтъ пришелъ къ такому же заключенію. «Молодое поколѣніе русскихъ, говоритъ онъ, безъ основанія разсердилось на *Отцовъ и Дѣтей*» \*), и критикъ даже ни на

---

\*) Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit, von Julian Schmidt. Leipz. 1870, стр. 407.

минуту не останавливается надъ вопросомъ, откуда произошелъ этотъ неосновательный гибель. Вообще, какъ свидѣтельствуетъ Тургеневъ, «иностранцы никакъ не могутъ понять безпощадныхъ обвиненій, возводимыхъ на автора *Отцовъ и Дѣтей* за Базарова» (Соч. Тург. т. I, стр. XCIV).

Эти свидѣтельства много значать. Они показываютъ, что нашъ нигилизмъ есть, дѣйствительно, плодъ нашего европейничанья, что Европа узнаетъ въ немъ свое дитя, плоть отъ своей плоти. Мать, какъ оно и естественно, находитъ свое дѣтище очень милымъ и красивымъ и чрезвычайно удивлена, что варвары, обладающіе такими образчиками европейской цивилизаціи, не почитаютъ ихъ и недовольны ими. Между Россіей и Европою обнаружилось, такимъ образомъ, замѣчательное разногласіе во взглядѣ на вещи.

Русскій нигилизмъ, по нашему мнѣнію, нѣсколько отличается отъ европейскаго; но несомнѣнно правъ Н. Я. Данилевскій, замѣчая, что Европа имѣла своихъ нигилистовъ раньше Россіи и что эти нигилисты суть нѣмцы.

«Для жившей заднимъ умомъ официальной Россіи»,—говоритъ онъ,—«все еще Франція, по старой памяти, казалась олицетвореніемъ всѣхъ антисоціальныхъ, антирелигіозныхъ, противонравственныхъ ученій, а скромная, глубокомысленная Германія олицетворяла собою противодѣйствующій этимъ зловреднымъ направленіямъ спасительный идеализмъ». «Не такъ еще давно молодымъ людямъ, отправлявшимся за границу, строго возбранялся въѣздъ во Францію, какъ въ страну нравственно-зачумленную, тогда какъ зараза давно уже оставила французскую почву и перешла въ Германію. Безъ самобытнаго развитія, привычки вѣрить на слово нашимъ иностраннымъ учителямъ, и въ послѣднее время будучи обучаемы исключительно нѣмецкою наукою, мы заразились саменѣйшимъ и саомоднѣйшимъ ея направленіемъ, которое не встрѣчало ни внутренняго, ни внѣшняго противодѣйствія. Къ какой націи принадлежать: Фохтъ, Модешоттъ, Фейербахъ, Бруно Бауэръ, Бюхнеръ, Максъ Штирнеръ—или корифеи новѣйшаго матеріализма?» \*).

Подобно другимъ молодымъ людямъ, и Тургеневъ прожилъ два года (1838—1840) въ Берлинѣ и старался усво-

---

\*) *Россія и Европа*, Н. Я. Данилевскаго. Спб. 1871 г. стр. 308.



ить себѣ всѣ тайны нѣмецкой мудрости. Юліанъ Шмидтъ по поводу слова *нигилизмъ* дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія:

«Какъ ни зорко видитъ Тургеневъ свой предметъ, однако же, въ его взглядѣ на русскія партіи отзываются иногда воспоминанія его юности, его нѣмецкаго образованія. Онъ жилъ въ Берлинѣ въ то время, когда на мѣсто *благородства убѣждений* стала *критика*, когда *Бруно Бауэръ* выставилъ догматъ, что образованный человѣкъ не долженъ имѣть никакихъ убѣждений, когда *Максъ Штирнеръ* доказывалъ юнымъ Гегельянкамъ, считавшимъ идеи обязательными для человѣка, что идеи суть дымъ, паръ, романтика, и сводилъ всю реальность на *я*, на «единичнаго и его собственность»; когда, наконецъ, еще дальше пошедшій прогрессивный мыслитель показалъ Максу Штирнеру, что *я* и *вѣра* въ *я* есть корень всяческой романтики. Вотъ, кто были настоящіе нигилисты» \*).

Но, по мнѣнію Юліана Шмидта, Базаровъ есть нигилистъ не въ этомъ смыслѣ, а въ гораздо вышемъ, составляющемъ еще новый, сдѣланный вполнѣдствіи шагъ европейскаго прогресса. Именно, Шмидтъ, подобно Писареву, называетъ Базарова *реалистомъ*. «Ничто», говоритъ онъ, «не есть результатъ, къ которому онъ стремится; онъ хочетъ только очистить мѣсто, отдѣлаться отъ пустыхъ отвлеченій, чтобы видѣть вещи, какъ онѣ есть,—отбросить условныя правила» и пр. Однимъ словомъ, Шмидтъ совершенно доволенъ Базаровымъ и разсыпается въ похвалахъ ему.

Изъ всего этого слѣдуетъ—и то, что Германія имѣла вліяніе на Тургенева, на его взгляды, творчество и самую терминологію, и то, что русскій ниѣлизмъ имѣетъ несомнѣнное сродство съ нѣмецкимъ, предупредившимъ его своимъ развитіемъ. Такъ и вышло, что Тургеневъ теперь заодно съ нѣмцами недоумѣваетъ и удивляется: отчего русскимъ не понравился ниѣлизмъ, воплощенный въ Базаровѣ?

Попробуемъ отвѣчать. Нѣмцы—народъ грубый и наивный, мы—народъ чуткій и чуждый наивности; что годится для однихъ, то другимъ вовсе не по нутру. Почему Тургеневъ такъ крѣпко вѣритъ въ теорію прогресса, которую въ юности услышалъ въ Берлинѣ? Почему онъ думаетъ, что мы

\*) Bilder etc., стр. 464.

съ такою же наивностію, какъ нѣмцы, примемъ въ сурьезъ, сочтемъ за шагъ впередъ, за новый фазисъ человѣческаго духа, — послѣднюю народившуюся глупость, послѣднее умственное повѣтріе, настроеніе послѣдней минуты? На святой Руси никогда этого не будетъ; ни французская *мода*, ни нѣмецкій *прогрессъ* никогда у насъ не будутъ имѣть большой власти, серьезнаго значенія. Не такой мы народъ, чтобы повѣрить, что глубокія основы жизни могутъ быть сегодня открыты, завтра передѣланы, послѣ завтра радикально измѣнены.

Тургеневъ ошибся, полагая, что къ намъ вполнѣ прилагаются формы европейскаго развитія. Теперь онъ сердится, почему на его Базарова не смотрятъ уважительно, какъ на героя, какъ на нѣчто солидное и серьезное. Увы! въ той сферѣ, которая породила Базарова, ничего не можетъ быть для насъ солиднаго и серьезнаго. Напрасно Тургеневъ думалъ, что къ намъ такъ или иначе привьется европейская цивилизація; вотъ ему примѣръ и собственный опытъ: не прививается! Базаровъ есть лучший плодъ европейскаго прогресса на русской почвѣ. Что же вышло? За исключеніемъ наивныхъ писаревцовъ никто въ немъ не видитъ у насъ ни серьезнаго врага, ни серьезнаго друга.

Да наконецъ, и въ самомъ Тургеневѣ сказалась русская жплка. Развѣ Базаровъ изображенъ съ тою наивностію, съ тѣмъ благоговѣніемъ, какое подобаешь мужу прогресса и какое мы видѣли потомъ въ настоящихъ нигилистическихъ романахъ? Несмотря на западничество Тургенева и его усердіе къ нашему *движенію*, очевидно, что-то не даетъ ему вполнѣ примкнуть къ этому *движенію*. Онъ, очевидно, стоитъ въ сторонѣ, смотритъ со стороны; онъ полонъ недовѣрія и какихъ-то иныхъ, болѣе глубокихъ требованій, передъ которыми лица, имъ описываемыя, окзываются мелкими и некрасивыми. Помимо его воли, онъ осуждаетъ своихъ героевъ, онъ ихъ развѣнчиваетъ, снимаетъ съ нихъ ореолъ, и — прибавимъ мы — прекрасно дѣлаетъ.

Вся сфера нашего прогресса, все, что у насъ рождается и растетъ подъ вліяніемъ Европы, — все это шелуха и дымъ. Лица, изображаемыя Тургеневымъ, какъ нельзя лучше, доказываютъ этотъ тезисъ, и самъ Базаровъ, котораго онъ такъ

уважаешь, оказался, въ силу неумолимой правдивости поэзіи, принадлежащимъ все къ той же категоріи липниихъ и больныхъ духомъ людей, которыхъ столько и съ такимъ мастерствомъ нарисовалъ намъ Тургеневъ. Онъ *обличилъ* наше западничество, хотя не хотѣлъ этого сдѣлать. Дѣло сдѣлалось само собою.

#### IV.

Разобидѣвши неумышленно западничество, Тургеневъ уже совершенно умышленно не остался въ долгу и передъ славянофильствомъ. И точно такъ, какъ *Отцы и Дѣти* явились въ ту минуту, когда наше западническое движеніе, такъ называемая нами *воздушная революція*, достигло своей кульминаціонной точки, такъ и *Дымъ* явился въ ту минуту, когда нашъ разгорѣвшійся патріотизмъ имѣлъ еще свѣжесть и жаръ недавно распространившагося увлеченія.

Первое замѣчаніе, которое здѣсь представляется, будетъ то, что Тургеневымъ, очевидно, владѣетъ неукротимый *духъ противорѣчія*, что онъ, очевидно, жадно слѣдитъ за измѣненіями вкусовъ и умовъ въ нашемъ обществѣ, непременно желаетъ сказать свое слово въ нашемъ прогрессѣ, и непременно осуждаетъ, даже когда о томъ вовсе не думаетъ. Такимъ образомъ, война съ славянофильствомъ, начавшаяся у Тургенева съ *Дыма* и продолжающаяся до сихъ поръ, доказываетъ прежде всего, что славянофильство стало самымъ сильнымъ, самымъ значительнымъ направленіемъ въ нашемъ обществѣ, подобно тому, какъ появленіе *Отцовъ и Дѣтей* показывало, что нигилизмъ уже созрѣлъ, уже достигъ наибольшей силы. Проницательность Тургенева поистинѣ безпримѣрна. Напримѣръ, многіе въ минуту появленія *Отцовъ и Дѣтей* не имѣли ни малѣйшаго чаянія о существованіи нигилизма. Какъ потомъ они были удивлены, когда направленіе Базарова развернулось и обнаружилось, когда малѣйшая черта Тургеневскаго романа повторилась въ безчисленныхъ отраженіяхъ!

Итакъ, смѣло можно сказать, что славянофильство получило въ послѣднее время особенную силу и значительность,



если Тургеневъ считаетъ нужнымъ нападать на него. Это во первыхъ. А во вторыхъ, самое нападеніе далеко не имѣло той мѣткости и силы и не произвело такого дѣйствія, какъ прежде обличеніе нигилизма. Стоитъ того, чтобы разобрать это дѣло подробно.

Въ сущности, *Дымъ* есть вещь прекрасная, первостепенная, могущая стать на ряду со всѣмъ лучшимъ, что написалъ Тургеневъ. При этомъ мы разумѣемъ именно сущность *Дыма*, то есть исторію Ирины и Литвинова. Эта исторія чрезвычайно похожа на ту, которая разсказана въ *Евгеніи Онегинѣ*; только на мѣсто мужчины поставлена женщина и наоборотъ. Онегинъ, любимый Татьяною, сперва отказывается отъ нея, а потомъ, когда та замужемъ, влюбляется въ нее и страдаетъ. Такъ и въ *Дымѣ*—Ирина, любимая студентомъ Литвиновымъ, отказывается отъ него; а потомъ, когда сама она замужемъ, а у Литвинова есть невѣста, влюбляется въ него и причиняетъ большія страданія и ему и себѣ. Въ обоихъ случаяхъ первоначально происходитъ ошибка, которую потомъ герои сознаютъ и стараются поправить, да уже нельзя. Провоученіе изъ той и другой басни вытекаетъ одинаковое:

А счастье было такъ возможно,  
Такъ близко!

Онегинъ и Ирина не видятъ, въ чемъ ихъ настоящее счастье; они ослѣплены какими-то ложными взглядами и страстями,—за что и наказываются.

Ко всему этому въ *Дымѣ* прибавлена еще одна грустная черта. Татьяна Пупкина не поддается преслѣдованіямъ Онегина; она остается чиста и безупречна и олицетворяетъ передъ нами *милый идеалъ* русской женщины, непонятой тѣмъ, кого она полюбила. Литвиновъ же, играющій роль бабы, не устоялъ передъ Ириною, и нанесъ тѣмъ новыя муки себѣ, Иринѣ, своей невѣстѣ.

Таковы печальныя картины русской жизни, которыя оба поэта выставили для обнаруженія какого-то внутренняго разлада въ духовномъ строѣ нашего общества. Какъ у Пушкина, такъ и у Тургенева женщина поставлена выше мужчины—давно замѣченная черта нашей жизни. Но Иринѣ придана

не только первенствующая, но и прямо дѣятельная роль, чтобы тѣмъ яснѣе была ничтожность нашихъ мужчинъ и нѣкоторое дурное начало, присутствующее въ нашихъ женщинахъ. Тургеневъ какъ бы хотѣлъ сказать: въ высшемъ кругу у насъ господствуютъ не Пушкинскія Татьяны, а Ирины, испорченныя до мозга костей.

Нельзя не согласиться, что въ *Дымъ* рассказана чисто русская исторія, что характеры дѣйствующихъ лицъ и ходъ событій носятъ рѣзкій, отчетливый отпечатокъ русской жизни. И слѣдовательно, *обличеніе*, заключающееся въ повѣсти Тургенева, имѣетъ полную силу. Русское безволіе въ Литвиновѣ, искаженіе богатыхъ и прекрасныхъ силъ въ Иринѣ, грубость и непреодолимость страсти, возникающей между ними, и какая-то смутная окружающая ихъ нравственная атмосфера, лишенная ясныхъ идеаловъ и прочныхъ началъ, — все это наше родное.

Къ этой-то печальной исторіи Тургеневъ присоединилъ, въ видѣ подходящей для нея обстановки, сцены и разговоры, имѣющіе уже чисто полемическій характеръ. Онъ вывелъ толпу, такъ называемыхъ нами, *нигилистическихъ славянофиловъ*, и заставилъ Потугина изливать насмѣшки и возраженія противъ настоящихъ славянофиловъ. Все вмѣстѣ образовало *дымъ*, нѣчто зыбкое и туманное, клочокъ хаоса, на которомъ ясно вырѣзывается только фигура Ирины, въ одно время и чарующая, и отталкивающая. «Я ее страстно люблю и страстно ее не навижу», говоритъ Потугинъ объ Россіи; вѣроятно, то же самое онъ сказалъ бы объ Иринѣ; и конечно, это самое отношеніе къ родинѣ составляетъ руководящую мысль автора въ цѣломъ рассказѣ.

Смыслъ *Дыма* совершенно ясенъ, и въ то же время совершенно ясна односторонность, несправедливость этого нападенія на всякіе виды вѣры въ Россію, начиная отъ вѣры г-жи Кохановской и кончая мечтами какого-нибудь яраго нигилиста. На этотъ разъ и нѣмцы могли вполне понять, въ чемъ дѣло. Юліанъ Шмидтъ, вообще говоря ревностный поклонникъ Тургенева, считающій его ни больше ни меньше,

какъ лучшимъ представителемъ современной, новѣйшей поэзіи \*), пишетъ слѣдующее:

«Если молодое поколѣніе русскихъ безъ основанія разсердилось на «Отцовъ и Дѣтей», то нельзя отрицать, что въ *Дымъ* (1866) поэтъ самъ вызвалъ негодованіе. Фигуры фантастическихъ болтуновъ, Губарева, Бамбаева и пр., конечно, выхвачены изъ жизни и именно потому раздражили русскую публику. Если Литвиновъ, Потугинъ, Тургеневъ утверждаютъ, что въ идеяхъ и стремленіяхъ этой компаніи все дымъ и паръ, то, конечно, здѣсь не можетъ имѣть мѣста никакое сомнѣніе. Но, чтобы объявлять дымомъ все стремленіе молодого поколѣнія, для этого недостаточно характеризовать общество Баденъ-Бадена. Легко было бы набрать столь же многочисленную компанію иѣмцевъ въ Лондонѣ или въ Парижѣ, въ Бернѣ или въ любомъ изъ берлинскихъ окружныхъ союзовъ, которая болтала о будущности Германіи еще ужаснѣе, чѣмъ Губаревъ и его приверженцы: тѣмъ не менѣе, созданіе Сѣверо-Германскаго Союза есть фактъ, и освобожденіе крестьянъ въ Россіи остается фактомъ. Литвиновъ, Потугинъ, Тургеневъ сердятся на своихъ юныхъ соотечественниковъ за то, что у нихъ не сходять съ языка внутренняя сила (Urkraft) Русскаго государства и что они поносятъ европейскую цивилизацію, тогда какъ все хорошее, что сдѣлано въ Россіи, должно быть приписано вліянію европейской культуры. Но въ этомъ случаѣ Тургеневъ съ Литвиновымъ и Потугинымъ правы только на половину. Если они спрашиваютъ своихъ противниковъ: чѣмъ вы докажете вашу вѣру въ будущность Россіи? то эти могутъ съ полнымъ правомъ оборотить вопросъ: а чѣмъ вы докажете ваше неовпріе? Прежде всего нужно попытаться. Фанфаронады нѣмецкихъ буршей о величіи нѣмецкаго народа были, конечно, смѣшны; но развѣ заявленіе *Арнольда Руе*, что сущность нѣмецкаго народа есть подлость, была философская истина? Вѣра не только приноситъ блаженство, она внушаетъ и дѣятельность; неовпріе есть чувство непроизводительное».

«Почти всея характеры этой повѣсти страдаютъ чрезмерною мягкостью и вялостью, не одни только идеалисты. Иногда спрашиваешь себя, действительно ли передъ нами русскіе, члены народа, изъ котораго вышелъ Суворовъ, Растининъ. Объ гладкомъ Ратмировѣ мимоходомъ сказано, что онъ засѣкъ до смерти нѣсколькихъ крестьянъ, а демократъ Губаревъ обнаруживаетъ большую грубость; но въ своей дѣятельности онъ, однако же, напоминаетъ Рудина: какъ

---

\* So empfinden wir die Natur bei Turgenieff, dem modernsten aller Poeten; so empfindet sie Schopenhauer, der modernste aller Philosophen Bildeer, S. 446.



тотъ рѣчами, такъ онъ краснорѣчивымъ молчаніемъ умѣетъ, безъ определенной цѣли, собирать вокругъ себя толпу незначительныхъ людей, изъ чего, однако же, ничего не выходитъ ни для него, ни для другихъ. Тургеневъ, конечно, вѣрно и проникательно передалъ намъ отдѣльныя черты русской жизни, но это—лишь отрывки; никакъ мы не чувствуемъ цѣлаго народа, который, хотя не представляетъ ничего связнаго въ мелочахъ своей жизни, но, однако, обладаетъ несознательной для него самого субстанціональной жизнію, жизнію, которая при сильномъ возбужденіи можетъ раскрыть дотолъ дремавшую силу, какъ это разъ уже случилось въ образѣ Петра Великаго» \*).

Вотъ наставленіе Тургеневу, идущее не отъ насъ или кого-нибудь другого, а отъ его любезныхъ нѣмцевъ. Тургеневъ оказался почему-то невѣрнымъ, непослушнымъ послѣдователемъ германской мудрости. Для ученаго нѣмца, пригломъ сильно проникнутаго чувствомъ собственной народности, непонятно, какъ можетъ русскій писатель отвергать (или не замѣчать) *субстанціальную жизнь русскаго народа*, какъ можетъ онъ проповѣдывать невѣріе въ будущность Россіи, во внутреннюю, коренную силу Русскаго государства? Тургеневъ противорѣчить въ этомъ случаѣ нѣмецкой философіи, утверждающей, что каждый народъ обладаетъ «субстанціальною жизнію», противорѣчить и исторіи, въ которой мы находимъ Суворова, Растопчина, Петра Великаго. Нѣмецъ указываетъ, какъ на примѣръ, на успѣхъ собственной народности, на созданіе Сѣверо-Германскаго союза; а что сказалъ бы онъ теперь, послѣ взятія пруссаками Парижа?

Славянофильство развилось у насъ подѣ вліяніемъ Германіи; Германія теперь и вступаетъ за свою идею и защищаетъ ее отъ нападеній Тургенева.

## V.

Предметъ любопытнѣйшій. Дѣло собственно стоитъ такъ: знаменитый писатель, мастеръ литературнаго художества, че-

\*) Bilder, S. 147 fg.

ловѣкъ высокаго образованія и огромнаго таланта, почувалъ распространеніе славянофильства и вооружился противъ него, и сталъ проповѣдывать западничество. Что же онъ сказалъ? Очевидно, это одно изъ послѣднихъ и самыхъ значительныхъ усилій западничества, и если эта его новая битва неудачна, то дѣло плохо. Если тутъ, послѣ столькихъ размышленій, опытовъ, споровъ, послѣ цѣлой исторіи, западническая партія не высказала чего-нибудь твердаго и яснаго, то значить, ей нечего больше сказать.

Всякая мысль опровергается, если мы найдемъ въ ней внутреннее противорѣчіе; но настоящее, полное возраженіе противъ какой-нибудь мысли есть *другая* мысль.

Замѣтки Тургенева противъ славянофильства не лишены мѣткости и силы, но, очевидно, не составляютъ ничего цѣлаго. Самымъ существеннымъ въ этомъ отношеніи нужно считать то мѣсто, которое Тургеневъ *вставилъ* въ отдѣльное изданіе *Дыма*; приведемъ здѣсь это мѣсто, вѣроятно, вовсе неизвѣстное тѣмъ, кто прочиталъ *Дымъ* въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Говорить Потугинъ:

«Кто же васъ заставляетъ перенимать зря? Вѣдь, вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно; стало быть, вы соображаете, выбираете. *А что до результатовъ—такъ вы не извольте беспокоиться: своеобразность въ нихъ будетъ* въ силу самыхъ этихъ мѣстныхъ, климатическихъ и прочихъ условій, о которыхъ вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а *народный желудокъ ее перевариваетъ по своему*; и со временемъ, когда организмъ окрѣиветъ, онъ дастъ *свой сокъ*. Возьмите примѣръ хоть съ нашего языка. Петръ Великій наводнилъ его тысячами чужеземныхъ словъ, голландскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ: слова эти выражали понятія, съ которыми нужно было познакомить русскій народъ; не мудрствуя и не церемонясь, Петръ вливалъ эти слова цѣликомъ, ушатами, бочками въ нашу утробу. Сперва—точно вышло нѣчто чудовищное, а потомъ началось именно то перевариваніе, о которомъ я вамъ докладывалъ. Понятія привились и усвоились; чужія формы постепенно испарились, языкъ въ собственныхъ нѣдрахъ нашелъ, чѣмъ ихъ замѣнить, и теперь вашъ покорнѣйшій слуга, стилистъ весьма посредственный, берется перевести любую страницу изъ Гегеля... да-съ, да-съ, изъ Гегеля, не употребивъ ни одного не-славянскаго слова. Что произошло съ языкомъ, то, должно надѣяться, произойдетъ и въ другихъ сферахъ. *Весь вопросъ въ*

*томъ—крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержать: не въ такихъ была передрыгахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы: точно также, какъ восторгаться до пѣны у рта тому, что мы, молъ, русскіе—способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своемъ здоровьи, но въ восторгъ отъ него не прихожу: совѣстно-съ».*

«— Все такъ, заговорилъ въ свою очередь Литвиновъ; но зачѣмъ же непременно подвергать насъ подобнымъ испытаніямъ? Сами жъ вы говорите, что сначала вышло нѣчто чудовищное! ну—а коли это чудовищное такъ-бы и осталось? *Да оно и осталось, вы сами знаете».*

«— Только не въ языкѣ—а ужъ это много значить! А нашъ народъ не я дѣлалъ, не я виноватъ, что ему суждено проходить черезъ такую школу. «Нѣмцы правильно развивались», кричатъ славянофилы, «подавайте и намъ правильное развитіе!» Да гдѣ же его взять, когда самый первый историческій поступокъ нашего племени—призваніе себѣ князей изъ-за моря—*есть уже неправильность, аномальность*, которая повторяется на каждомъ изъ насъ до сихъ поръ; каждый изъ насъ хоть разъ въ жизни непременно чему-нибудь чужому, не русскому, сказалъ: *иди владѣти и княжити надо мною!*—Я, пожалуй, готовъ согласиться, что, вкладывая иностранную суть въ собственное тѣло, мы никакъ не можемъ навѣрное знать напередъ, что такое мы вкладываемъ: *кусокъ хлѣба, или кусокъ яда?*—да, вѣдь, извѣстное дѣло: отъ худого къ хорошему никогда не идешь черезъ лучшее, а всегда черезъ худшее,—и *ядъ въ медицину бываетъ полезенъ*. Однимъ только тупицамъ или притупленнымъ прилично указывать съ торжествомъ на бѣдность крестьянъ послѣ освобожденія, на усиленное ихъ пьянство послѣ уничтоженія откуповъ... *черезъ худшее къ хорошему?»* (Соч. Тург. т. VI, стр. 51—53).

Вотъ, какое внутреннее противорѣчіе нашелъ въ славянофильствѣ Тургеневъ. Славянофильство, хочетъ онъ сказать, есть напрасная забота, ненужная идея; ибо именно тотъ, кто вѣритъ въ своеобразіе русскаго народа, въ его здоровый желудокъ, тотъ не долженъ бояться заимствованій. Человѣкъ, вѣрующій въ народъ, не можетъ думать, что отъ кого-нибудь зависить то, каковъ этотъ народъ и что изъ него будетъ; слѣдовательно, не станетъ напрасно беспокоиться. Самая раздражительность есть народная черта и, слѣдовательно, славянофилы, возставая противъ нея, возстаютъ противъ самихъ себя, противъ своеобразія русскаго народа. Словомъ, славяно-



фильство приходитъ къ какому-то невѣрію въ народныя силы, тогда какъ западничество будто-бы въ нихъ твердо вѣрить.

Мысли эти такъ поправились Тургеневу, что онъ повторилъ ихъ потомъ въ началѣ своихъ «Воспоминаній», явившихся въ концѣ 1869 года.

«Неужели же, говоритъ онъ, мы такъ мало самобытны, такъ слабы, что должны бояться всякаго посторонняго вліянія и съ дѣтскимъ ужасомъ отмахиваться отъ него, какъ бы оно насъ не испортило? Я этого не полагаю: я полагаю, напротивъ, что насъ хоть въ семи водахъ мой—нашей русской сути изъ насъ не вывести. Да и что бы мы были въ противномъ случаѣ за плохенькій народецъ!» (Соч. Тург. т. I, стр. X).

Однако же, разсуждая подобнымъ образомъ, мы едва ли придемъ къ ясному выводу. Точка зрѣнія, выбранная Тургеневымъ, очевидно, такова, что съ нея ничего нельзя рѣшить. Не онъ ли самъ называетъ наше вѣчное подчиненіе чужимъ элементамъ—явленіемъ *неправильнымъ, аномальнымъ*? Не онъ ли самъ говоритъ, что изъ заимствованій выходитъ нѣчто *чудовищное*, что, вкладывая въ свое тѣло чужую суть, мы вкладываемъ, можетъ быть, *ядъ*?

Выходитъ, слѣдовательно, что подражать Европѣ бываетъ и очень вредно, но что, *такъ какъ напередъ ничего знать нельзя*, то приходится жить спустя рукава, въ надеждѣ, что русскій желудокъ все переваритъ. Изъ вѣры въ русскій народъ Тургеневъ заключаетъ, что ему все въ прокъ пойдетъ, что *чѣмъ хуже, тѣмъ лучше* (по извѣстной формулѣ прогресса, придуманной нѣмцами), и что, слѣдовательно, не зачѣмъ обороняться отъ яда западной цивилизаціи.

## VI.

Но истинные западники такъ не говорятъ, и подобныя разсужденія не составляютъ возраженія противъ истинныхъ славянофиловъ. Истинные западники исповѣдуютъ извѣстныя *начала*, признаваемые ими непреложными и годными для *всѣхъ народовъ*. Они вѣруютъ въ разумъ и его развитие,

видятъ въ Европѣ представительницу этого разритія и *на этомъ основаніи* считаютъ необходимымъ внести тѣ же начала въ Россію. Положительные, несомнѣнные идеалы—вотъ настоящая точка опоры западниковъ, а не та мысль, что авось наша натура выдержитъ; была, молъ, и не въ такихъ *передрыгахъ*.

Точно также, славянофилы не просто боятся за свою самостоятельность, какъ люди слабые волею; а стоятъ за извѣстные начала нашей народной жизни и стараются ихъ предохранить отъ искажающихъ вліяній. Славянофиловъ можно сравнить съ людьми, которые нѣкогда заботились о чистотѣ и развитіи нашего языка; они не потому только возставали противъ чужого вліянія, что боялись за свой языкъ, а главнымъ образомъ потому, что его любили, чувствовали его силу и красоту, и за эту силу и красоту стояли.

Итакъ, приведенныя нами разсужденія Тургенева ничего еще не доказываютъ; споръ нужно перенести на другое поле, на поприще положительныхъ убѣжденій. Тургеневъ, Потугинъ и Литвиновъ только тогда имѣютъ право назваться западниками, если исповѣдуютъ какія-нибудь начала западной жизни. «Я удивляюсь Европѣ и *преданъ ея началамъ* до чрезвычайности»,—говоритъ Потугинъ (Т. VI, стр. 53). «Преданность моя»—говоритъ Тургеневъ—«*началамъ, выработаннымъ западною жизнью*, не помѣшала мнѣ», и проч. (Т. I, стр. X). Ну вотъ, что же это за начала? Что выработано Европою?

Читатели видятъ, что здѣсь главный пунктъ всего дѣла. Что намъ будетъ проповѣдывать такой знаменитый и искушенный западникъ, какъ Тургеневъ? Какія ученія, какіе научные взгляды, политическія и нравственные правила онъ намъ предложить? Не правда ли, что это любопытно, и не правда ли, что это законное любопытство въ этомъ случаѣ обманывается самымъ жестокимъ образомъ?

Въ образахъ—Тургеневъ нигдѣ и никогда не рѣшался противопоставить западную жизнь русской жизни. Онъ ни разу не выводилъ на сцену Европейцевъ съ тою цѣлью, чтобы противопоставить ихъ, какъ примѣръ и поученіе, русскимъ людямъ. (Въ такомъ смыслѣ выведенъ у гр. Алексѣя Тол-

стаго въ «Царѣ Борисѣ» королевичъ, женихъ Ксеніи, у Лажечникова «Басурманъ»). Напротивъ, вездѣ, гдѣ у Тургенева являются западные люди, Нѣмцы, Французы, Поляки и даже другіе наши братья Славяне, онъ вездѣ съ величайшею тонкостью схватываетъ тѣ неуловимыя отвлеченными понятіями черты, по которымъ душевный складъ этихъ чужихъ людей намъ непремѣнно является ниже русскаго душевнаго склада. Чѣмъ, кажется, дуренъ Болгарь Инсаровъ въ «Наканунѣ»? А между тѣмъ и онъ развѣнчанъ, какъ всѣ другіе герои Тургенева, и даже болѣе другихъ. Въ немъ отсутствуетъ та русская мягкость сердца и широта ума, которыми отличаются Берсеневи и Шубини. Вспомните нѣмокъ и нѣмцевъ, выводимыхъ на сцену Тургеневымъ; они всѣ жалки и грубы, сообразно нашему народному представленію, всегда находящему въ нѣмцѣ что-то смѣшное. Вспомните поляка графа Малевскаго въ «Первой любви»; да, наконецъ, вспомните весь Парижъ въ «Призракахъ» и весь Баденъ-Баденъ въ самомъ «Дымѣ»: Потугинъ не даромъ называетъ Баденъ *противнымъ*; противенъ онъ, очевидно, и Тургеневу; противнымъ онъ и нарисованъ. Гдѣ же тутъ поученіе для русскихъ людей? Гдѣ та западная жизнь, которой намъ слѣдуетъ подражать, которая должна быть намъ примѣромъ?

А съ какою любовью, съ какою нѣжною симпатіею нарисованы у Тургенева многія лица, въ которыхъ нѣтъ ничего ни западнаго, ни западническаго! Лиза «Дворянскаго Гнѣзда», Мама «Затишья», «Ася», «Хоръ и Калиничъ», «Касьянъ съ Красивой Мечи», и проч. и проч.—гдѣ же тутъ западныя начала, при чемъ тутъ жизнь Европы и выработанные ею результаты? Тайное сочувствіе къ русскому складу ума и сердца, къ нравственнымъ началамъ, которыми сложилась и держится русская жизнь, безпрестанно сквозить у Тургенева.

И вообще, если взять въ цѣломъ произведенія Тургенева, то ихъ придется истолковать въ смыслѣ отнюдь не благопріятномъ западничеству. Рисуя наше общество, давая образы представителей нашего прогресса, Тургеневъ, въ силу правдивости, всегда присущей поэзіи, изобразилъ намъ общество больное и представителей несостоятельныхъ. Онъ не про-



славиль людей, оторвавшихся отъ своей почвы, а скорѣе обличилъ ихъ; его «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» и «Лишніе люди» вошли въ пословицу.

Но поэзія—дѣло темное и мудреное. Поэтъ часто самъ не знаетъ, что онъ хочетъ сказать, часто говоритъ больше, чѣмъ хотѣлъ. Глубина и правда поэтического творчества такова, что нерѣдко превосходитъ объемъ и дальность сознательныхъ убѣжденій поэта. Тургеневъ можетъ оставаться западникомъ въ противность элементамъ своей поэзіи. Итакъ, нельзя ли отыскать его взгляды помимо его поэзіи? Нельзя ли найти указаній на то, чему онъ поклоняется въ Европѣ, какихъ ея началъ держится?

Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, мы напрасно стали бы перебирать тѣ вставочныя разсужденія о западной цивилизаціи, изъ которыхъ состоятъ рѣчи Потугина. Ничего опредѣленнаго мы въ нихъ не найдемъ. Въ «Воспоминаніяхъ» Тургеневъ счелъ нужнымъ уже прямо отъ себя настаивать на своемъ западничествѣ. Но какъ же онъ опредѣляетъ свои убѣжденія? Онъ прямо говоритъ, что онъ—почти нигилистъ, почти во всѣхъ взглядахъ, кромѣ взгляда на искусство, сходится со своимъ Базаровымъ. Вотъ какое западничество предлагаетъ намъ Тургеневъ, вотъ начала, которымъ онъ преданъ.

Скажемъ два слова объ этомъ нигилизмѣ. Во первыхъ, онъ есть, дѣйствительно, западничество, такъ какъ нигилисты явились у нѣмцевъ гораздо раньше, чѣмъ у насъ, и такъ какъ до сихъ поръ передовые нѣмцы остаются все тѣми же нигилистами, хотя Юліанъ Шмидтъ и увѣряетъ, что сдѣланъ будто-бы новый шагъ впередъ и что теперь они уже не нигилисты, а реалисты. Свидѣтельство Тургенева, объявляющаго себя въ одно время и западникомъ и нигилистомъ, есть важное доказательство того, что нашъ русскій нигилизмъ нашелъ себѣ главную пищу, главную поддержку въ ученіяхъ нашихъ давнишнихъ наставниковъ нѣмцевъ.

Во вторыхъ, изъ своего нигилизма Тургеневъ исключаетъ отрицаніе искусства и, вѣроятно, готовъ исключить и многія другія вещи, напримѣръ, отрицаніе любви, отверженіе важности и многозначительности отношеній между полами. Нигилизмъ Тургенева, конечно, нужно разумѣть въ са-

момъ чистомъ и умномъ смыслѣ. Но если такъ, то это будетъ просто-на-просто—ненѣріе, сомнѣніе, скептицизмъ, не тотъ положительный, яркій матеріализмъ, который иногда исповѣдуютъ послѣдовательные нѣмцы, а, просто, отсутствіе живыхъ вѣрованій, прочныхъ основъ для мысли.

Спрашивается, гдѣ же тутъ *начала, выработанныя европейскою жизнью?* Объявляя себя нигилистомъ, не говоритъ ли намъ прямо Тургеневъ, что Европа потеряла всякія руководящія нити, что она не выработала себѣ началъ, а напротивъ, утратила всякія начала? Понятно теперь, почему Потугинъ, приходящій въ восторгъ отъ Европы, не знаетъ собственно, чѣмъ ему восторгаться, и ни однимъ словомъ не обнаруживаетъ какихъ-нибудь положительныхъ сочувствій. Понятно, почему Тургеневъ, настаивающій на своемъ западничествѣ, не проповѣдуетъ, однако же, никакихъ началъ, никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ.

Къ нигилизму, то есть къ сомнѣнію и отрицанію, у Тургенева присоединяется еще одно западное вліяніе: слегка отзывается у него мрачная философія Шопенгауэра, глубокаго пессимизма которой Тургеневъ опять-таки не раздѣляетъ до конца. Итакъ, легкій нигилизмъ и легкій шопенгауэризмъ—вотъ все, что даетъ намъ нынѣ Европа, все, что заимствовалъ изъ нея такой просвѣщенный и чуткій западникъ, какъ Тургеневъ. Онъ, какъ термометръ, показываетъ намъ, до какого градуса опустилась теперь Европа. Западникамъ, очевидно, нечего проповѣдывать.

## VII.

Нашу тему, то есть, что нѣтъ такихъ началъ, которыя могли бы быть исповѣдуемы западниками, или, по крайней мѣрѣ, что такихъ началъ не имѣется у Тургенева, мы можемъ доказать еще косвеннымъ образомъ. Когда вышелъ *Дымъ* и посыпались всяческія нареканія на эту повѣсть, П. В. Анненковъ, большой поклонникъ Тургенева, написалъ статью, въ которой защищалъ *Дымъ* и старался растолковать его смыслъ. При этомъ толкованіи критикъ неизбежно нат-

кнулся на вопросъ: чему же поклоняется Потугинъ? Какія начала Европы Тургеневъ рекомендуетъ намъ въ *Дымъ*? И вотъ что написалъ П. В. Анненковъ:

«Потугинъ говоритъ не о той Европѣ, которой мы подражаемъ, а о той, которую мало видимъ и почти не знаемъ. Боже мой! Какая же это малоизвѣстная намъ Европа, намъ исколесившимъ ее во всѣхъ направленіяхъ и изучившимъ ее болѣе своей родины? Да вотъ та самая, на которую авторъ романа только и указываетъ своимъ читателямъ черезъ посредство *Потугина*. Отличіе ея отъ видимой Европы состоитъ въ томъ, что посреди множества отрицательныхъ, часто возмутительныхъ явленій своего быта, иногда подъ гнетомъ грубаго давленія матеріальной силы, еще далеко не устраненной ею, иногда въ пылу національных увлеченій, подвигающихъ ее на вопіющія несправедливости,—она занята устройствомъ *человѣческой личности, ближайшей среды, ее окружающей, и возвышеніемъ духовной природы человека вообще*. Нашимъ туристамъ по Европѣ (да и однимъ ли туристамъ?) кажется, что знаменитые ея университеты, богатѣйшая литература и музеи, сохраняющіе гениальныя произведенія искусствъ, направлены къ тому, чтобы украшать жизнь, и безъ того достаточно красивую, избранныхъ классовъ, или производить какъ можно больше ораторовъ, депутатовъ, профессоровъ, ученыхъ и писателей, между тѣмъ какъ они служатъ орудіемъ у той *малоизвѣстной намъ Европы*, о которой говоримъ,—поднять мысль самаго послѣдняго человѣка въ государствѣ. Генрихъ IV, по свидѣтельству, впрочемъ крайне подозрительному, своихъ современниковъ, опредѣлялъ назначеніе внутреннихъ и вишней политики Франціи единственно цѣлію—доставить каждому изъ его подданныхъ возможность имѣть по праздникамъ «курицу» на своемъ столѣ. Съ тѣхъ поръ, кромѣ этой «курицы», вошедшей въ программы всѣхъ партій и всѣхъ европейскихъ правительствъ, *малоизвѣстная намъ Европа* нашла и *другое назначеніе для политики государствъ*. Главной ея задачей она поставляетъ *точное, общедоступное опредѣленіе идей нравственности, добра и красоты*, и такое распространеніе ихъ, которое помогло бы самому скромному и темному существованію выйти изъ сферы животныхъ инстинктовъ, воспитать въ себѣ чувства справедливости, благорасположенія и состраданія къ другимъ, понять важность разумныхъ отношеній между людьми и, наконецъ, получить способность къ прозрѣнію «идеаловъ» *единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія*. Послѣдняя часть задачи, не во гнѣвъ будь сказано нашимъ реалистамъ, считается при этомъ и самой важной, существенной ея частью. Насколько успѣла эта, въ половину скрытая отъ насъ, Европа осуществить свою *неписанную, никуда не заявленную*, но тѣмъ не менѣе страстно исполняемую программу—составляетъ другой вопросъ,



хотя признаки *тайнственной работы*, ею производимой, обнаруживаются уже и для глазъ, мало различающихъ предметы, которые имъ сначала не указаны. Появленіе у насъ такихъ энтузіастовъ иноземщины, какъ Потугинъ, объясняется именно тѣмъ, что они успѣли *про-рѣть эту, а не другую какую-либо Европу*; да подъ ея же влияніемъ написанъ и разбираемый нами романъ. (*Вѣстникъ Европы*, 1867, іюнь, стр. 110).

Вотъ одинъ изъ яркихъ образчиковъ той непоколебимой фанатической вѣры, которую внушаетъ западникамъ Европа! Отъ Европы ждутъ всего хорошаго; въ ней не сомнѣваются и другимъ не позволяютъ сомнѣваться. Вѣра такъ крѣпка, что намъ обѣщанія выдаютъ за очевидные факты и надежды за неопровержимыя доказательства! А вспомните-ка, что говоритъ Потугинъ? «Славянофилы», говоритъ онъ, «прекраснѣйшіе люди, а та же (какъ у другихъ моихъ соотечественниковъ) смѣсь отчаянія и задора, *тоже живутъ буквой «буки»*. *Все, молъ, будетъ, будетъ*. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала... Но стойте, *потерпите: все будетъ*. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать?» (т. VI, стр. 50).

Очевидно, толки о будущности Европы, въ которые пустился П. В. Анненковъ, о «тайнственной работѣ», «незаявленной программѣ» и пр., имѣютъ тотъ же смыслъ, какъ и толки о будущности Россіи, надъ которыми такъ потѣшались Тургеневъ и его Потугинъ. Эти толки значать, что въ *наличности ничего нѣтъ* у Европы. Въ сущности, слова П. В. Анненкова показываютъ, что Европа *тоже ничего не выработала* (или, что тоже, все потеряла), что она только исполнена добрыхъ стремленій, благихъ намѣреній. Напирая такъ сильно на неписанныя программы и тайственные задачи, критикъ только даетъ уразумѣть, что явныя и имѣющія силу въ дѣйствительности начала Европейской жизни никуда не годятся. Онъ прибѣгъ къ будущему потому, что принужденъ отречься отъ настоящаго. Онъ вынужденъ сдѣлать поправку къ словамъ Тургенева, растолковывать читателямъ, что поклоненіе должно относиться не къ нынѣшней, видимой и извѣстной Европѣ (таковъ однако же прямой и несомнѣнный смыслъ *Дыма*), а къ будущей, возможной, вѣроятной, тайственно-работающей, невидимой, неизвѣстной...

Въ идеалахъ, которые г. Анненковъ приписываетъ этой Европѣ, мы не находимъ, однако же, ничего таинственнаго, ничего специально-европейскаго, наконецъ, ничего опредѣленнаго. Заботы о благѣ недѣлимыхъ и меньшей братіи вовсе не новость. Уже Соломонъ, царь Іудейскій и Израильскій, хвалился, какъ извѣстно, что у него *каждый* подданный *сидитъ сладко подъ смоковницею своею и подъ виноградомъ своимъ*. Ужели мы должны считать за новое открытіе *возвышеніе духовной природы человека вообще или курицу въ супъ*? Ужели только недавно, и ото всѣхъ тайно, человѣчество стало заботиться объ идеалахъ *единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія*? Мы не думаемъ и не вѣримъ, чтобы *точное общедоступное опредѣленіе идей нравственности, добра и красоты*, составляло въ нынѣшней Европѣ *главную задачу для политики государствъ*; не думаемъ, главнымъ образомъ, потому, что смѣшно было бы государствамъ браться за такую стародавнюю задачу и вообразить себѣ, что они сумѣютъ разрѣшить ее лучше, чѣмъ рѣшали религія, искусство, философія. Всѣ эти рѣчи скорѣе всего показываютъ одно: что Европа утратила всякія прочныя понятія о нравственности, добрѣ и красотѣ, о задачахъ государства, о значеніи человѣческой личности и *устройствѣ ближайшей среды, ее окружающей*, объ идеалахъ единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія; она утратила всѣ начала, которыми нѣкогда жила, которыя составляли ея силу и славу, блистательно проявились въ ея исторіи. Теперь она находится въ періодѣ блужданія и исканія, въ періодѣ нигилизма,—и вотъ что намъ выставляютъ за образецъ, вотъ на что указываютъ, какъ на примѣръ, достойный подражанія, какъ-будто безъ этого примѣра мы сами не въ состояніи пожелать даже курицы въ супѣ, какъ-будто наша жизнь лишена всякихъ началъ и даже всякихъ стремленій къ нравственности, добру и красотѣ!

Итакъ, поправка г. Анненкова не годится. Намъ нечему поклоняться въ будущей и неизвѣстной Европѣ, и указаніе на эту Европу только доказываетъ, что ужъ настоящей и извѣстной Европѣ ни въ какомъ случаѣ невозможно покло-

няться, хотя именно это поклоненіе и проповѣдывалъ Тургеневъ въ своемъ *Дымѣ*.

### VIII.

Мы видимъ теперь, какой западникъ Тургеневъ; это западничество не содержитъ въ себѣ дѣйствительной *преданности началамъ, выработаннымъ европейской жизнью*; оно есть не что иное, какъ нѣкотораго рода нигилизмъ, заимствованный изъ отрицательныхъ и мрачныхъ ученій современной Европы, нигилизмъ, положимъ, и вѣрующій въ свою плодотворность, надѣющийся перейти въ нѣчто положительное, но, во всякомъ случаѣ, въ настоящую минуту не представляющій возможности другой проповѣди, кромѣ отрицанія. Этотъ выводъ для насъ очень важенъ. Мы видимъ опять на живомъ примѣрѣ, на славномъ и высокодаровитомъ писателѣ, что западъ въ настоящую минуту не даетъ вѣры, что въ самомъ чистомъ видѣ вліяніе, имъ производимое, есть скептицизмъ.

Всего лучше, намъ кажется, назвать Тургенева именно скептикомъ. Какъ скептикъ, онъ естественно долженъ былъ одинаково оттолкнуться отъ обѣихъ нашихъ партій, и отъ славянофиловъ, и отъ западниковъ. Оторванный вліяніемъ Европы отъ своего родного, онъ не могъ всею душою примкнуть къ чему-нибудь чужому, онъ выбралъ въ этомъ чужомъ только элементы отрицанія и невѣрія. Но и тутъ оберегаемый своими поэтическими инстинктами, своимъ живымъ чувствомъ, онъ не ушелъ далеко, не вдался въ крайности. Напрасно Тургеневъ недоумѣваетъ, почему къ нему такъ холодно и даже отчасти праждебны наши западники; онъ во все не похожъ на нихъ: въ немъ нѣтъ не только фанатическаго проповѣдыванія какой-нибудь новой жизни, но и фанатическаго отрицанія старой. Не только онъ не проповѣдывалъ намъ фаланстера, но не сказалъ ни единого слова противъ искусства, любви брака; онъ не написалъ ни разу повѣсти даже за облегченіе развода или противъ излишней силы родительской власти. Этого мало: къ людямъ *старой* жизни, къ людямъ, живущимъ старыми понятіями, наполнен-



нымъ всякими предразсудками—отношенія Тургенева очень мягки, часто любовны. Какъ же онъ хочетъ, чтобы его любили западники? Пусть онъ сравнитъ себя съ г. Авдѣевымъ или съ Маркомъ Вовчкомъ,—писателями, которые усердно ему подражали, которыхъ можно назвать его дѣтшицами, и онъ увидитъ, куда нужно пойти, чтобы понравиться нашему западническому лагерю.

Въ «Воспоминаніяхъ» Тургеневъ указываетъ какъ на заслугу своего западничества на то, что онъ былъ постоянно врагомъ крѣпостного состоянія. Дѣйствительно, «*Записки охотника*» сослужили намъ прекрасную службу; да и вообще на произведеніяхъ Тургенева лежитъ тотъ чудесный демократическій отпечатокъ, который составляетъ общую черту нашей литературы отъ Ломоносова и до Льва Толстого. Но изъ одного отрицанія крѣпостного права нельзя составить всего содержанія своихъ убѣжденій, а многихъ другихъ отрицаній нашего новѣйшаго западничества Тургеневъ, очевидно, не раздѣляетъ.

Кстати: Юліанъ Шмидтъ остался не совсѣмъ доволенъ картинами Тургенева, изображающими крѣпостное состояніе. Иностранцамъ очень по душѣ всякое обличеніе Россіи; но у Тургенева Шмидтъ находитъ мало подробностей, или, какъ онъ выражается, малое раскрытіе *чувственного момента вещи*. А подробности нѣмцу воображаются очень занимательныя.

«Въ чувственный моментъ вещи»—говоритъ онъ—«поэтъ мало входитъ. Кажется, что въ Россіи не было въ обычаѣ сжигать крѣпостныхъ живьемъ, сдирать съ нихъ кожу, или морить ихъ голодомъ въ ящикахъ, какъ это дѣлалось въ Америкѣ. Въ Россіи все идетъ монотонно, безъ избирательности: только сбьютъ, да сбьютъ. Но главное дѣло есть полное подавленіе всѣхъ духовныхъ силъ состояніемъ абсолютнаго безправія. Человѣкъ юридически разсматривается, какъ вещь; но такъ какъ онъ не есть вещь, то онъ и обращается въ скота;—какъ рабъ, такъ и его господинъ» \*).

Нѣмецъ не вполне увѣренъ въ томъ, что крѣпостныхъ у насъ не жгли и не сдирали съ нихъ кожу; но если этого

---

\*) Bilder, S. 432.

и не было, то, думаетъ онъ, только *по недостатку изобрѣтательности*, въ которой русскіе, само собою разумѣется, не могли поравняться съ американцами.

Да! Гдѣ же намъ съ вами поравняться, наши старшіе братья! На вашей сторонѣ больше преимуществъ; но что вы превосходите насъ въ изобрѣтательности зла—это, конечно, самое яркое, самое несомнѣнное ваше превосходство надъ нами.

Если бы нѣмецъ былъ не такъ ослѣпленъ своимъ презрѣніемъ къ Россіи, то онъ нашелъ бы у того же Тургенева примѣры крѣпостныхъ отношеній совершенно мягкихъ, совершенно человѣчественныхъ, и понялъ бы, что строй нашего общества не имѣетъ никакого сходства съ чувствами и нравами Южныхъ Штатовъ. Подобно Юліану Шмидту судять и наши западники, которые, гуляя по Невскому проспекту нисколько не лучше его знаютъ Россію, не менѣе презрительно къ ней относятся. Тургеневъ для нихъ слишкомъ мягкій обличитель, его тенденціозность не достаточно ярка, слишкомъ смягчена художественною многосторонностію взгляда.

Вообще, напрасно мы будемъ дѣлать изъ Тургенева обличителя. Осмѣлимся ли сказать? Его задача выше, чѣмъ изображеніе вреда извѣстнаго государственнаго учрежденія, обличеніе тѣхъ нравственныхъ искаженій, которыя этимъ учрежденіемъ порождены. Скептицизмъ и отрицаніе Тургенева имѣютъ болѣе высокую область. Онъ хотѣлъ бы обличить не одну несостоятельность извѣстныхъ учрежденій и порядковъ; онъ хотѣлъ бы обличить *несостоятельность русской души*.

## IX.

Тургеневъ есть прежде всего художникъ. Его скептицизмъ есть художественный скептицизмъ, его отрицаніе имѣетъ художественное направленіе—то есть: касается не частныхъ фактовъ и временныхъ порядковъ, а строя души человѣческой вообще, ея уклоненій отъ красоты, отъ истиннаго благородства и истиннаго изящества. Тургеневъ—западникъ преимущественно въ томъ, что онъ воспитанъ на западномъ художествѣ, что онъ носитъ въ себѣ его идеалы и съ нихъ,

высоты смотритъ на жизнь. Вотъ что всего больше отрываеъ его отъ Россіи, что поддерживаетъ его скептицизмъ относительно русской жизни.

Тургеневъ сомнѣвается въ силахъ и красотѣ русской души. Въ чемъ состоятъ главныя нападенія *Дыма*? Не въ томъ, что у насъ невѣжество, безпорядокъ, притѣсненія; а главнымъ образомъ въ такихъ замѣткахъ: «Зачѣмъ вретъ русскій человѣкъ?» (Т. VI, стр. 115). «Таковъ предѣлъ судьбы на Руси: *скучны у насъ превосходные люди*» (стр. 90). «Зачѣмъ же онъ далъ ему денегъ? спросить читатель. А чортъ знаетъ зачѣмъ! *на это русскіе тоже молодцы*» (стр. 90). «Удивляюсь я своимъ соотечественникамъ. Всѣ унываютъ, всѣ повѣсивши носъ ходятъ, и въ то же время всѣ исполнены надеждой, *чуть что, такъ на стѣну и лѣзутъ*» (стр. 50). И т. д., и т. д.

Вездѣ слышится чуткое, раздражительное недовольство нашимъ народнымъ характеромъ, невѣріе въ изящество его проявленій. Такъ мы объясняемъ себѣ въ особенности его *послѣднія произведенія*. Съ тѣхъ поръ, какъ ему измѣнилось молодое поколѣніе, и онъ пересталъ выводить намъ представителей нашего прогресса, этихъ героевъ нашего общества, Тургеневъ, очевидно, обобщилъ свою задачу и сталъ вообще изображать, какъ въ русской жизни проявляются сильныя страсти, какія въ ней встрѣчаются *исторіи*, болѣе или менѣе романическія, болѣе или менѣе *странныя*. Передъ поэтомъ какъ бы постоянно носятся образцы западнаго искусства, Лиръ, Вертеръ и пр., и онъ ищетъ имъ подобій въ нашей скудной и блѣдной жизни. Пошлость русскаго быта, общая низменность нравовъ и характеровъ составляетъ необыкновенно яркій контрастъ съ порывами сильныхъ страстей, съ исключительными событіями и лицами, въ которыхъ какъ бы открывается иная природа, міръ явленій болѣе высокаго порядка. Вотъ дѣвушка, исполненная самоотверженія и пламенной религіозности. Куда же ушли эти силы? Она стала спутницею грязнаго и дикаго юродиваго. Вотъ фантастическое явленіе *Собаки*, достойное воплотить въ себѣ глубокій смыслъ, быть страшнымъ откровеніемъ человѣческихъ тайнъ. Съ кѣмъ же оно случилось? Съ пошлякомъ помѣщикомъ,



къ которому оно такъ же идетъ, какъ къ коровѣ сѣдло. Да мало того—въ этомъ чудѣ нѣтъ никакого смысла, ни для него, ни для насъ. Вотъ примѣръ неизмѣнной, неугасающей любви—*Бригадиръ*. Боже мой! Что за фигура, что за обстановка, какая неизмѣримая, безвыходная пошлость! Самыя формы этой любви, просительныя письма Бригадира, его толки о подаркахъ, даже его фамилія—*Гуськовъ*—все представляетъ картину, оскорбляющую чувство красоты, все даетъ чувствовать нестерпимый диссонансъ между безобразіемъ дѣйствительности и тою искрою идеальной жизни, которая попала въ эту грязь. А вотъ я самъ *Король Лиръ*, вотъ величіе въ образѣ Мартына Харлова. Его двѣ дочери—такія же красавицы и такія же злодѣйки, какъ Гонерилля и Регана. Есть и Эдмундъ—Слѣткинъ, плѣнившій обѣихъ сестеръ. Шутъ—это Сувениръ. Кентъ—казачекъ Максимка и т. д. Тургеневъ самымъ серьезнымъ образомъ переложилъ Шекспира на русскіе нравы, пародировалъ одну изъ чудеснѣйшихъ его драмъ. Искусство, съ которымъ это сдѣлано, натуральность этого сочиненія—выше всякихъ похвалъ. Вообще во всемъ, что создаетъ Тургеневъ—онъ до высочайшей степени вѣренъ русской жизни; онъ не вноситъ въ нее чужихъ элементовъ; напротивъ, тщательно объективируетъ ее, тщательно отличаетъ ее отъ всякой другой жизни, съ тѣмъ, чтобы вѣрнѣе и явственнѣе выступала противоположность ея съ идеалами страстей, съ мощными и изящными проявлениями души человѣческой.

*Лейтенантъ Ергуновъ*. Въ этой повѣсти есть любовь, убійство, восточная красавица, пѣсни, пляски, волшебныя грезы... Но подставку для этихъ событій и картинъ, нить, на которую они нанизаны, составляетъ пустѣйшій и прозаичнѣйшій въ мірѣ человѣкъ, морякъ Ергуновъ (одна фамилія чего стоитъ!). Въ этой противоположности заключается вся соль, вся пикантность этого разсказа.

Въ *Несчастной* мы видимъ передъ собою еврейку, отецъ которой, живописецъ, былъ вывезенъ изъ-за границы, и дочь этой еврейки Сусанну,—женщину иного племени, иного душевнаго склада, окруженныхъ русскою жизнью, и чистыми русскими, и русскими съ нѣмецкой кровью, и обру-

сѣвшими чехами. Какія мастерскія фигуры—Колтовской, Фу-стовъ, Рачъ, Викторъ!

«Помнитесь», говорятъ Тургеневъ, «гдѣ-то у Шекспира говорится о *«быломъ голубѣ въ стаѣ черныхъ вороновъ»*; подобное впечатлѣніе произвела на меня вошедшая дѣвушка: *между окружавшимъ ее міромъ и ею было слишкомъ мало общаго*; оказалось, она сама втайнѣ недоумѣвала и дивилась, какъ она попала сюда» (Т. VI. стр. 290).

Вотъ смыслъ этого разсказа. Попавши въ чужой міръ, мать и дочь невыразимо страдаютъ и, наконецъ, гибнутъ. Мать любила когда-то Колтовскаго, чему не мало удивляется Сусанна; Колтовской, не умѣвшей любить и, по знаменитому выраженію, только *пребывавшій благосклоннымъ къ своей любовницѣ*, измучилъ и ее и дочь. Дочь, любившая Фу-стова, находитъ въ немъ холодность и недовѣрчивость, отъ которой и гибнетъ. Это двѣ души, глубоко оскорбленныя дѣйствительностію, два бѣлыхъ голубя среди вороновъ.

Въ *Стукъ, стукъ, стукъ!* выставленъ полный, тупой, неуклюжій и бездушный офицеръ, который вздумалъ разыгрывать изъ себя героя. Ни въ немъ самомъ, ни вокругъ него нѣтъ ничего героическаго, необыкновеннаго, способнаго возбудить и питать фантазію. Но онъ выдумываетъ, сочиняетъ себѣ несчастія, дѣйствія судьбы, чудесныя явленія. Эти безмѣрно-упрямыя попытки *подняться въ идеальный міръ* оканчиваются тѣмъ, что герой убиваетъ себя безъ всякой на то причины, единственно изъ желанія выдержать роль роковаго человѣка. Тутъ изображенъ контрастъ между низменною и тупою натурою и идеальными стремленіями. Вотъ какъ русскіе люди иногда пытаются быть героями! Они не имѣютъ на это ни правъ, ни способностей.

*Дымъ* въ сущности есть такая же исторія. Тутъ развѣнчана русская страсть, русская любовь, которая (мы разумѣемъ связь между Приною и Литвиновымъ) бесплодно пытается облечься въ поэзію, подняться на какія-то ходули; она не можетъ прійти въ гармонію съ дѣйствительностію, не можетъ обратиться въ прочное и живое явленіе, и остается на степеніи безобразнаго, грубаго увлеченія. Русскія страсти

не имѣютъ и не могутъ имѣть тѣхъ блестящихъ формъ, той поэтической значительности, которую представляютъ страсти европейскія.

Такимъ образомъ, вездѣ и повсюду мы находимъ у нашего художника то, что Апполонъ Григорьевъ назвалъ бы *борьбою съ хищнымъ типомъ*; вездѣ мысль объ идеальныхъ, мощныхъ и изящныхъ проявленіяхъ души и о контрастѣ этихъ проявленій съ русскою жизнью. Чужіе идеалы, идеалы хищной жизни, сильныхъ страстей, романическихъ событій носятъ передъ художникомъ, и онъ примѣриваетъ ихъ къ нашей дѣйствительности, по видимому, такой блѣдной и чуждой красоты.

Напряженный, безмѣрно-чуткій и раздражительный идеализмъ слышится намъ у Тургенева, и онъ-то придаетъ его реальнымъ картинамъ колоритъ отталкивающий, выражающій и возбуждающій безгливость къ ихъ дѣйствующимъ лицамъ. Сквозь видимую міру безгливость незримое міру сочувствіе... Скажемъ прямо: у Тургенева все вѣрно русской жизни и, однако же, постоянно чувствуется въ этой вѣрности односторонность, неполнота изображенія. Въ *Дымъ* присутствуетъ, по крайней мѣрѣ, Татьяна Шустова, которая должна насъ утѣшать за нашихъ Иринъ. Но въ другихъ вещахъ не видать даже издали этого свѣта, горящаго подъ спудомъ русской дѣйствительности.

Что же? Ужели мы станемъ упрекать въ этомъ нашего художника? Нимало не думаемъ: мы хотѣли только указать на борьбу и работу, совершающуюся въ его душѣ. Дадимъ ему свободу духа и слова и будемъ пользоваться тѣмъ, что онъ намъ даетъ. Работаетъ онъ съ достойной всякаго уваженія добросовѣстностію. Мастерство его рассказовъ безукоризненно. Въ нихъ нѣтъ ни единой невѣрной черты, ни единого лишняго слова. Публика бранить Тургенева, но читаетъ его попрежнему съ жадностію, попрежнему не пропускаетъ ни одной его страницы. На него устремлены *полныя ожиданія очи*. Его потому и бранятъ, что онъ какъ-будто обманываетъ ожиданія; но ожидать все-таки не перестаютъ. И какъ знать? Душевный процессъ, совершающійся въ художникѣ,



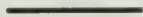
можетъ разрушиться новымъ наплывомъ бодрости и творчества.

Самый идеализмъ Тургенева намъ очень по душѣ. Пусть онъ развитъ и подогрѣтъ созданіями чужаго художества, мечтами и формами иной, не нашей жизни: намъ все-таки слышится въ немъ родное, русское свойство. Мы, русскіе, кажется, носимъ на себѣ задатки идеализма необычайно-высокаго, такъ сказать, нѣжнаго. Отъ этого зависить наша впечатлительность, наша отзывчивость на всякіе идеалы, и вмѣстѣ наша вѣчная неудовлетворенность и своимъ и чужимъ, своимъ даже преимущественно и всего сильнѣе. Въ самой первой молодости бываетъ у людей нѣчто подобное: нѣкоторое чувство отвращенія ко всему своему и даже къ себѣ (Вспомните Наташу въ «Войнѣ и Мирѣ», когда она скучаетъ на праздникахъ въ селѣ Отрадномъ). Такъ и мы, юный народъ на сценѣ міра, часто бываемъ расположены отворачиваться отъ того, съ чѣмъ связаны, однако же, всѣми нервами нашей души. Это—время идеаловъ, сходящихъ сверху, идеаловъ на воздухѣ, передъ которыми меркнетъ и является безобразною всякая дѣйствительность.

Въ силу подобнаго идеализма Тургеневъ скептически отнесся къ нашимъ партіямъ. Тотъ же идеализмъ составляетъ душу его послѣднихъ произведеній.

16 февр.

(Заря 1871, февраль).



## V.

### ПОМИНКИ ПО ТУРГЕНЕВЪ.

---

Похороны Тургенева оставили по себѣ самое грустное впечатлѣніе. Чѣмъ пышнѣе было зрѣлище, чѣмъ въ болѣе-шемъ порядкѣ и чинности совершалась длиннѣйшая процессія, тѣмъ яснѣе была ея искусственность и холодность. Чѣмъ больше было вѣнковъ, тѣмъ виднѣе было, что провожавшіе были въ скудномъ числѣ, конечно, сравнительно. Нельзя сказать, чтобы весь Петербургъ провожалъ Тургенева,—многія и многія сферы изъ самыхъ видныхъ были или едва замѣтны, или блистали полнѣйшимъ отсутствіемъ \*). А что много было зрителей—значило только то, что было большое зрѣлище, на которое цѣлый мѣсяцъ приглашали газеты. Надъ гробомъ покойника, очевидно, разыгралась какая-то борьба, и насколько, съ одной стороны, похороны были непомерно раздуты, настолько, съ другой—они были непомерно оборваны.

То же повторилось и въ области литературы, во всѣхъ этихъ безчисленныхъ отзывахъ, восхваленіяхъ, спорахъ, которыми два мѣсяца наполнялись газеты и журналы. Одни видѣли въ Тургеневѣ великаго писателя, геніальнаго вожда,

---

\*) Военныхъ вовсе не было, по совѣту, который былъ имъ данъ начальствомъ.

указывавшаго истинные пути для нашей мысли и дѣятельности; другіе негодовали на такое преувеличеніе и упорно хотѣли ограничить всё его заслуги—областью художества, по ихъ мнѣнію, совершенно *невинною*. Это разногласіе дошло до необыкновеннаго ожесточенія съ обѣихъ сторонъ. Имя Тургенева сдѣлалось знаменемъ опредѣленныхъ мнѣній, опредѣленной партіи, и ревностные поклонники его, часто совершенно вопреки своему желанію, были всё зачислены въ эту партію. Поэтому ихъ осыпали упреками и злобными насмѣшками; память Тургенева старались защитить, охранить отъ его превозносителей, и для этого сводили его значеніе до наименьшей возможной величины.

Бѣдный Тургеневъ! Бѣдная русская публика! Всѣ умы въ такомъ напряженіи, въ такой тревогѣ, что самыя ясныя мысли и чувства искажаются, и ни одинъ предметъ не является въ своемъ истинномъ видѣ.

Тургеневъ былъ любимцемъ публики въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ. Двадцать пять лѣтъ онъ считался первымъ русскимъ писателемъ, прямымъ и достойнымъ преемникомъ Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Никто изъ его современниковъ не имѣлъ такой свѣтлой, общепризнанной и широкой славы. Чѣмъ же объясняется это первенство, это долгое и живое обаяніе?

Художественнымъ мастерствомъ, отвѣчаютъ тѣ цѣнители, которыхъ можно назвать въ одно время и хвалителями и хулителями Тургенева. Но это вполне невѣрно. По художественности, то есть по жизненности, яркости и глубинѣ образовъ, Тургеневъ уступилъ не только Л. Н. Толстому, не только Гончарову, или Островскому, но и Достоевскому, и Писемскому. Настоящаго художества, то есть творчества въ полномъ смыслѣ этого слова, мало у Тургенева. Его фигуры, обыкновенно, представляютъ довольно блѣдные очерки; черты ихъ вѣрны, проведены осторожно, изящно; композиція проста и опрятна; но выпуклости, плоти, душевной глубины нѣтъ въ этихъ *аквареляхъ*, какъ остроумно назвалъ кто-то писанія Тургенева. Во множествѣ случаевъ, даже просто намѣчено нѣсколько отдѣльныхъ штриховъ и нѣтъ полного рисунка, тогда какъ у настоящаго творческаго писателя фигура всегда является ра-



зомъ во всей полнотѣ жизни, и съ десяти строкъ читатель чувствуетъ, съ какимъ существомъ онъ встрѣтился.

Было бы очень жаль, если бы пониманіе художества у насъ стояло такъ низко, что мы Тургенева признавали бы за великаго художника и серьезно сравнивали бы его произведенія съ Пушкинымъ или Гоголемъ.

Но, несмотря на то, сочиненія Тургенева въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ представляли для публики такую занимательность, такую прелесть, что онъ бралъ верхъ надъ самыми даровитыми изъ своихъ совмѣстниковъ по литературѣ. Часто указываютъ на то, что онъ всегда держался современныхъ вопросовъ, выводилъ героевъ дня. Но кто же не пытался дѣлать то же самое? Сколько было усилій схватить самую современную современность!

Давно уже художество заражено тою идеею, которою теперь все заражено,—идеею политической; давно уже вѣра въ прогрессъ, въ развитіе почти вытѣснила вѣру въ вѣчныя истины и замѣнила собою самое исканіе этихъ истинъ. Тургеневъ вовсе не составляетъ исключенія въ этой общей погонѣ за современностью, въ стремленіи отзываться на вопросы минуты. Его отличительная черта состоитъ не въ выборѣ предметовъ, а въ томъ, *какъ* онъ относился къ предметамъ.

Это отношеніе было—полное *подчиненіе*, подчиненіе искреннее, естественное, вытекающее не изъ расчета или увлеченія, а прямо изъ мягкой натуры писателя. Тургеневъ шелъ постоянно рядомъ и вмѣстѣ съ самою большою толпою публики, съ главною массою нашихъ образованныхъ людей. Онъ не хотѣлъ отдѣляться отъ этой массы (то есть и не могъ отдѣляться), онъ ни въ чемъ не расходился съ ея вкусами и мыслями, и потому никогда не противорѣчилъ этимъ вкусамъ и мыслямъ. Такого отношенія не выдерживалъ и не могъ выдержать никто изъ другихъ писателей. Всякій изъ нихъ, въ томъ или другомъ пунктѣ, становился въ сторонѣ отъ толпы, бралъ себѣ другія точки зрѣнія, подымался на высоты, съ которыхъ объективнѣе и крупнѣе являлась картина. Одинъ Тургеневъ не дѣлалъ ничего подобнаго.

Возьмемъ дѣло съ внѣшней стороны, самой ясной. Возьмемъ языкъ. Сверстники Тургенева, нимало не задумываясь,

писали такимъ языкомъ, какимъ каждому вздумается. Оригинальность языка считалась достоинствомъ, заслугою. Одинъ Тургеневъ писалъ общелитературнымъ языкомъ, избѣгая всякой шероховатости и особенности. Онъ писалъ языкомъ образованнаго русскаго общества и, естественно, былъ за то милъ этому обществу.

Точно такъ—одинъ Тургеневъ соблюдалъ то изящество, ту граціозность, къ которой стремится нашъ образованный классъ. Вы не найдете у него грубыхъ образовъ, дикихъ нравовъ, рѣзкихъ выраженій. Все опрятно и умѣренно; скорѣе встрѣтится жеманство, чѣмъ отступленіе отъ приличія.

Но и это лишь внѣшность. По внутреннему содержанію своихъ произведеній Тургеневъ долженъ былъ имѣть главную и несравненную привлекательность для нашихъ образованныхъ людей. Кого онъ выводилъ на сцену? Онъ изображалъ представителей нашей образованности, «современныхъ героевъ», и онъ одинъ умѣлъ это дѣлать, потому что стоялъ наравнѣ съ этими героями, нимало не думалъ отъ нихъ отдѣляться. Ни у какого другого писателя русскій образованный человѣкъ не встрѣчалъ себя самого, или людей, стоящихъ съ нимъ на одной доскѣ, ягодъ съ того же поля. И *лишніе люди*, и Рудины, и Базаровы, Литвиновы и т. д., все это—люди, представляющіе нашу образованность. Если иные изъ нихъ недовольно типичны, то зато весь кругъ ихъ понятій, нравовъ и интересовъ былъ именно кругъ передоваго слоя, та самая атмосфера, въ которой вращались наши образованные люди.

Подумайте, какъ это должно было привлекать и занимать! Послѣ великаго переворота, произведеннаго Гоголемъ, наша литература потеряла вѣру въ *прекраснаго человека*; она оторвалась отъ общества и смотрѣла на все съ идеальной высоты, съ которой реальныя явленія или обнаруживаютъ свое безобразіе, или составляютъ типы живые и крѣпкіе, но объективируемые художествомъ холодно и, такъ сказать, высокоумѣрно. Въ одномъ Тургеневѣ не было этого высокоумѣрія. Онъ одинъ продолжалъ старыя преданія. Какъ Пушкинъ писалъ Онегина, Лермонтовъ Печорина, такъ и Тургеневъ писалъ своихъ героевъ, то есть: почти переносясь въ нихъ ду-

шою, не пытаясь даже выходить въ другія сферы мысли, въ которыя подъ конецъ подымались его предшественники.

Рисуя задачи и стремленія нашего образованнаго класса, возводя въ перлъ созданія его радости и горести, Тургеневъ никогда не впадалъ въ противорѣчіе съ духомъ того общественнаго слоя, которому служилъ. Если бы онъ увлекся религіозностью, или патріотизмомъ, или славянствомъ, или задался бы чисто нравственными стремленіями, то онъ сталъ бы въ разрѣзъ съ общепринятыми понятіями, съ ходячими вкусами. Русскій образованный слой, заимствуя свое просвѣщеніе отъ Европы, естественно расположенъ не придавать вѣса различію народности, расположенъ къ общимъ мѣстамъ, къ неопредѣленности, или, если позволительно такъ выразиться, ко *всеядности* мнѣній и вкусовъ, и всегда инстинктивно уклоняется отъ строгой и рѣшительной постановки вопросовъ \*). Вотъ гдѣ источникъ и того единственнаго случая, когда Тургеневъ попалъ въ разладъ съ западническою литературой. Нигилисты, въ жару своей проповѣди и первыхъ успѣховъ, вознегодовали на него, вѣрно понявъ, что онъ отъ нихъ отдѣлился. Эта единственная неудача на литературномъ поприщѣ больно поразила Тургенева. Но грубая и фанатическая односторонность была рѣшительно противна всѣмъ его умственнымъ и эстетическимъ привычкамъ; хотя онъ готовъ былъ въ этомъ случаѣ даже насловать себя, онъ не успѣлъ найти твердой почвы для примиренія и остался неопредѣленнымъ, общимъ западникомъ. Неудачная «Новь» представляетъ лишь отвлеченное и холодное преклоненіе передъ ингилизмомъ.

Таковъ былъ Тургеневъ. Съ удивительною мягкостью, съ женственной отзывчивостію онъ подчинялся всѣмъ луч-

---

\*) Неопредѣленность мнѣній Тургенева видна всего болѣе изъ той важности, которую онъ придавалъ своему протесту противъ крѣпостнаго права. Роль такого протеста сыграли, какъ извѣстно, „Записки Охотника“,—не станемъ разбирать, основательно или ошибочно, намѣренно или случайно имъ досталась эта роль. Интересно то, что Тургеневъ очень крѣпко держался за такую свою услугу прогрессу; между тѣмъ, противъ крѣпостнаго права стояли лучшіе люди всякаго рода мнѣній, никакъ не одни западники. Явный знакъ скудости катихизиса людей, мечтающихъ, что они черпаютъ изъ самой сокровищницы просвѣщенія.



шимъ стремленіямъ, господствовавшимъ въ нашемъ просвѣщеніи. Поэтому онъ былъ самымъ чистымъ, полнымъ и искреннимъ представителемъ этого просвѣщенія. Въ немъ не было ничего оригинальнаго, никакой упорной послѣдовательности, никакой глубокой задачи, но при этомъ было столько ума, образованности, вкуса и художественнаго таланта, сколько можетъ совмѣститься съ настроеніемъ и умственной жизнью нашихъ просвѣщенныхъ людей.

Какъ же было имъ не любить его? Какъ не любить писателя, до такой степени имъ сочувственнаго и однороднаго? Поэтому понятно, что никакой другой писатель не могъ имѣть столько поклонниковъ; поэтому странно было бы винить все это множество въ какомъ-нибудь преувеличеніи, въ какихъ-нибудь заднихъ мысляхъ. Развѣ они не идутъ по главному руслу нашего просвѣщенія, нашего умственнаго движенія? Развѣ до сихъ поръ не съ Запада почерпается нами образованіе? Большинство у насъ слѣдуетъ вкусу, образу мыслей и примѣру образованныхъ странъ, и потому Тургеневъ, какъ самый европейскій изъ русскихъ писателей, долженъ пользоваться наибольшими симпатіями этого большинства. Развѣ есть другое такое же широкое русло? Развѣ можно указать другое направленіе, столь же распространенное, столь же правильно вытекающее изъ положенія вещей, столь же неизбежно увлекательное?

Нельзя упрекать людей за то, что они не обладаютъ самостоятельностью въ мысляхъ и твердостью въ чувствахъ. По существу дѣла, людямъ всегда нуженъ авторитетъ, нужна опора и руководство. Если нѣтъ вполне достойной того опоры, они хватаются за менѣе достойную, лишь бы она была близка и ясна. Нужно имѣть снисхожденіе къ жаждущимъ авторитета, а плакать развѣ о томъ, что мы не успѣли до сихъ поръ создать для нихъ авторитетъ болѣе высокій и твердый, чѣмъ тотъ, за который они хватаются.

Очень поразительно и характерно для Тургенева, что онъ до конца такъ и не вернулся духовно къ своей родинѣ. Онъ, очевидно, искалъ, но такъ и не нашелъ пути къ этому возвращенію. Внутреннія силы, которыми живетъ Россія, оставались ему чуждыми, и онъ съ какимъ-то отчаяніемъ хва-

тался за одно лишь понятное ему проявленіе народной души — за нашъ языкъ. Восхищеніе отъ русскаго языка не могло мѣшать никакому западничеству, и Тургеневъ настойчиво предавался этому восхищенію, считая, конечно, и себя самого большимъ мастеромъ языка. Но, намъ кажется, есть иныя, болѣе значительныя черты, въ которыхъ сказывалась въ Тургеневѣ родственная любовь къ духовной жизни Россіи. Его симпатіи въ отношеніи къ людямъ были чисто-русскія. Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце — вотъ что добрый и мягкій Тургеневъ ставитъ, очевидно, выше всякихъ другихъ достоинствъ, на чемъ любовно останавливается, какіе бы высокоумные герои ни играли главную роль въ разсказѣ. Иностранцы всегда изображаются, если не съ враждебностью, то съ тѣмъ отчужденіемъ, которое такъ трудно побѣдимо въ русскомъ человѣкѣ, которое очень часто составляетъ нашъ недостатокъ, но которое въ чистой формѣ есть черта самаго тонкаго патріотизма. Религіозная жизнь, такъ глубоко проникающая духъ нашего народа, отразилась у Тургенева въ нѣсколькихъ разсказахъ, имѣющихъ и типичность и прелесть, хотя отношеніе автора къ предмету иногда переходитъ въ простое изумленіе.

Вообще, Тургеневъ до конца любовно обращался къ русской природѣ, къ русскому быту, къ тѣмъ преданіямъ, случаямъ, правамъ, которыми окружена была его юность. Позволю себѣ сослаться на нѣчто личное: въ разсказахъ Тургенева, особенно въ небольшихъ, безпритязательныхъ, меня часто поражали мелкія частности, живо напоминавшія что-то давно знакомое, слышанное или видѣнное въ дѣтствѣ. Мнѣ трудно было бы точно и прямо указать эти черты, но онѣ вдругъ переносили меня въ среднюю полосу Россіи, въ атмосферу такихъ привычекъ, такого склада жизни, который свойственъ только этой мѣстности. Еще сильнѣе дѣйствовали на меня въ этомъ отношеніи разсказы г-жи Кохановской. Это сохраненіе въ душѣ мѣстной умственной и бытовой, пожалуй исторической, атмосферы возможно только у писателей, обладающихъ живою *памятью сердца*, неизмѣнно любящихъ то, что ихъ нѣкогда окружало, чѣмъ питалась ихъ душа.

Пря всемъ этомъ, Тургенева нельзя назвать писателемъ,

выражающимъ духъ своего народа, или нѣкоторыя стороны этого духа. Ренанъ, который все больше и больше впадаетъ въ фразу и теряетъ ту тонкость и отчетливость, которая была въ немъ такъ привлекательна, напрасно приложилъ къ Тургеневу общую характеристику великаго поэта, именно сказавъ, что нашъ писатель есть выразитель безчисленныхъ поколѣній, умѣвшихъ жить и чувствовать, но не умѣвшихъ высказывать свою жизнь и чувства. Тургеневъ есть пѣвецъ только нашего культурнаго слоя, только послѣднихъ формаций этого слоя. Если бы въ «Евгеніи Онегинѣ» не было безподобнаго образа Татьяны, не было той черты смиренія, скорби и чистоты, которая составляетъ смыслъ этой поэмы, то приключенія самого Онегина едва ли бы имѣли для насъ особенно высокій интересъ. Тургеневъ повторилъ, отчасти, этотъ мотивъ въ своей Лизѣ, въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», повторилъ слабѣе и лишь въ очеркѣ; но «Дворянское Гнѣздо» именно поэтому, по общей широтѣ точки зрѣнія, и остается лучшимъ его произведеніемъ. Но въ другихъ разсказахъ, несмотря на то, что и въ нихъ фигуры дѣвушекъ изображены съ тонкимъ пониманіемъ (эти фигуры нужно признать, вѣроятно, лучшею стороною его писаній), интересъ движущихъ мотивовъ, источникъ коллизій и контрастовъ, вообще говоря, не имѣетъ большой глубины и серіозности, или, по крайней мѣрѣ, не захватывается авторомъ во всей глубинѣ. Вѣчные разсказы о томъ, какъ молодой человѣкъ хотѣлъ жениться и почему-то оплошалъ, былъ отвергнутъ, или же самъ измѣнилъ невѣстѣ,—эти разсказы не возведены на ту высоту, которой можно желать отъ поэтическаго озаренія жизни. Самое лучшее въ нихъ, конечно,—встрѣчающееся иногда яркое изображеніе слѣпой страсти, покоряющей героевъ противъ ихъ воли. Другія пружины состоятъ въ мелкихъ чувствахъ самолюбія, тщеславія, упадка духа, въ слабыхъ зачаткахъ любви и вражды, но не въ развитыхъ до конца чувствахъ. Тургеневъ знаменитъ своими изображеніями *слабыхъ* людей, но едва ли гдѣ достигаетъ вполне яркаго ихъ освѣщенія. Можетъ быть, лучшее въ этомъ отношеніи представляютъ тѣ жалобные стоны, которые онъ влагаетъ пнымъ изъ этихъ



героевъ, вообще та струна меланхолич, которая звучить у него довольно часто и не даромъ замѣчена иностранцами.

Этотъ полубольной, жидкій и шаткій міръ, эти дѣтища и герои нашего культурнаго слоя невольно сами обличаютъ свою несостоятельность. Они не стоятъ на твердой землѣ, они рѣются по воздуху, они похожи на *дымъ*, какъ выразился одинъ изъ нихъ въ минуту тоски.

Брандесъ очень хорошо понялъ этотъ смыслъ Тургеневскихъ писаній и излагаетъ его такъ:

«Тургеневъ глубоко убѣжденъ, что въ Россіи все какъ-то идетъ вкривъ и вкосъ; никакая любовная исторія не кажется ему чисто-русской, если она не имѣетъ несчастнаго исхода, благодаря непостоянству мужчины или безсердечности женщины; никакое стремленіе не кажется ему чисто-русскимъ, если оно не превышаетъ силъ людей, или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушіе. Въ его глазахъ современная Россія—это страна, гдѣ все не удается, страна всеобщихъ крушеній».

«Онъ былъ патріотъ, грустящій о своемъ отечествѣ и сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энтузіазма своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ соотечественниковъ къ русскому народу. Онъ находилъ, что у него (т. е. у этого народа) нѣтъ великаго прошлаго. Когда авторъ этихъ строкъ стоялъ однажды на Римскомъ Форумѣ, ему пришла въ голову мысль, что тамъ у каждаго фута земли есть болѣе богатая исторія, чѣмъ у всей русской имперіи. Хотя и русскій человѣкъ, Тургеневъ думалъ почти также. Онъ описываетъ гдѣ-то печаль, охватившую его на всемірной выставкѣ, при видѣ ничтожности вклада Россіи «въ общую сумму промышленныхъ изобрѣтеній человѣчества» («Новое Время», 1883 г. 12 сент.).

Такіе взгляды и мнѣнія, конечно, очень по душѣ иностранцамъ и дѣлаютъ изъ Тургенева одного изъ самыхъ ясныхъ представителей западничества. Ослѣпленіе почти невѣроятное, но оно существовало и существуетъ, къ нашему стыду и поученію. Онъ не вѣрилъ во внутреннюю силу Россіи и думалъ, что это страшно-громадное тѣло выросло безъ души, не развивалось, а какъ-то случайно скопилось. Это

море народа, этотъ океанъ людей, глубоко и спокойно растущій, будто-бы не имѣеть исторіи, будто-бы еще не живетъ могущественною нравственною жизнью, а только еще ищетъ себѣ души, есть только безформенная стихія, которую долженъ современемъ оживить духъ, откуда-то имѣющій явиться.

Есть, однако, иностранцы, которые понимаютъ насъ болѣе правильно: такъ Юліанъ Шмидтъ, какъ нѣмецъ, которому вполне привычны философскіе приемы, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія.

Указавъ сперва на ужасы нигилизма, онъ затѣмъ обобщаетъ свои разсужденія и, съ тою проникательностью, въ которой, можетъ быть, участвуетъ страхъ и ненависть, пишетъ:

«Русскій народъ, какъ это теперь доказано, способенъ «отдаться великой страсти. Если эта страсть возвысится на «степень культа,—чего-то въ родѣ религіознаго изступленія,— «она можетъ сдѣлаться опасною для Европы. Здѣсь, по моему, Тургеневу, какъ и прочимъ европейски-образованнымъ «русскимъ, недостаетъ надлежащаго общенія съ душою народа. Въ народѣ словно дремлютъ силы, совершенно чуждыя «европейской цивилизаціи и непонятныя ей. Тургеневъ въ «своихъ разсказахъ неоднократно описываетъ странные феномены русской религіи: какъ молодая нѣжная барышня «скитается по деревнямъ, прислуживая юродивому; какъ сынъ «попа, человѣкъ неглупый и способный, страдаетъ отъ дьявольскаго навожденія... Писатель повѣствуетъ все это съ чарующимъ реализмомъ, но замѣтно, что ему самому становится страшно».

Затѣмъ Ю. Шмидтъ старается показать, почему Европейцы, будто-бы, ближе стоятъ къ религіи и лучше могутъ ее понимать, чѣмъ образованные русскіе.

Причина состоитъ въ самомъ ходѣ нѣмецкой образованности, въ Лейбницѣ, Лессингѣ, Кантѣ, Гердерѣ и т. д., которые не давали произойти полному раздвоенію въ духовной жизни Германіи. У русскихъ не то.

«Русскій идеалистъ», говоритъ критикъ, «ничего не «знаетъ о религіи народа, потому что она никогда не «подавалась ему въ просвѣщенной формѣ; идеализмъ, заим-

«ствованный имъ изъ-за границы, не вполне усвоивается имъ, не растворяется въ его крови, ибо онъ не самъ выработалъ его».

«Поэтому, образованный русскій, почерпающій свои идеалы изъ чужбины, находится въ известной изолированности».

«Быть можетъ, это—смѣлое мнѣніе, но я нахожу связь между этой полной отчужденностью отъ всякихъ религіозныхъ преданій и безнадежной меланхоліей, которая проявляется у нашего поэта внезапно тамъ, гдѣ ея менѣе всего ожидается; она придаетъ его картинамъ своеобразную прелесть, но она поражаетъ насъ: какъ могъ такъ чувствовать писатель, обладавшій такимъ свободнымъ, такимъ богатымъ, такимъ любовнымъ пониманіемъ всего прекраснаго?» («Новое Время», 9 сент. 1883 г.).

Для Ю. Шмидта, какъ для протестанта и питомца высокой нѣмецкой культуры, очевидно, наша религія и душа нашего народа суть нѣчто хотя и могущественное, но дикое и темное; тѣмъ не менѣе, главные черты Тургеневскаго настроенія замѣчены имъ вѣрно и поставлены правильно. Нельзя не чувствовать себя потеряннымъ, оторвавшись отъ родной почвы и не найдя для себя другой твердой опоры. И таковъ былъ Тургеневъ, слишкомъ слабый для того, чтобы выйти изъ того неправильнаго положенія, въ которое ставитъ насъ наше отношеніе къ Европѣ.

Западники должны вполне гордиться Тургеневымъ и съ великимъ почетомъ вписать его имя въ исторію нашей литературы. Изъ всѣхъ значительныхъ писателей онъ одинъ остался почти вовсе чуждъ того, что въ нашемъ обществѣ принято называть «элементами славянофильства». Онъ первый не подходитъ подъ общій законъ, по которому наши писатели сперва подчиняются вліянію Запада, но, по мѣрѣ созрѣванія своихъ силъ, начинаютъ обнаруживать стремленія, вытекающія изъ самобытнаго духовнаго строя ихъ родины. Причины такого исключенія довольно ясны. Во первыхъ, Тургеневъ *сознательно* держался своихъ мыслей. Въ его время различіе и противоположеніе западничества и славянофильства вполне опредѣлилось и высказалось. Каждый писатель, если имѣлъ желаніе и силу быть послѣдовательнымъ, былъ



обязанъ стать на ту или на другую сторону, не могъ уйти отъ этой дилеммы. И Тургеневъ даже хвалился тѣмъ, что «не измѣнилъ убѣжденіямъ своей молодости», т. е. западничеству 40-хъ годовъ. Во вторыхъ, Тургеневъ и вообще не имѣлъ столько силы и оригинальности, чтобы быть самостоятельнымъ. Аполлонъ Григорьевъ любилъ говорить, что Тургеневъ есть *повтореніе Пушкина*, разумѣется, не полное, а отчасти. И въ самомъ дѣлѣ, и языкъ и всѣ художественные приемы Тургенева—Пушкинскіе. Эта прелестная форма, отличающаяся простотою и ясностью, трезвостью реализма и одушевленіемъ творчества, эта форма, приводившая въ такое восхищеніе иностранцевъ, которые сами всегда черезчуръ плодовиты и рѣдко не злоупотребляютъ художествомъ,—она завѣщана намъ Пушкинымъ, она составляетъ привычный и неизмѣнный образецъ для нашихъ художниковъ слова.

Затѣмъ, ни яркаго своеобразія языка и быта, какъ, на-примѣръ, у Островскаго, ни постоянно господствующей мысли, какъ, положимъ, у Достоевскаго,—нельзя найти у Тургенева. Можетъ быть, высшее мѣрило жизни для его дѣйствующихъ лицъ есть мечта о какомъ-то счастьи, обыкновенно съ любимымъ существомъ, счастья иногда какъ-будто близко стоящемъ передъ глазами, но, большею частью, только мелькающимъ издали, вѣчно манящимъ и вѣчно исчезающимъ, такъ что подъ конецъ у нихъ остается лишь тоска ненаполненной или разбитой жизни и страхъ смерти. Да и этотъ мотивъ, сказывающійся довольно часто, не выступаетъ съ полной силою, не воплощенъ съ художественною яркостью, а звучитъ какъ-то робко и жалобно.

Тургеневъ до конца дней не обладалъ никакимъ авторитетомъ. Его очень любили и жадно читали; всякая мысль, всякое чувство, которое онъ вздумалъ бы вложить въ свое созданіе, были бы приняты публикою съ отверстыми душами. Но ему нечего было сказать; не было въ немъ струны, которая, издавая господствующій звукъ, вносила бы ясность и гармонию во всѣ его звуки. Понятно, что Западъ, передъ которымъ онъ такъ преклонялся, не могъ дать ему какого-нибудь руководящаго начала; Западъ внушилъ ему только вѣру въ прогрессъ, заставлявшую вѣчно оглядываться на другихъ

и ждать чего-то впереди; но для насъ всего прискорбнѣе должно быть то, что такой добросовѣстный, талантливый и мягкій душою человѣкъ равно не нашелъ себѣ твердыхъ опоръ и среди того хаоса, въ которомъ ему явился нашъ русскій нравственный міръ. Мудрено винить такихъ людей, какъ Тургентъ; они — дѣти своего времени, но, очевидно, изъ тѣхъ дѣтей, которыя способны были бы примкнуть къ самымъ высокимъ стремленіямъ времени.

(Русь, 1 дек. 1883).

---

# Л. Н. ТОЛСТОЙ.

---

## I.

Сочиненія гр. Л. Н. Толстаго. Въ двухъ частяхъ. Спб.  
1864. (Изданіе Ө. Стелловскаго).

— А что, баринъ, ваше дѣло —  
господское.

— Что — спросилъ я.

— Дѣло-то, дѣло — господское,  
повторилъ онъ, шамкая беззубы-  
ми губами.

Л. Н. Толстой (*Юность*).

## Статья первая.

Что дѣлаетъ въ послѣднее время наша поэзія? Чѣмъ  
заняты умы нашихъ людей, одаренныхъ творческою силою?

Работа нашихъ творческихъ силъ заслонена и отодви-  
нута на задній планъ всякаго рода историческимъ движеніемъ,  
такъ шумно совершающимся теперь на нашей родинѣ. Но,  
тѣмъ не менѣе, эта работа продолжается: поэзія дѣлаетъ свое  
дѣло. И должно считать даже весьма замѣчательнымъ явле-  
ніемъ, что среди той шумной сумятицы миѣній и направле-  
ній, которая у насъ недавно господствовала, среди того об-  
щаго упадка вниманія къ литературѣ, того все болѣе и бо-  
лѣе возрастающаго равнодушія читателей, которое послѣдовало  
за этой сумятицей, наша поэзія дѣлала свое дѣло, свое на-  
стоящее дѣло.



Это дѣло всегда одинаково; оно во всѣ времена устремлено на раскрытіе, какъ говорится, тайны души человѣческой. Такъ было и въ наше послѣднее время. Внутренній вопросъ души, уясненіе себѣ идеала душевной красоты—вотъ куда были обращены помыслы нашихъ творческихъ умовъ. И если мы внимательно взглянемъ въ то, какіе отвѣты даны на вопросъ, какъ поставлено его рѣшеніе, то найдемъ не мало достойнаго размышленія. Тутъ сказалось вѣрное слово, можетъ быть, слабымъ и неполнымъ образомъ, но сказалась боль и радость русской души, отразилась и наша всегдашняя сущность, и та минута, которую эта сущность переживаетъ въ ходѣ нашей исторіи.

Возьму здѣсь, пока, трехъ нашихъ писателей: Тургенева, Писемскаго и гр. Л. Толстаго, при чемъ нисколько не думаю равнять ихъ по таланту. Дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что всѣ они несомнѣнно одарены поэтическою силою. Тургеневъ въ прошломъ году напечаталъ свое «Довольно», а Писемскій «Русскихъ лгуновъ». Оба эти произведенія незначительны по объему, но они очень замѣчательны потому, что и то и другое даетъ ключъ къ уразумѣнію остальныхъ произведеній этихъ двухъ писателей. Такъ, иногда невольно вырвавшееся слово или восклицаніе объясняетъ намъ многія дѣйствія и рѣчи человѣка. Что касается до гр. Л. Толстаго, то полное собраніе его сочиненій, вышедшее въ позапрошломъ году, мнѣ кажется, всего удобнѣе можетъ подтвердить главную мысль настоящей статьи, почему мы остановимся на нихъ въ особенности.

Что изображаетъ намъ Тургеневъ въ своемъ «Довольно»? Русскаго человѣка, художника, у котораго гаснетъ *свѣтъ, исходящій изъ сердца человѣка*, который скрещиваетъ *ненужныя* руки на *пустой* груди. Какъ же это случилось? Какъ возможно, чтобы этотъ человѣкъ, мыслившій, любившій, создавшій художественныя произведенія, вдругъ почувствовалъ, что грудь у него пуста, что источникъ желаній и радостей у него изсякъ, что ему нечѣмъ жить и не для чего жить? Если такія явленія есть въ русской жизни, если эта струна въ ней отзывается, то стоитъ объ этомъ подумать.

Не сломала ли тургеневскаго художника жизнь? Не под-

вергся ли онъ тяжкимъ страданіямъ и несчастіямъ? Вовсе нѣтъ. Въ прошломъ, по его собственному увѣренію, все свѣтло у него. Его жизнь, какъ онъ самъ говоритъ, проходила въ томъ, что онъ *нѣжилъ сладкой нѣгой неопредѣленныхъ, но плѣнительныхъ ощущенийъ, бѣжалъ за каждымъ новымъ образомъ красоты, ловилъ каждое трепетаніе ея тонкихъ и сильныхъ крылъ.*

Нѣтъ, онъ не страдалъ и не страдаетъ. Еслибъ у него было горе, то грудь его не была бы пуста: ее наполняло бы это горе, хотя бы и терзая эту грудь. Но самое горькое, какъ видно, не то, что у человѣка есть горе, есть то, что обыкновенно называется горемъ; самое горькое то, когда человѣкъ почувствуетъ себя неспособнымъ страдать, неспособнымъ носить въ себѣ горе. Вотъ въ чемъ его горькая бѣда. Точно такъ—самъ онъ говоритъ, ему *страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго*, что ему нѣчего бояться.

Человѣку не по чемъ страдать и нѣчего бояться—да это ужасно! Значить, нѣтъ для него ничего дорогого, о чемъ бы радовалась и печалилась душа, что было бы источникомъ и надеждъ и страха.

Но откуда же могло возникнуть такое душевное настроеніе? Какъ возможна такая мертвенность души? Люди гоняются, пишетъ художникъ, за *вздоромъ, двѣ тысячи лѣтъ назадъ осмѣяннымъ Аристофаномъ...*

Смѣхъ? Отчего же нѣтъ? Смѣхъ—тоже живое явленіе. Если человѣкъ можетъ смѣяться яро, съ увлеченіемъ, если грудь его полна злбы, веселости или насмѣшки, то это не будетъ пустая грудь. Но самый великій вздоръ выходитъ тогда, когда человѣку нечего называть вздоромъ, такъ какъ все уравнилось передъ его глазами; самую горькую насмѣшку вызываетъ тотъ, для кого уже ничто не горько и не смѣшно.

Итакъ, откуда намъ сіе? Коротенькій рассказъ художника прекрасно изображаетъ намъ это настроеніе духа, но, къ сожалѣнію, ни мало не исчерпываетъ вопроса. Разсужденія, въ которыя онъ пускается, нисколько не помогаютъ объяснить недостатокъ жизни въ его сердцѣ. Его міросозерцаніе интересно лишь потому, что вполне гармонируетъ съ его душевной пустотой. Вотъ оно въ его собственныхъ словахъ:

«Бессознательно и неуклонно покорная законамъ, природа не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго»...

«Человѣкъ—дитя природы; но она—всеобщая мать, и у ней нѣтъ предпочтенія: все, что существуетъ въ ея слонѣ, возникло только на счетъ другого и должно въ свое время уступить мѣсто другому».

«Гдѣ же намъ, бѣднымъ людямъ, сладить съ этой глухо-нѣмой, слѣпорожденной силой, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все пожирая; какъ устоять противъ этихъ тяжелыхъ, грубыхъ, безконечно и безустанно надвигающихся воля?»

Итакъ, міръ есть слѣпорожденная, глухо-нѣмая сила, которая, не вѣдая ни искусства, ни свободы, ни добра, отъ вѣка движется своими тяжелыми, грубыми, но неотразимыми волнами, а человѣкъ—дитя этой силы, наравнѣ съ другими ея дѣтьми, безъ всякаго предпочтенія отъ всеобщей матери. Въ концѣ концовъ выходитъ, что наше искусство, наша свобода, наше добро—призракъ, обманъ, которымъ мы только тѣшимся.

И здѣсь, какъ въ тысячи другихъ случаевъ, нужно помнить, что не мысль создаетъ человѣка, а человѣкъ мысль; не это міросозерцаніе опустошило грудь нашего художника, а наоборотъ, пустая грудь подсказала ему такой безотрадный взглядъ. Прекрасно выразился объ этомъ предметѣ покойный Аполлонъ Григорьевъ:

«Наши мысли вообще», пишетъ онъ,—«если онѣ точно мысли, а не баловство одно—суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, *вымучившіяся* до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо немногіе имѣютъ счастье или несчастье *рождать* изъ себя собственные, а не чужія мысли» (*Эпоха* 1865, февр. Нов. Письма, стр. 164).

Такимъ образомъ, Тургеневъ, послѣ цѣлаго ряда людей, пораженныхъ душевною пустотою, послѣ всѣхъ *лишнихъ* людей, не знающихъ, что дѣлать съ жизнью, или, какъ Гамлетъ Штигровскаго уѣзда, *живущихъ въ потѣ лица*,



словно въ подражаніе разнымъ изученнымъ ими сочинителямъ, послѣ всѣхъ этихъ комическихъ и жалкихъ фигуръ Тургеневъ, наконецъ, выставилъ намъ грандіозную фигуру, изображающую, однако же, ту же самую пустоту души, то же самое малодушіе.

Отъ Тургенева, отъ этихъ страницъ, которыя все еще благоухаютъ, гдѣ все еще слышно *трепетаніе тонкихъ и сильныхъ крылъ красоты*, обратимся къ Писемскому. У этого писателя есть своя опредѣленная задача, которой онъ остается вѣренъ. Онъ самъ такъ ясно сознавалъ служеніе этой задачѣ и столько гордился имъ, что съ великою смѣлостію назвалъ однажды свой путь *единственно честнымъ путемъ*. Читатель найдетъ это мѣсто въ той части «Взбаломученнаго моря», гдѣ авторъ выводитъ на сцену самого себя и заставляетъ другое лицо произносить сужденіе о своей повѣсти «Старческій грѣхъ». Тутъ же встрѣчаются и намѣшки надъ Майковымъ, Полонскимъ и въ особенности надъ Тургеневымъ.

Путь Писемскаго—изображать пошлость пошлаго человека, и въ особенности изображать ее тамъ, гдѣ она прикрыта фальшивымъ блескомъ благородства, ума, изящества и т. д. Писемскій постоянно изображаетъ фальшь и безпощадно обнажаетъ то, что подъ нею скрывается. Поэтому такая тема, какъ «Русскіе лгуны», совершенно въ его духъ, непременно совпадаетъ съ его *единственно честнымъ путемъ*. Но на этотъ разъ обнаружилась странность, которая, какъ мнѣ кажется, прекрасно объясняетъ, откуда идетъ этотъ единственно честный путь, откуда такое упорное и неутомимое исканіе фальши. Г. Писемскій пробовалъ искать фальши даже въ сферѣ такихъ событій, какъ Крымская война, или освобожденіе крестьянъ, и ему замѣчено было, что это исканіе, безъ пониманія самаго смысла великихъ событій,—дѣло не умѣстное. Въ настоящемъ случаѣ, сущность единственно честнаго пути обнаружилась еще проще и опредѣленнѣе. Именно, совершенно неожиданно въ число «Русскихъ лгуновъ» попалъ Ромео, извѣстный герой извѣстной Шекспировской трагедіи. Въ заключеніе разсказа «Красавецъ», гдѣ изображается фальшь

страстной любви, г. Писемскій обращается къ своимъ читательницамъ такимъ образомъ:

«Смѣемъ васъ завѣрить, что самъ пламенный Ромео «покраснѣлъ бы до конца ушей своихъ, или взбѣсился бы «до нельзя, если бы ему напомнили, буква въ букву, тѣ слова, «которыя онъ расточалъ своей божественной Юліи, стоя передъ ея балкономъ,—особенно, если бы жестокіе родители «не разлучили ихъ, а женили!»

Итакъ, самая любовь Ромео и Юліи есть фальшь, такая же фальшь, какую напускали на себя герои и героини г. Писемскаго и подъ которою, какъ это весьма искусно показываетъ г. Писемскій относительно своихъ героевъ и героинь, скрывается одно простое живое сластолюбіе. Человѣкъ, впавшій въ такую фальшь, долженъ потомъ всю жизнь бѣситься и краснѣть при воспоминаніи о ней, и въ особенности будетъ бѣситься и краснѣть, если женщина, которую онъ полюбилъ, станетъ потомъ его женою, матерью его дѣтей, и проживетъ съ нимъ долгіе годы.

Дѣло весьма замѣчательное. Великій поэтъ Шекспиръ изобразилъ намъ любовь; онъ записалъ, отъ слова до слова, рѣчи, которыя Ромео расточалъ Юліи передъ балкономъ. Русскій писатель г. Писемскій находитъ, что все это фальшь, что за эти рѣчи вчужь становится совѣстно и стыдно. Итакъ, образъ прекрасныхъ мыслей и чувствъ, данный Шекспиромъ, не годится. Но есть ли у русскаго писателя свой образъ, которымъ онъ вправѣ былъ бы замѣнить шекспировскій? Увы! какъ не ищите въ сочиненіяхъ г. Писемскаго, тамъ не найдете ни единой черты этого образа; въ дѣйствительности, которой онъ такъ усердно держится, существуетъ, по его изображенію, одно животное влеченіе.

Бѣдная русская жизнь! Она порождаетъ людей съ пустою грудью, которымъ нѣтъмъ жить и незачѣмъ жить, а шекспировскіе образы для созерцателей этой жизни кажутся пустымъ ломаньемъ, несносною фальшью! Не думаю вполне соглашаться съ этими печальными заключеніями, но полагаю, что важно и любопытно изслѣдовать тотъ недугъ, который отзывается въ настроеніяхъ и взглядахъ, дающихъ поводъ къ такимъ заключеніямъ. Есть, очевидно, какое-то зло, по

которому намъ смѣшонъ и страненъ любой шекспировскій герой, по которому мы не можемъ подчасъ дать себѣ отчета, зачѣмъ человѣкъ живетъ на свѣтѣ.

Особенно удобно заняться разборъ этого дѣла на произведеніяхъ гр. Л. Толстаго. У Тургенева зло, о которомъ идетъ рѣчь, сквозить, очевидно, помимо его воли; оно не составляетъ прямого объекта, который онъ имѣетъ въ виду; Тургеневъ, насколько могъ, искалъ и изображалъ красоту нашей жизни. Писемскій изображалъ ея безобразіе и фальшь, но совершенно обратно, не сознавая отчетливо, во имя какихъ идеаловъ онъ казнить это безобразіе, такъ что иногда выходило, что безобразіе имѣетъ всѣ права существовать, такъ какъ оно-то и есть истинное и дѣйствительное явленіе, а все остальное только фальшь и призракъ. Только у гр. Толстаго задача, которая насъ занимаетъ, поставлена прямо, то-есть прямо рисуются люди, у которыхъ идеаль оскудѣлъ, которые ищутъ прекраснаго образа мыслей и чувствъ, и страдаютъ среди этого исканія.

Сочиненія гр. Л. Толстаго представляютъ, въ этомъ отношеніи, книгу прекрасную и въ то же время глубоко-печальную. Она прекрасна по мастерству, которое можно сравнить съ тургеневскимъ, по правдивости, которая не уступаетъ Писемскому, и по душевной теплотѣ и силѣ, которою, можетъ быть, превосходить того и другого. Любовь есть та сторона жизни, которая, своею красотою, всего доступнѣе людямъ; любовь можетъ хотя на время наполнить самую опустошенную грудь, оживить самую мертвенную душу. Поэтому понятно и то, что *художникъ* Тургенева отыскалъ-таки въ своей груди слѣды любви, ее наполнявшей. Графъ Л. Толстой, мнѣ кажется, еще теплѣе и живѣе Тургенева понимаетъ это чувство, еще правильнѣе къ нему относится. Въ его любовной поэмѣ «Семейное счастье», несмотря на нѣкоторую дробность и, такъ сказать, напряженность анализа, чувство любви и вся его исторія выяснены въ живыхъ и полныхъ чертахъ.

Есть у графа Л. Толстаго еще и другія страницы, въ которыхъ красота жизни уловлена съ необыкновенною ясно-



стію. Это—описаніе дѣтства. И опять, прелесть дѣтства, этихъ свѣжихъ ощущеній, когда новому жителю міра

новы

Всѣ впечатлѣнья бытія,

эта прелесть рѣдко бываетъ заглушена въ ребенкѣ даже самымъ тяжелымъ положеніемъ, и потому знакома всѣмъ даже въ такомъ обществѣ, которое страдаетъ пустотою и мертвенностію.

Любовь и дѣтство нашли себѣ выраженіе въ книгѣ гр. Л. Толстаго. Но не въ нихъ заключается главный центръ тяжести книги; эти свѣтлыя стороны изображены правдивою рукою художника именно для того, чтобы рѣзче отбѣнить его главную мысль, его глубокую и печальную думу. Въ книгѣ много разнообразія, но главная ея мысль постоянно царитъ надъ разсказомъ, чего бы этотъ разсказъ ни касался, и сообщаетъ всей книгѣ отпечатокъ тяжелой грусти.

Въ чемъ же дѣло? Толстой каждому, конечно, извѣстенъ, какъ большой мастеръ въ анализѣ душевныхъ явленій. Но какой характеръ имѣетъ этотъ анализъ? Въ чемъ заключается его источникъ, его первая движущая причина, отъ которой необходимо зависить его направленіе и цѣль? На это можно бы отвѣчать, что анализъ нашего автора—просто, его художественная потребность, просто, преобладающая черта его таланта. Отвѣтъ этотъ, дѣйствительно, годится для нѣкоторыхъ мѣстъ книги, именно для тѣхъ, гдѣ, какъ въ «Семейномъ счастьѣ» и въ «Дѣтствѣ», художественная сила идетъ наравнѣ съ анализомъ, выполнѣ имъ владѣетъ, употребляетъ его какъ орудіе, дающее полноту образамъ и краскамъ. Но въ другихъ мѣстахъ анализъ, очевидно, играетъ другую роль и служить самъ по себѣ удовлетвореніемъ какой-то потребности, говорящей въ душѣ художника помимо его стремленія создавать образы.

Во первыхъ, этотъ анализъ постоянно имѣетъ въ виду совершенную *правдивость*, постоянно вооруженъ противъ всякой фальши. Что бы ни разсказывать художникъ, его явнымъ образомъ томить забота не отступать ни на іоту отъ

вѣрности дѣйствительности и не поддаться никакой, даже самой тонкой и едва уловимой фальши. Въ этой чертѣ гр. Л. Толстой сроденъ съ Писемскимъ, и это весьма характеристическая черта ихъ, какъ русскихъ писателей. Нашъ художникъ, какъ-будто, прежде всего бонся впасть въ обманъ, прежде чувствуетъ недостатокъ истинной красоты, вообще истиннаго содержанія въ окружающихъ его явленіяхъ, и потому постоянно на сторожѣ, постоянно озабоченъ и затрудненъ и думать уже не о красотѣ, а только о правдивости, о томъ, чтобъ самому какъ-нибудь не сфальшивить, не принять миража за дѣйствительность.

Мы, русскіе, вообще—люди серіозные и не любимъ ничего внѣшняго, никакой риторикѣ, никакой шумихи и высокопарности. Для насъ кажется лишнимъ всякій избытокъ въ проявленіи внутренняго чувства. Тѣмъ болѣе намъ противно всякое выраженіе, преувеличенное въ сравненіи съ содержаніемъ. Мы—народъ скептическій и насмѣшливый, и вмѣсто того, чтобы находить наслажденіе во внѣшнемъ изліяніи внутреннихъ движеній, готовы подсмѣяться даже надъ самымъ искреннимъ и истиннымъ ихъ выраженіемъ. Эта черта, съ одной стороны, представляетъ нѣкоторую *душевную стыдливость*, то есть постоянную боязнь профанировать свои чувства, такое ощущеніе ихъ святости и красоты, при которомъ всякая внѣшняя форма кажется негодною, несоотвѣтствующею. Такимъ образомъ, при постоянной насмѣшливости и отсутствіи всякихъ внѣшнихъ проявленій, у насъ сохраняется въ душѣ огромный запасъ энтузіазма, тѣмъ болѣе сосредоточеннаго, чѣмъ меньше онъ проявляется. Но, съ другой стороны, невѣріе въ форму, въ выраженіе, и неумѣнье найти эту форму и это выраженіе граничатъ съ *цинизмомъ*, то есть съ отрпцаніемъ всякаго энтузіазма, съ невѣріемъ въ самую законность и дѣйствительную силу душевныхъ движеній. Постоянно колеблясь между этимъ цинизмомъ и этимъ энтузіазмомъ, мы, очевидно, можемъ быть удовлетворены только совершенною *правдою* и *простотою*, какъ въ жизни, такъ и въ художественныхъ произведеніяхъ.

Вотъ коренная черта нашей литературы, и она съ большою силою отзывается въ произведеніяхъ графа Л. Н. Толстаго. Посмотримъ же, что онъ нашелъ въ нашей жизни.

приступивъ къ ней съ этимъ требованіемъ русской правды. Если вникнуть во всѣ подробности этихъ мастерскихъ произведеній, то окажется, что они съ поразительной яркостью рисуютъ намъ *душевную пустоту*, которою страдаютъ русскіе люди, и которою они, безъ сомнѣнія, еще долго будутъ страдать. Анализъ гр. Толстаго весь направленъ къ тому, чтобы отыскать истинно-живыя явленія въ душахъ людей. Это не простая поэзія, которая свободно сочувствуетъ каждому живому явленію и свободно воплощаетъ его въ художественныя формы. Нѣтъ, это упорное исканіе красоты и жизни и, слѣдовательно, непремѣнно—анализъ, разсѣченіе, доискивающееся до живыхъ частей и отбрасывающее мертвыя. Въ этомъ случаѣ, свойства таланта оказались вполне соответствующими предмету. Пустота и малодушіе, если составляютъ не комическое явленіе, а дѣйствительное страданіе, такъ сказать, серьезное состояніе человѣка,—не даютъ нищизнѣ поэзіи, не могутъ быть источникомъ художественныхъ произведеній, но именно всего лучше выразятся въ анализѣ; это ихъ настоящая форма.

Въ этомъ отношеніи гр. Л. Н. Толстой весьма замѣчательнъ и стоитъ прілежнаго изученія. Въ немъ сказалась съ большою силою жажда истинной, правдивой жизни, ея исканія и обнаруженія пустоты того, что выдаетъ себя за жизнь. Отсюда нужно объяснять и форму, и весь циклъ его произведеній. Центральную часть ихъ составляютъ рассказы о личной судьбѣ героевъ, которые всѣ—молодые люди и, что называется, вступаютъ въ жизнь, впервые знакомятся съ нею. Эти лица обыкновенно принадлежать къ высшему классу, нѣкоторыя даже называются князьями, слѣдовательно, вообще принадлежать къ сословію помѣщиковъ, тому сословію, о которомъ до недавняго времени можно было сказать, что оно одно *жило* въ Россіи, и изъ котораго поэтому брали свои картины и Гоголь, и Тургеневъ, и Писемскій. Герои гр. Л. Н. Толстаго обыкновенно *протестанты*, то есть они очень скоро отказываются отъ своего сословія, скоро находятъ, что въ немъ невозможно искать удовлетворенія своей души. Затѣмъ они пускаются въ жизнь, исполненные очень благородныхъ, но совершенно смутныхъ стремленій. Собственно, это



люди, потерявшіе свой идеалъ, и которымъ жизнь, ихъ окружающая, не представляетъ никакой точки опоры, никакого руководства. Они не имѣютъ никакой опредѣленной цѣли, никакого твердаго желанія. Они совершенно на воздухѣ и не знаютъ, что имъ любить и что имъ дѣлать. Стараясь жить, то есть вступить въ живыя отношенія къ людямъ, они съ изумленіемъ замѣчаютъ, что имъ жить *ничѣмъ*, то есть, что они въ своей душѣ не находятъ живыхъ связей, не находятъ того сродства съ окружающею жизнью, того притяженія къ ней, которыя нужны для образованія этихъ связей. И вотъ, они рассказываютъ свои приключенія, имѣя постоянно въ виду свою томящую думу, рассказываютъ, чтобы показать, какъ ничтожны и пусты были въ ихъ душѣ всѣ начатки любви, дружбы и вообще всякихъ живыхъ отношеній къ людямъ. Даже смѣшныя вещи, которыя съ ними случаются, они принимаютъ серьезно. Имъ больно и не до смѣха.

Таковъ центръ, точка зрѣнія. Понятно, что при такомъ душевномъ настроеніи въ людяхъ должно проявиться большое уваженіе къ явленіямъ настоящей, правдивой жизни. Исканіе жизни даетъ понять, оцѣнить и полюбить тѣ явленія, въ которыхъ жизнь проявляется несомнѣнно. Отсюда возникаетъ у гр. Л. Н. Толстаго, какъ и у другихъ нашихъ писателей, очень тонкое пониманіе простого народа. Въ простомъ народѣ есть, такъ называемая, непосредственная жизнь, которая, какова бы она не была, все-таки есть настоящая жизнь. Народъ знаетъ, зачѣмъ онъ живетъ и какъ ему слѣдуетъ жить. То же самое отношеніе, по которому такъ прекрасно изображена Наталья Савишна въ «Дѣтствѣ», руководило гр. Л. Толстымъ и въ картинахъ изъ жизни казаковъ и черкесовъ.

Затѣмъ есть еще сфера, гдѣ присутствіе жизни несомнѣнно; это—явленіе исторической жизни народа, это великія событія, въ которыхъ внутренняя сила вещей проявляется помимо людской воли. Уваженіе къ исторіи и умѣнье понимать ее—вотъ самый трудный, но правильный результатъ исканія жизни.

Но исторія совершается передъ нами. На нашихъ глазахъ происходила страшная борьба нѣсколькихъ государствъ

съ Россією и узломъ этой борьбы былъ Севастополь. Была, слѣдовательно, возможность увидѣть историческую жизнь лицомъ къ лицу, такъ близко, какъ только возможно. Позволимъ себѣ сказать, что это желаніе входило въ число побужденій, приведшихъ гр. Толстаго на бастіоны Севастополя. Поэтъ былъ при оборонѣ Севастополя и рассказалъ намъ это событіе если не вполне, то все же въ нѣкоторыхъ чертахъ, достойныхъ самого событія.

Но, повторяемъ, главный центръ не здѣсь: главный центръ въ томительной думѣ объ истинной жизни и красотѣ, и о душевномъ безсиліи, не дающемъ людямъ доступа къ этой жизни и красотѣ. Мы попробуемъ въ слѣдующей статьѣ анализировать эту думу и подтвердить выписками наши общія положенія.

---

## Статья вторая.

Въ заключеніе одной изъ мастерскихъ своихъ повѣстей (*Севастополь въ май 1855*) гр. Л. Н. Толстой какъ-бы невольно высказалъ глубочайшій мотивъ своей поэзіи.

«Герой моей повѣсти»,—говоритъ онъ—«котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—*правда*». (Ч. II, стр. 61).

Тутъ разомъ высказывается и то, что поэтъ ищетъ героя, ищетъ прекрасныхъ явленій жизни, и то, что онъ приступаетъ къ жизни съ требованіями неподкупной правды, и то, что въ своемъ строгомъ исканіи онъ не находитъ героя, не находитъ прекрасной жизни. Ему остается одно—признать свое исканіе за прекрасную черту, свои требованія за нормальное явленіе. Такъ онъ и сдѣлалъ, восхваляя свою правдивость.

Какъ мы уже сказали, поэтъ въ своихъ поискахъ за жизнью и красотой приходилъ на бастіоны Севастополя во время его обороны. И что же? По видимому, онъ и тутъ не

нашелъ героическихъ чертъ. Оканчивая повѣсть, изъ которой мы привели заключеніе, онъ говорить:

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны».

Если бы это было послѣднимъ словомъ автора, то отсюда слѣдовало бы, что всѣ явленія, какія поэтъ нашелъ въ русской жизни, безразличны, всѣ имѣютъ, такъ сказать, одну степень и всѣ одинаково далеки отъ явленій прекрасной, героической жизни. Мы увидимъ однако же, что не таковъ окончательный выводъ, что тяжелымъ трудомъ нашъ авторъ достигъ до другихъ, болѣе отрадныхъ взглядовъ.

Но вотъ постановка дѣла. Требуется открыть героя на русской землѣ, то есть героя въ смыслѣ поэзіи, такое лицо, которое можно было бы воспѣвать, которому бы можно было сочувствовать. И вотъ авторъ выводитъ намъ цѣлую вереницу лицъ, могущихъ имѣть притязаніе на сочувствіе, и со своею безпощадною правдивостію доказываетъ намъ, что они не герои, а люди малодушные и пустые, несмотря на употребляемые ими старанія быть вполне хорошими людьми.

Что же это за люди? Одного изъ нихъ авторъ опредѣляетъ весьма отчетливымъ образомъ:

«Оленинъ былъ юноша, нигдѣ не кончившій курса, нигдѣ не служившій (только числившійся въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ), промотавшій половину своего состоянія, и до двадцати-четырехъ лѣтъ не избравшій еще себѣ никакой карьеры и никогда ничего не дѣлавшій. Онъ былъ то, что называется «молодой чело-вѣкъ» въ московскомъ обществѣ» (ч. II, ст. 153).

Всякій замѣтитъ, что это старая исторія. Это тотъ же Онѣгинъ, который,

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ  
До двадцати-пяти годовъ,  
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,  
Ничѣмъ заняться не умѣлъ.

Но процессъ тоски, снѣдавшей Онѣгина, у этихъ людей сталъ глубже и опредѣленнѣе, то есть симптомы болѣзни раскрылись въ несравненно большей степени.



Воспитаніе—вполнѣ похожее на онѣгинское. Николай Пртеньевъ съ величайшею живостію разсказалъ намъ свое «дѣтство» и «отрочество», и тутъ видно, что эти люди росли, не испытывая никакихъ нравственныхъ и умственныхъ вліяній, которыя бы помогли развитію ихъ души и наложили бы на нее свою печать. Чтѣ до нравственнаго вліянія, то Пртеньевъ прямо говорить:

«Заботою о насъ отца было не столько нравственность и образованіе, сколько свѣтскія отношенія» (ч. I, стр. 102).

Чтѣ касается до умственнаго развитія, то нельзя не обратить вниманія на замѣчаніе Пртеньева, что *исторія всегда казалась ему самымъ скучнымъ, тяжелымъ предметомъ*, и нельзя не найти комическимъ слѣдующій урокъ изъ исторіи:

«---Позвольте перышко, сказалъ мнѣ учитель, протягивая руку.—Оно пригодится. Ну-съ.

— Людо... Кар... Людовикъ святой былъ... былъ... былъ... добрый и умный царь...

— Кто-съ?

— Царь. Онъ вздумалъ пойти въ Іерусалимъ и *передалъ бразды правленія* своей матери.

— Какъ ее звали-съ?

— Б...б...ланка.

— Какъ-съ? Буланка?

Я усмѣхнулся какъ-то криво и неловко.

— Ну-съ, не знаете ли еще чего-нибудь? сказалъ онъ съ усмѣшкой» (ч. I, стр. 63).

При этомъ разсказѣ невольно чувствуется, что изъ чужеземной исторіи, какъ она у насъ до сихъ поръ передается, намъ всего доступнѣе

Лишь дней минувшихъ анекдоты.

При такомъ ходѣ дѣла, было, однако же, одно вліяніе, которое обнаруживала окружающая среда на этихъ отроковъ и которое, разумѣется, дѣйствовало на нихъ очень сильно. Именно, на мѣсто различенія добра и зла, свѣта и тьмы,

красоты и безобразія, въ душахъ ихъ было развиваемо понятие *comme il faut*, понятие—говорить Николай Иртенъевъ—

«которое въ моей жизни было однимъ изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ мнѣ и воспитаніемъ и обществомъ.

«Родъ человѣческій можно раздѣлять на множество отдѣловъ—на богатыхъ и бѣдныхъ, на добрыхъ и злыхъ, на военныхъ и статскихъ, на умныхъ и глупыхъ и т. д.; но у каждаго человѣка есть непремѣнно свое любимое, главное подраздѣленіе, подъ которое онъ безсознательно подводитъ каждое новое лицо. Мое любимое и главное подраздѣленіе людей, въ то время, о которомъ я пишу, было на людей *comme il faut* и *comme il ne faut pas*

«*Comme il faut* было для меня не только важной заслугой, прекраснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достигнуть, но это было необходимое условіе жизни, безъ котораго не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на свѣтѣ. Я не уважалъ бы ни знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода человѣческаго, если бы онъ не былъ *comme il faut*. Человѣкъ *comme il faut* стоялъ выше и внѣ сравненія съ ними; онъ предоставлялъ имъ писать картины, ноты, книги, дѣлать добро—онъ даже хвалилъ ихъ за это,—отчего же и не похвалить хорошаго, въ комъ бы оно ни было?—но онъ не могъ становиться съ ними подъ одинъ уровень; онъ былъ *comme il faut*, а они нѣтъ—и довольно. Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ братъ, мать или отецъ, которые бы не были *comme il faut*, я бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужъ тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего общаго» (ч. I, стр. 123).

Вотъ катихизисъ, который былъ внушаемъ этимъ людямъ средю, ихъ окружавшею. Какъ не вспомнить здѣсь Онѣгина, который не прежде влюбился въ Татьяну, какъ увидѣвши ее блестящей свѣтской дамой, такую, что

Она, казалось,—вѣрный снимокъ  
Du *comme il faut*,

и который былъ очень удивленъ, когда подъ этою внѣшностію нашелъ настоящую Татьяну, Татьяну не *comme il faut*, честную русскую женщину.

И большой Онѣгинъ, и маленькій Печоринъ, несмотря на тоску, ихъ грызущую, остаются однако, въ томъ обществѣ, среди котораго родились. Съ героями гр. Толстаго дѣло происходитъ иначе. У нихъ рано начинается разладъ съ по-

нтіями, привитими обществомъ, и они уходятъ изъ своего круга и пускаются по всевозможнымъ путямъ, ища иныхъ людей и иной жизни для себя. Нехлюдовъ уходитъ въ деревню, Оленинъ въ казацкую станицу, другіе на Кавказъ въ дѣйствующіе отряды, или въ Севастополь, или даже, какъ Делесовъ, на петербургскіе шниц-балы, чтобы встрѣтиться тамъ съ Альбертомъ.

Разладъ происходитъ не у всѣхъ, а именно только у тѣхъ, кого гр. Толстой избираетъ своими героями. Другіе юнши легко сливаются съ своею средою. Такъ, братъ Николая Иртеньева, Володя, спокойно вступаетъ на путь своего отца. Такъ Бѣлецкій, встрѣтившійся съ Оленинымъ среди казаковъ, не чувствуетъ ни малѣйшаго разлада съ жизнью.

«Общее мнѣніе о Бѣleckомъ было то, что онъ милый и добродушный малый. Можетъ быть, онъ и дѣйствительно былъ такой; но Оленину онъ показался, несмотря на добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно непріятенъ». (Ч. II, стр. 187).

Немудрено: между этими людьми нѣтъ ничего общаго. Одинъ принадлежитъ окружающей жизни, другой отъ нея оторвался. Одинъ легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явленіе составляетъ задачу.

«Бѣлецкій» — разсказывается далѣе — «сразу вошелъ въ обычную жизнь богатаго кавказскаго офицера въ станицѣ. Онъ подпаивалъ стариковъ, дѣлалъ вечерички» и пр. «Казаки, ясно опредѣлившіе себѣ этого человека, любившаго вино и женщинъ, привыкли къ нему и даже полюбили его больше, чѣмъ Оленина, который былъ для нихъ *заидкой*».

Прибавимъ — загадкой и для самого себя. Далѣе, въ разговорѣ съ Бѣleckимъ, Оленинъ самъ выражаетъ сознаніе своей разнородности съ нимъ и съ цѣлымъ міромъ, къ которому тотъ принадлежитъ. Оленинъ говоритъ:

«— Я знаю, что я составляю исключеніе (онъ, видимо, былъ смущенъ). Но жизнь моя устроилась такъ, что я не вижу не только никакой потребности измѣнять свои правила, но я бы не могъ жить здѣсь, не говоря уже жить такъ счастливо, какъ живу, ежели бы я жилъ *по вашему*. И потомъ, я *совсѣмъ другою* пишу, *другое* вижу въ нихъ (женщинахъ), чѣмъ вы». (Ч. II, стр. 189).



Вотъ эти-то загадки для себя и другихъ, эти исключенія изъ общаго правила и составляютъ главныхъ лицъ, выводимыхъ у гр. Толстаго. Лица эти—несчастные, страдающіе люди, въ противоположность счастливымъ и довольнымъ собою Володямъ, Блещкимъ, Дубковымъ и всему множеству вообще. У нашихъ героевъ есть только одно счастливое время жизни—не *юность*, которая, по ходячему романтическому мнѣнію, составляетъ лучшую пору каждаго человѣка, не *мужество*, которое по сущности дѣла должно бы представлять полное раскрытіе жизни, а *дѣтство*, первоначальная пора, когда человѣка еще нѣтъ, а есть только зачатки человѣка. Дѣтство является для нихъ единственною свѣтлою точкою. Вотъ какъ они говорятъ объ немъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, какъ не лелѣять воспоминаній объ ней? Воспоминанія эти освѣжаютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ лучшихъ наслажденій. (Ч. I, стр. 24).

«Вернута ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и силы вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? *Какое время можетъ быть лучше* того, когда двѣ лучшія добродѣтели, невнятная веселость и безпредѣльная потребность любви, были единственными побужденіями въ жизни?»

«Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучший даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилегалъ ангель-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣвалъ сладкія грезы нешпорченному дѣтскому воображенію».

«Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?» (Тамъ же, стр. 25).

Конечно, можно считать очень несчастливymi людей, у которыхъ есть дѣтство, но нѣтъ юности и мужества въ настоящемъ смыслѣ. Жизнь, имѣющая такой ходъ—очевидно, поражена глубокой неправоуверенностію.

Что же случается? Какъ мы уже сказали, у героевъ гр. Толстаго возникаетъ разладъ съ окружающимъ міромъ. Процессъ возникновенія этого разлада описанъ у гр. Толстаго со всею отчетливостію. Не то, чтобы окружающая дѣйствительность поражала этихъ людей своимъ безобразіемъ, или производила на нихъ давленіе, изъ-подъ котораго они старались

выбится; не то, чтобы въ душѣ ихъ существовали стремленія, которыя не находили себѣ пищи, существовала жажда дѣятельности, для которой не оказывалось простора: нѣтъ—дѣло здѣсь имѣло совершенно иной видъ.

Среди той пустоты, того отсутствія вліяній, въ которомъ эти люди провели свое дѣтство и отрочество, у нихъ въ извѣстную пору, въ силу внутренняго развитія души, возникали идеальныя стремленія, чрезвычайно сильныя и совершенно неопредѣленныя. Въ этомъ была ихъ бѣда, пощадившая другихъ юношей. Свѣтъ возникшаго идеала былъ такъ силенъ, что міръ *comme il faut* исчезалъ передъ нимъ безъ слѣда; идеалъ почти не удостоивалъ бороться съ этимъ міромъ. Такимъ образомъ, эти люди оставались наединѣ съ собою, отрѣзанные отъ своей дѣйствительности. Но въ то же время молодой позывъ къ идеалу не успѣваетъ сформироваться въ опредѣленные требованія и желанія. Недостаетъ руководства, примѣровъ, формъ, словъ и очертаній, которыя помогли бы широкому и сильному идеалу, такъ сказать, сложиться въ опредѣленный организмъ. Поэтому душа, если можно такъ выразиться, недорастаетъ; являются страдающіе люди, которые не знаютъ, что имъ дѣлать и какъ имъ дѣлать, которые и въ себѣ и въ другихъ постоянно отыскиваютъ идеальную сторону жизни, мучатся ея отсутствіемъ и иногда доходятъ до совершеннаго сомнѣнія въ ея существованіи.

Переломъ, которымъ начинается этотъ разладъ, наступаетъ въ *юности*.

«Подъ вліяніемъ Нехлюдова» —разсказываетъ Николай Иртеньевъ—«я невольнo усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло *восторженное обожаніе идеала добродѣтели* и убѣжденіе въ назначеніи человека совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія, казалось удобоисполнимою вещью,—очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ»... (Ч. I, стр. 80).

Совершенно опредѣленно эта эпоха обозначена нѣсколько далѣе:

«Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали съ обожаемымъ другомъ моимъ Дмитріемъ, чудеснымъ Митей, какъ я самъ съ собою шепотомъ иногда называлъ его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такой свѣжей силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, ту же секунду, захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ.

«И съ этого времени я считаю начало юности.

«Мнѣ былъ тогда шестнадцатый годъ въ исходѣ».

Тутъ же сказывается и неопредѣленность этихъ порывовъ, пробудившихся съ такою силою.

«Этотъ пахучій сырой воздухъ и радостное солнце—говорили мнѣ внятно, ясно *о чемъ-то новомъ и прекрасномъ*, которое, хотя я не могу передать такъ, какъ оно сказывалось мнѣ, а постараюсь передать такъ, какъ я воспринималъ его—все мнѣ говорило про красоту, счастье и добродѣтель, говорило, что какъ то, такъ и другое легко и возможно для меня, что одно не можетъ быть безъ другого, и даже, что красота, счастье и добродѣтель—одно и то же».

Иртеневъ мечтаетъ о своей новой жизни:

«... въ точности буду исполнять все (что было это «все», я никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо понималъ и чувствовалъ это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни)».

А вотъ описаніе подобнаго пробужденія идеала у другого героя, двадцатичетырехлѣтняго юноши Оленина—лица, къ которому авторъ отнесся болѣе строго, чѣмъ къ Иртеневу. Оленинъ въ лѣсу задаетъ себѣ вопросъ: «какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ и отчего онъ не былъ счастливъ прежде?»

И вдругъ ему какъ-будто открылся новый свѣтъ. «Счастье вотъ что»—сказалъ онъ самъ себѣ,—«счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть, отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно



будеть удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе! Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскопчилъ, и въ нетерпѣннѣйшій сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить». (Ч. II, стр. 183).

Какъ все это молодо и благородно! Несмотря на то, что авторъ не только не льститъ этимъ юношамъ, а напротивъ, почти готовъ отнестись къ нимъ комически (чистаго комическаго отношенія, какъ мы замѣтили, у него не бываетъ, потому что это—не свободное, самообладающее творчество), нельзя не сочувствовать этимъ порывамъ. «Богъ одинъ знаетъ»—говорить съ сомнѣніемъ авторъ—*«точно ли смѣшны были эти благородныя мечты юности»*; но въ другомъ, болѣе объективномъ мѣстѣ, гр. Толстой ясно высказываетъ, какую цѣну имѣютъ эти мечты.

«Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій. Благій, отрадный голосъ, столько разъ съ тѣхъ поръ, въ тѣ грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной жи и разврата, вдругъ смѣло возстававшій противъ всякой неправды, злостно обличавшій прошедшее, указывавшій, заставляя любить ее, ясную точку настоящаго и обѣщавшій добро и счастье въ будущемъ—благій, отрадный голосъ! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?» (Ч. I, стр. 36).

Есть люди, у которыхъ никогда не звучалъ этотъ голосъ; есть такіе, у которыхъ онъ звучитъ въ извѣстную пору, но легко заглушается голосомъ нуждъ, страстей, привычекъ и примѣровъ окружающей жизни; чаще же всего люди, подавляемые жизнью, чувствуютъ смиреніе передъ нею, не смѣютъ становиться выше ея и предлагать ей требованія, считают дерзостію возложить и на себя большія надежды, и потому слѣпо влекутся обстоятельствами, смутно сознавая, что должна быть какая-то другая жизнь, которая, однако, имъ не по силамъ.

Но у героевъ гр. Толстаго голосъ идеала звучитъ громко

и не даетъ имъ никогда успокоиться. Одинъ изъ нихъ, чувствуя, что мелкія страсти и привычки совершенно завладѣли его душою, сталъ такъ для себя гадокъ, что застрѣлился («Разсказъ маркера»). Всѣ они приступаютъ къ себѣ и къ жизни съ огромными требованіями; у всѣхъ постоянно шевелится въ душѣ вопросъ, который рано задалъ себѣ Николай Иртеневъ: «Зачѣмъ все такъ прекрасно, ясно у меня на душѣ и такъ безобразно выходитъ на бумагѣ и вообще въ жизни, когда я хочу примѣнять къ ней что-нибудь изъ того, что думаютъ?...»

Тутъ намъ слѣдовало бы привести цѣлый рядъ комическихъ явленій съ молодыми людьми гр. Толстаго—явленій, впрочемъ, очень обыкновенныхъ у всякаго рода молодыхъ людей. Явленія эти состоятъ въ томъ, что юноши прикидываются взрослыми людьми, обнаруживаютъ интересы, желанія, потребности, которыхъ не имѣютъ, волнуются чувствами, которыхъ не питаютъ, однимъ словомъ, *напускаютъ* на себя всякаго рода содержаніе, котораго еще лишены ихъ юныя души. Николай Иртеневъ разсказываетъ про себя:

«Я продолжалъ считать своею непремѣнною обязанностію скрывать отъ всего общества Нехлюдовыхъ, и въ особенности отъ Вариньки, свои настоящія чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другимъ молодымъ человѣкомъ отъ того, какимъ я былъ въ дѣйствительности, и даже такимъ, какого не могло быть въ дѣйствительности» (Ч. I, стр. 136).

Подобныхъ обезьянничаній приведено множество въ разсказахъ гр. Толстаго. Смыслъ явленій такъ простъ, что не нуждается ни въ какомъ поясненіи. Комизмъ—вотъ единственное правильное отношеніе къ нимъ; но замѣчательно, что именно этого-то отношенія и не устанавливается у гр. Толстаго. Очевидно, комизмъ былъ бы возможенъ только въ томъ случаѣ, если бы у юношей, о которыхъ идетъ рѣчь, на ряду съ фальшивыми проявленіями, постепенно возрастали и усиливались дѣйствительныя чувства, желанія и потребности. Тогда эта дѣйствительная душевная жизнь могла бы утѣшить человѣка въ томъ, что онъ въ иныхъ случаяхъ поддался фальши, и дать ему надежду, что онъ, наконецъ, навсегда

избавится отъ фальши. Но, къ несчастію, здѣсь нѣтъ этого утѣшенія и этой надежды. Герои гр. Толстаго чувствуютъ, что въ душѣ ихъ нѣтъ живыхъ движеній, и потому съ горестію и уныніемъ видятъ въ себѣ одну фальшь. Прекрасный идеалъ, который они носятъ въ душѣ, заставляетъ ихъ страдать отъ той фальши, которой другіе предаются съ увлеченіемъ и о которой вспоминаютъ потомъ со смѣхомъ. Какое глубокое недовольство собою долженъ былъ чувствовать Николай Иртеньевъ, напримѣръ, при такомъ собственномъ поведеніи:

«Вспомнивъ, какъ Володя цѣловать прошлаго года кошелекъ своей барышни, я попробовалъ сдѣлать то же; и дѣйствительно, когда я одинъ вечеромъ въ своей комнатѣ сталъ мечтать, глядя на цвѣтокъ, и прикладываю его къ губамъ, и почувствовалъ нѣкоторое пріятно-слезливое расположеніе и снова былъ влюбленъ, яли такъ предполагалъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней». (Ч. I, стр. 132).

Бѣдный мальчикъ! Онъ, очевидно, ясно чувствуетъ фальшь, которой Володя, конечно, предавался, не задумываясь какъ-будто дѣло дѣлалъ.

Откуда же, спрашивается, такое отсутствіе живыхъ интересовъ и потребностей у этихъ юношей? Мы уже указывали на отсутствіе умственныхъ и нравственныхъ вліяній, среди которыхъ они развивались. Внѣшнія ихъ обстоятельства давали имъ полную возможность жить особнякомъ, не связывая себя тѣсно ни съ какими людьми, ни съ какимъ опредѣленнымъ дѣломъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ положеніе Оленина:

«Въ восемнадцать лѣтъ Оленинъ былъ такъ свободенъ, какъ только бывали свободны русскіе богатые молодые люди сороковыхъ годовъ, съ молодыхъ лѣтъ оставшіеся безъ родителей. Для него не было никакихъ, ни физическихъ, ни моральныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ». (Ч. II, стр. 153).

Другой герой слѣдующимъ образомъ указываетъ на то, какъ понятія, среди которыхъ онъ воспитывался, отрывали его отъ дѣйствительности:



«Ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всѣхъ трудныхъ для меня условій *somme il faut*, *исключающихъ всякое серьёзное увлеченіе*, ни ненависть и презрѣніе къ девяти-десятымъ рода человѣческаго, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внѣ кружка *somme il faut*, все это еще было не главное зло, которое мнѣ причинило это понятіе. Главное зло состояло въ томъ убѣжденіи, что *somme il faut* есть *самостоятельное положеніе въ общество*, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ *somme il faut*; что, достигнувъ этого положенія, онъ *уже исполняетъ свое назначеніе*, и даже становится выше большей части людей».

«Въ извѣстную пору молодости, послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно *становится въ необходимость* дѣятельнаго участія въ общественной жизни, выбираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ *somme il faut* это *редко случается*. Я зналъ и знаю очень, очень много людей старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задается *что на томъ свѣтѣ*: «кто ты такой? И что ты тамъ дѣлаешь?» не будучъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ: *je fus un homme très comme il faut*».

«Эта участь ожидала меня». (Ч. I, стр. 124).

Изъ этого видно, что пустая, безсодержательная среда не давала этимъ юношамъ никакой точки опоры, никакого живаго, теплаго прикосновенія къ дѣйствительности. Но это — только внѣшнее условіе или возможность для ихъ особаго развитія. Внутреннее, существенное условіе, по которому они не стали въ ряды *очень и очень многихъ*, почему они были выброшены изъ своей среды и почуяли въ себѣ такую страшную пустоту, заключается въ ихъ душевномъ пробужденіи, въ томъ порывѣ къ идеалу, отъ котораго начинается разладъ ихъ жизни.

«Бываютъ люди» — замѣчаетъ авторъ — «лишенные этого порыва, которые сразу, входя въ жизнь, надѣваются на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни».

Вся бѣда нашихъ героевъ въ томъ и заключается, что они ни мало на такихъ людей не похожи и, напимѣръ, прежде всего сбрасываютъ съ себя хомутъ *somme il faut*, въ которомъ многіе чувствуютъ себя такъ счастливо.

«Оленинъ» — рассказываетъ авторъ — «раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ, тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть *сблать изъ себя все, что онъ хочетъ и, какъ ему кажется, и изъ всего міра все, что ему хочется*».

«Оленинъ слишкомъ сознавалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездѣльную пропасть, не зная за что, не зная зачѣмъ».

Итакъ, вотъ каковы герои гр. Толстаго. Это не худшіе наши люди, а скорѣе лучшіе. Это исключенія изъ нашей жизни, но исключенія, порожденные самою нашею жизнью, ея пустотою и безсодержательностію. Въ нихъ проснулась неумирающая душа человѣческая, они почувствовали въ себѣ порывъ къ идеалу, слышали его зовущій голосъ. Они пошли за нимъ и попали въ тотъ тяжелый разладъ съ самимъ собою и съ окружающими людьми, который составляетъ главную тему гр. Толстаго. При свѣтѣ своего идеала они сами себѣ кажутся пустыми и мертвенными, а окружающая ихъ жизнь является имъ темною и мелкою.

Что же дѣлаютъ герои графа Толстаго? Они буквально бродятъ по свѣту, нося въ себѣ свой идеалъ, и *ищутъ идеальной стороны жизни*. Они мучительно заняты рѣшеніемъ самыхъ общихъ и, по видимому, очень наивныхъ вопросовъ такого рода: существуетъ ли на свѣтѣ истинная дружба? существуетъ ли истинная любовь къ женщинѣ? существуетъ ли высокое наслажденіе природою или искусствомъ? существуетъ ли истинная доблесть, напр., храбрость на войнѣ? Эти вопросы, которые мы, обыкновенно, считаемъ признакомъ пошлости человѣка, ихъ задающаго, пошлости у насъ очень обыкновенной и вѣкъ знакомой, эти вопросы не стыдятся задавать себѣ юноши гр. Толстаго, потому что для нихъ это мучительные вопросы, потому что они во что бы то ни стало хотятъ увидѣть собственными глазами ту прекрасную сторону жизни, о которой они слышали и къ которой ихъ влечетъ внутреннее чувствіе. Двадцатичетырехлѣтній Оленинъ подъѣзжаетъ къ Кавказскимъ горамъ.

«Оленинъ съ жадностію сталъ вглядываться, но было пас-

мурно, и облака до половины застилали горы. Оленину видѣлось что-то сѣрое, бѣлое, курчавое; какъ онъ ни старался, онъ не могъ найти ничего хорошаго въ видѣ горъ, про которыя столько читалъ и слышалъ. Онъ подумалъ, что горы и облака имѣютъ совершенно одинаковый видъ, и что особенная красота снѣговыхъ горъ есть такая же выдумка, какъ музыка Баха и любовь къ женщинамъ, въ которыя онъ не вѣрилъ.

Но не даромъ же онъ поѣхалъ на Кавказъ, а не остался въ Москвѣ, вмѣстѣ съ Сашкой Б... — флигельадъютантомъ, и княземъ Д... На другое же утро онъ почувствовалъ ссю безконечность красоты горъ. Но если горы достались такъ легко, то въ другихъ случаяхъ приходилось вынести долгое исканіе и тысячи тяжелыхъ колебаній, прежде чѣмъ жизнь открывала свою таинственную красоту.

Бѣдная, бѣдная жизнь! Такъ ли ты уже дурна и темна на самомъ дѣлѣ, что каждую прекрасную черту твою нужно отыскивать, какъ кладъ, зарытый въ глубокомъ подземельѣ? Или же эти люди, жаждущіе твоей красоты, почему-то поражаются слѣпотою и неспособны увидѣть то, что прямо передъ ихъ глазами? Они слышатъ, они читаютъ про какой-то дивный міръ, гдѣ есть любовь къ женщинамъ, музыка Баха, красота природы; но, хотя женщины вокругъ нихъ много, — они не любятъ кого-нибудь изъ нихъ, музыка звучитъ — они не чувствуютъ восторга, природа передъ глазами — они ея не видятъ.

Отыскивая по свѣту идеальную сторону жизни, герои графа Толстаго нерѣдко приходятъ въ отчаяніе, нерѣдко теряютъ вѣру въ то, что они когда-нибудь достигнутъ цѣли. Въ сочиненіяхъ графа Толстаго много есть мѣстъ, выражающихъ полное невѣріе въ жизнь, признаніе ея совершеннаго ничтожества, совершеннаго отсутствія въ ней идеала. У него встрѣчается, напримѣръ, отрицаніе любви, ни мало не уступающее тому невѣрію, которое г. Писемскій выразилъ относительно Ромео и Юліи. Въ «Юности» есть глава, которая называется *Любовь*. Въ ней Николай Иртеневъ порѣшаетъ дѣло такъ:

«Есть три рода любви:

1) Любовь красивая,



2) Любовь самоотверженная и

3) Любовь дѣятельная.

«Я говорю не о любви молодого мужчины къ молодой дѣвушкѣ и наоборотъ; я боюсь этихъ нѣжностей, и былъ такъ несчастливъ въ жизни, что никогда не видалъ въ этомъ родѣ любви *ни одной искры правды, а только ложь*, въ которой чувственность, супружескія отношенія, деньги, желаніе связать или развязать себѣ руки, до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было».

Это настоящій взглядъ г. Писемскаго. Отвергается именно та любовь, къ разряду которой относится любовь Ромео и Юліи. Остальные три рода любви тоже оказываются фальшью. Вотъ, напримѣръ, замѣтка о *любви красивой*:

«Смѣшно и странно сказать, но я увѣренъ, что было очень много и теперь есть много людей извѣстнаго общества, въ особенности женщинъ, которыхъ любовь къ друзьямъ, мужьямъ, дѣтямъ, сейчасъ бы уничтожилась, ежели бы имъ только запретили про нее говорить по французски» (Ч. I, стр. 112).

Во второмъ разсказѣ о Севастополѣ—разсказѣ, гдѣ авторъ съ поразительнымъ мастерствомъ изобразилъ сцены мелочныхъ страстей, тщеславія, зависти, трусости, скупости и т. д., которыя онъ нашелъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ, казалось бы, можно было найти только невыразимо-величественную и грозную эпопею, гр. Толстой усумился въ достоинствѣ души челоѣческой и заключаетъ свой разсказъ такъ:

«Вотъ я и сказалъ, что хотѣлъ сказать на этотъ разъ. Но тяжелое раздумье одолеваетъ меня. Можетъ быть, не надо было говорить этого; можетъ быть, то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ *тѣхъ злыхъ истинъ*, которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его».

Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать, гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны» (Ч. II, стр. 61).

*Злая истины*, о которыхъ говорить здѣсь авторъ, встрѣчаются у него безпрестанно. Это—больное мѣсто въ душѣ

его героевъ, до котораго они любятъ дотрагиваться. Тема этихъ злыхъ истинъ одна—ничтожество и малодушіе человѣческаго племени. Доказывается эта тема всегда одинаковымъ образомъ, именно тѣмъ, что герои ловятъ себя постоянно на отступленіи отъ своего идеала, на томъ, что не выдерживаютъ своихъ благороднѣйшихъ плановъ и предположеній. Они такъ любятъ свои высокія мечтанія, что ни за что не хотятъ отъ нихъ отказаться, такъ что противорѣчіе жизни этимъ мечтаніямъ огорчаетъ ихъ до глубины души и наводитъ на самыя мрачныя идеи. Иногда это выходитъ комически, какъ огорченіе отъ неисполненія совершенно чуждыхъ дѣйствительности желаній. Вотъ, напримѣръ, мрачныя размышленія Николая Иртеньева:

«Мой другъ былъ совершенно правъ; только гораздо, гораздо позднѣе, и я изъ опыта жизни убѣдился въ томъ, какъ вредно думать и еще вреднѣе говорить многое, кажущееся очень благороднымъ, но *что навсегда должно быть спрятано отъ всѣхъ въ сердцею каждою человѣка*,—и въ томъ, что *благородныя слова рѣдко сходятся съ благородными дѣлами*. Я убѣжденъ въ томъ, что уже по одному тому, что хорошее намѣреніе высказано, трудно, даже большею частию невозможно, исполнить это хорошее намѣреніе. Но какъ удержаться отъ высказыванія благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позднѣе вспоминаешь объ нихъ, какъ о цвѣтикахъ, который—не удержался, сорвалъ нераспустившимся и потомъ увидѣлъ на землѣ завялымъ и затоптаннымъ.

«Я, который сейчасъ только говорилъ Дмитрію, своему другу, о томъ, чѣмъ деньги портятъ отношенія, на другой день утромъ, передъ нашимъ отъѣздомъ въ деревню, когда оказалось, что я промоталъ всѣ свои деньги на разныя картинки и стамбулки, взялъ у него двадцать пять рублей ассигнаціями на дорогу, которые онъ предложилъ мнѣ, и потомъ очень долго оставался ему долженъ».

Экая бѣда, въ самомъ дѣлѣ, эти двадцать пять рублей! И какъ отсюда ясно слѣдуетъ, что благородныхъ намѣреній не слѣдуетъ высказывать, а если разъ выскажешь, то уже потомъ никакъ не исполнишь!

Эти фантастическія страданія тѣмъ не менѣе суть страданія; они свидѣтельствуютъ все о томъ же—о силѣ идеальныхъ стремленій, которымъ преданы эти юноши, слишкомъ много требующіе отъ себя и отъ жизни. Они строго судятъ

людей и себя; но у нихъ нѣтъ никакого руководства, которое бы научило ихъ различать добро отъ зла, давало бы имъ ясно видѣть, что любить и что презирать. Юноша, который мучится избыткомъ благородныхъ чувствъ и намѣреній — собственно есть очень милое явленіе, разумѣется, какъ задатокъ. Но если этотъ задатокъ не развивается, если его мечты не получаютъ современемъ опредѣленныхъ формъ, если въ душѣ его не возникаетъ живыхъ потребностей, которыя подсказали бы ему, что любить и что ненавидѣть, то это будетъ болѣзненное явленіе пустой, холодной жизни. Для князя Д. Нехлюдова въ «Люцернѣ», міръ все еще представляется хаосомъ:

«Кто опредѣлитъ мнѣ» — спрашиваетъ онъ — «что свобода, что деспотизмъ, что цивилизація, что варварство? И гдѣ границы одного и другого? У кого въ душѣ такъ непоколебимо это *мѣрило добра и зла*, чтобы онъ могъ мѣрить имъ бѣгущіе факты?»

Чѣмъ же оканчиваются, и оканчиваются ли вообще, всѣ эти волненія, сомнѣнія и колебанія? Находить ли, наконецъ, эти люди въ себѣ и въ другихъ ту идеальную сторону жизни, по которой они такъ мучатся? Какъ мы уже замѣтили, дѣло не останавливается на полномъ отчаяніи, къ которому они иногда приходятъ. Для нихъ открываются проблески истинной жизни, истинной духовной красоты, большею частію не въ нихъ, а въ другихъ людяхъ, которыхъ они въ своемъ упорномъ исканіи идеала, наконецъ, начинаютъ цѣнить и любить. Такимъ образомъ, они пріобрѣтаютъ вѣру, что красота жизни существуетъ, что есть души, вполне сохраняющія достоинство человѣка, вполне достойныя сочувствія.

Особенно подробно и полно разработаны у графа Толстаго вопросы *о храбрости*, о томъ, *какъ дѣлается война*, по выраженію одного изъ лицъ его севастопольскихъ разсказовъ, Козельцова, т. е. какъ она дѣлается по отношенію къ недѣлимымъ, къ душѣ лицъ, тѣмъ или другимъ путемъ попавшихъ на театръ войны. Начинается разработка этого вопроса съ повѣсти «Набѣгъ», а концомъ разработки можно считать «1805 годъ» \*), гдѣ, во второй части, война

\*) Вотъ полное заглавіе этой книги: *Тысяча восемьсотъ пятый годъ, Гр. Льва Толстаго. Дѣя части. Москва 1866*. Это не что иное, какъ начало «Войны и Мира», до Шенграбенскаго сраженія включительно.



изображена уже съ полнымъ мастерствомъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла, съ полнымъ обладаніемъ предметовъ. Центръ же, поворотную точку, гдѣ достигнута, наконецъ, *суть* дѣла, гдѣ храбрость найдена лицомъ къ лицу, составляетъ *последній* севастопольскій разсказъ.

Въ «Набѣгѣ» выведенъ на сцену *волонтеръ*, который, какъ подобаетъ герою графа Толстаго, ищетъ проявленій истинной жизни и потому просится въ дѣло, чтобы видѣть, проявляется ли, и какъ проявляется храбрость. Его отговариваютъ.

— «И чего вы не видали тамъ? продолжалъ убѣждать меня капитанъ.— *Хочется вамъ узнать, какія сраженія бываютъ?* Прочтите Михайловскаго-Данилевскаго «Описаніе войны» — прекрасная книга: тамъ все подробно описано — и гдѣ какой корпусъ стоялъ, и какъ сраженія происходятъ.

— «Напротивъ, *это-то* меня и не занимаетъ, отвѣчалъ я.

— «Ну, такъ что же? вамъ просто хочется, видно, посмотреть, какъ людей убиваютъ!.. Вотъ въ тридцатъ второмъ году былъ тутъ же неслужащій какой-то, изъ испанцевъ, кажется. Два похода съ нами ходилъ, въ спнемъ плащѣ въ какомъ-то... таки ухлопали молодца. Здѣсь, батюшка, никого не удивить!»

Немудрено, что этотъ истинно-прекрасный человѣкъ, капитанъ Хлоповъ, не понимаетъ, чего хочется волонтеру. Для него не существуетъ душевнаго вопроса, который мучитъ молодого человѣка. Для него *храбрость* такое же простое и ясное понятіе, какъ и всѣ другія, и онъ понимаетъ «Описаніе» Михайловскаго-Данилевскаго. Волонтеръ же не понимаетъ этого слова, какъ и многихъ другихъ, о которыхъ *слышалъ* и *читалъ*. Это сейчасъ и оказывается изъ его распросовъ.

«— Что, *онъ храбрый былъ?* спросилъ я капитана (про испанца).

«— А Богъ его знаетъ; все бывало впереди ѣздить: гдѣ перстрѣлка, тамъ и онъ.

«— Такъ, стало быть, храбрый, сказалъ я.

«— Нѣтъ, это не значить храбрый, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ...

«— Что же вы называете храбрымъ?

«Храбрый? храбрый? повторилъ капитанъ съ видомъ чело-  
вѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ»...  
(Ч. II, стр. 7).

Вопросъ этотъ никогда не беспокоилъ капитана, между  
тѣмъ какъ онъ глубоко тревожитъ волонтера. И вотъ, волон-  
теръ напряженно присматривается къ тому, какъ держать  
себя различныя лица во время похода и дѣла.

«Я съ любопытствомъ вслушивался въ разговоры солдатъ и  
офицеровъ и внимательно всматривался въ выраженія ихъ физіоно-  
мій; но рѣшительно ни въ комъ я не могъ замѣтить и тѣни того  
безпокойства, которое испытывалъ самъ: шуточки, смѣхи, рассказы  
выражали общую беззаботность и равнодушіе къ предстоящей опас-  
ности». (Ч. II, стр. 11).

Испытывая самъ нѣкоторое чувство страха, онъ видитъ  
лицомъ къ лицу всѣ проявленія мужества и удивляется имъ,  
но еще не понимаетъ ихъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ прямо и  
говоритъ: *я совершенно ничего не понималъ* (Тамъ же,  
стр. 12).

Стараясь, однако же, рѣшить, которое изъ этихъ различ-  
ныхъ явленій храбрости достигаетъ совершенной полноты, ко-  
торое представляетъ настоящее воплощеніе идеала, волонтеръ  
останавливается въ заключеніе на капитанѣ Хлоповѣ:

«Въ фигурѣ капитана было *очень мало воинственности*; но зато  
въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно  
поразила меня. *«Богъ кто истинно храбръ»*, сказалось мнѣ невольно.

«Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видѣлъ его.

«Легко сказать: такимъ же, какъ и всегда; но сколько различ-  
ныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться  
спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; но  
лицу же капитана замѣтно, что капитанъ *и не понимаетъ, зачѣмъ  
казаться»*.

Вотъ первое рѣшеніе вопроса, очевидно, весьма слабое  
и недостаточное. Капитанъ Хлоповъ, конечно, прекрасный и  
храбрый человѣкъ; но не всѣ же могутъ быть такъ просты,  
какъ онъ. Можетъ быть, храбрыми могутъ быть и люди, ко-  
торые понимаютъ нѣсколько больше его, которые понимаютъ,

*зачѣмъ казаться*, задавали себѣ вопросъ: *что такое храбрый*, равно какъ и многіе другіе вопросы, никогда не приходившіе въ голову капитана Хлопова.

Итакъ, требуются новыя этюды. Авторъ рисуетъ множество людей, менѣе спокойныхъ, чѣмъ капитанъ, волнуемыхъ страхомъ при видѣ опасности, иныхъ совершенно поддающихся этому страху, другихъ успѣшно борющихся съ нимъ, и многихъ исполнѣ и блистательно подавляющихъ это чувство и владѣющихъ собою. Среди этого анализа попадаетъ и *злая истина* на своемъ надлежащемъ мѣстѣ. Въ «Рубкѣ лѣса», юнкеръ рассказываетъ свой разговоръ съ ротнымъ командиромъ Болховымъ, который «имѣлъ состояніе, служилъ прежде въ гвардіи и говорилъ по французски». Этотъ Болховъ объявляетъ юнкеру, что онъ неспособенъ къ кавказской службѣ.

«Я», говорятъ онъ, «не могу переносить опасности... просто, я не храбръ»...

«Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня безъ шутокъ». (Ч. II, стр. 27).

Болховъ, очевидно, трусъ, до того падающій духомъ, что уже не можетъ владѣть собою. Казалось бы, подобное малодушіе должно было непріятно подѣйствовать на юнкера. Между тѣмъ, вотъ разговоръ, который происходитъ между ними въ тотъ же день:

«Болховъ съ улыбкой посмотрѣлъ на меня.

— А я думаю, вамъ очень страннымъ показался нашъ разговоръ утромъ? сказалъ онъ.

— Нѣтъ, *отчего же?* Мнѣ только показалось, что вы слишкомъ откровенны; *есть вещи, которыя мы все знаемъ, но которыхъ никогда говорить не надо.*»

То есть, все мы трусы, да только нельзя же объ этомъ рассказывать. Бѣдный юноша! Онъ, очевидно, испуганъ не опасностію, а тѣмъ, что чувствуетъ въ душѣ своей страхъ, несмотря на свое отвращеніе отъ этого чувства и желаніе подавить его. Стыдливо скрываетъ онъ свою внутреннюю благородную борьбу, и когда малодушный и мелочной Болховъ от-



крываетъ ему свою трусость, онъ не смѣетъ укорить его, ставить себя съ нимъ наравнѣ и называетъ и себя трусомъ.

Много и другихъ проявленій малодушія анализировано авторомъ съ его необыкновеннымъ мастерствомъ. Черты тщеславія и другихъ мелкихъ страстей, разыгрывающихся среди самаго разгара битвъ и великихъ событій, тоже выставлены, какъ явленія, подрывающія вѣру въ достоинство души человѣческой. Человѣкъ доблестный среди битвы—черезъ минуту становится мелочнымъ въ обыкновенной жизни. Что же такое эта доблесть, такъ быстро уступающая мѣсто малодушію? На эту тему, какъ мы уже упоминали, написанъ второй севастопольскій разсказъ. Но Севастополь взялъ таки свое. Въ третьемъ, послѣднемъ севастопольскомъ разсказѣ, уже вполне разрѣшенъ вопросъ: что такое храбрость. Этотъ разсказъ писанъ уже полною художественною манерою, тою же самою, которою писанъ «1805 годъ». Въ разсказѣ «Севастополь въ августъ 1855 года», уже твердо записано важное замѣчаніе,

«что страхъ, какъ и *каждое сильное чувство*, не *можетъ* въ одной степени продолжаться долго». (Ч. II, стр. 79).

Замѣчаніе весьма важное для того наивно-идеальнаго взгляда, который готовъ потребовать, чтобы человѣкъ постоянно питалъ весьма сильныя и весьма благородныя чувства.

По обыкновенію, авторъ и здѣсь рисуетъ свои лица со всею правдивостію, изображаетъ въ ихъ мелочныя слабости, всевозможные переходы отъ доблести къ малодушію. Онъ разсказываетъ, напримѣръ, какъ, наканунѣ битвы, офицеры въ оборонительной казармѣ играютъ въ карты. Они жадничаютъ, злятся, наконецъ, завязывается ссора. Авторъ перестаетъ разсказывать.

«Опустимъ» говоритъ онъ скорѣе занавѣсу надъ этой сценой. Завтра, нынче же, можетъ быть, каждый изъ этихъ людей *всего и тордо* пойдетъ на встрѣчу смерти и умретъ *твердо и спокойно*; но одна отрада жизни въ тѣхъ ужасающихъ самое холодное воображеніе условіяхъ отсутствія всего человѣческаго и безнадежности выхода изъ нихъ, одна отрада есть забвеніе, уничтоженіе сознанія. *На днѣ души каждого лежитъ та благородная искра,*

которая содѣлаетъ изъ него героя: но искра эта угасаетъ горѣть ярко—придетъ роковая минута, она вспыхнетъ пламенемъ и освѣтитъ великія дѣла».

Итакъ, вотъ разгадка! Вотъ объясненіе возможности героизма и признаніе его дѣйствительнаго существованія. Стыдливый юнкеръ и безстыдный трусъ Болховъ уже никого не заставляютъ усумниться въ возможности доблести въ душѣ челевѣческой.

Само собою разумѣется, что присутствіе душевной доблести не могло быть подвергнуто сомнѣнію гр. Толстымъ—въ простомъ народѣ, не въ средѣ юнкеровъ, волонтеровъ и офицеровъ, а въ средѣ простыхъ солдатъ. Здѣсь дѣло было столь же ясное, какъ и относительно капитана Хлопова. Храбрость была на лицо, и оставалось только изучать ее. Въ этомъ отношеніи найдется немало прекрасныхъ изображеній у гр. Толстаго. Величіе народнаго духа особенно поражаетъ въ *первомъ* севастопольскомъ разсказѣ «Севастополь въ декабрѣ 1854 г. » Это какъ-будто первое неотразимое впечатлѣніе, которое потомъ забылось въ силу постояннаго и неизмѣннаго присутствія предмета, его производившаго, такъ что явилась возможность возникнуть колебаніямъ и грусти *второго* разсказа. Но, очевидно, заключеніе перваго разсказа годится и для всѣхъ трехъ.

«Надолго»—оканчиваетъ авторъ—«оставить въ Россіи великіе слѣды эта эпопея Севастополя, которой *героизмъ былъ народъ русский...*»

Итакъ, герой найденъ, наконецъ. Герой несомнительный, въ которомъ ни разу не приходилось усумниться, рассказывая о которомъ, нельзя было ни разу окончить правдивую повѣсть грустнымъ вопросомъ: «кто же герой этой повѣсти?»

Намъ довелось бы долго черпать въ книгѣ, столь богатой поэзіею и наблюдательностію, какъ сочиненія гр. Толстаго, если бы мы вздумали преслѣдить другія черты душевной жизни тѣхъ героевъ автора, на которыхъ устремлено его главное вниманіе, то есть дѣтей нашего общества. Иртеньевыхъ, Олениныхъ, князей Нехлюдовыхъ и пр. Они больны, эти люди, одною болѣзнію—пустотою и мертвенностію души.

Но у нихъ въ душѣ несомнѣнно таится *благородная искра*, которая стремится *вспыхнуть пламенемъ*, и только почему-то не находитъ пищи для своего огня. Если бы эта искра вспыхнула, она озарила бы прекрасную душевную жизнь; стремленіе къ этой жизни составляетъ мученіе этихъ душъ.

Насколько нашъ общій духовный складъ, наше образованіе, образъ мыслей и чувствъ, или отсутствіе мыслей и чувствъ въ нашемъ обществѣ—содѣйствуетъ порожденію такихъ болѣзненныхъ явленій,—вопросъ, который мы не будемъ рѣшать, но который ясно затрегивается этими явленіями.

Но еще интереснѣе вопросъ: какія живыя начала обнаруживаетъ здѣсь русская душа, какой нравственный и эстетическій складъ она проявляетъ, выбиваясь изъ-подъ какого-то давящаго ее недуга?

(Отечественныя Записки. 1866, декабрь).

---



## II.

**Война и миръ.** Сочиненіе Графа Л. Н. Толстаго. Томы I, II, III и IV. Изданіе второе. Москва, 1868.

### Статья первая.

Все, что дѣлается у насъ въ литературѣ и литературной критикѣ, забывается быстро и, такъ сказать, поспѣшно. Таковъ, впрочемъ, вообще удивительный ходъ нашего умственного прогресса; сегодня мы забываемъ то, что сдѣлано вчера, и каждую минуту чувствуемъ себя такъ, какъ-будто за нами нѣтъ никакого прошедшаго,—каждую минуту готовы начинать все съизнова. Число книгъ и журналовъ, число читающихъ и пишущихъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ; между тѣмъ, число установившихся понятій—такихъ понятій, которыя получили бы ясный и опредѣленный смыслъ для большинства, для массы читающихъ и пишущихъ,—по видимому, не только не увеличивается, а даже уменьшается. Наблюдая, какъ, въ продолженіе десятковъ лѣтъ, на сценѣ нашего умственного міра фигурируютъ все одни и тѣ же вопросы, постоянно поднимаемые и постоянно недѣлающіе ни шагу впередъ,—какъ одни и тѣ же мнѣнія, предразсудки, заблужденія повторяются безъ конца, каждый разъ въ видѣ чего-то новаго,—какъ, не только статья или книга, а цѣлая дѣятельность иного человѣка, горячо и долго работавшаго надъ извѣстной областію и успѣвшаго внести въ нее нѣкоторый свѣтъ, исчезаетъ, по видимому, безъ всякаго слѣда, и опять безконечной вереницею появляются все тѣ же мнѣнія, все тѣ же ошибки, тѣ же недоразумѣнія, та же путаница и безсмы-

слица, — наблюдая все это, можно подумать, что мы вовсе не развиваемся, не движемся впередъ, а только толчемся на одномъ мѣстѣ, вертимся въ заколдованномъ кругу. «Мы растемъ», говорилъ Чаадаевъ, «но не зрѣемъ».

Со временъ Чаадаева дѣло не только не улучшилось, а ухудшилось. Тогъ существенный порокъ, который онъ замѣтилъ въ нашемъ развитіи, раскрывался все съ большею и съ большею силою. Въ тѣ времена дѣло шло медленнѣе и касалось сравнительно-небольшаго числа людей; нынче припадки болѣзни ускорились и охватили огромную массу. «Наши умы», писалъ Чаадаевъ, «не браздятся неизгладимыми чертами послѣдовательнаго движенія идей»; и вотъ, по мѣрѣ внѣшняго развитія литературы, все больше и больше растетъ число пишущихъ и читающихъ, которые чужды всякихъ основъ; не имѣютъ для своихъ мыслей никакихъ точекъ опоры, не чувствуютъ въ себѣ ни съ чѣмъ никакой связи. Отрицаніе, бывшее нѣкогда смѣлостію и дѣлавшее первые шаги съ усиленіемъ, сдѣлалось, наконецъ, общимъ мѣстомъ, рутиною, казенщиною; какъ общая подкладка, какъ исходная точка для всевозможныхъ блужданій и шатаній мысли, образовался нигилизмъ, то есть почти прямое отрицаніе всего прошедшаго, — отрицаніе всякой надобности какого бы то ни было историческаго развитія. «У каждаго человѣка, когда бы и гдѣ бы онъ ни родился, есть мозгъ, сердце, печенка, желудокъ: чего же еще нужно для того, чтобы онъ мыслить и дѣйствовалъ по-человѣчески?» Нигилизмъ, имѣющій тысячи формъ и проявляющійся въ тысячахъ поползновеній, намъ кажется, есть только пробившееся наружу сознаніе нашей интеллигенціи, что ея образованность не имѣетъ никакихъ прочныхъ корней, — что въ ея умахъ никакія идеи не оставили слѣдовъ, — что прошедшаго у нея вовсе нѣтъ.

Многіе негодуютъ на такой ходъ дѣлъ, да и какъ возможно иногда сдержатъ негодованіе? Какъ не окрестить глупостію и нелѣпостію всѣ эти безобразнѣйшія мнѣнія, формулирующіяся, по видимому, безъ всякаго участія правильной мысли? Какъ не назвать грубымъ и дикимъ невежествомъ это полное непониманіе и забвеніе прошлаго, — эти разсужденія, не только не опирающіяся на изученіе предмета, но явно

дышащія совершеннымъ презрѣніемъ ко всякому изученію? И однако же, мы были бы совершенно неправы, если бы приписывали плачевныя явленія нашего умственного міра этимъ двумъ причинамъ, то есть слабости російскихъ умовъ и господствующему между ними невѣжеству. Умы слабые и невѣжественные не суть еще по этому самому умы блуждающіе и забывчивые. Очевидно, причина здѣсь другая, болѣе глубокая. Скорѣе же бѣда въ томъ, что мы не только не считаемъ, но даже имѣемъ нѣкоторое право не считать себя невѣжественными; бѣда въ томъ, что мы, дѣйствительно, обладаемъ какимъ-то образованіемъ, но что это образованіе внушаетъ намъ только смѣлость и развязность и не вноситъ никакого толку въ наши мысли. Другая же причина, параллельная первой и составляющая главный, коренной источникъ зла, очевидно, та, что у насъ, при этой ложной образованности, недостаетъ дѣйствительнаго, *настоящаго* образованія, которое своимъ дѣйствіемъ парализовало бы всѣ уклоненія и блужданія, порождаемыя какими бы то ни было причинами.

Итакъ, дѣло гораздо сложнѣе и глубже, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Общая формула, *намъ нужно больше образованія*, подобно другимъ общимъ формуламъ, не разрѣшаетъ вопроса. Пока всякій новый наплывъ образованія будетъ имѣть слѣдствіемъ только наращеніе нашей безсодержательной, неимѣющей никакихъ корней, словомъ, *фальшивой* образованности, образованіе не будетъ приносить намъ никакой пользы. А это не прекратится и не можетъ прекратиться до тѣхъ поръ, пока у насъ не разовьются и не укрѣплятся ростки и побѣги настоящаго образованія.—пока не получитъ полной силы движеніе идей, «оставляющее въ умахъ неизгладимыя черты».

Дѣло трудное до высокой степени. Ибо для того, чтобы образованіе заслуживало своего имени,—чтобы его явленія имѣли надлежащую силу, надлежащую связь и послѣдовательность,—чтобы мы сегодня не забывали того, что дѣлали и о чемъ думали вчера,—для этого необходимо требуется весьма тяжелое условіе, требуется самостоятельное, самобытное умственное развитіе. Необходимо, чтобы мы жили не чужою, а своею умственною жизнью,—чтобы чужія идеи не просто



отпечатлѣвались, или отражались на насъ, а превращались бы въ нашу плоть и кровь, перерабатывались бы въ части нашего организма. Мы не должны быть воскомъ, отливающимся въ готовые формы, а должны быть живымъ существомъ, которое всему, имъ воспринимаемому, даетъ свои собственные формы, образуемая имъ по законамъ своего собственного развитія. Такова высокая цѣна, которою одною мы можемъ купить дѣйствительное образованіе. Если мы станемъ на эту точку зрѣнія, если подумаемъ, какъ неизбежно это условіе, какъ оно трудно и выско,—то намъ многое объяснится въ явленіяхъ нашего умственного міра. Мы не будемъ уже дивиться тѣмъ безобразіямъ, которыя наполняютъ его и не станемъ надѣяться на скорое очищеніе его отъ этихъ безобразій. Всему этому слѣдовало быть и слѣдуетъ быть еще долго. Развѣ можно требовать, чтобы наша интеллигенція, не выполняя существеннаго условія правильнаго развитія, произвела что-нибудь хорошее? Развѣ не должна естественно, необходимо возникнуть эта призрачная дѣятельность, это мнимое движеніе, этотъ прогрессъ, не оставляющій послѣ себя никакихъ слѣдовъ? Зло, для того чтобы прекратиться, должно быть исчерпано до конца; слѣдствія будутъ продолжаться, пока будутъ существовать причины.

Весь нашъ умственный міръ давно уже раздѣляется на двѣ области, только изрѣдка и ненадолго сливающіяся между собою. Одна область, самая большая, объемлющая большинство читающихъ и пишущихъ, есть область прогресса, не оставляющаго слѣдовъ,—область метеоровъ и миражей,—*дымъ, несущійся по вѣтру*, какъ выразился Тургеневъ. Другая область, несравненно меньшая, заключаетъ въ себѣ все, что дѣйствительно *дѣлается* въ нашемъ умственномъ движеніи,—есть русло, питаемое живыми родниками,—струя нѣкотораго преемственнаго развитія. Это та область, въ которой мы не только растемъ, но и зрѣемъ,—въ которой, слѣдовательно, такъ или иначе совершается трудъ нашей самостоятельной духовной жизни. Ибо дѣйствительнымъ дѣломъ въ этомъ случаѣ можетъ быть только то, что носить на себѣ печать самобытности, и (по справедливому замѣчанію, давно сдѣланному нашей критикой) каждый замѣчательный дѣтель

нашего развитія непремѣнно обнаруживалъ въ себѣ вполне русскаго человѣка. Понятно теперь противорѣчіе, существующее между этими двумя областями,—противорѣчіе, которое должно возрастать по мѣрѣ уясненія ихъ взаимныхъ отношеній. Для первой, господствующей области, явленія второй не имѣютъ почти никакого значенія. Она или не обращаетъ на нихъ никакого вниманія, или понимаетъ ихъ превратно и искаженно; она ихъ или вовсе не знаетъ, или узнаетъ поверхностно и быстро забываетъ.

Они забываютъ, и имъ естественно забывать; но кто же помнить? Казалось бы, у насъ должны существовать люди, для которыхъ столь же естественно помнить, какъ для тѣхъ—забывать,—люди, способные оцѣнить достоинство какихъ бы то ни было явленій умственного міра, не увлекающіеся минутными настроеніями общества и умѣющие, сквозь дымъ и туманъ, видѣть настоящее движеніе впередъ и отличать его отъ пустого, бесплоднаго броженія. Дѣйствительно, у насъ есть люди, по видимому, вполне способные для этого дѣла; но, по несчастію, такова сила вещей, что они этого дѣла не дѣлаютъ, не желаютъ дѣлать, да въ сущности и не могутъ. Наши серьезные и основательно-образованные люди неизбѣжно находятся подъ злополучнымъ вліяніемъ общаго порока нашего развитія. Прежде всего—ихъ собственное образованіе, обыкновенно составляющее нѣкоторое исключеніе, и хотя высокое, но болѣею частью одностороннее, внушаетъ имъ высокоуміе къ явленіямъ нашего умственного міра; они не удостоиваютъ его пристальнаго вниманія. Затѣмъ, по своимъ отношеніямъ къ этому міру, они раздѣляются на два разряда: одни питаютъ къ нему полнѣйшее равнодушіе, какъ къ явленію, для нихъ болѣе или менѣе чуждому; другіе, теоретически признавая свое родство съ этимъ міромъ, останавливаются въ немъ на кой-какихъ единичныхъ явленіяхъ и тѣмъ съ болѣшимъ презрѣніемъ смотрятъ на все остальное. Первое отношеніе—космополитическое, второе національное. Космополиты—грубо, невнимательно, безъ любви и проницательности,—подводятъ наше развитіе подъ европейскія мѣрки и не умѣютъ въ немъ видѣть ничего особенно хорошаго. Націоналы, съ меньшею грубостію и невнима-

тельностью, прилагаютъ къ нашему развитію требованіе самобытности и, на этомъ основаніи, отрицаютъ въ немъ все, кромѣ немногихъ исключеній.

Очевидно, вся трудность заключается въ умѣннѣ цѣнить проявленія самобытности. Одни вовсе не желаютъ и не умѣютъ ихъ находить; немудрено, что они ихъ не видятъ. Другіе именно ихъ и желаютъ; но, будучи слишкомъ скоры и требовательны въ своихъ желаніяхъ, вѣчно недовольны тѣмъ, что есть на самомъ дѣлѣ. Такимъ образомъ, дѣло безцѣнное и совершаемое съ тяжкимъ трудомъ, постоянно остается въ пренебреженіи. Одни повѣряютъ въ русскую мысль только тогда, когда она произведетъ великихъ всемірныхъ философовъ и поэтовъ; другіе—только тогда, когда все ея созданія примутъ яркій національный отпечатокъ. А до тѣхъ поръ тѣ и другіе считаютъ себя въ правѣ съ презрѣніемъ относиться къ ея работѣ,—забывать все, что она ни сдѣлаетъ,—и по прежнему подавлять ее все тѣми же высокими требованіями.

Такія мысли пришли намъ на умъ, когда мы рѣшились приступить къ разбору «Войны и Мира». И намъ кажется, эти мысли всего умѣстнѣе, когда дѣло идетъ именно о новомъ художественномъ произведеніи. Съ чего начать? Къ чему намъ примѣнютъ свои сужденія? На что бы мы ни сослались, на какія бы понятія ни оперлись, все будетъ темно и непонятно для большинства нашихъ читателей. Новое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, одно изъ прекраснѣйшихъ произведеній русской литературы, составляетъ во первыхъ, плодъ движенія этой литературы, ея глубокаго и труднаго прогресса; во вторыхъ, оно есть результатъ развитія самого художника, его долгой и совѣстливой работы надъ своимъ талантомъ. Но кто же имѣетъ ясное понятіе о движеніи нашей литературы и о развитіи таланта гр. Л. Н. Толстаго? Правда, наша критика нѣкогда внимательно и глубокомысленно оцѣнила особенности этого удивительнаго таланта \*); но кто же объ этомъ помнитъ?

---

\*) Здѣсь разумѣется статья Аполлона Григорьева.



Недавно одинъ критикъ объявилъ, что передъ появленіемъ «Войны и Мира» всѣ уже забыли о гр. Л. Н. Толстомъ, и никто о немъ больше не думалъ. Замѣчаніе совершенно справедливое. Конечно, вѣроятно, были еще отсталые читатели, которые продолжали восхищаться прежними произведеніями этого писателя и находить въ нихъ безцѣнные откровенія души человѣческой. Но наши критики не принадлежали къ числу этихъ наивныхъ читателей. Наши критики, конечно, меньше всѣхъ другихъ помнили о гр. Л. Н. Толстомъ и думали о немъ. Мы будемъ правы, если даже распространимъ и обобщимъ это заключеніе. Есть у насъ, вѣроятно, читатели, которые дорожатъ русской литературой, — которые помянутъ и любятъ ее; но это отнюдь не русскіе критики. Критиковъ же наша литература не столько занимаетъ, сколько беспокоитъ своимъ существованіемъ; они вовсе не желаютъ объ ней помнить и думать, и только досаждаютъ, когда она напоминаетъ имъ о себѣ новыми произведеніями.

Таково, дѣйствительно, было впечатлѣніе, произведенное появленіемъ «Войны и Мира». Для многихъ, съ наслажденіемъ занимавшихся чтеніемъ послѣднихъ книжекъ журналовъ и въ нихъ своихъ собственныхъ статей, было чрезвычайно непріятно убѣдиться, что есть какая-то другая область, о которой они не думали и думать не хотѣли, и въ которой, однако же, создаются явленія огромныхъ размѣровъ и блистательной красоты. Каждому дорого свое спокойствіе, — самолюбивая увѣренность въ своемъ умѣ, въ значеніи своей дѣятельности, — и отсюда объясняются тѣ озлобленные вопли, которые у насъ поднимаются — въ частности на поэтовъ и художниковъ, а вообще на все, что уличаетъ насъ въ невѣжествѣ, забвеніи и непониманіи.

Изъ всего этого мы выведемъ сперва одно заключеніе: у насъ трудно говорить о литературѣ. Вообще замѣчено, что у насъ трудно говорить о чемъ бы то ни было, не возбуждая безчисленныхъ недоразумѣній, не вызывая самыхъ невѣроятныхъ извращеній своей мысли. Но всего труднѣе говорить о томъ, что называется литературой по преимуществу, о художественныхъ произведеніяхъ. Тутъ намъ слѣдуетъ не предполагать у читателей никакихъ сколько-нибудь устано-

вленныхъ понятій; слѣдуетъ писать такъ, какъ-будто никто ничего не знаетъ ни о нынѣшнемъ состояніи нашей литературы и критики, ни объ историческомъ развитіи, которое привело ихъ къ этому состоянію.

Такъ мы и поступимъ. Не ссылаясь ни на что, мы будемъ прямо заявлять факты, описывать ихъ съ возможною точностію, анализировать ихъ значеніе и связь, и отсюда уже выводять свои заключенія.

---

## I.

Фактъ, которымъ вызвано настоящее изслѣдованіе, и за объясненіе котораго, вслѣдствіе его огромности, мы беремся не безъ сомнѣнія въ своихъ силахъ, заключается въ слѣдующемъ.

Въ 1868 году появилось одно изъ лучшихъ произведеній нашей литературы, «Война и Миръ». Успѣхъ его былъ необыкновенный. Давно уже ни одна книга не читалась съ такою жадностію. При томъ, это былъ успѣхъ самаго высокаго разряда. «Войну и Миръ» внимательно читали не только простые любители чтенія, до сихъ поръ восхищающіеся Дюма и Февалемъ, но и самые взыскательные читатели, — всѣ, имѣющіе основательное или неосновательное притязаніе на ученость и образованность; читали даже тѣ, которые вообще презираютъ русскую литературу и ничего не читаютъ по русски. И такъ какъ кругъ нашихъ читателей съ каждымъ годомъ возрастаетъ, то вышло, что ни одно изъ нашихъ классическихъ произведеній, — изъ тѣхъ, которыя не только имѣютъ успѣхъ, но и заслуживаютъ успѣха, — не расходилось такъ быстро и въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какъ «Война и Миръ». Прибавимъ къ этому, что еще ни одно изъ замѣчательныхъ произведеній нашей литературы не имѣло такого большого объема, какъ новое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго.

Приступимъ же прямо къ анализу совершившагося факта. Успѣхъ «Войны и Мира» есть явленіе чрезвычайно простое

и отчетливое, не заключающее въ себѣ никакой сложности и запутанности. Этого успѣха нельзя приписать никакимъ побочнымъ, постороннимъ для дѣла причинамъ. Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключеніями, ни описаніемъ грязныхъ и ужасныхъ сценъ, ни изображеніемъ страшныхъ душевныхъ мукъ, ни, наконецъ, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденціями,—словомъ, ни однимъ изъ тѣхъ средствъ, которыя дразнятъ мысль или воображеніе читателей, болѣзненно раздражаютъ любопытство картинами неизвѣданной и неиспытанной жизни. Ничего не можетъ быть проще множества событій, описанныхъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Всѣ случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братомъ и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свиданіе родныхъ, охота, святки, мазурка, игра въ карты и пр.,—все это съ такою же любовью возведено въ перлъ созданія, какъ и Бородинская битва. Простые предметы занимаютъ въ «Войнѣ и Мирѣ» также много мѣста, какъ, напримѣръ, въ «Евгеніи Онегинѣ» безсмертное описаніе жизни Лариныхъ, зны, весны, поѣздки въ Москву и т. п.

Правда, рядомъ съ этимъ гр. Л. Н. Толстой выводитъ на сцену великія событія и лица огромнаго историческаго значенія. Но никакъ нельзя сказать, чтобы именно этимъ былъ возбужденъ общій интересъ читателей. Если и были читатели, которыхъ привлекло изображеніе историческихъ явленій, или даже чувство патріотизма, то, безъ всякаго сомнѣнія, было не мало и такихъ, которые вовсе не любятъ искать исторіи въ художественныхъ произведеніяхъ, или же сильнѣйшимъ образомъ вооружены противъ всякаго подкупа патріотическаго чувства, и которые, однако же, прочли «Войну и Миръ» съ живѣйшимъ любопытствомъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что «Война и Миръ» вовсе не есть историческій романъ, т. е. вовсе не имѣетъ въ виду дѣлать изъ историческихъ лицъ романическихъ героевъ и, рассказывая ихъ похождения, соединять въ себѣ интересъ романа и исторіи.

Итакъ, дѣло чистое и ясное. Какія бы цѣли и намѣренія ни были у автора, какихъ бы высокихъ и важныхъ предметовъ онъ ни касался, успѣхъ его произведенія зави-



ситъ не отъ этихъ намѣреній и предметовъ, а оттого, что онъ сдѣлалъ, руководясь этими цѣлями и касаясь этихъ предметовъ то есть отъ *высокаго художественнаго выполнения*.

Если гр. Л. Н. Толстой достигъ своихъ цѣлей, если онъ заставилъ всѣхъ вперить глаза на то, что занимало его душу, то только потому, что вполне владѣлъ своимъ орудіемъ, искусствомъ. Въ этомъ отношеніи примѣръ «Войны и Мира» чрезвычайно поучителенъ. Едва ли многіе отдали себѣ отчетъ, въ мысляхъ, руководившихъ и одушевлявшихъ автора, но всѣ одинаково поражены его творчествомъ. Люди, приступавшіе къ этой книгѣ съ предвзятыми взглядами, — съ мыслію найти противорѣчіе своей тенденціи, или ея подтвержденіе, — часто недоумѣвали, не успѣвали рѣшить, что имъ дѣлать — негодовать или восторгаться, но всѣ одинаково признавали необыкновенное мастерство загадочнаго произведенія. Давно уже художество не обнаруживало въ такой степени своего всепобѣднаго неотразимаго дѣйствія.

Но художественность не дается даромъ. Да не подумаетъ кто-нибудь, что она можетъ существовать отдѣльно отъ глубокихъ мыслей и глубокихъ чувствъ, — что она можетъ быть явленіемъ не серьезнымъ, не имѣющимъ важнаго смысла. Въ этомъ случаѣ нужно отличать истинную художественность отъ ея фальшивыхъ и уродливыхъ формъ. Попробуемъ анализировать творчество, обнаружившееся въ книгѣ гр. Л. Н. Толстаго, и мы увидимъ, какая глубина лежитъ въ его основаніи.

Чѣмъ всѣ были поражены въ «Войнѣ и Мирѣ»? Конечно, объективностію, образностію. Трудно представить себѣ образы болѣе отчетливые, — краски болѣе яркія. Точно видишь все то, что описывается, и слышишь всѣ звуки того, что совершается. Авторъ ничего не рассказываетъ отъ себя; онъ прямо выводитъ лица и заставляетъ ихъ говорить, чувствовать и дѣйствовать, при чемъ каждое слово и каждое движеніе вѣрно до изумительной точности, то есть вполне носитъ характеръ лица, которому принадлежитъ. Какъ-будто имѣешь дѣло съ живыми людьми, и при томъ видишь ихъ гораздо яснѣе, чѣмъ умѣешь видѣть въ дѣйствительной жизни. Можно различать не только образъ выраженій и

чувствъ каждаго дѣйствующаго лица, но и манеры каждаго, любимые жесты, походку. Важному князю Василию пришлось однажды, въ необыкновенныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ, пройти на цыпочкахъ; авторъ въ совершенствѣ знаетъ, какъ ходитъ каждое изъ его лицъ. «Князь Василій», говоритъ онъ, «не умѣлъ ходить на цыпочкахъ и неловко подпрыгивалъ всѣмъ тѣломъ» (т. 1-й, стр. 115). Съ такою же ясностію и отчетливостію авторъ знаетъ всѣ движенія, всѣ чувства и мысли своихъ героевъ. Когда онъ разъ вывелъ ихъ на сцену, онъ уже не вмѣшивается въ ихъ дѣла, не помогаетъ имъ, предоставляя каждому изъ нихъ вести себя сообразно со своею натурой.

Изъ того же стремленія соблюсти объективность происходитъ, что у гр. Толстаго нѣтъ картинъ или описаній, которыя онъ дѣлалъ бы отъ себя. Природа у него является только такъ, какъ она отражается въ дѣйствующихъ лицахъ; онъ не описываетъ дуба, стоящаго среди дороги, или лунной ночи, въ которую не спалось Наташѣ и князю Андрею, а описываетъ то впечатлѣніе, которое этотъ дубъ и эта ночь произвели на князя Андрея. Точно такъ, битвы и событія всякаго рода разсказываются не по тѣмъ понятіямъ, которыя составилъ себѣ о нихъ авторъ, а по впечатлѣніямъ лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ. Шенграбенское дѣло описано большею частію по впечатлѣніямъ князя Андрея; Аустерлицкая битва—по впечатлѣніямъ Николая Ростова; пріѣздъ императора Александра въ Москву изображенъ въ волненіяхъ Пети, и дѣйствіе молитвы о спасеніи отъ нашествія—въ чувствахъ Наташи. Такимъ образомъ, авторъ нигдѣ не выступаетъ изъ-за дѣйствующихъ лицъ и рисуетъ событія не отвлеченно, а, такъ сказать, плотью и кровью тѣхъ людей, которые составляли собою матеріалъ событій.

Въ этомъ отношеніи «Война и Миръ» представляетъ истинныя чудеса искусства. Схвачены не отдѣльныя черты, а цѣликомъ—та жизненная атмосфера, которая бываетъ различна около различныхъ лицъ и въ разныхъ слояхъ общества. Самъ авторъ говоритъ о *любвонной и семейной атмосферѣ* дома Ростовыхъ; но припомните другія изображенія того же рода: атмосфера, окружавшая Сперанскаго;

атмосфера, господствовавшая около *дядюшки* Ростовых; атмосфера театральной залы, въ которую попала Наташа; атмосфера военного госпиталя, куда зашелъ Ростовъ, и пр. и пр. Лица, вступаящія въ одну изъ этихъ атмосферъ, или переходящія изъ одной въ другую, неизбежно чувствуютъ ихъ вліяніе, и мы переживаемъ его вмѣстѣ съ ними.

Такимъ образомъ, достигнута высшая степень объективности, т. е. мы не только видимъ передъ собою поступки, фигуру, движенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ, но и вся ихъ внутренняя жизнь предстаетъ передъ нами въ такихъ же отчетливыхъ и ясныхъ чертахъ; ихъ душа, ихъ сердце ничѣмъ не заслоняются отъ нашихъ взоровъ. Читая «Войну и Миръ», мы въ полномъ смыслѣ слова *созерцаемъ* тѣ предметы, которые избралъ художникъ.

Но что же это за предметы? Объективность есть общее свойство поэзіи, которое должно всегда въ ней присутствовать, какіе бы предметы она ни изображала. Самыя идеальныя чувства, самая высокая жизнь духа должны быть изображаемы объективно. Пушкинъ совершенно объективенъ, когда вспоминаетъ о нѣкоторой *величавой женѣ*; онъ говоритъ:

Ея чела я помню покрывало  
И счи, свѣтлыя, какъ небеса.

Онъ слышалъ ея голосъ:

Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,  
Съ младенцами бесѣдуетъ она.

Точно такъ, онъ вполне объективно изображаетъ ощущенія «Пророка»:

И внялъ я неба содроганье,  
И горній ангеловъ полетъ,  
И гадъ морскихъ подводныхъ ходъ,  
И дольней лозы прозябанье.

Объективность гр. Л. Н. Толстаго, очевидно, обращена въ другую сторону,—не на идеальные предметы, а на то,



что мы противопоставляемъ,—на, такъ называемую, дѣйствительность, на то, что не достигаетъ идеала, уклоняется отъ него, противорѣчитъ ему и, однако же, существуетъ, какъ бы свидѣтельствуя о его безсиліи. Гр. Л. Н. Толстой есть *реалистъ*, то есть принадлежитъ къ давно господствующему и весьма сильному направленію нашей литературы. Онъ глубоко сочувствуетъ стремленію нашихъ умовъ и вкусовъ къ реализму, и его сила заключается въ томъ, что онъ умѣетъ вполне удовлетворить этому стремленію.

Въ самомъ дѣлѣ, реалистъ онъ великолѣпный. Можно подумать, что онъ не только изображаетъ свои лица съ неподкупной вѣрностію дѣйствительности, а какъ-будто даже умышленно совлекаетъ ихъ съ идеальной высоты, на которую мы, по вѣчному свойству человѣческой природы, такъ охотно и легко ставимъ людей и событія. Безжалостно, беспощадно гр. Л. Н. Толстой обнаруживаетъ всѣ слабыя стороны своихъ героевъ; онъ не утаиваетъ ничего, не останавливается ни передъ чѣмъ, такъ что наводитъ даже страхъ и тоску о несовершенствѣ человѣка. Многія чувствительныя души не могутъ, напр., переварить мысли объ увлеченіи Наташи Курагинымъ; не будь этого,—какой вышелъ бы прекрасный образъ, нарисованный съ изумительной правдивостію! Но поэтъ реалистъ беспощаденъ.

Если смотрѣть на «Войну и Миръ» съ этой точки зрѣнія, то можно принять эту книгу за самое ярое *обличеніе* александровской эпохи,—за неподкупное разоблаченіе всѣхъ язвъ, которыми она страдала. Обличены—своекорыстіе, пустота, фальшивость, развратъ, глупость тогдашняго высшаго круга; безмысленная, лѣнивая, обжорливая жизнь московскаго общества и богатыхъ помѣщиковъ въ родѣ Ростовыхъ; затѣмъ, величайшіе беспорядки вездѣ, особенно въ арміи, во время войнъ: повсюду показаны люди, которые, среди крови и битвъ, руководятся личными выгодами и приносятъ имъ въ жертву общее благо; выставлены страшныя бѣдствія, происходившія отъ несогласія и мелочнаго честолюбія начальниковъ,—отъ отсутствія твердой руки въ управленіи; выведена на сцену цѣлая толпа трусовъ, подлецовъ, воровъ, развратниковъ, шулеровъ; ярко показана грубость и дикость народа (въ Смоленскѣ мужъ, бьющій жену; бунтъ въ Богучаровѣ).

Такъ что, если бы кто-нибудь вздумалъ написать по поводу «Войны и Мира» статью, подобную статьѣ Добролюбова «Темное царство», то нашелъ бы въ произведеніи гр. Л. Н. Толстаго обильные матеріалы для этой темы. Одинъ изъ писателей, принадлежащихъ къ заграничному отдѣлу нашей литературы, Н. Огаревъ, когда-то подвелъ всю нашу вынѣшнюю литературу подъ формулу обличенія, — именно сказалъ, что Тургеневъ есть обличитель помѣщиковъ, Островскій — купцовъ, а Некрасовъ — чиновниковъ. Слѣдуя такому взгляду, мы могли бы порадоваться появленію новаго обличителя и сказать: гр. Л. Н. Толстой есть обличитель военныхъ, — обличитель нашихъ воинскихъ подвиговъ, нашей исторической славы.

Весьма знаменательно, однако, что подобный взглядъ нашелъ себѣ только слабые отголоски въ литературѣ, — явное доказательство, что самые пристрастные глаза не могли не видѣть его несправедливости. Но что подобный взглядъ возможенъ, на это мы имѣемъ драгоцѣнное историческое свидѣтельство: одинъ изъ участниковъ войны 1812 года, ветеранъ нашей литературы, А. С. Норовъ, увлеченный пристрастіемъ, внушающимъ къ себѣ невольное и глубокое уваженіе, принялъ гр. Л. Н. Толстого за обличителя. Вотъ подлинныя слова А. С. Норова:

«Читатели поражены, при первыхъ частяхъ романа («Война и Миръ»), сначала грустнымъ впечатлѣніемъ представленнаго имъ въ столицѣ пустаго и почти безправственнаго высшаго круга общества, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣющаго вліяніе на правительство; а потомъ, отсутствіемъ всякаго смысла въ военныхъ дѣйствіяхъ и едва не отсутствіемъ военныхъ доблестей, которыми всегда такъ справедливо гордилась наша армія». «Громкій славою 1812 годъ, какъ въ военномъ, такъ и въ гражданскомъ быту представленъ намъ мыльнымъ пузыремъ; цѣлая фаланга нашихъ генераловъ, которыхъ боевая слава прикована къ нашимъ военнымъ дѣлописямъ, и которыхъ имена переходятъ доселѣ изъ устъ въ уста новаго военного поколѣнія, будто-бы составлена была изъ бездарныхъ, слѣпыхъ орудій случая, дѣйствовавшихъ иногда удачно, и объ этихъ даже ихъ удачахъ говорится

«только мелькомъ и часто съ пропіею. Неужели таково было «наше общество, неужели такова была наша армія?» «Будучи «въ числѣ очевидцевъ великихъ отечественныхъ событій, я «не могъ безъ оскорбленнаго патріотическаго чувства дочитать этотъ романъ, имѣющій претензію быть историческимъ» \*).

Какъ мы сказали, эта сторона произведенія гр. Л. Н. Толстаго, столь больно затронувшая А. С. Норова, не произвела замѣтнаго впечатлѣнія на большинство читателей. Отчего же? Оттого, что ее слишкомъ сильно заслоняли другія стороны произведенія, — что на первый планъ выступали въ немъ другіе мотивы, болѣе поэтическаго свойства. Очевидно, гр. Л. Н. Толстой изображалъ темныя черты предметовъ, не потому, чтобы желалъ ихъ выставить на видъ, а потому, что хотѣлъ изображать предметы вполне, со всеми ихъ чертами, слѣдовательно, и съ темными. Цѣлью его была *правда* въ изображеніи, — неизмѣнная вѣрность дѣйствительности, и эта-то правдивость и приковывали къ себѣ все вниманіе читателей. Патріотизмъ, слава Россіи, нравственныя правила, все забывалось, все отходило на задній планъ передъ этимъ реализмомъ, выступившимъ во всеоружіи. Читатель жадно слѣдилъ за этими картинами; какъ-будто художникъ, ничего не проповѣдуя, никого не обличая, подобно нѣкоторому волшебнику, переносилъ его изъ одного мѣста въ другое и давалъ ему самому видѣть, что тамъ дѣлалось.

Все ярко, все образно и въ то же время все реально, все вѣрно дѣйствительности, какъ дагерротипъ или фотографія; вотъ въ чемъ сила гр. Л. Н. Толстаго. Чувствуешь, что авторъ не хотѣлъ преувеличить ни темныхъ, ни свѣтлыхъ сторонъ предметовъ, не хотѣлъ набросить на нихъ никакого особеннаго колорита или эффектнаго освѣщенія, — что онъ всею душою стремился передать дѣло въ его настоящемъ, дѣйствительномъ видѣ и свѣтѣ, — вотъ неодолимая прелесть, побуждающая самыхъ упорныхъ читателей! Да, мы, русскіе

---

\*) „Война и миръ“ (1805 – 1812) съ исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современника. По поводу сочиненія графа Л. Н. Толстаго „Война и Миръ“. А. С. Норова. Спб. 1868. Стр. 1 и 2.



читатели, давно уже упорны въ отношеніи къ художественнымъ произведеніямъ, давно уже вооружены сильнѣйшимъ образомъ противъ того, что называется поэзіею, идеальными чувствами и мыслями; мы какъ-будто потеряли способность увлекаться идеализмомъ въ искусствѣ и упрямо упираемся противъ малѣйшаго соблазна въ эту сторону. Мы или не вѣримъ въ идеаль, или (что гораздо вѣрнѣе, такъ какъ не вѣрить въ идеаль можетъ частное лицо, но не народъ) ставимъ его такъ высоко, что не вѣримъ въ силу художества, — въ возможность какого-либо воплощенія идеала. При такомъ положеніи дѣла художеству осталась одна дорога — реализмъ; что вы сдѣлаете, чѣмъ вооружитесь противъ правды, — противъ изображенія жизни, какъ она есть?

Но реализмъ реализму рознь; искусство въ сущности никогда не отказывается отъ идеала, всегда стремится къ нему; и чѣмъ яснѣе и живѣе слышно это стремленіе въ созданіяхъ реализма, тѣмъ они выше, тѣмъ ближе къ настоящей художественности. Не мало у насъ людей, которые понимаютъ это дѣло грубо, именно — воображаютъ, что они должны для наилучшаго успѣха въ искусствѣ превратить свою душу въ простой фотографическій приборъ и снимать съ него тѣ картинки, какія попадутся. Наша литература представляетъ множество подобныхъ картинокъ: зато простодушные читатели, воображавшіе, что передъ ними выступаютъ дѣйствительные художники, немало потомъ удивлялись, видя, что изъ этихъ писателей ровно ничего не выходитъ. Дѣло, однако же, понятное: эти писатели вѣрны были дѣйствительности не потому, чтобы она у нихъ ярко была озарена ихъ идеаломъ, а потому, что сами не видѣли дальше того, что писали. Они стояли въ уровень съ тою дѣйствительностью, которую описывали.

Гр. Л. Н. Толстой не реалистъ-обличитель, но онъ и не реалистъ-фотографъ. Тѣмъ и дорого его произведеніе, въ томъ его сила и причина успѣха, что, удовлетворяя вполнѣ всѣмъ требованіямъ нашего искусства, онъ выполнилъ ихъ въ самомъ чистомъ ихъ видѣ, въ самомъ глубокомъ ихъ смыслѣ. Сущность русскаго реализма въ искусствѣ никогда еще не обнаруживалась съ такою ясностію и силою; въ «Войнѣ и

Мирѣ» онъ поднялся на новую ступень, вошелъ въ новый періодъ своего развитія.

Сдѣлаемъ еще шагъ въ характеристикѣ этого произведенія, и мы уже будемъ близко къ цѣли.

Въ чемъ заключается особенная, ярко выступающая черта таланта гр. Л. Н. Толстаго? Въ необыкновенно тонкомъ и вѣрномъ изображеніи душевныхъ движеній. Гр. Л. Н. Толстаго можно назвать по преимуществу *реалистомъ-психологомъ*. По прежнимъ своимъ произведеніямъ онъ давно извѣстенъ, какъ изумительный мастеръ въ анализѣ всякаго рода душевныхъ переменъ и состояній. Этотъ анализъ разрабатываемый съ какимъ-то пристрастіемъ, доходилъ до мелочности, до неправильной напряженности. Въ новомъ произведеніи всѣ крайности его отпали, и осталась вся его прежняя точность и проницательность; сила художника нашла свои предѣлы и улеглась въ свои берега. Все вниманіе его устремлено на душу человѣческую. У него рѣдки, кратки и неполны описанія обстановки, костюмовъ, словомъ—всей внѣшней стороны жизни; но зато нигдѣ не упущено впечатлѣніе и влияніе, производимое этою внѣшнею стороною на душу людей, а главное мѣсто занимаетъ ихъ внутренняя жизнь, для которой внѣшняя служитъ только поводомъ или неполнымъ выраженіемъ. Малѣйшіе отбѣнки душевной жизни и самыя глубокія ея потрясенія изображены съ одинаковою отчетливостію и правдивостію. Чувство праздничной скуки въ Отраденскомъ домѣ Ростовыхъ и чувство всего русскаго войска въ самый разгаръ Бородинской битвы, молодая душевная движенія Наташи и волненія старика Болконскаго, теряющаго память и близкаго къ удару паралича,—все ярко, все живо и точно въ разсказѣ гр. Л. Н. Толстаго.

Итакъ, вотъ гдѣ сосредоточивается весь интересъ автора, а въ силу того и весь интересъ читателя. Какія бы огромныя и важныя событія ни происходили на сценѣ,—будетъ ли это Кремль, захлебнувшійся народомъ вельдствіе пріѣзда Государя, или свиданіе двухъ императоровъ, или страшная битва съ громомъ пушекъ и тысячами умирающихъ,—ничто не отвлекаетъ поэта, а вмѣстѣ съ нимъ и читателя отъ пристальнаго взглядыванія во внутренній міръ отдѣльныхъ лицъ.

Художника какъ-будто вовсе не занимаетъ событіе, а занимаетъ только то, какъ дѣйствуетъ при этомъ событіи чело-вѣческая душа,—что она чувствуетъ и вноситъ въ событіе?

Спросите теперь себя, чего же ищетъ поэтъ? Какое упорное любопытство заставляетъ его слѣдить за малѣйшими ощущеніями всѣхъ этихъ людей, начиная отъ Наполеона и Кутузова до тѣхъ маленькихъ дѣвочекъ, которыхъ князь Андрей засталъ въ своемъ разоренномъ саду?

Отвѣтъ одинъ: художникъ ищетъ слѣдовъ красоты души челоуѣческой,—ищетъ въ каждомъ изображаемомъ лицѣ той искры Божіей, въ которой заключается челоуѣческое достоинство личности,—словомъ, старается найти и опредѣлить со всею точностію, какимъ образомъ и въ какой мѣрѣ идеальныя стремленія челоуѣка осуществляютъ въ дѣйствительной жизни.

## II.

Очень трудно изложить, даже въ главныхъ чертахъ, идею глубокаго художественнаго произведенія; она воплощается въ немъ съ такою полнотою и многосторонностію, что отвлеченное изложеніе ея всегда будетъ чѣмъ-то неточнымъ, недостаточнымъ,—не будетъ, какъ говорятъ, вполне исчерпывать предмета.

Идею «Войны и Мира» можно формулировать различнымъ образомъ.

Можно сказать, напримѣръ, что руководящая мысль произведенія есть *идея героической жизни*. На это намекаетъ самъ авторъ, когда, среди описанія Бородинской битвы, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: «Древніе оставили намъ образцы героическихъ поэмъ, въ которыхъ герои составляютъ весь *интересъ исторіи*, и мы все еще не можемъ привыкнуть къ тому, что для нашего челоуѣческаго времени исторія такого рода не имѣетъ смысла». (т. IV, стр. 236).

Художникъ, такимъ образомъ, прямо заявляетъ намъ, что онъ хочетъ изобразить намъ такую жизнь, которую мы



обыкновенно называемъ героической, но—изобразить въ ей настоящимъ смыслѣ, а не въ тѣхъ неправильныхъ образахъ, которые завѣщаны намъ древностію; онъ хочетъ, чтобы мы *отвыкли* отъ этихъ ложныхъ представлений и для этого даетъ намъ истинныя представленія. На мѣсто идеальнаго, мы должны получить реальное.

Гдѣ же искать героической жизни? Конечно, въ исторіи. Мы привыкли думать, что люди, отъ которыхъ зависить исторія, которые совершаютъ исторію,—суть герои. Поэтому—мысль художника остановилась на 1812 годѣ и войнахъ ему предшествовавшихъ, какъ на эпохѣ по преимуществу героической. Если Наполеонъ, Кутузовъ, Багратіонъ—не герои, то кто же послѣ того герой? Гр. Л. Н. Толстой взялъ громадныя историческія событія, страшную борьбу и напряженіе народныхъ силъ, для того, чтобы уловить высшія проявленія того, что мы называемъ героизмомъ.

Но въ наше человѣческое время, какъ пишетъ гр. Л. Н. Толстой, одни герои не составляютъ всего интереса исторіи. Какъ бы мы ни понимали героическую жизнь, требуется опредѣлить отношеніе къ ней обыкновенной жизни, и въ этомъ заключается даже главное дѣло. Что такое обыкновенный человѣкъ—въ сравненіи съ героемъ? Что такое частный человѣкъ—въ отношеніи къ исторіи? Въ болѣе общей формѣ это будетъ тотъ же вопросъ, который давно разрабатывается нашимъ художественнымъ реализмомъ: что такое обыкновенная, будничная дѣйствительность—въ сравненіи съ идеаломъ, съ прекрасною жизнью?

Гр. Л. Н. Толстой старался разрѣшить вопросъ, какъ можно полнѣе. Онъ представилъ намъ, напримѣръ, Багратіона и Кутузова въ величіи несравненномъ, поразительномъ. Они какъ-будто обладаютъ способностію становиться выше всего человѣческаго. Въ особенности это ясно въ изображеніи Кутузова, слабого отъ старости, забывчиваго, лѣниваго,—человѣка дурныхъ нравовъ сохранившаго, по выраженію автора, *всѣ привычки страстей, но самыхъ страстей уже вовсе неимѣющаго*. Для Багратіона и Кутузова, когда имъ приходится дѣйствовать, исчезаетъ все личное; къ нимъ даже вовсе не примѣнимы выраженія: храбрость, сдержанность,

спокойствіе,—такъ какъ они не храбрятся, не сдерживаются, не напрягаются и не погружаются въ покой.. Естественно и просто они дѣлаютъ свое дѣло, какъ-будто они—духи, способные только созерцать и безошибочно руководиться чистѣйшими чувствами долга и чести. Они прямо глядятъ въ лицо судьбы, и для нихъ невозможна самая мысль о страхѣ,—невозможно никакое колебаніе въ дѣйствіяхъ, потому что они дѣлаютъ все, *что могутъ*, покоряясь теченію событій и своей собственной чековѣческой слабости.

Но, сверхъ этихъ высокихъ сферъ доблести, достигающей своихъ высшихъ предѣловъ, художникъ представилъ намъ и весь тотъ міръ, гдѣ требованія долга борются со всѣми волненіями страстей человѣческихъ. Онъ изобразилъ намъ *всѣ виды храбрости и всѣ виды трусости*. Какое разстояніе отъ первоначальной трусости юнкера Ростова до блестящей храбрости Денисова, до твердаго мужества князя Андрея, до безсознательнаго геройства капитана Тушина! Всѣ ощущенія и формы битвы—отъ паническаго страха и бѣгства при Аустерлицѣ до непобѣдимой стойкости и яркаго горѣнія *скрытаго душевнаго огня* при Бородинѣ—описаны намъ художникомъ. Эти люди являются намъ—то *мерзавцами*, какъ назвалъ Кутузовъ бѣгущихъ солдатъ, то безтрепетными, самоотверженными воинами. Въ сущности же, всѣ они—простые люди, и художникъ, съ изумительнымъ мастерствомъ, показываетъ, какъ, въ различной мѣрѣ и степени, въ душѣ каждаго изъ нихъ возникаетъ, потухаетъ или разгорается искра доблести, обыкновенно присущая человѣку.

И главное—показано, что значать всѣ эти души въ ходѣ исторіи,—что онѣ вносятъ въ великія событія,—какую долю участія имѣютъ въ героической жизни. Показано, что цари и полководцы тѣмъ и велики, что составляютъ какъ бы центры, въ которыхъ стремится сосредоточиться героизмъ, живущій въ душахъ простыхъ и темныхъ. Пониманіе этого героизма, сочувствіе ему и вѣра въ него составляютъ все величіе Багратіоновъ и Кутузовыхъ. Непониманіе его, пренебреженіе имъ или даже презрѣніе къ нему составляютъ несчастіе и малость Барклая де-Толли и Сперанскихъ.

Война, государственныя дѣла и потрясенія—составляютъ

поприще исторіи, поприще героическое по преимуществу. Изобразивъ съ безупречною правдивостію, какъ люди ведутъ себя, что чувствуютъ и что дѣлаютъ на этомъ поприщѣ, художникъ, для полноты своей мысли, хотѣлъ показать намъ тѣхъ же людей въ частной ихъ сферѣ, гдѣ они являются, просто, какъ люди. «Жизнь, между тѣмъ», пишетъ онъ въ одномъ мѣстѣ, «настоящая жизнь людей съ своими существенными интересами здоровья, болѣзни, труда, отдыха, съ своими интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, какъ и всегда, независимо и внѣ политической близости или вражды съ Наполеономъ Бонапарте, и внѣ всѣхъ возможныхъ преобразованій». (т. III, стр. 1 и 2).

За этими словами слѣдуетъ описаніе того, какъ князь Андрей ѣздилъ въ Отрадное и встрѣтился тамъ въ первый разъ съ Наташею.

Князь Андрей и его отецъ въ сферѣ общихъ интересовъ суть настоящіе герои. Когда князь Андрей уѣзжаетъ изъ Брюнна въ армію, находящуюся въ опасности, насмѣшливый Билибинъ два раза, безъ всякой насмѣшки, даетъ ему титулъ героя (т. I, стр. 78 и 79). И Билибинъ совершенно правъ. Переберите всѣ дѣйствія и мысли князя Андрея во время войны, и вы не найдете на немъ ни единой укоризны. Вспомните его поведеніе въ Шенграбенскомъ дѣлѣ; никто лучше его не понималъ Багратіона, и онъ одинъ и видѣлъ и оцѣнилъ подвигъ капитана Тушина. Но Багратіонъ мало зналъ князя Андрея; Кутузовъ знаетъ его лучше, и къ нему обращается во время Аустерлицкаго сраженія, когда нужно было остановить бѣгущихъ и повести ихъ впередъ. Вспомните, наконецъ, Бородино,—когда князь Андрей долгіе часы стоитъ со своимъ полкомъ подъ выстрѣлами (онъ не хотѣлъ остаться при штабѣ и не попалъ въ ряды сражающихся); всѣ человѣческія чувства говорятъ въ его душѣ, но онъ ни на мгновеніе не теряетъ полного самообладанія и кричитъ прилегшему на землѣ адъютанту: «стыдно, господинъ офицеръ!» въ тотъ самый мигъ, когда разрывается граната и наноситъ ему тяжкую рану. Дорога такихъ людей дѣйствительно—*дорога чести*, какъ выразился Кутузовъ, и они



могутъ, не колеблясь, сдѣлать все, что требуется самымъ строгимъ понятіемъ мужества и самоотверженія.

Старикъ Болконскій не уступаетъ своему сыну. Вспомните то спартанское напутствіе, которое онъ даетъ сыну, идущему на войну и любимому имъ съ кровною отеческою нѣжностью: «Помни одно, князь Андрей, коли тебя убьютъ, мнѣ старикѣ *больно* будетъ... А коли узнаю, что ты повелъ себя не какъ сынъ Николая Болконскаго, мнѣ будетъ... *стыдно!*»

И сынъ его таковъ, что имѣть полное право возразить своему отцу: «этого вы могли бы не говорить мнѣ, батюшка» (т. I, стр. 165).

Вспомните потомъ, что всѣ интересы Россіи становятся для этого старика какъ-будто его собственными, личными интересами,—составляютъ главную часть его жизни. Онъ жадно слѣдитъ за дѣлами изъ своихъ Лысыхъ Горъ. Его постоянныя насмѣшки надъ Наполеономъ и нашими военными дѣйствіями, очевидно, внушены чувствомъ оскорбленной народной гордости; онъ не хочетъ вѣрить, чтобы могучая его родина вдругъ утратила свою силу; онъ желалъ бы приписать это одной случайности, а не силѣ противника. Когда же началось нашествіе, и Наполеонъ подвинулся до Витебска, дряхлый старикъ совсѣмъ теряется: сперва онъ даже не понимаетъ того, что читаетъ въ письмѣ сына: онъ отталкиваетъ отъ себя мысль, которой ему перенести невозможно,—которая должна сокрушить его жизнь. Но пришлось убѣдиться,—пришлось, наконецъ, повѣрить: и тогда старикъ умираетъ. Вѣрнѣе пули, его сразила мысль объ общемъ бѣдствіи.

Да, эти люди—дѣйствительные герои; такими людьми бываютъ крѣпки народы и государства. Но отчего же, спросить вѣроятно читатель, героизмъ ихъ какъ-будто лишенъ всего поражающаго, и они скорѣе являются намъ обыкновенными людьми? Оттого, что художникъ изобразилъ ихъ намъ *вполнѣ*,—показалъ намъ не только то, какъ они дѣйствуютъ по отношенію къ долгу, къ чести, къ народной гордости, но и ихъ частную, личную жизнь. Онъ показалъ намъ домашнюю жизнь старика Болконскаго съ его болѣзненными отношеніями къ дочери, со всеми слабостями одряхлѣвшаго че-

ловѣка,—невольнаго мучителя своихъ ближнихъ. Въ князѣ Андреѣ гр. Л. Н. Толстой открылъ намъ порывы страшнаго самолюбія и честолюбія, холодныя и вмѣстѣ ревнивыя отношенія къ женѣ, вообще весь его тяжелый характеръ, своею тяжестію напоминающій характеръ его отца. «Я его боюсь», говоритъ Наташа о князѣ Андреѣ, передъ семымъ его предложеніемъ.

Старикъ Болконскій поражалъ постороннихъ лицъ величіемъ; явившись въ Москву, онъ сталъ главою тамошней оппозиціи и возбуждалъ во всѣхъ чувство почтительнаго уваженія. «Для посѣтителей весь этотъ старинный домъ съ огромными трюмо, дореволюціонной мебелью, этими лакеями «въ пудрѣ, и самъ *прошлаго вѣка крутой и умный старикъ съ его кроткою дочерью и хорошенькою фран-  
«куженкой, которая благоговѣли передъ нимъ,—пред-  
«ставлялъ величественно-пріятное зрѣлище»* (т. III, стр. 190). Точно также, князь Андрей внушаетъ всѣмъ невольное уваженіе, играетъ въ свѣтѣ какую-то царственную роль. Его ласкаютъ Кутузовъ и Сперанскій, его боготворятъ солдаты.

Но все это имѣетъ полную силу для постороннихъ, а не для насъ. Насъ художникъ ввелъ въ самую сокровенную жизнь этихъ людей; онъ посвятилъ насъ во всѣ ихъ думы, во всѣ волненія. Человѣческая слабость этихъ лицъ,—тѣ минуты, въ которыя они становятся наравнѣ съ обыкновеннѣйшими смертными,—тѣ положенія и душевныя движенія, въ которыхъ всѣ люди одинаково чувствуютъ, одинаково—люди,—все это открыто намъ ясно и полно; и вотъ отчего героическія черты лицъ какъ-будто тонуть въ массѣ чертъ, просто, человѣческихъ.

Это слѣдуетъ отнести ко всѣмъ лицамъ «Войны и Мира», безъ исключенія. Вездѣ та же исторія, что съ дворникомъ Оералпентовымъ, который безчеловѣчно бьетъ свою жену, просившуюся уѣхать,—скаредно торгуется съ извозчиками въ самую минуту опасности, а потомъ, когда увидѣлъ въ чемъ дѣло, кричить: «Рѣшилась! Россей!» и самъ зажигаетъ свой домъ. Такъ точно въ каждомъ лицѣ авторъ изображаетъ всѣ стороны душевной жизни—отъ животныхъ пополюзно-

веній до той искры героизма, которая часто танется въ самыхъ малыхъ и извращенныхъ душахъ.

Но да не подумаетъ кто-нибудь, что художникъ, такимъ образомъ, хотѣлъ унижить героическія лица и дѣйствія,—разоблачивъ ихъ мнимое величіе; напротивъ, вся цѣль его заключалась въ томъ, чтобы только показать ихъ въ настоящемъ свѣтѣ и, слѣдовательно, скорѣе научить насъ видѣть ихъ тамъ, гдѣ мы ихъ прежде не умѣли видѣть. Человѣческія слабости не должны заслонять отъ насъ человѣческихъ достоинствъ. Другими словами—поэтъ учить своихъ читателей проникать въ ту поэзію, которая скрыта въ дѣйствительности. Она глубоко закрыта отъ насъ пошlostію, мелочностію, грязною и безтолковою суетою ежедневной жизни, она не проницаема и недоступна для нашего собственного равнодушія, сонливой лѣни и эгоистической хлопотливости; и вотъ поэтъ озаряетъ передъ нами *всю тину, опутывающую людскую жизнь*, для того, чтобы мы умѣли видѣть въ самыхъ темныхъ ея закоулкахъ искру божественнаго пламени,—умѣли понимать тѣхъ людей, въ которыхъ это пламя горитъ ярко, хотя его и не видятъ близорукіе глаза,—умѣли сочувствовать дѣламъ, которыя казались непонятными для нашего малодушія и себялюбія. Это не Гоголь, озаряющій яркимъ свѣтомъ идеала всю *пошлость пошлаго* человѣка; это художникъ, который, сквозь всю видимую міру пошлость, умѣетъ разглядѣть въ человѣкѣ его человѣческое достоинство. Съ неслыханною смѣlostію художникъ взялся изобразить намъ самое героическое время нашей исторіи,—то время, отъ котораго собственно начинается сознательная жизнь новой Россіи; и кто не скажетъ, что онъ вышелъ побѣдителемъ изъ состязанія со своимъ предметомъ?

Передъ нами картина той Россіи, которая выдержала нашествіе Наполеона и нанесла смертельный ударъ его могуществу. Картина нарисована не только безъ прикрасть, но и съ рѣзкими тѣнями всѣхъ недостатковъ,—всѣхъ уродливыхъ и жалкихъ сторонъ, которыми страдало тогдашнее общество въ умственномъ, нравственномъ и правительственномъ отношеніи. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, во очію показана та сила, которая спасла Россію.



Мысль, которая составляет военную теорію гр. Л. Н. Толстаго, надѣлавшую столько шуму, заключается въ томъ, что каждый солдатъ не есть простое матеріальное орудіе, а силенъ преимущественно своимъ *духомъ*, — что въ концѣ концовъ, все дѣло зависитъ отъ этого духа солдатъ, могущаго или упасть до паническаго страха, или возвыситься до геройства. Полководцы бываютъ сильны тогда, когда они управляютъ не одними передвиженіями и дѣйствіями солдатъ, а умѣютъ управлять ихъ духомъ. Для этого полководцамъ самимъ необходимо стоять духомъ *выше всего своего войска*, выше всякихъ случайностей и несчастій, — словомъ, имѣть силу нести на себѣ всю судьбу арміи и, если нужно, всю судьбу государства. Таковъ, напримѣръ, дряхлый Кутузовъ во время Бородинскаго сраженія. Его вѣра въ силу русскаго войска и русскаго народа, очевидно, выше и тверже вѣры каждаго воина; Кутузовъ какъ бы сосредоточиваетъ въ одномъ себѣ все ихъ воодушевленіе. Судьба битвы рѣшается собственно его словами, сказанными Вольцогену: «вы ничего не знаете. Непріятель побѣжденъ, и завтра погонимъ его изъ священной земли русской». Въ эту минуту Кутузовъ, очевидно, стоитъ неизмѣримо выше всѣхъ Вольцогеновъ и Барклаевъ; онъ стоитъ наравнѣ съ Россіей.

Вообще, описаніе Бородинской битвы — вполнѣ достойное своего предмета. Похвала не малая, которую гр. Л. Н. Толстой успѣлъ вырвать даже у такихъ пристрастныхъ цѣнителей, какъ А. С. Норовъ. «Графъ Толстой», пишетъ А. С. Норовъ, «въ главахъ 33—35 *прекрасно и вѣрно* изобразилъ общіе фазисы Бородинской битвы» \*). Замѣтимъ въ скобкахъ, что если Бородинская битва изображена хорошо, то уже нельзя не повѣрить, что такой художникъ сумѣлъ хорошо изобразить и всякаго рода другія военныя событія.

Сила описанія этой битвы вытекаетъ изъ всего предыдущаго разсказа; это какъ бы высшая точка, пониманіе которой подготовлено всѣмъ предыдущимъ. Когда мы доходимъ до этой битвы, то мы уже знаемъ всѣ виды храбрости и всѣ виды трусости, — знаемъ, какъ ведутъ себя или могутъ себя

\*) Тамъ же, стр. 36.

вести все члены войска, отъ полководца до послѣдняго солдата. Поэтому въ разсказѣ о битвѣ авторъ такъ сжать и кратокъ; тутъ дѣйствуетъ не одинъ капитанъ Тушинъ, подробно описанный въ Шенграбенскомъ дѣлѣ; тутъ цѣлая сотня такихъ Тушиныхъ. По немногимъ сценамъ,—на курганѣ, гдѣ былъ Безухій,—въ полку князя Андрея,—у перевязочнаго пункта,—мы чувствуемъ все напряженіе душевныхъ силъ каждаго солдата, понимаемъ тотъ единый и непоколебимый духъ, который оживлялъ собою всю эту страшную массу людей. Кутузовъ же является намъ какъ-будто связаннымъ какими-то невидимыми нитями съ сердцемъ каждаго солдата. Едва-ли была когда-нибудь другая такая битва, и едва-ли что-нибудь подобное было разсказано на какомъ-нибудь другомъ языкѣ.

Итакъ, героическая жизнь изображена въ самыхъ возвышенныхъ проявленіяхъ и въ своемъ дѣйствительномъ видѣ. Какъ дѣлается война, какъ дѣлается исторія,—эти вопросы, глубоко занимавшіе художника, разрѣшены имъ съ мастерствомъ и проницательностію, которыя выше всякихъ похвалъ. Нельзя не вспомнить при этомъ объясненій самого автора насчетъ его пониманія исторіи \*). Съ наивностію, которую по всей справедливости можно назвать геніальной, онъ почти прямо утверждаетъ, что историки, по самому свойству своихъ пріемовъ и изслѣдованій, могутъ изображать событія только въ ложномъ и превратномъ видѣ,—что настоящій смыслъ, настоящая правда дѣла доступны только художнику. И что же? Какъ не сказать, что гр. Л. Н. Толстой имѣетъ немалыя права на подобную дерзость относительно исторіи? Все историческія описанія двѣнадцатаго года, дѣйствительно, являются какою-то *ложью*, въ сравненіи съ живою картиною «Войны и Мира». Несомнѣнно, что наше художество въ этомъ произведеніи стоитъ безмѣрно выше нашей исторической науки, и потому имѣетъ право учить ее пониманію событий. Такъ нѣкогда Пушкинъ своею *Литписью села Горюхина* хотѣлъ выставить на видъ ложныя черты, ложный

---

\*) См. *Русскій Архивъ*, 1868 г. № 3. *Нѣсколько объяснительныхъ словъ*, гр. Л. Н. Толстаго.

тонъ и духъ первыхъ томовъ *Исторіи Государства Россійскаго* Карамзина.

Но Героическая жизнь не исчерпываетъ собою задачи автора. Предметъ его, очевидно, гораздо шире. Главная мысль, которою онъ руководится при изображеніи героическихъ явленій, состоитъ въ томъ, чтобы открыть ихъ *человѣческую* основу,—показать въ герояхъ—людей. Когда князь Андрей знакомится со Сперанскимъ, авторъ замѣчаетъ: «ежели бы «Сперанскій былъ изъ того же общества, изъ котораго былъ «князь Андрей,—того же воспитанія и нравственныхъ привычекъ, то Болконскій *скоро бы нашелъ его слабыя, человѣческія, не героическія стороны*; но теперь этотъ странный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ «ему уваженія, что онъ не вполне понималъ его» (т. II, стр. 22). То, что не давалось въ этомъ случаѣ Болконскому, художникъ съ величайшимъ мастерствомъ умѣетъ дѣлать относительно всѣхъ своихъ лицъ: онъ открываетъ намъ ихъ *человѣческія* стороны. Такимъ образомъ, весь его рассказъ получаетъ не героическій, а *человѣческій* характеръ; это не исторія подвиговъ и великихъ событій, а исторія людей, которые въ нихъ участвовали. Итакъ, болѣе обширный предметъ автора есть, просто, *человѣкъ*; люди, очевидно, интересуютъ автора совершенно независимо отъ ихъ положенія въ обществѣ и тѣхъ великихъ или малыхъ событій, которыя съ ними случаются.

Посмотримъ же, какъ гр. Л. Н. Толстой изображаетъ людей.

---

### III.

Душа челоѣческая изображается въ «Войнѣ и Мирѣ» съ реальностію, еще небывалою въ нашей литературѣ. Мы видимъ передъ собою не отвлеченную жизнь, а существа вполне опредѣленныя со всѣми ограниченіями мѣста, времени, обстоятельствъ. Мы видимъ, на примѣръ, какъ *растутъ* лица гр. Л. Н. Толстаго. Наташа, выбѣгающая съ куклой въ



гостинную въ первомъ томѣ, и Наташа, входящая въ церковь въ четвертомъ,—это, дѣйствительно, одно и то же лицо въ двухъ различныхъ возрастахъ—дѣвочки и дѣвушки, а не два возраста, только приписанные одному лицу (какъ это часто бываетъ у другихъ писателей). Авторъ показалъ намъ при этомъ и всѣ промежуточные ступени этого развитія. Точно такъ—передъ нашими глазами растетъ Николай Ростовъ, Петръ Безухій изъ молодаго человѣка превращается въ московскаго барина, дряхлѣетъ старикъ Болконскій и пр.

Душевные особенности лицъ гр. Л. Н. Толстаго такъ ясны, такъ запечатлѣны индивидуальностію, что мы можемъ слѣдить за *родственнымъ сходствомъ* тѣхъ душъ, которыя связаны родствомъ по крови. Старикъ Болконскій и князь Андрей явно одинаковыя натуры; только одна—молодая, другая старая. Семейство Ростовыхъ, несмотря на все разнообразіе своихъ членовъ, представляетъ удивительно схваченныя общія черты,—доходящія до тѣхъ оттѣнковъ, которые можно чувствовать, но не выразить. Почему-то чувствуется, наприкладъ, что и Вѣра есть настоящая Ростова, тогда какъ Соня явно имѣетъ душу другаго корня.

Объ иностранцахъ и говорить нечего. Вспомните нѣмцевъ: генерала Мака, Пфуля, Адольфа Берга, француженку M<sup>lle</sup> Bourienne, самого Наполеона и пр. Психическое отлічіе національностей схвачено и выдержано до тонкости. Относительно же русскихъ лицъ не только ясно, что каждое изъ нихъ—лицо вполне русское, но мы можемъ различать даже и классы и состоянія, къ которымъ они принадлежатъ. Сперанскій, являющійся въ двухъ небольшихъ сценахъ, оказывается семинаристомъ съ головы до ногъ, при чемъ особенности его душевнаго строя выражены съ величайшей яркостію и безъ малѣйшаго преувеличенія.

И все, что происходитъ въ этихъ душахъ, имѣющихъ столь опредѣленныя черты,—каждое чувство, страсть, волненіе,—имѣетъ точно такую же опредѣленность, изображено съ такою же точно реальностію. Нѣтъ ничего обыкновеннаго отвлеченнаго изображенія чувствъ и страстей. Герою обыкновенно приписывается какое-нибудь *одно* душевное настроеніе,—любовь, честолюбіе, жажда мщенія,—и дѣло разсказывается

такъ, какъ-будто это настроеніе *постоянно* существуетъ въ душѣ героя; такимъ образомъ, дѣлается описаніе явленій извѣстной страсти, взятой отдѣльно, и приписывается выведенному на сцену лицу.

Не то у гр. Л. Н. Толстаго. У него каждое впечатлѣніе, каждое чувство усложняется всѣми тѣми отзвуками, которые оно находитъ въ различныхъ способностяхъ и стремленіяхъ души. Если представить себѣ душу въ видѣ музыкальнаго инструмента со множествомъ различныхъ струнъ, то можно будетъ сказать, что художникъ, изображая какое-нибудь потрясеніе души, никогда не останавливается на преобладающемъ звукѣ одной струны, а схватываетъ всѣ звуки, даже самые слабые и едва замѣтные. Припомните, напр., описаніе Наташи, существа, въ которомъ душевная жизнь имѣетъ такую напряженность и полноту; въ этой душѣ все говоритъ разомъ: самолюбіе, любовь къ жениху, веселость, жажда жизни, глубокая привязанность къ роднымъ и пр. Припомните князя Андрея, когда онъ стоитъ надъ дымящеюся гранатою.

«*«Неужели это смерть»*», думалъ князь Андрей, совершенно новымъ, завистливымъ взглядомъ глядя на траву, на песокъ и на струйку дыма, вьющуюся отъ вертящагося чернаго мячика. «Я не могу, не хочу умереть; я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздухъ»... *Онъ думалъ это и въмѣстѣ съ тѣмъ помнилъ о томъ, что на него смотрятъ*» (т. IV, стр. 323).

И далѣе,—какое бы чувство ни владѣло человѣкомъ, оно изображается у гр. Л. Н. Толстаго со всѣми его измѣненіями и колебаніями,—не въ видѣ какой-то постоянной величины, а въ видѣ только способности къ извѣстному чувству,—въ видѣ искры, постоянно тлѣющей, готовой вспыхнуть яркимъ пламенемъ, но часто заглушаемой другими чувствами. Вспомните, напримѣръ, чувство злобы, которое князь Андрей питаетъ къ Курагину,—доходящія до странности противорѣчія и переменны въ чувствахъ княжны Марьи, религиозной, влюбчивой, безгранично любящей отца и т. п.

Какую же цѣль имѣлъ при этомъ авторъ? Какая мысль его руководить? Изображая душу человѣческую въ ея зависимости и измѣнячивости,—въ ея подчиненіи собственнымъ

ея особенностямъ и временнымъ обстоятельствамъ, ее окружающимъ,—онъ какъ-будто умаляетъ душевную жизнь, какъ-будто лишаетъ ее единства,—постояннаго, существеннаго смысла. Несостоятельность, ничтожество, суетность человѣческихъ чувствъ и желаній,—вотъ, по видимому, главная тема художника.

Но мы и здѣсь ошибемся, если остановимся на реалистическихъ стремленіяхъ художника, выступающихъ съ такою необыкновенною силою, и забудемъ объ источникѣ, которымъ внушены эти стремленія. Реальность въ изображеніи души человѣческой необходима была для того, чтобы тѣмъ ярче, тѣмъ правдивѣе и несомнѣннѣе являлось передъ нами хотя бы слабое, но дѣйствительное осуществленіе идеала. Въ этихъ душахъ, волнуемыхъ и подавляемыхъ своими желаніями и внѣшними событіями, рѣзко запечатлѣнныхъ своими неизгладимыми особенностями, художникъ умѣетъ уловить каждую черту, каждый слѣдъ истинной душевной красоты,—истиннаго человѣческаго достоинства. Такъ что, если мы попробуемъ дать новую, болѣе широкую формулу для задачи произведенія гр. Л. Н. Толстаго, мы должны будемъ, кажется, выразить ее такъ?

Въ чемъ заключается человѣческое достоинство? Какъ слѣдуетъ понимать жизнь людей, отъ самыхъ сильныхъ и блестящихъ до самыхъ слабыхъ и ничтожныхъ, чтобы не упускать изъ виду ея существенной черты — человѣческой души въ каждомъ изъ нихъ?

На эту формулу мы нашли намекъ у самого автора. Разсуждая о томъ, насколько мало было участіе Наполеона въ Бородинскомъ сраженіи, насколько несомнѣнно въ немъ участвовали своею душою каждый солдатъ,—авторъ замѣчаетъ: «человѣческое достоинство говоритъ мнѣ, что всякій «изъ насъ, ежели не больше, то никакъ не меньше *человѣкъ, чѣмъ великій Наполеонъ*». (Т. IV стр. 282).

Итакъ, изобразить то, чѣмъ каждый человѣкъ бываетъ не меньше всякаго другого,—то, въ чемъ простой солдатъ можетъ равняться Наполеону, человѣкъ ограниченный и тупой—величайшему умнику,—словомъ, то, что мы должны *уважать* въ человѣкѣ, въ чемъ должны поставлять его *цѣну*,—вотъ широкая цѣль художника. Для этой цѣли онъ



вывелъ на сцену великихъ людей, великія событія и рядомъ—приключенія юнкера Ростова, великосвѣтскіе салоны и житье-бытье *дядюшки*, Наполеона и дворника Оерапонтова. Для этого же онъ разсказалъ намъ семейныя сцены простыхъ, слабыхъ людей и сильныя страсти блестящихъ, богатыхъ силами натуръ,—изобразилъ порывы благородства и великодушія и картины глубочайшихъ человѣческихъ слабостей.

Человѣческое достоинство людей закрывается отъ насъ или ихъ недостатками всякаго рода, или же тѣмъ, что мы слишкомъ высоко цѣнимъ другія качества и потому измѣряемъ людей ихъ умомъ, слою, красотою и пр. Поэтъ научаетъ насъ проникать сквозь эту внѣшность. Что можетъ быть проще, дюжиннѣе, такъ сказать, смиреннѣе фигуръ Николая Ростова и княжны Марьи? Ничѣмъ они не блестятъ, ничего не умѣютъ сдѣлать, ни въ чемъ не выдаются изъ самаго низкаго уровня обыкновеннѣйшихъ людей; а между тѣмъ, эти простые существа, безъ борьбы идущія по самымъ простымъ жизненнымъ путямъ, суть, очевидно, существа прекрасныя. Неотразимая симпатія, которою художникъ успѣлъ окружить эти два лица, по видимому, столь малыя, а въ сущности никому не уступающія душевною красотою,—составляетъ одну изъ самыхъ мастерскихъ сторонъ «Войны и Мира». Николай Ростовъ—очевидно, человѣкъ по уму весьма ограниченный; но, какъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ авторъ, «у него былъ здравый смыслъ посредственности, который показывалъ ему, *что было должно*». (т. III, стр. 113).

И дѣйствительно, Николай дѣлаетъ множество глупостей, мало понимаетъ и людей и обстоятельства, но всегда понимаетъ, *что должно*; и эта безцѣнная мудрость во всѣхъ случаяхъ охраняетъ чистоту его простой и горячей натуры.

Говорить ли о княжнѣ Марьѣ? Несмотря на всѣ ея слабости, этотъ образъ достигаетъ почти ангельской чистоты и кротости; и по временамъ кажется, что его окружаетъ святое сіяніе.

Тутъ насъ невольно останавливаетъ страшная картина,—отношенія между старикомъ Болконскимъ и его дочерью. Если Николай Ростовъ и княжна Марья представляютъ лица явно симпатическія, то, по видимому, нѣтъ возможности простить

этому старику всѣхъ мученій, которыя переносить отъ него дочь. Изъ всѣхъ лицъ, выведенныхъ художникомъ, ни одно, по видимому, не заслуживаетъ большаго негодованія. А между тѣмъ, что же оказывается? Съ изумительнымъ мастерствомъ авторъ изобразилъ намъ одну изъ самыхъ страшныхъ чело-вѣческихъ слабостей,—неодолимыхъ ни умомъ, ни волей,—и болѣе всего способныхъ возбудить искреннее сожалѣніе. Въ сущности, старикъ безпредѣльно любитъ свою дочь,—въ буквальномъ смыслѣ *не могъ бы безъ нея жить*; но эта любовь у него извратилась въ желаніе наносить боль себѣ и любимому существу. Онъ какъ-будто безпрестанно дергаетъ ту неразрывную связь, которая соединяетъ его съ дочерью, и находитъ болѣзненное наслажденіе въ *такомъ* ощущеніи этой связи. Всѣ оттѣнки этихъ странныхъ отношеній схвачены у гр. Л. Н. Толстаго съ неподражаемою вѣрностію, и развязка,—когда старикъ, сломленный болѣзною и близкій къ смерти, выражаетъ, наконецъ, всю нѣжность къ дочери,—производитъ потрясающее впечатлѣніе.

И до такой степени могутъ извратиться самыя сильныя, самыя чистыя чувства! Столько мученій могутъ наносить себѣ люди по собственной винѣ! Нельзя представить картины, болѣе ясно доказывающей, какъ мало иногда человѣкъ можетъ владѣть самъ собою. Отношенія величаваго старика Болконскаго къ дочери и сыну, основанныя на ревнивомъ и извращенномъ чувствѣ любви, составляютъ образецъ того зла, которое часто гнѣздится въ семействахъ, и доказываютъ намъ, что самыя святыя и естественныя чувства могутъ получить безумный и дикій характеръ.

Эти чувства составляютъ, однако же, корень дѣла, и ихъ извращеніе не должно закрывать отъ насъ ихъ чистаго источника. Въ минуты сильныхъ потрясеній, ихъ истинная, глубокая натура часто вполне выступаетъ наружу; такъ, любовь къ дочери овладѣваетъ всѣмъ существомъ умирающаго Болконскаго.

Видѣть то, что таится въ душѣ человѣка подъ игрою страстей, подъ всѣми формами себялюбія, своекорыстія, животныхъ влеченій,—вотъ на что великій мастеръ графъ Л. Н. Толстой. Очень жалки, очень неразумны и безобразны увле-

ченія и похожденія такихъ людей, какъ Пьеръ Безухій и Наташа Ростова; но читатель видитъ, что, за всѣмъ тѣмъ, у этихъ людей *золотыя сердца*, и ни на минуту не усумнится, что тамъ, гдѣ бы дѣло шло о самопожертвованіи,—гдѣ нужно было бы беззавѣтное сочувствіе доброму и прекрасному,—въ этихъ сердцахъ нашелся бы полный отзывъ, полная готовность. Душевная красота этихъ двухъ лицъ поразительна. Пьеръ—взрослый ребенокъ, съ огромнымъ тѣломъ и съ страшною чувственностію, какъ дитя непрактичный и неразумный, соединяетъ въ себѣ дѣтскую чистоту и нѣжность души съ умомъ наивнымъ, но по тому самому высокимъ,—съ характеромъ, которому все неблагородное не только чуждо, но даже непонятно. Этотъ человѣкъ, какъ дѣти, ничего не боится и не знаетъ за собою зла. Наташа—дѣвушка, одаренная такой полнотою душевной жизни, что (по выраженію Безухаго) *она не удостоиваетъ быть умною*, т. е. не имѣетъ ни времени, ни расположенія переводить эту жизнь въ отвлеченныя формы мысли. Безмѣрная полнота жизни (приводящая ее иногда въ *состояніе опьяненія*, какъ выражается авторъ) вовлекаетъ ее въ страшную ошибку, въ безумную страсть къ Курагину,—ошибку, искупаемую потомъ тяжкими страданіями. Пьеръ и Наташа—люди, которыхъ, по самой ихъ натурѣ, должны постигать въ жизни ошибки и разочарованія. Какъ бы въ противоположность имъ, авторъ вывелъ и счастливую чету, Вѣру Ростову и Адольфа Берга,—людей, чуждыхъ всякихъ ошибокъ, разочарованій, и вполне удобно устранившихся въ жизни. Нельзя не подивиться той мѣрѣ, съ которою авторъ, выставляя всю низменность и малость этихъ душъ, ни разу не поддался искушенію смѣха или гнѣва. Вотъ настоящій реализмъ, настоящая правдивость. Такова же правдивость и въ изображеніи Курагиныхъ, Эленъ и Анатоля; эти безсердечныя существа выставлены безпощадно, но безъ малѣйшаго желанія бичевать ихъ.

Что же выходитъ изъ этого ровнаго, яснаго, дневнаго свѣта, которымъ авторъ озарилъ свою картину? Передъ нами нѣтъ ни классическихъ злодѣевъ, ни классическихъ героевъ; душа человѣческая является въ чрезвычайномъ разнообразіи типовъ, является—слабая, подчиненная страстямъ и обсто-



ятельствамъ, но, въ сущности, въ массѣ руководимая чистыми и добрыми стремленіями. Среди всего разнообразія лицъ и событій, мы чувствуемъ присутствіе какихъ-то твердыхъ и неизблемыхъ началъ, на которыхъ держится эта жизнь. Обязанности семейныя—ясны для всѣхъ. Понятія о добрѣ и злѣ отчетливы и прочны. Изобразивъ съ величайшею правдивостію фальшивую жизнь высшихъ слоевъ общества и разныхъ штабовъ, окружающихъ высокія лица, авторъ противопоставилъ имъ двѣ крѣпкія и истинно живыя сферы—семейную жизнь и настоящую военную, то есть армейскую жизнь. Два семейства, Болконскихъ и Ростовыхъ, представляютъ намъ жизнь, руководимую ясными, несомнѣнными началами, въ соблюденіи которыхъ члены этихъ семействъ поставляютъ свой долгъ и честь, достоинство и утѣшеніе. Точно также, армейская жизнь (которую гр. Л. Н. Толстой въ одномъ мѣстѣ сравниваетъ съ раемъ) представляетъ намъ полную определенность понятій о долгѣ, о достоинствѣ человека; такъ что простодушный Николай Ростовъ даже предпочелъ однажды остаться въ полку, а не ѣхать въ семью, гдѣ онъ не совѣмъ ясно видитъ, какъ ему слѣдуетъ вести себя.

Такимъ образомъ, въ крупныхъ и ясныхъ чертахъ изображена намъ Россія 1812 года, какъ масса людей, которые знаютъ, чего отъ нихъ требуетъ ихъ человѣческое достоинство,—что имъ слѣдуетъ дѣлать, по отношенію къ себѣ, къ другимъ людямъ и къ родинѣ. Весь разсказъ гр. Л. Н. Толстаго изображаетъ только всякаго рода борьбу, которую это чувство долга выдерживаетъ со страстями и случайностями жизни, а также—борьбу, которую этотъ крѣпкій, наиболѣе многолюдный слой Россіи выдерживаетъ съ верхнимъ, фальшивымъ и несостоятельнымъ слоемъ. Двѣнадцатый годъ былъ минутою, когда нижній слой взялъ верхъ и, въ силу своей твердости, выдержалъ напоръ Наполеона. Все это прекрасно видно, на примѣръ, на дѣйствіяхъ и мысляхъ князя Андрея, который ушелъ изъ штаба въ полкъ и, разговаривая съ Пьеромъ наканунѣ Бородинской битвы, безпрестанно вспоминаетъ объ отцѣ, убитомъ вѣстью о нашествіи. Чувства, подобныя чувствамъ князя Андрея, спасли тогда Россію. «Французы разорили мой домъ», говоритъ онъ, «и идутъ разо-

рпть Москву, оскорбили и оскорбляютъ меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники всѣ, по моимъ понятіямъ» (т. IV, стр. 267).

Послѣ этихъ и подобныхъ рѣчей, Пьеръ, какъ сказано у автора, «понялъ весь смыслъ и все значеніе этой войны и предстоящаго сраженія».

Война была со стороны русскихъ оборонительная и, слѣдовательно, имѣла святой и народный характеръ; тогда какъ со стороны французовъ она была наступательная, то-есть насильственная и несправедливая. При Бородинѣ всѣ другія отношенія и соображенія сгладились и исчезли; другъ противъ друга стояли два народа—одинъ нападающій, другой защищающійся. Поэтому, тутъ съ величайшею ясностію обнаружилась сила тѣхъ двухъ *идей*, которыя на этотъ разъ двигали этими народами и поставили ихъ въ такое взаимное положеніе. Французы явились, какъ представители космополитической идеи,—способной, во имя общихъ началъ, прибѣгать къ насилію, къ убійству народовъ; Русскіе явились представителями идеи народной,—съ любовью, охраняющей духъ и строй самобытной, органически-сложившейся жизни. Вопросъ о національностяхъ былъ поставленъ на Бородинскомъ полѣ, и Русскіе рѣшили его здѣсь въ первый разъ въ пользу національностей.

Понятно поэтому, что Наполеонъ не понималъ и никогда не могъ понять того, что совершилось на Бородинскомъ полѣ; понятно, что онъ долженъ былъ быть объятъ недоумѣніемъ и страхомъ при зрѣлищѣ неожиданной и невѣдомой силы, которая возстала противъ него. Такъ какъ дѣло, однако же, было, по видимому, очень простое и ясное, то понятно, наконецъ, что авторъ счелъ себя въ правѣ сказать о Наполеонѣ слѣдующее:

«И не на одинъ только этотъ часъ и день были «помрачены умъ и совѣсть этого человѣка, тяжеле всѣхъ «другихъ участниковъ этого дѣла носившаго на себѣ всю тяжесть совершившагося, но и никогда, до конца жизни своей, «не могъ понимать онъ ни добра, ни красоты, ни «истины, ни значенія своихъ поступковъ, которые были слишкомъ противоположны добру и правдѣ, слишкомъ далеки

«отъ всего человѣческаго, для того, чтобы онъ могъ понимать ихъ значеніе. Онъ не могъ отречься отъ своихъ по-ступковъ, восхваляемыхъ половиной свѣта, и потому долженъ былъ отречься *отъ правды и добра и всего чело-вѣчества*» (т. IV, стр. 330, 331).

Итакъ, вотъ одинъ изъ окончательныхъ выводовъ: въ Наполеонѣ, въ этомъ героѣ изъ героевъ, авторъ видитъ чело-вѣка, дошедшаго до совершенной утраты истиннаго чело-вѣческаго достоинства,—человѣка, постигнутаго помраченіемъ ума и совѣсти. Доказательство на лицо. Какъ Барклай де Толли навсегда уроненъ тѣмъ, что не понялъ положенія Бородинской битвы,—какъ Кутузовъ превознесенъ выше всякихъ похвалъ тѣмъ, что совершенно ясно понималъ, чтѣ дѣлается во время этой битвы,—такъ Наполеонъ на вѣки осужденъ тѣмъ, что не понялъ того святаго, простаго дѣла, которое мы дѣлали при Бородинѣ и которое понималъ каждый нашъ солдатъ. Въ дѣлѣ, такъ громко вошявшемъ о своемъ смыслѣ, Наполеонъ не понялъ, что правда была на нашей сторонѣ. Европа хотѣла задушить Россію и въ своей гордости мечтала, что дѣйствуетъ прекрасно и справедливо.

Итакъ, въ лицѣ Наполеона художникъ какъ-будто хотѣлъ представить намъ душу чело-вѣческую въ ея слѣпотѣ, хотѣлъ показать, что героическая жизнь можетъ противорѣчить истинному чело-вѣческому достоинству,—что добро, правда, и красота могутъ быть гораздо доступнѣе людямъ простымъ и малымъ, чѣмъ инымъ великимъ героямъ. Простой чело-вѣкъ, простая жизнь, поставлены поэтомъ выше героизма—и по достоинству и по силѣ; ибо простые русскіе люди съ такими сердцами, какъ у Николая Ростова, у Тимохина и Тушина, побѣдили Наполеона и его великую армію.

---

#### IV.

До сихъ поръ мы говорили такъ, какъ-будто авторъ имѣлъ совершенно опредѣленные цѣли и задачи,—какъ-будто онъ хотѣлъ доказывать или разяснять извѣстныя мысли



и отвлеченныя положенія. Но это только приблизительный способъ выраженія. Мы говорили такъ только для ясности, для выпуклости рѣчи; мы умышленно придавали дѣлу грубыя и рѣзкія формы, чтобы онѣ живѣе бросились въ глаза. Въ дѣйствительности же художникъ не руководился такими голыми соображеніями, какія мы ему приписали; творческая сила дѣйствовала шире и глубже, проникала въ самый сокровенный и высокій смыслъ явленій.

Такимъ образомъ, мы могли бы дать еще нѣсколько формулъ цѣли и смысла «Войны и Мира». *Истина* есть сущность cadaго дѣйствительно-художественнаго произведенія, и потому, на какую бы философскую высоту созерцанія жизни мы ни поднялись, мы найдемъ въ «Войнѣ и Мирѣ» точки опоры для своего созерцанія. Много было говорено объ *исторической теоріи* графа Л. Н. Толстаго. Несмотря на чрезмѣрность нѣкоторыхъ его выраженій, люди самыхъ различныхъ мнѣній согласились, что онъ, если не вполнѣ правъ, то *на одинъ шагъ* отъ правды.

Эту теорію можно бы обобщить и сказать, напримѣръ, что не только историческая, но и всякая человѣческая жизнь управляется не умомъ и волею, т. е. не мыслями и желаніями, достигшими ясной сознательной формы, а чѣмъ-то болѣе темнымъ и сильнымъ, такъ называемою *натурою* людей. Источники жизни (какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ народовъ) гораздо глубже и могущественнѣе, чѣмъ тотъ сознательный произволъ и сознательное соображеніе, которыми, по видимому, руководятся люди. Подобная *вѣра въ жизнь*,—признаніе за жизнью бѣльшаго смысла, чѣмъ тотъ, какой способенъ уловить нашъ разумъ,—разлита по всему произведенію графа Л. Н. Толстаго; и можно бы сказать, что на эту мысль написано все это произведеніе.

Приведемъ небольшой примѣръ. Послѣ своей поѣздки въ Отрадное, князь Андрей рѣшается ѣхать изъ деревни въ Петербургъ. «Цѣлый рядъ», говоритъ авторъ, «разумныхъ логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить, ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ. Онъ даже теперь не понималъ, какъ могъ онъ когда-нибудь сомнѣваться въ необходимости принять дѣятель-

«ное участіе въ жизни, точно такъ же, какъ мѣсяць тому назадъ онъ не понималъ, какъ могла бы ему прійти мысль ѣхать изъ деревни. Ему казалось ясно, что всё его опыты жизни должны были пропасть даромъ и быть безмыслицей, ежели бы онъ не приложить ихъ къ дѣлу и не принять опять дѣятельнаго участія въ жизни. Онъ даже не помнилъ того, какъ прежде, на основаніи *такихъ же бѣдныхъ разумныхъ доводовъ, очевидно было*, что онъ бы унизился, ежели бы теперь, послѣ своихъ уроковъ жизни, опять бы повѣрилъ въ возможность приносить пользу и въ возможность счастья и любви» (т. III, стр. 10).

Такую же подчиненную роль играетъ разумъ и у всѣхъ другихъ лицъ гр. Л. Н. Толстаго. Вездѣ жизнь оказывается шире бѣдныхъ логическихъ соображеній, и поэтъ превосходно показываетъ, какъ она обнаруживаетъ свою силу помимо воли людей. Наполеонъ стремится къ тому, что должно погубить его; безпорядокъ, въ которомъ онъ засталъ наше войско и правительство, спасаетъ Россію, потому что увлекаетъ Наполеона къ Москвѣ,—даетъ созрѣть нашему патріотизму,—вызываетъ необходимость назначить Кутузова и вообще измѣнить весь ходъ дѣлъ. Истинныя, глубокія силы, управляющія событіями, берутъ верхъ надъ всѣми расчетами.

Итакъ, таинственная глубина жизни—вотъ мысль «Войны и Мира».

Но съ такимъ же правомъ мы могли бы взять и какое-нибудь другое высокое созерцаніе явленій и приписать его этому произведенію. Можно, напримѣръ, сказать, что высшая точка зрѣнія, на которую подымается авторъ, есть религіозный взглядъ на міръ. Когда князь Андрей,—невѣрующій, какъ и его отецъ,—тяжело и больно испыталъ всё превратности жизни и, смертельно раненый, увидѣлъ своего врага Анатоля Курагина, онъ вдругъ почувствовалъ, что ему открывается новый взглядъ на жизнь.

«Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и *которой я не понималъ*;

«вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ» (т. IV, стр. 329).

И не одному князю Андрею, но и многимъ лицамъ «Войны и Мира» открывается въ различной степени это высокое пониманіе жизни, напримѣръ, многострадальной и многолюбящей княжнѣ Марьѣ, Пьеру послѣ измѣны жены, Наташѣ послѣ ея измѣны жениху и пр. Съ удивительною ясностію и силою поэтъ показываетъ, какъ религіозный взглядъ составляетъ всегдашнее пріобѣжище души, утомленной жизнью, —единственную точку опоры для мысли, пораженной измѣнчивостію всѣхъ человѣческихъ благъ. Душа, отрекающаяся отъ міра, становится выше міра и обнаруживаетъ новую красоту—всепрощеніе и любовь.

Въ одномъ мѣстѣ авторъ замѣчаетъ въ скобкахъ, что люди ограниченные любятъ говорить *«въ наше время, въ наше время»*, такъ какъ воображаютъ, что они нашли и «ощѣнили особенности нашего времени, и думаютъ, что *свойства людей измѣняются со временемъ*» (т. III, стр. 85). Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, отвергаетъ это грубое заблужденіе, и, на основаніи всего предыдущаго, мы, кажется, имѣемъ полное право сказать, что въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ повсюду вѣренъ *неизмѣннымъ, вѣчнымъ свойствамъ души человѣческой*. Какъ въ героѣ онъ видитъ человѣческую сторону, такъ въ человѣкѣ извѣстнаго времени, извѣстнаго круга и воспитанія, онъ прежде всего видитъ чело-вѣка,—такъ въ его дѣйствіяхъ, опредѣленныхъ вѣкомъ и обстоятельствами, видитъ неизмѣнные законы чело-вѣческой природы. Отсюда происходитъ, такъ сказать, *общечеловѣческая* занимательность этого удивительнаго произведенія, соединяющаго въ себѣ художественный реализмъ съ художе-ственнымъ идеализмомъ, историческую вѣрность съ общепсихическою правдою,—яркую народную своеобразность съ обще-человѣческою шириною.

Таковы нѣкоторыя общія точки зрѣнія, подъ которыя подходитъ «Война и Миръ». Но всѣ эти опредѣленія еще не указываютъ *частнаго* характера произведенія гр. Л. Н. Толстаго,—его особенностей, дающихъ ему, сверхъ общаго смысла, еще опредѣленный смыслъ для нашей литературы. Эту част-



ную характеристику возможно сдѣлать не иначе, какъ показавъ мѣсто «Войны и Мира» въ нашей литературѣ, объяснивъ связь этого произведенія съ общимъ ходомъ нашей словесности и съ исторіей развитія самого таланта автора. Мы попытаемся сдѣлать это въ слѣдующей статьѣ.

1868 г. 13 дек.

(Заря 1869, янв.)

---

### III.

**Война и Миръ.** Сочиненіе Графа Л. Н. Толстаго. Томы I, II, III и IV. Изданіе второе. Москва, 1868.

#### Статья вторая и послѣдняя.

Окончательное сужденіе о «Войнѣ и Мирѣ» составить теперь едва-ли возможно. Пройдутъ многіе годы, прежде чѣмъ вполне уяснится значеніе этого произведенія. И это мы говоримъ не въ особенную ему похвалу, не ради его превознесенія; нѣтъ, такова вообще судьба фактовъ слишкомъ къ намъ близкихъ, что мы слабо и дурно понимаемъ ихъ смыслъ. Но, разумѣется, всего плачевнѣе такое непониманіе и всего яснѣе открывается его источникъ, когда дѣло идетъ о важныхъ явленіяхъ. Часто великое и прекрасное проходитъ передъ нашими глазами, но мы, въ силу нашей собственной малости, не вѣримъ и не замѣчаемъ, что намъ дано быть свидѣтелями и очевидцами великаго и прекраснаго. Мы обо всемъ судимъ по себѣ. Поспѣшно, небрежно, невнимательно мы судимъ о всемъ современномъ, какъ-будто все оно намъ по плечу, какъ-будто имѣемъ полное право обращаться съ нимъ за панибрата; больше всего мы любимъ даже не просто судить, а именно осуждать, такъ какъ этимъ думаемъ несомнѣнно доказать наше умственное превосходство. Такимъ образомъ, о самомъ глубокомъ и свѣтломъ явленіи являются равнодушные или высокомерные отзывы, которыхъ изумительной дерзости и не подозреваютъ тѣ, кто ихъ произносятъ. И хорошо еще, если мы опомнимся и уразумѣемъ, наконецъ,

о чемъ мы смѣли судить, съ какими великанами равняли себя въ своей наивности. Большою частію и этого не бываетъ, и люди держатся своихъ мнѣній съ упорствомъ того столоначальника, у котораго нѣсколько мѣсяцевъ служилъ Гоголь, и который потомъ уже до конца жизни не могъ повѣрить, что его подчиненный сталъ великимъ русскимъ писателемъ.

Мы слѣпы и близоруки для современнаго. И хотя художественныя произведенія, какъ назначенныя прямо для *со-зерцанія* и употребляющія всѣ средства, какими можно достигнуть ясности впечатлѣнія, по видимому, должны бы болѣе другихъ явленій бросаться намъ въ глаза, но и они не избѣгаютъ общей участи. Беспрестанно обывается замѣчаніе Гоголя: «поди ты, сладъ съ человѣкомъ! не вѣрить въ Бога, а вѣрить, что если почешется переносье, то непременно умретъ; *пропуститъ мимо созданіе поэта, ясное какъ день, все проникнутое согласіемъ и высокою мудростію простоты*, а бросится именно на то, гдѣ какой-нибудь удалецъ напутаетъ, наплететъ, изломаетъ, выворотитъ природу, и ему оно понравится, и онъ станетъ кричать: вотъ оно, вотъ настоящее знаніе тайнъ сердца!»

Есть, впрочемъ, въ этомъ неумѣнн цѣнить настоящее и близкое къ намъ другая, болѣе глубокая сторона. Пока человѣкъ развивается, стремится впередъ, онъ не можетъ правильно цѣнить то, чѣмъ онъ обладаетъ. Такъ дитя не знаетъ прелести своего дѣтства, и юноша не подозреваетъ красоты и свѣжести своихъ душевныхъ явленій. Только потомъ, когда все это сдѣлается прошлымъ, мы начинаемъ понимать, какими великими благами мы обладали; тогда мы находимъ, что этимъ благамъ и цѣны нѣтъ, такъ какъ возвратитъ ихъ, вновь приобрѣсти невозможно. Минувшее, неповторимое становится единственнымъ и незамѣнимымъ, и потому всѣ его достоинства выступаютъ передъ нами ясно, ничѣмъ не заслоняемая, не помрачаемая ни заботами о настоящемъ, ни мечтами о будущемъ.

Понятно поэтому, отчего, переходя въ область исторіи, все получаетъ болѣе ясный и опредѣленный смыслъ. Современемъ, значеніе «Войны и Мира» перестанетъ быть вопросомъ, и это произведеніе займетъ въ нашей литературѣ то



незамѣнимое и единственное мѣсто, которое современникамъ трудно разглядѣть. Если же мы хотимъ теперь же имѣть нѣкоторыя указанія на это мѣсто, то мы можемъ добыть ихъ не иначе, какъ разсмотрѣвъ историческую связь «Войны и Мира» съ русскою литературою вообще. Если мы найдемъ живыя нити, связывающія это современное явленіе съ явленіями, смыслъ которыхъ для насъ уже сталъ яснѣе и опредѣленнѣе, то и его смыслъ, его важность и особенности станутъ для насъ понятнѣе. Точкой опоры для нашихъ сужденій будутъ въ этомъ случаѣ уже не отвлеченныя понятія, а твердые историческіе факты, имѣющіе вполне опредѣленную фисіономію.

Итакъ, переходя къ историческому взгляду на произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, мы вступаемъ въ область болѣе ясную и отчетливую. Говоря такъ, мы однако же должны прибавить, что это справедливо лишь вообще и сравнительно. Ибо исторія нашей литературы, въ сущности, есть одна изъ исторій наиболѣе покрытыхъ мракомъ, наименѣе общеизвѣстныхъ, и пониманіе этой исторіи,—какъ этого и слѣдовало ожидать отъ общаго состоянія нашего просвѣщенія,—въ высшей степени искажено и запутано предразсудками и ложными взглядами. Но, по мѣрѣ движенія нашей литературы, смыслъ этого движенія долженъ, однако же, уясняться, и такое важное произведеніе, какъ «Война и Миръ», конечно, должно открывать намъ многое относительно того, чѣмъ внутренно живетъ и пытается наша литература, куда стремится ея главное теченіе.

---

## I.

Есть въ русской литературѣ классическое произведеніе, съ которымъ «Война и Миръ» имѣетъ больше сходства, чѣмъ съ какимъ бы то ни было другимъ произведеніемъ. Это—«Капитанская дочка» Пушкина. Сходство есть и во внѣшней манерѣ, въ самомъ тонѣ и предметѣ разсказа; но главное сходство—во внутреннемъ духѣ обоихъ произведеній. «Капитанская дочка» тоже не историческій романъ, то есть вовсе

не имѣеть въ виду въ формѣ романа рисовать жизнь и нравы, уже ставшіе для насъ чуждыми, и лица, игравшія важную роль въ исторіи того времени. Историческія лица, Пугачевъ, Екатерина, являются у Пушкина мелькомъ въ немногихъ сценахъ, совершенно такъ, какъ въ «Войнѣ и Мирѣ» являются Кутузовъ, Наполеонъ и пр. Главное же вниманіе сосредоточено на событіяхъ частной жизни Гриневыхъ и Мироновыхъ, и историческія событія описаны лишь въ той мѣрѣ, въ какой они прикасались къ жизни этихъ простыхъ людей. «Капитанская дочка», собственно говоря, есть *хроника семейства Гриневыхъ*; это—тотъ рассказъ, о которомъ Пушкинъ мечталъ еще въ третьей главѣ Онегина,—рассказъ, изображающій

#### Преданья русскаго семейства.

Впослѣдствіи у насъ явилось не мало подобныхъ рассказовъ, между которыми высшее мѣсто занимаетъ *Семейная хроника* С. Т. Аксакова. Критики замѣтили сходство этой хроники съ произведеніемъ Пушкина. Хомяковъ говоритъ: «простота формъ Пушкина въ *повѣстяхъ* и особенно Голая, съ которыми С. Т. былъ такъ друженъ, подѣйствовали на него» \*).

Стоитъ немножко взглядѣться въ «Войну и Миръ», чтобы убѣдиться, что это—тоже нѣкоторая *семейная хроника*. Именно эта хроника двухъ семействъ: семейства Ростовыхъ и семейства Болконскихъ. Это—воспоминанія и рассказы о всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ въ жизни этихъ двухъ семействъ и о томъ, какъ дѣйствовали на ихъ жизнь современныя имъ историческія событія. Разница отъ простой хроники заключается только въ томъ, что рассказу дана болѣе яркая, болѣе живописная форма, въ которой всего лучше художникъ могъ воплотить свои идеи. Голаго рассказа нѣтъ; все—въ сценахъ, въ ясныхъ и отчетливыхъ краскахъ. Отсюда—видимая отрывочность рассказа, въ сущности чрезвычайно связнаго; отсюда же то, что художникъ по необходи-

---

\*) Сочин. Хомякова, Т. I, стр. 665.

мости ограничился немногими годами описываемой имъ жизни, а не сталъ рассказывать ее постепенно отъ самаго рожденія того или другого героя. Но, и въ этомъ—сосредоточенномъ для большей художественной ясности—разсказѣ, не выступаютъ ли передъ глазами читателей всѣ «семейныя преданія» Болконскихъ и Ростовыхъ?

Итакъ, руководясь сравненіемъ, мы нашли, наконецъ, тотъ *родъ* словесныхъ произведеній, къ которому слѣдуетъ отнести «Войну и Миръ». Это не романъ вообще, не историческій романъ, даже не историческая хроника; это—*хроника семейная*. Если прибавимъ, что мы непременно разумѣмъ при этомъ художественное произведение, то наше опредѣленіе будетъ готово. Этотъ своеобразный родъ, котораго нѣтъ въ другихъ словесностяхъ, и идея котораго долго тревожила Пушкина и, наконецъ, была осуществлена имъ, можетъ быть характеризованъ двумя особенностями, на которыя указываетъ его названіе. Во первыхъ, это—*хроника*, т. е. простой, безхитростный разсказъ, безъ всякихъ завязокъ и запутанныхъ приключеній, безъ наружнаго единства и связи. Эта форма, очевидно, проще, чѣмъ романъ,—ближе къ дѣйствительности, къ правдѣ: она хочетъ, чтобы ее принимали за быль, а не за простую возможность. Во вторыхъ, это—быль *семейная*, т. е. не похиженія отдѣльнаго лица, на которомъ должно сосредоточиваться все вниманіе читателя, а событія, такъ или иначе важныя для цѣлаго семейства. Для художника какъ-будто одинаково дороги, одинаково герои—всѣ члены семейства, хроникѣ котораго онъ пишетъ. И центръ тяжести произведенія всегда въ семейныхъ отношеніяхъ, а не въ чемъ-нибудь другомъ. «Капитанская дочка» есть разсказъ о томъ, какъ Петръ Гриневъ женился на дочери капитана Миронова. Дѣло вовсе не въ любопытныхъ ощущеніяхъ, и всѣ приключенія жениха и невесты касаются не измѣненія ихъ чувствъ, простыхъ и ясныхъ отъ самаго начала, а составляютъ случайныя препятствія, мѣшавшія простой развязкѣ,—не помѣхи страсти, а помѣхи женитьбѣ. Отсюда—такая естественная простота этого разсказа; романической нити въ немъ собственно нѣтъ.

Нельзя не подивиться геніальности Пушкина, обнару-



жившейся въ этомъ случаѣ. «Капитанская дочка» имѣетъ всѣ внѣшнія формы романовъ Вальтеръ-Скотта, эпиграфы, раздѣленіе на главы и т. п. (Такъ, внѣшняя форма «Исторіи Государства Россійскаго» взята у Юма). Но, вздумавши подражать, Пушкинъ написалъ произведеніе въ высшей степени оригинальное. Пугачевъ, напримѣръ, выведенъ на сцену съ такою удивительною осторожностію, какую можно найти только у гр. Л. Н. Толстаго, когда онъ выводитъ передъ нами Александра І-го, Сперанскаго и пр. Пушкинъ, очевидно, считалъ дѣломъ легкомысленнымъ и недостойнымъ поэтическаго труда малѣйшее уклоненіе отъ строгой исторической истины. Точно также, романтическая исторія двухъ любящихъ сердецъ доведена у него до простоты, въ которой исчезаетъ все романическое.

И такимъ образомъ, хотя онъ считалъ необходимымъ—и основать завязку на любви, и ввести въ эту завязку историческое лицо, но, въ силу своей неуклонной поэтической правдивости, онъ написалъ намъ не историческій романъ, а семейную хронику Гриневыхъ.

Но мы не можемъ показать всего глубокаго сходства между «Войною и Миромъ» и «Капитанской дочкой», если не вникнемъ во внутренній духъ этихъ произведеній,—не покажемъ того многозначительнаго поворота въ художественной дѣятельности Пушкина, который привелъ его къ созданію нашей первой семейной хроники. Безъ пониманія этого поворота, отразившагося и развившагося въ гр. Л. Н. Толстомъ, намъ не будетъ понятенъ полный смыслъ «Войны и Мира». Внѣшнее сходство ничего не значитъ въ сравненіи съ сходствомъ того духа, которымъ внушены оба сравниваемые нами произведенія. Тутъ, какъ и всегда, оказывается, что Пушкинъ есть истинный родоначальникъ нашей самобытной литературы,—что его гений постигалъ и совмѣщалъ въ себѣ всѣ стремленія нашего творчества.

## II.

Итакъ, что же такое «Капитанская дочка»? Всѣмъ извѣстно, что это—одно изъ драгоцѣннѣйшихъ достояній нашей

литературы. По простотѣ и чистотѣ своей поэзіи, это произведение одинаково доступно, одинаково привлекательно для взрослыхъ и дѣтей. На «Капитанской дочкѣ» (такъ же, какъ на «Семейной хроникѣ» С. Аксакова) русскія дѣти воспитываютъ свой умъ и свое чувство, такъ какъ учителя, безъ всякихъ постороннихъ указаній, находятъ, что нѣтъ въ нашей литературѣ книги болѣе понятной и занимательной, и вмѣстѣ съ тѣмъ столь серіозной по содержанію и высокой по творчеству. Что же такое «Капитанская дочка»?

Рѣшеніе этого вопроса мы уже не имѣемъ права брать только на себя. У насъ есть литература, и есть также критика. Мы желаемъ показать, что въ нашей литературѣ существуетъ постоянное развитіе,—что въ ней въ различной степени и разныхъ формахъ раскрываются все тѣ же основные задатки; міросозерцаніе гр. Л. Н. Толстаго мы связываемъ съ одною изъ сторонъ поэтической дѣятельности Пушкина. Точно такъ, мы обязаны и хотѣли бы связать наши сужденія со взглядами, уже высказанными нашей критикой. Если у насъ есть критика, то она не могла не оцѣнить того важнаго направленія въ нашемъ художествѣ, которое началось съ Пушкина, жило до настоящаго времени (около сорока лѣтъ) и, наконецъ, породило такое огромное и высокое произведеніе, какъ «Война и Миръ». На фактъ подобнаго размѣра всего лучше можно провѣрить проникательность критики и глубину ея пониманія.

О Пушкинѣ у насъ писано много, но изъ всего писаннаго рѣзко выдаются два произведенія; у насъ есть двѣ книги о Пушкинѣ, конечно, извѣстныя всѣмъ читателямъ: одна—8-й томъ сочиненій *Бѣлинскаго*, заключающій въ себѣ десять статей о Пушкинѣ (1843—1846), другая—«Матеріалы для біографіи Пушкина» П. В. *Анненкова*, составляющіе 1-й томъ его изданія сочиненій Пушкина (1855). Обѣ книги весьма замѣчательны. У Бѣлинскаго въ первый разъ въ нашей литературѣ (у Нѣмцевъ о Пушкинѣ уже писалъ достойнымъ поэта образомъ Варнгагенъ фонъ Энзе) сдѣлана отчетливая и твердая оцѣнка художественнаго достоинства произведеній Пушкина; со всею ясностію Бѣлинскій понималъ высокое достоинство этихъ произведеній и съ точ-

ностью указать, какія изъ нихъ ниже, какія выше, какія достигаютъ высоты, по словамъ критика, *утомляющей всякое удивленіе*. Приговоры Бѣлинскаго относительно художественной цѣнности произведеній Пушкина остаются вѣрны до сихъ поръ и свидѣлствуютъ объ удивительной чуткости эстетическаго вкуса нашего критика. Извѣстно, что наша литература въ то время не понимала великаго значенія Пушкина; Бѣлинскому принадлежитъ слава, что онъ твердо и сознательно стоялъ за его величіе, хотя ему и не было дано постигнуть всю мѣру этого величія. Такъ точно ему досталась слава—понять высоту Лермонтова и Гоголя, съ которыми тоже за панибрата обращались современные имъ литературные судьи. Но иное дѣло—эстетическая оцѣнка, и другое—оцѣнка значенія писателя для общественной жизни, его нравственнаго и народнаго духа. Въ этомъ отношеніи книга Бѣлинскаго о Пушкинѣ рядомъ съ вѣрными и прекрасными мыслями заключаетъ много ошибочныхъ и смутныхъ взглядовъ. Такова, напримѣръ, статья IX-я о Татьянѣ. Какъ бы то ни было, эти статьи представляютъ полный и, въ эстетическомъ отношеніи, чрезвычайно вѣрный обзоръ произведеній Пушкина.

Другая книга, «Матеріалы» П. В. Анненкова, содержитъ такой же обзоръ, изложенный въ тѣсной связи съ біографіею поэта. Менѣе оригинальная, чѣмъ книга Бѣлинскаго, но болѣе зрѣлая, составленная съ величайшею тщательностію и любовью къ дѣлу, эта книга даетъ всего больше пищи для того, кто хочетъ изучать Пушкина. Она превосходно написана; какъ-будто духъ Пушкина сошелъ на біографа и далъ его рѣчи простоту, краткость и опредѣленность. «Матеріалы» необыкновенно богаты содержаніемъ и чужды всякихъ разглагольствій. Что касается до сужденій о произведеніяхъ поэта, то, руководясь его жизнью, близко держась обстоятельствъ, его окружавшихъ, и перемѣнъ, въ немъ происходившихъ, біографъ сдѣлалъ драгоценныя указанія и начертилъ съ большою вѣрностію, съ любовнымъ пониманіемъ дѣла исторію творческой дѣятельности Пушкина. Ошибочныхъ взглядовъ въ этой книгѣ нѣтъ, такъ какъ авторъ не отклонялся отъ своего предмета, столько имъ любимаго и такъ хорошо по-



нимаемого: есть только неполнота, вполне оправдываемая скромнымъ тономъ и слишкомъ скромнымъ названіемъ книги.

И вотъ, къ такимъ-то книгамъ мы естественно обращаемся за рѣшеніемъ нашего вопроса о «Капитанской дочкѣ». Что же оказывается? И въ той и въ другой книгѣ этому удивительному произведенію посвящено лишь нѣсколько небрежныхъ строчекъ. Мало того, обо всемъ циклѣ произведеній Пушкина, примыкающихъ къ «Капитанской дочкѣ» (каковы: *Повѣсти Бѣлкина, Лѣтопись села Горохина, Дубровскій*), оба критика отзываются или съ неодобреніемъ, или съ равнодушнымъ, вскользь сказанными похвалами. Такимъ образомъ, цѣлая сторона въ развитіи Пушкина, завершившаяся созданіемъ «Капитанской дочки», упущена изъ вида и вниманія, признана маловажною и даже *недостойною* имени Пушкина. Оба критика пропустили то, что существеннымъ образомъ повліяло на весь ходъ нашей литературы и отразилось, наконецъ, въ такихъ произведеніяхъ, какъ «Война и Миръ».

Фактъ—знаменательный въ высшей степени и объясняемый только внутреннею исторіей нашей критики. Весьма понятно, что для пониманія столь многосторонняго и глубокаго поэта, какъ Пушкинъ, нужно было долгое время, и что не одному человѣку досталось на долю потрудиться на этомъ поприщѣ; много труда предстоитъ еще и впереди. Сперва мы должны были понять ту сторону Пушкина, которая всего доступнѣе, всего больше сливается съ общимъ направленіемъ нашей образованности. Уже до Пушкина и въ его время мы понимали европейскихъ поэтовъ—Шиллера, Байрона и другихъ; Пушкинъ явился ихъ соперникомъ, соревнователемъ; такъ мы на него и смотрѣли, измѣряя его достоинства знакомою намъ мѣркою, сравнивая его произведенія съ произведеніями западныхъ поэтовъ. И Бѣлинскій и Анненковъ—западники; поэтому они и могли хорошо чувствовать только общечеловѣческія красоты Пушкина. Тѣ же черты, въ которыхъ онъ являлся самобытнымъ русскимъ поэтомъ,—въ которыхъ его русская душа обнаруживала нѣкотораго рода реакцію противъ западной поэзіи, должны были остаться для нашихъ двухъ критиковъ малодоступными, или вовсе непо-

нятыми. Для пониманія ихъ нужно было другое время, когда появились бы иные взгляды, кромѣ западныхъ, и другой человѣкъ, который пережилъ бы въ своей душѣ поворотъ, подобный повороту пушкинскаго творчества.

### III.

Этотъ человѣкъ былъ Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ. Имъ былъ въ первый разъ указанъ важный смыслъ той стороны поэтической дѣятельности Пушкина, лучшимъ плодомъ которой была «Капитанская дочка». Взгляды Григорьева на этотъ предметъ, и вообще на значеніе Пушкина, были часто имъ повторяемы и развиваемы, но въ первый разъ были изложены въ «Русскомъ Словѣ» 1859 года. То былъ первый годъ этого журнала, имѣвшаго тогда трехъ редакторовъ: гр. Г. А. Кушелева-Безбородко, Я. П. Полонскаго и Ап. А. Григорьева. Передъ этимъ, Григорьевъ года два ничего не писалъ и жилъ за границею, большею частію въ Италіи и большею частію въ созерцаніи художественныхъ произведеній. Статьи о Пушкинѣ были плодомъ его долгихъ заграничныхъ размышленій. Этихъ статей собственно шесть; двѣ первыя подъ заглавіемъ: *Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина*; четыре остальные называются—*И. С. Тургеневъ и его дѣятельность, по поводу романа «Дворянское гнѣздо»*, и содержатъ развитіе тѣхъ же взглядовъ и приложеніе ихъ къ Тургеневу \*)

Въ чемъ же состоитъ мысль Григорьева? Постараемся высказать ее яснѣе, ограничиваясь тѣмъ вопросомъ, который мы разбираемъ. Григорьевъ нашелъ, что дѣятельность Пушкина представляетъ душевную борьбу съ различными идеалами, съ различными вполне сложившимися историческими типами, тревожившими его натуру и пережитыми ею. Идеалы

---

\*) Эти статьи перепечатаны въ первомъ томѣ сочиненій Ап. Григорьева, заключающемъ всѣ его общія статьи. *Сочиненія Аполлона Григорьева. Т. I. Спб. 1876, стр. 230—248.*

эти или типы принадлежали чуждой, не русской жизни; это были—мутно-чувственная струя ложного классицизма, туманный романтизмъ, но всего больше байроновскіе типы Чайльд-Гарольда, Донъ-Жуана и т. д. Эти формы иной жизни, иныхъ народныхъ организмовъ, вызывали сочувствіе въ душѣ Пушкина, находили въ ней стихіи и силы для созданія соотвѣствующихъ идеаловъ. Это не было подражаніе, внѣшнее передразниваніе извѣстныхъ типовъ; это было ихъ дѣйствительное усвоеніе, ихъ переживаніе. Но вполнѣ и до конца природа поэта покориться имъ не могла. Обнаружилось то, что Григорьевъ называетъ *борьбою* съ типами, то есть, съ одной стороны, стремленіе отозваться на извѣстный типъ, довести до него своими душевными силами и, такимъ образомъ, помѣряться съ нимъ; съ другой стороны, неспособность живой и самобытной души вполнѣ отдаться типу, неудержимая потребность отнестись къ нему критически и даже обнаружить и признать въ себѣ законными сочувствія, вовсе несогласныя съ типомъ. Изъ такого рода борьбы съ чуждыми типами Пушкинъ всегда выходилъ *самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ*. Въ немъ въ первый разъ обособилась и ясно обозначилась наша русская фizioномія, истинная мѣра всѣхъ нашихъ общественныхъ, нравственныхъ и художественныхъ сочувствій, полный типъ русской души. Обособиться, характеризоваться—этотъ типъ могъ только въ томъ человѣкѣ, который, дѣйствительно, *жилъ* другими типами, но имѣлъ силу имъ не поддаться и поставить наравнѣ съ ними свой собственный типъ, смѣло узаконить желанія и требованія своей самобытной жизни. Оттого Пушкинъ и есть творецъ русской поэзіи и литературы, что въ немъ наше гиповое не только сказалось, но и выразилось, то есть облеклось въ высочайшую поэзію, поравнялось со всѣмъ великимъ, что онъ зналъ и на что отзывался своею великою душою. Поэзія Пушкина есть выраженіе идеальной русской натуры, помѣрявшейся съ идеалами другихъ народовъ.

Пробужденіе *русскаго душевнаго типа* съ его правами и требованіями можно найти во многихъ произведеніяхъ Пушкина. Одно изъ самыхъ важныхъ мѣстъ представляетъ тотъ отрывокъ изъ путешествія Онѣгина, въ которомъ говорится о *Тавридѣ* (попросту—о Крымѣ):



Воображенью край священный!  
 Съ *Атридомъ* спорилъ тамъ *Пиладъ*,  
 Тамъ закололся *Митридатъ*,  
 Тамъ пльзъ *Мицкевичъ* вдохновенный  
 И посреди прибрежныхъ скалъ  
 Свою Литву воспоминалъ.  
 Прекрасны вы, берега Тавриды,  
 Когда васъ видишь съ корабля,  
 При свѣтѣ утренней *Киприды*,  
 Какъ васъ въ первой увидѣлъ я!  
 Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачномъ:  
 На небѣ синемъ и прозрачномъ  
 Сіяли груди вашихъ горъ;  
 Долинъ, деревьевъ, селъ узоръ  
 Разостланъ былъ передо мною.  
 А тамъ, межъ хижинъ татаръ...  
 Какой во мнѣ проснулся жаръ!  
 Какой волшебною тоскою  
 Стѣснялась пламенная грудь!  
 Но, Муза! прошлое забудь.  
 Какія-бъ чувства ни таились  
 Тогда во мнѣ—теперь ихъ нѣтъ:  
 Они прошли иль измѣнились...  
 Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!  
 Въ ту пору мнѣ казались нужны  
 Пустыни, волнъ края жемчужны,  
 И моря шумъ, и груды скалъ,  
 И гордой дѣвы идеалъ,  
 И безымянныя страданья...  
 Другіе дни, другіе сны!  
 Смирились вы, моей весны  
 Высокопарныя мечтанья,  
 И въ поэтическій бокаль  
 Воды я много подмѣшалъ.  
 Пныя нужны мнѣ картины;  
 Люблю песчаный косогоръ,  
 Передъ избушкой дѣвъ рябины,  
 Калитку, сломанный заборъ,  
 На небѣ сѣренькія тучи,  
 Передъ шумномъ соломѣ кучи,  
 Да прудъ подъ тѣнью ивъ густыхъ—  
 Раздолье утокъ молодыхъ;  
 Теперь мила мнѣ балалайка,  
 Да пьяный топотъ тренака  
 Передъ пороюмъ кабака;

Мой идеаль теперь — хозяйка,  
 Мои желанія — покой,  
 Да щей юршокъ, да самъ большой.  
 Порой дождливою наредни,  
 Я, завернувъ на скотный дворъ...  
 Тьфу! прозаическія бредни,  
 Фламандской школы пестрый соръ!  
 Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?  
 Скажи, фонтанъ Бахчисарая,  
 Такія-ль мысли мнѣ на умъ  
 Навелъ твой безконечный шумъ,  
 Когда безмолвно предъ тобою  
 Зарему я воображалъ?

(Изд. Исакова, 1-е, т. III, стр. 217).

Что происходитъ въ душѣ поэта? Мы очень ошибемся, если найдемъ здѣсь какое-нибудь горькое чувство; бодрость и ясность духа слышны въ каждомъ стихѣ. Точно также, неправильно видѣть здѣсь насмѣшку надъ низменностію русской природы и русскаго быта; иначе можно бы, пожалуй, истолковать это мѣсто и совершенно наоборотъ, какъ насмѣшку надъ *высокопарными мечтаніями* юности, надъ тѣми временами, когда поэту *казались нужны безымянныя страданія*, и онъ *воображалъ себя* Зарему, слѣдуя Байрону, «отъ котораго тогда съ ума сходилъ» (см. тамъ же, т. IV, стр. 44).

Дѣло гораздо сложнее. Очевидно, въ поэтѣ рядомъ съ прежними идеалами возникаетъ что-то новое. Много есть предметовъ, которые издавна *священны для его воображенія*; и міръ греческій съ его Кипридою, Атридомъ, Пиладомъ; и римское геройство, съ которымъ боролся Митридатъ; и пѣсни чуждыхъ поэтовъ, Мицкевича, Байрона, внушившія ему *гордой дѣвы идеаль*; и картины южной природы, представляющей глазамъ въ *блескѣ брачномъ*. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, поэтъ чувствуетъ, что въ немъ заговорила любовь къ иному быту, къ иной природѣ. Этотъ *прудъ подъ снѣжною ивѣ густыкъ*, вѣроятно, тотъ самый прудъ, надъ которымъ онъ бродилъ,

Тоской и рѣчами томимъ,

и съ котораго спугивалъ утокъ *пѣньемъ сладкозвучныхъ стробъ* (см. Евг. Он. гл. четв. XXXV); этотъ простой бытъ,

въ которомъ веселье выражается *топотою трепака*, котораго идеаль—*хозяйка*, а желанія—*шей горшокъ, да самъ большой*: весь этотъ міръ, столь непохожій на то, что священо для воображенія поэта, вмѣстѣ, однако же, для него неотразимую привлекательность. «Поразительна», говоритъ Ап. Григорьевъ, — «эта простодушнѣйшая смѣсь ощущеній *самыхъ разнородныхъ—негодованія и желанія набросить на картину колоритъ самый сырой съ невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной красоты!*» «Эта выходка поэта—негодованіе на прозаизмъ и мелочность окружающей его обстановки, но вмѣстѣ и невольное *сознаніе того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою*,—что онъ въ душѣ остался какъ остатокъ послѣ всего броженія, послѣ всѣхъ напряженій, послѣ всѣхъ тщетныхъ попытокъ окамениться «въ байроновскихъ формахъ» (соч. Ап. Григорьева, т. I, стр. 249, 250).

Въ этомъ процессѣ, совершавшемся въ душѣ поэта, нужно отличать три момента: 1) пламенное и широкое сочувствіе всему великому, что онъ встрѣтилъ готовымъ и даннымъ, сочувствіе всѣмъ свѣтлымъ и темнымъ сторонамъ этого великаго; 2) невозможность вполне уйти въ эти сочувствія, окаменѣть въ этихъ чуждыхъ формахъ; поэтому—критическое отношеніе къ нимъ, протестъ противъ ихъ преобладанія; 3) любовь къ своему, къ русскому типовому, къ «своей почвѣ», какъ выразился Ап. Григорьевъ.

«Когда поэтъ», говоритъ этотъ критикъ,—«въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ очевидность всѣ эти, по видимому, совершенно противоположныя явленія, совершавшіяся въ его собственной натурѣ,—то, *прежде всего правдивый и искренній, онъ умалилъ себя, когда-то Пльвиника, Гирея, Алеко, до образа Ивана Петровича Бѣлкина...*» (тамъ же, стр. 251).

«Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Въ тонѣ и взглядѣ этого типа онъ рассказываетъ намъ многія добродушныя исторіи, между прочимъ, «Лѣтопись села



«Горохина» и семейную хронику Гриневыхъ, эту родоначалъ-  
«ницу всѣхъ теперешнихъ «семейныхъ хроникъ»» (стр. 248).

Что же такое Пушкинскій Бѣлкинъ?

«Бѣлкинъ есть простой здравый толкъ и здравое чув-  
ство, кроткое и смиренное,—вопиющее законно противъ зло-  
употребленія нами нашей широкой способности понимать и  
«чувствовать» (стр. 252). «Въ этомъ типѣ узаконивалась, и  
«притомъ только на время, только *отрицательно, крити-  
чески*, чисто типовая сторона» (тамъ же).

Протестъ противъ *высокопарныхъ мечтаній*, противъ  
увлеченія мрачными и блестящими типами, выразился у Пуш-  
кина любовью къ простымъ типамъ, способностію къ умѣрен-  
ному пониманію и чувствуванію. Одной поэзіи Пушкинъ про-  
тивопоставилъ другую, Байрону—Бѣлкина; будучи великимъ  
поэтомъ, онъ спустился со своей высоты и сумѣлъ такъ  
подойти къ бѣдной дѣйствительности, его окружавшей и не-  
волью имъ любимой, что она открыла ему всю поэзію, какая  
только въ ней была. Поэтому Ап. Григорьевъ вполне спра-  
ведливо могъ сказать:

«Всѣ простыя, не преувеличенныя юмористически и  
«не идеализированныя трагически отношенія литературы  
«къ окружающей дѣйствительности и къ русскому быту—по  
«прямой линіи ведутъ свое начало отъ взгляда на жизнь  
«Ивана Петровича Бѣлкина» (тамъ же, стр. 248).

Такимъ образомъ, Пушкинъ въ созданіи этого типа со-  
вершилъ величайшій поэтический подвигъ; ибо, чтобы пони-  
мать предметъ, нужно стать къ нему въ надлежащее отно-  
шеніе, и Пушкинъ нашелъ такое отношеніе къ предмету, ко-  
торый былъ вовсе неизвѣстенъ и требовалъ всей силы его  
зоркости и правдивости. «Капитанскую дочку» нельзя разска-  
зывать въ иномъ тонѣ и съ инымъ взглядомъ, чѣмъ какъ  
она разсказана. Иначе все въ ней будетъ искажено и извра-  
щено. Наше русское типовое, нашъ душевный типъ здѣсь въ  
первый разъ былъ воплощенъ поэзією, но явился въ столь  
простыхъ и малыхъ своихъ формахъ, что потребовалъ осо-  
баго тона и языка; Пушкинъ долженъ былъ *измѣнить*  
*возвышенный строй своей лиры*. Для тѣхъ, кто не по-  
нималъ смысла этой перемѣны, она показалась шалостью по-

эта, *недостойною* его гения; но мы видимъ теперь, что тутъ-то и обнаружилась гениальная широта взгляда и вполне самобытная сила творчества нашего Пушкина.

#### IV

Для ясности мы должны еще нѣсколько времени остановиться на этомъ предметѣ. Открытіе значенія Бѣлкина въ пушкинскомъ творествѣ составляетъ главную заслугу Ап. Григорьева. вмѣстѣ съ тѣмъ это была для него исходная точка, съ которой онъ объяснялъ внутренній ходъ всей послѣ-пушкинской художественной литературы. Такимъ образомъ, уже тогда, въ 1859 году, онъ видѣлъ въ настроеніи нашей литературы слѣдующіе главные элементы:

1) «Тщетныя усилія насильственно создать въ себѣ и «утвердить въ душѣ обаятельные призраки и идеалы чужой «жизни».

2) «Столь же тщетная борьба съ этими идеалами и «столь же тщетныя усилія вовсе отъ нихъ оторваться и замѣнить ихъ чисто-отрицательными и смиренными идеалами».

Уже тогда Аполлонъ Григорьевъ, слѣдую своей точкѣ зрѣнія, такъ опредѣлилъ Гоголя: «Гоголь явился только мѣр-кою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности, «*поэтомъ чисто-отрицательнымъ*: симпатій-же нашихъ «кровныхъ, племенныхъ, жизненныхъ онъ олицетворить не «могъ, во первыхъ, какъ малороссъ, а во вторыхъ, какъ уединенный и болѣзненный аскетъ» (тамъ же, стр. 240).

Весь же общій ходъ нашей литературы, ея существенное развитіе выражены Григорьевымъ такъ: «Въ Пушкинѣ на-долго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широко-кимъ очеркомъ, весь нашъ душевный процессъ—и тайна «этого процесса въ его слѣдующемъ, глубоко-душевно и «благодаря стихотворенію (Возрожденіе):

Художникъ варваръ кистью сонной  
Картину гения чернить,  
И свой рисунокъ беззаконный

На ней бессмысленно чертить.  
 Но краски чуждыя съ лѣтами  
 Спадаютъ ветхой чешуей,  
 Созданье генія предъ нами  
 Выходить съ прежней красотой.  
 Такъ исчезаютъ заблужденія  
 Съ измученной души моей,  
 И возникаютъ въ ней видѣнья  
 Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

«Этотъ процессъ со всеми нами въ отдѣльности и съ нашею общественною жизнью—совершался и понынѣ совершается. Кто не видитъ могучихъ произрастаній типоваго, кореннаго, народнаго—того при рода обдѣлила зрѣніемъ и вообще чутъемъ» (тамъ же, стр. 246).

Итакъ, изъ взгляда на Бѣлкина, изъ проникновенія въ смыслъ борьбы, совершавшейся въ Пушкинѣ, у Ап. Григорьева вытекаетъ взглядъ на русскую литературу, которымъ все ея произведенія связуются въ одну цѣпь. Каждое звено этой цѣпи можетъ служить доказательствомъ и повѣркою того, что дѣйствительно найдена ихъ взаимная связь. Каждый послѣ-пушкинскій писатель можетъ быть вполне объясненъ не иначе, какъ если мы примемъ въ основаніе общую мысль Ап. Григорьева. Уже тогда, отношеніе нашихъ современныхъ писателей къ Пушкину было формулировано нашимъ критикомъ въ слѣдующихъ общихъ чертахъ:

«Пушкинскій Бѣлкинъ», пишетъ Ап. Григорьевъ, «это тотъ Бѣлкинъ, который плачется въ повѣстяхъ Тургенева о томъ, что онъ—вѣчный Бѣлкинъ, что онъ принадлежитъ къ числу «лишнихъ людей» или «куцыхъ»,—которому въ Писемскомъ смерть хотѣлось бы (но совершенно тщетно) подемѣяться надъ блестящимъ и страстнымъ типомъ,—котораго хочетъ не въ мѣру и насильственно поэтизировать Толстой, и передъ которымъ даже Петръ Ильичъ драмы Островскаго: «Не такъ живи, какъ хочется»—смиряется... по крайней мѣрѣ до новой масляницы и до новой Груши» (тамъ же, стр. 252).



## V.

Мы говоримъ вещи, которыя многимъ должны показаться странными и неслыханными, которыя идутъ противъ предразсудковъ, давно установившихся и очень распространенныхъ. Но намъ кажется, что настало время высказать правду, — что мы уже можемъ сдѣлать это, не прибѣгая ни къ какимъ преувеличеніямъ и гаданіямъ, а основываясь на фактахъ, на томъ, что уже отошло въ исторію литературы, хотя и очень недавнюю. Для того, чтобы дать дѣлу полную опредѣленность и ясность, мы прервемъ здѣсь, однако же, аналитическій ходъ нашего разсужденія, и прямо выскажемъ нѣсколько общихъ положеній, способныхъ къ гораздо большому развитію, чѣмъ какое мы можемъ имъ дать въ настоящей статьѣ.

Ап. Григорьева мы считаемъ лучшимъ нашимъ критикомъ, дѣйствительнымъ основателемъ русской критики. Ему принадлежитъ единственный существующій у насъ *полный взглядъ* на русскую литературу, т. е. взглядъ, объемлющій одною мыслью всѣ ея явленія и направленія, — взглядъ, вѣрный до сихъ поръ, блистательно подтверждаемый такими произведеніями, какъ «Война и Миръ».

Обыкновенное понятіе, составившееся о нашей критикѣ, — другое. Лучшимъ нашимъ критикомъ признаютъ Бѣлинскаго, а продолжателями его дѣла считаютъ Добролюбова, Писарева и пр. Намъ слѣдуетъ хотя въ общихъ чертахъ характеризовать эту школу критиковъ, для того, чтобы яснѣе выставить, чѣмъ отличается отъ нея Григорьевъ и въ чемъ его заслуги.

Бѣлинскій сдѣлалъ чрезвычайно много для нашей критики. Онъ былъ первый необыкновенно-чуткій и безгранично-пламенный поклонникъ литературы; своимъ глубокимъ восторгомъ ко всему истинно-великому въ литературѣ и безпощадной враждою ко всему посредственному и мелкому, онъ поднялъ значеніе литературы, придавъ ей небывалый вѣсъ въ умахъ читателей, сдѣлалъ изъ художественной словесности и ея критики серіознѣйшее изъ серіозныхъ дѣлъ; но — по

несчастію—онъ же самъ, своими руками, сталъ разрушать зданіе, построенное съ такою любовью и составлявшее его истинную славу; а его усердные послѣдователи постарались довести до конца это разрушеніе, начатое ихъ учителемъ.

Если кто хочетъ видѣть Бѣлинскаго во всей силѣ его таланта, во всей правильности приложенія этого таланта, тотъ долженъ обратиться не къ послѣднимъ томамъ его сочиненій, а именно къ самымъ первымъ. Тутъ дышитъ безъ примѣси та страстная любовь къ художеству, которая составляла лучшій даръ критики. Онъ одинъ смѣлъ и умѣлъ относиться съ восторгомъ къ тому, на что другіе смотрѣли холодно или небрежно. Съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ Ап. Григорьевъ приводитъ въ своей статьѣ, на которую мы ссылались, одно мѣсто изъ «Литературныхъ Мечтаній», писанныхъ Бѣлинскимъ еще въ 1834 году. Остановившись надъ стихами Пушкина:

Порой опять гармоніей упьюсь,  
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,

Бѣлинскій говоритъ:

«Да, я свято вѣрю, что онъ (Пушкинъ) вполнѣ «раздѣлялъ безотрадную муку отверженной любви чернокой черкешенки или своей Татьяны, этого лучшаго и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, «вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою «тоскою души, пресыщенной наслажденіями и все еще «не вѣдавшей наслажденій; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности вмѣстѣ съ Заремою и Алеко, «и упивался дикою любовью Земфиры, что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его «стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... «Пусть скажутъ, что это—пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость; но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ «мистифируетъ «Библіотеку для чтенія», чѣмъ тому, что его «талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отрадно вѣрять и думать, что Пушкинъ подаритъ намъ новыя созданія, которыя будутъ выше прежнихъ»...

Какъ глубоко проникнуть критикъ созданіями поэта!

Какая вѣра въ то, что душа самого поэта разлита въ этихъ созданіяхъ и живетъ ихъ жизнью! Вотъ настоящее *живое* сочувствіе, которое требуется для пониманія поэтовъ и для ихъ критика!

Но прошло десять или одиннадцать лѣтъ, и какъ измѣнились отношенія критика къ поэту! Бѣлинскій уже толкуетъ о томъ, что человѣкъ развитой не можетъ чувствовать ревности,—уже не понимаетъ Татьяны, уже отвергаетъ самыя простыя и ясныя сочувствія поэта. По отношенію къ предмету нашей статьи, небезынтересно привести здѣсь сужденіе Бѣлинскаго о семействѣ Лариныхъ, съ которымъ мы уже ставили въ параллель семейство Ростовыхъ. Вотъ что говорилъ Бѣлинскій въ 1845 году:

«Вездѣ видите вы въ немъ (въ Пушкинѣ) человѣка, душою и тѣломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ нападаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчитъ гуманности; но принципъ класса для него—вѣчная истина... И потому въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ во второй главѣ и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ «Онѣгинѣ» многое устарѣло теперь» (соч. Бѣлинск., т. 8, стр. 8, 604).

Какое непониманіе! Какой рѣзкій и несправедливый выводъ, будто для Пушкина крѣпостное право—было вѣчною истинною! Въ какомъ дурномъ и мелкомъ смыслѣ была истолкована критикомъ та *любовь* къ простымъ и смиреннымъ типамъ, которая у Пушкина имѣла столь высокое значеніе и была вовсе независима отъ всякихъ правъ и сословныхъ принциповъ!

Что же случилось? Очевидно, умъ и вкусъ Бѣлинскаго были омрачены чѣмъ-то такимъ, что заслоняло отъ него дѣйствительный смыслъ произведеній поэта. Самъ критикъ даетъ намъ разгадку, замѣчая, что «Онѣгинъ» *устарѣлъ*. Очевидно, Бѣлинскій уже подвелъ Пушкина подъ какія-то требованія прогресса, уже пересталъ видѣть въ поэтѣ откровенія неизмѣнныхъ законовъ души, откровенія тайнъ человѣческаго



сердца вообще и русскаго въ особенности, а сталъ смотрѣть и измѣрять, насколько произведенія Пушкина *пригодны для потребностей настоящей минуты*. Критикъ, очевидно, жалѣеть, что Пушкинъ не сталъ обличителемъ крѣпостнаго права; между тѣмъ, тутъ нѣтъ ничего страннаго и досаднаго; у Пушкина были другія задачи, осмѣлимся сказать, гораздо болѣе широкія и важныя, и Бѣлинскій оказался въ положеніи того нѣмца, который, какъ рассказываетъ Карлейль, жаловался на солнце за то, что отъ него нельзя закурить сигарки.

Бѣлинскому выпала на долю та несчастная судьба, которой очень обыкновенно подвергаются русскіе люди. Онъ не имѣлъ твердыхъ взглядовъ, какихъ-нибудь прочныхъ основаній для своей умственной дѣятельности. Единственная его сила заключалась въ любви къ литературѣ и удивительномъ эстетическомъ вкусѣ. Когда же онъ пересталъ руководиться этой любовью и этимъ вкусомъ, онъ потерялъ всякую точку опоры и сталъ блуждать по вѣянію вѣтра.

Служеніе требованіямъ времени—вотъ то направленіе, которое тогда свирѣпствовало въ Европѣ и увлекло собою нашего критика. Это было нѣкоторое идолопоклонство передъ настоящею минутою,—слѣдствіе того узко-историческаго взгляда, который былъ извлеченъ изъ перетолкованной и доведенной до крайности системы Гегеля. Все прошлое тогда разсматривалось только, какъ приготовленіе къ настоящей минутѣ, и, какъ скоро не имѣло значенія *теперь же, сейчасъ*, почиталось вздоромъ, который слѣдовало отбрасывать и забывать. Люди воображали себя полными представителями всего разума, который содержится въ исторіи, полными распорядителями всего будущаго, къ которому идетъ человѣчество. Для нихъ ни въ чемъ не было тайнъ, и они ни откуда не ждали откровеній; они считали себя мѣрою всѣхъ желаній, всѣхъ потребностей, всѣхъ ожиданій человѣчества. Они вѣрили въ *общій разумъ* и въ *общій прогрессъ* этого разума. Отсюда, какъ необходимое слѣдствіе—невѣріе во все то, гдѣ дѣйствуютъ таинственныя силы, болѣе широкія и глубокія, чѣмъ разумъ *съ его бѣдными логическими доводами* (слова Л. Н. Толстаго),—невѣріе въ жизнь, которую они готовы были ломать и перестраивать по своимъ понятіямъ,—невѣріе въ на-

родное творчество, въ литературу, въ искусство, въ національность.

Вотъ къ этому-то направленію, господствовавшему на Западѣ, и по существу дѣла космополитическому, примкнулъ Бѣлинскій въ послѣднее время своей дѣятельности, примкнулъ по той жаждѣ истины, которая его отличала, и по отсутствію какихъ-нибудь иныхъ твердыхъ основъ для своей мысли. Понятно, что ничего добраго собственно для критики отсюда выйти не могло. Слѣдствіемъ было то, что Бѣлинскій не успѣлъ развить въ себѣ и не оставилъ намъ никакого полнаго, цѣльнаго взгляда на нашу литературу; онъ не завѣщалъ намъ мысли, которую слѣдовало бы развивать. Сужденіями его слѣдуетъ дорожить, такъ какъ они часто были внушаемы, помимо всякихъ теорій, живою любовью къ дѣлу и живымъ его пониманіемъ; но эти сужденія лишены связи и—потому—силы. Прямое же наслѣдство, оставленное намъ Бѣлинскимъ, заключается въ той злополучной теоріи прогресса, которую онъ такъ жарко проповѣдывалъ и которую его послѣдователи разработали съ величайшимъ усердіемъ. Для одного не только кое-что устарѣло въ Пушкинѣ, а весь Пушкинъ никуда не годится, другой забраковалъ Лермонтова, третій—Тургенева, четвертый—Кольцова и т. д. Словомъ, вся наша литература устарѣла, отстала, не содержитъ ничего годнаго и полезнаго *для настоящей минуты*, и современный русскій человѣкъ имѣетъ право наслаждаться только одними стихотвореніями г. Минаева и романами г. Рѣшетникова.

Люди, идущіе противъ силы вещей, становятся жертвами этой силы. Жизнь покрываетъ посмѣяніемъ тѣхъ, кто не вѣритъ въ нее, не прислушивается къ ней, а дерзко думаетъ согнуть ее подъ свою мѣрку. Бѣлинскій отказался отъ вѣры въ русскую литературу, и литература его не послушалась, она пошла путями, которыхъ онъ не ожидалъ и оставила въ сторонѣ своихъ мнимыхъ вожатаевъ. Самъ Бѣлинскій еще избѣгъ большихъ промаховъ и не испыталъ разочарованія; въ самые послѣдніе годы его великое критическое чутье подсказало ему вѣрную оцѣнку Тургенева, Гончарова, Ф. Достоевскаго, какъ значительныхъ талантовъ. Но что сдѣлали по-

слѣдователи Бѣлинскаго? Какъ они цѣнили старые и новые таланты, дѣйствовавшіе послѣ его смерти?

Явился, напримѣръ, Островскій и сразу занялъ видное мѣсто въ литературѣ. Когда, послѣ долгаго молчанія, западническая критика, наконецъ, возродилась подѣ перомъ Добролюбова, что она сдѣлала съ этимъ новымъ писателемъ? Она его *перетолковала* на свой ладъ. Въ знаменитой статьѣ «Темное царство» Добролюбовъ сдѣлалъ изъ Островскаго обличителя купцовъ, обнажителя тѣхъ безобразій, которыя наполняютъ ихъ бытъ. Такимъ образомъ, былъ совершенно искаженъ характеръ дѣятельности писателя. Островскій, какъ извѣстно, стремился вывести на сцену тѣ самобытные русскіе типы, которые—въ грубыхъ и искаженныхъ формахъ, но все-таки сохранились въ купеческомъ быту. И вся критическая дѣятельность Добролюбова была подобнымъ же перетолкованіемъ смысла художественныхъ произведеній въ пользу своей теоріи. Онъ подводилъ писателя подѣ свою идею, но дѣлалъ видъ, что писатель самъ подѣ нее подходитъ и къ ней стремится.

Впослѣдствіи, однако же, дѣло на этомъ не могло остановиться. Оказалось такое противорѣчіе между нашими художественными писателями и ихъ критиками, что о согласіи, хотя бы внѣшнемъ, и думать было невозможно. Нѣкоторые попробовали было поступать такъ: отрицать у того художника, который имъ не нравился, всякій художественный талантъ. Но этотъ смѣлый критическій пріемъ не имѣлъ успѣха. Такъ, напр., хотя и было напечатано, что г. Тургеневъ въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» обнаружилъ полное отсутствіе художественности, но это мнѣніе не нашло себѣ послѣдователей. Наконецъ, г. Писаревъ счелъ за болѣе простое и разумное—совершенно сбросить маску. Онъ сталъ прямо говорить: мнѣ нѣтъ никакого дѣла до направленія художника, до его взглядовъ и чувствій, а также и до его таланта; я, просто, возьму тѣ же жизненныя явленія, о которыхъ онъ говоритъ, и буду излагать читателю *свои* мысли.

Такимъ образомъ, между нашею художественною литературой и нашею критикой произошелъ полный разрывъ: фактъ давно замѣченный и совершенно выяснившійся. Работа на-



шихъ творческихъ талантовъ стала непонятною и чуждою для нашей критики: литература, по крайней мѣрѣ въ главныхъ, крупныхъ своихъ представителяхъ, не подчинилась тому направленію, которое ей указывали и, несмотря на яростные крики и вопли, дѣлала свое дѣло, гораздо болѣе глубокое, чѣмъ то, которое ей указывали ея недовольные руководители.

Писатель, о которомъ мы теперь говоримъ, гр. Л. Н. Толстой, сталъ являться со своими произведеніями также послѣ Бѣлинскаго, незадолго до упомянутого возрожденія западной критики. Разумѣется, онъ такъ же мало былъ понятъ, какъ и другіе; но замѣчательно и характеристично, что разрывъ между литературою и критикою здѣсь выступилъ еще явственнѣе. Гр. Л. Н. Толстого не только не поняли, но даже вовсе о немъ не говорили. Несмотря на то, что онъ былъ сразу замѣченъ, и каждое новое его произведеніе читалось съ жадностію, критика даже не перетолковала его, даже не чувствовала позыва говорить по поводу его свои мысли.

Былъ однако же человѣкъ, который все это время зорко видѣлъ движеніе литературы, правильно цѣнилъ дѣйствовавшіе таланты и понималъ смыслъ ихъ работы. Это былъ Ап. Григорьевъ. Въ 1862 году онъ написалъ двѣ статьи о гр. Толстомъ (см. *Время* 1862, янв. и сент.); а такъ какъ западная критика въ это время продолжала господствовать, то онъ, въ укоръ ей, поставилъ надъ этими статьями заглавіе: *явленія нашей литературы, пропущенныя критикой*. Въ своемъ письмѣ въ редакцію (см. *Эпоха* 1864, авг.) онъ наставлялъ, чтобы *непрѣменно* статьи шли подъ этимъ заглавіемъ, а надъ первою статьею выставилъ эпиграфъ: *Vox clamantis in deserto*, т. е. *Гласъ вопіющаго въ пустынь!*

## VI.

Общія начала критики Ап. Григорьева очень просты и общезвѣстны, или, по крайней мѣрѣ, должны быть почитаемы общезвѣстными. Это тѣ глубокія начала, которыя за-

вѣщаны намъ нѣмецкимъ идеализмомъ, единственною философіею, къ которой до сихъ поръ должны прибѣгать всѣ, желающіе понимать исторію или искусство. Этихъ началъ держатся, напримѣръ, Ренанъ, Карлейль; эти самыя начала въ послѣднее время съ такимъ блескомъ и съ немалымъ успѣхомъ приложилъ Тэнъ къ исторіи англійской литературы. Такъ какъ нѣмецкая философія, въ силу нашей отзывчивости и слабости нашего самобытнаго развитія, у насъ принялась гораздо раньше, чѣмъ во Франціи или въ Англіи, то немудрено, что нашъ критикъ давно уже держался тѣхъ взглядовъ, которые въ настоящую минуту составляютъ новость для Французовъ и впервые успѣшно распространяются между ними.

Въ общихъ чертахъ, какъ мы сказали, взгляды эти просты. Они состоятъ въ томъ, что каждое художественное произведеніе представляетъ отраженіе своего вѣка и своего народа,—что есть существенная неразрывная связь между настроеніемъ народа, его своеобразнымъ душевнымъ складомъ, событіями его исторіи, его нравамъ, религіею и пр. и тѣми созданіями, которыя производятъ художники этого народа. Принципъ національности господствуетъ въ искусствѣ и литературѣ, какъ и во всемъ. Видѣть связь литературы съ племенемъ, которому она принадлежитъ, найти отношеніе между литературными произведеніями и тѣми жизненными элементами, среди которыхъ они явились,—значить, понимать исторію этой литературы.

Замѣтимъ здѣсь же существенную разницу, которая отличаетъ Ап. Григорьева отъ другихъ критиковъ, ближайшимъ образомъ, напримѣръ, отъ Тэна. Для Тэна всякое художественное произведеніе есть не болѣе, какъ нѣкоторая *сумма* всѣхъ тѣхъ явленій, подъ которыми оно явилось: свойствъ племени, историческихъ обстоятельствъ и пр. Каждое явленіе есть не болѣе, какъ слѣдствіе предыдущихъ и основаніе послѣдующихъ. Григорьевъ же, вполнѣ признавая эту связь, видѣлъ еще, что всѣ явленія литературы имѣютъ одинъ общій корень,—что всѣ они суть частныя и временныя проявленія одного и того же духа. Въ данномъ народѣ художественныя произведенія представляютъ какъ бы многообразныя попытки

выразить все одно и то же—душевную сущность этого народа; въ цѣломъ же человѣчествѣ они составляютъ выраженіе вѣчныхъ требованій души человѣческой, ея неизмѣнныхъ законовъ и стремленій. Такимъ образомъ, въ частномъ и временномъ мы всегда должны видѣть только обособившееся и воплотившееся выраженіе общаго и неизмѣннаго.

Все это очень просто; эти положенія давно стали, особенно у насъ, ходячими фразами; отчасти сознательно, а болѣею частію бессознательно, они признаются почти всѣми. Но отъ общей формулы до ея приложенія еще далеко. Какъ бы твердо ни былъ убѣжденъ физикъ, что всякое явленіе имѣетъ свою причину, это убѣжденіе не можетъ быть намъ порукою, что онъ откроетъ причину хотя бы одного, самаго простаго явленія. Для открытія требуется изслѣдованіе, нужно близкое и точное знакомство съ явленіями.

Ал. Григорьевъ, разсматривая новую русскую литературу съ точки зрѣнія народности, видѣлъ въ ней *постоянную борьбу европейскихъ идеаловъ, чуждой нашему духу поэзіи, съ стремленіемъ къ самобытному творчеству, къ созданію чисто русскихъ идеаловъ и типовъ*. Опять—мысль въ своемъ общемъ видѣ очень ясная, очень простая и вѣроподобная. Зачатки этого взгляда можно найти у другихъ, у И. Кирѣевскаго, у Хомякова, ясно указывавшихъ на преобладаніе у насъ чуждыхъ идеаловъ, на необходимость и возможность для насъ своего искусства. У Хомякова въ особенности встрѣчаются истинно-глубокомысленныя, поразительно вѣрныя замѣчанія о русской словесности, разсматриваемой съ точки зрѣнія народности. Но это не болѣе, какъ общія замѣчанія, притомъ не чуждыя односторонности. Странное дѣло! Отъ глазъ этихъ мыслителей, въ силу самой высоты ихъ требованій, ускользнуло именно то, что должно бы ихъ всего болѣе радовать; они не видѣли, что борьба своего съ чужеземнымъ уже давно началась,— что искусство, въ силу своей всегдашней чуткости и правдивости, предупредило отысканную мысль.

Для того, чтобы видѣть это, недостаточно было глубокихъ общихъ взглядовъ, яснаго теоретическаго пониманія существенныхъ вопросовъ; нужна была непоколебимая вѣра въ



искусство, пламенная страсть къ его произведеніямъ, сліяніе своей жизни съ тою жизнью, которая разлита въ нихъ. Таковъ и былъ Ап. Григорьевъ, человѣкъ до конца своей жизни оставшійся неизмѣнно преданнымъ искусству, не подчинявшій его чуждымъ для него теоріямъ и взглядамъ, а напротивъ—отъ него ждавшій откровеній, въ немъ искавшій *новаго слова*.

Трудно представить себѣ человѣка, у котораго бы его литературное призваніе еще тѣснѣе сливалось съ самою жизнью. Въ своихъ «Литературныхъ Скитальчествахъ» вотъ что онъ говоритъ о своихъ университетскихъ годахъ:

«Юность, настоящая юность, началась для меня поздно, «а это было что-то среднее между отрочествомъ и юностію. «Голова работаетъ, какъ паровая машина, скачетъ во всю «прыть къ оврагамъ и безднамъ, а сердце живетъ только «мечтательною, книжною, напускною жизнью. *Точно не я «это живу, а разные образы литературы во мнѣ жи- «вуть*. На входномъ порогѣ этой эпохи написано: «Москов- «скій университетъ» послѣ преобразования 1836 года,—уни- «верситетъ Рѣдкина, Крылова, Морощкина, Крюкова, универ- «ситетъ таинственнаго гегелизма съ тяжелыми его формами «и стремительной, рвущейся неодолимо впередъ силой,—уни- «верситетъ Грановскаго»...

За Московскимъ университетомъ слѣдовалъ Петербургъ и первая эпоха литературной дѣятельности, затѣмъ—опять Москва и вторая эпоха дѣятельности, болѣе важная. Объ ней онъ говоритъ такъ:

«Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая «молодость, съ жаждой настоящей жизни, съ тяжкими уро- «ками и опытами. Новыя встрѣчи, новые люди,—люди, въ «которыхъ нѣтъ ничего или очень мало книжнаго,—люди, «которые «продергиваютъ» въ самихъ себѣ и въ другихъ «все напускное, все подогрѣтое, и носятъ въ душѣ безпри- «тязательно, наввно до безсознательности, вѣру въ народъ и «народность. *Все «народное» даже мѣстное* (т. е. Москов- «ское), что окружало мое воспитаніе, *все, что я на время «уснулъ почти заглушилъ въ себѣ, отдавшись могу- «щественнымъ вѣяніямъ науки и литературы*, подни- «мается въ душѣ съ неожиданною силой и растетъ, растетъ

«до фанатической исключительной вѣры, до нетерпимости, до пропаганды...»

Двухгодичное пребываніе за границею, слѣдовавшее за этою эпохою, произвело новый *переломъ* въ душевной и умственной жизни критика.

«Западная жизнь», говоритъ онъ, — «во очію развертывается предо мною чудесами своего великаго прошедшаго, и «вновь дразнить, поднимаетъ, увлекаетъ. *Но не сломилась и въ этомъ живомъ столкновеніи вѣра въ свое, въ народное. Смягчило оно только фанатизмъ вѣры*». (Время 1862, дек.).

Вотъ въ краткихъ чертахъ тотъ процессъ, въ которомъ сложились убѣжденія нашего критика и по окончаніи котораго были имъ написаны первыя статьи о Пушкинѣ. Ап. Григорьевъ пережилъ увлеченіе западными идеалами и возвращеніе къ своему, къ народному, неистребимо жившему въ его душѣ. Поэтому, онъ съ величайшею ясностію видѣлъ въ развитіи нашего искусства всѣ явленія, всѣ фазисы той *борьбы*, о которой мы говорили. Онъ превосходно знаетъ, какъ дѣйствуютъ на душу типы, созданные чужимъ художествомъ, — какъ душа стремится принять формы этихъ типовъ и въ какомъ-то снѣ и броженіи живетъ ихъ жизнью, — какъ вдругъ она можетъ очнуться отъ этого лихорадочно-тревожнаго сна и, оглянувшись на божій свѣтъ, *встряхнуть кудрями и почувствовать себя свяжею и молодою, такою же, какою она была до увлеченія призраками...* Искусство приходитъ затѣмъ въ нѣкоторый разладъ съ самимъ собою; оно то подсмѣивается, то сожалеетъ, то даже впадаетъ въ яркое негодованіе (Гоголь), но съ непобѣдимой силою обращается къ русской жизни и начинаетъ въ ней искать своихъ типовъ, своихъ идеаловъ.

Ближе и точнѣе процессъ этотъ обнаруживается въ тѣхъ результатахъ, которые изъ него получились. Григорьевъ показалъ, что къ чужимъ типамъ, господствовавшимъ въ нашей литературѣ, принадлежитъ почти все то, что носитъ на себѣ печать *героическаго*, — типы блестящіе или мрачные, но во всякомъ случаѣ сильные, страстные, или, какъ выражался нашъ критикъ, *хищные*. Русская же натура, нашъ душевный

типъ явился въ искусствѣ прежде всего въ типахъ *простыхъ и смиренныхъ*, по видимому, чуждыхъ всего героическаго, какъ Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, Максимъ Максимычъ у Лермонтова и пр. Наша художественная литература представляетъ непрерывную борьбу между этими типами, стремленіе найти между ними правильныя отношенія,—то развѣнчиваніе, то превознесеніе одного изъ двухъ типовъ, хищнаго или смирнаго. Такимъ образомъ, напримѣръ, одна сторона дѣятельности Гоголя сводится Ап. Григорьевымъ на слѣдующую формулу:

«Героическаго нѣтъ уже въ душѣ и жизни: что кажется героическимъ, то въ сущности—Хлестаковское или Поприщинское...»

«Но странно», прибавляетъ критикъ, «что никто не постудился спросить себя, *какого* именно героическаго нѣтъ больше въ душѣ и въ натурѣ—и въ *какой* натурѣ его нѣтъ? Предпочли нѣкоторые или стоять за героическое, уже осмѣянное (и замѣчательно, что за героическое стояли господя, болѣе склонныя къ практически-юридическимъ толкамъ въ литературѣ), или стоять за натуру».

«Не обратили вниманіе на обстоятельство весьма простое. Со временъ Петра Великаго народная натура примѣривала на себя выдѣланныя формы героическаго, выдѣланныя не ею. Кафтаны оказывались то узокъ, то коротокъ; нашлась горсть людей, которые кое-какъ его напялили и стали преважно въ немъ расхаживать. Гоголь сказалъ всѣмъ, что они щеголяютъ въ чужомъ кафтанѣ—и этотъ кафтанъ сидишь на нихъ, какъ на коровѣ сѣдло. Изъ этого слѣдовало только то, что нуженъ другой кафтанъ по мѣркѣ толщины и роста, а вовсе не то, чтобы вовсе остаться безъ кафтана, или продолжать пялить на себя кафтанъ изношенный» (соч. Ап. Григорьева, I, стр. 332).

Что же касается до Пушкина, то онъ не только первый почувствовалъ вопросъ во всей его глубинѣ, не только первый вывелъ по всей правдѣ русскій типъ смирнаго и благодушнаго человѣка, но, въ силу высокой гармоніи своей гениальной натуры, первый же указалъ правильное отношеніе къ хищному типу. Онъ не отрицалъ его, не думалъ его развѣнчивать; какъ примѣры чисто-русскаго страстнаго и спль-



наго типа, Григорьевъ приводилъ Пугачева въ «Капитанской дочкѣ», «Русалку». Въ Пушкинѣ борьба имѣла самый правильный характеръ, такъ какъ его гений ясно и спокойно чувствовалъ себя равнымъ всему великому, что было и есть на землѣ; онъ былъ, какъ выражается Григорьевъ, «заклинатель и властелинъ» тѣхъ многообразныхъ стихій, которыя въ немъ возбуждались чуждыми идеалами.

Вотъ въ краткомъ очеркѣ направление Григорьева и тотъ взглядъ, котораго онъ достигъ, слѣдуя этому направленію. Взглядъ этотъ до сихъ поръ сохраняетъ свою силу, до сихъ поръ оправдывается всѣми явленіями нашей литературы. Русскій художественный реализмъ начался съ Пушкина. Русскій реализмъ не есть слѣдствіе оскудѣнія идеала у нашихъ художниковъ, какъ это бываетъ въ другихъ литературахъ, а напротивъ—слѣдствіе усиленнаго исканія чисторусскаго идеала. Всѣ стремленія къ натуральности, къ строжайшей правдѣ, всѣ эти изображенія лицъ малыхъ, слабыхъ, больныхъ, тщательное уклоненіе отъ преждевременнаго и неудачнаго созданія героическихъ лицъ, казнь и развѣчиваніе разныхъ типовъ, имѣющихъ притязаніе на героизмъ, всѣ эти усилія, вся эта тяжелая работа, имѣютъ себѣ цѣлью и надеждою—узрѣть нѣкогда русскій идеалъ во всей его правдѣ и въ необманчивомъ величіи. И до сихъ поръ идетъ борьба между нашими сочувствіями къ простому и доброму человѣку и неизбѣжными требованіями чего-то высшаго, съ мечтою о могучемъ и страстномъ типѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое «Дымъ» Тургенева, какъ не отчаянная новая схватка художника съ хищнымъ типомъ, который онъ такъ явно хотѣлъ бы заклеить и унизить въ лицѣ Прины? Что такое Литвиновъ, какъ не типъ смирнаго и простаго человѣка, на сторонѣ котораго, очевидно, всѣ сочувствія художника, и который однако же, въ сущности, позорно пасуетъ въ столкновеніи съ хищнымъ типомъ?

Наконецъ, самъ гр. Л. Н. Толстой не явно ли стремится возвести въ идеалъ именно простаго человѣка? «Война и Миръ», эта огромная и пестрая эпопея—что она такое, какъ не апофеоза смирнаго русскаго типа? Не тутъ ли рассказано, какъ, наоборотъ, хищный типъ спасовать передъ смиреннымъ,—

какъ на Бородинскомъ полѣ простые русскіе люди побѣдили все, что только можно представить себѣ самаго героическаго, самаго блестящаго, страстнаго, сильнаго, хищнаго, т. е. Наполеона I и его армію?

Читатели видятъ теперь, что наши отступленія, касавшіяся Пушкина, нашей критики и Ап. Григорьева, были не только умѣстны, а даже совершенно необходимы, такъ какъ все это тѣснѣйшимъ образомъ связано съ нашимъ предметомъ. Скажемъ прямо, что, объясняя *частный* характеръ «Войны и Мира», то есть самую существенную и трудную сторону дѣла, мы не могли бы быть оригинальными, даже если бы этого желали. Такъ вѣрно и глубоко указаны Ап. Григорьевымъ существеннѣйшія черты движенія нашей литературы, и такъ мало мы чувствуемъ себя въ силахъ тягаться съ нпмъ въ критическомъ пониманіи.

---

## VII.

Исторія художественной дѣятельности гр. Л. Н. Толстаго, которую всю вплоть до «Войны и Мира» еще засталъ и успѣлъ оцѣнить нашъ единственный критикъ, замѣчательна въ высокой степени. Теперь, когда мы видимъ, что эта дѣятельность привела къ созданію «Войны и Мира», мы еще яснѣе понимаемъ ея важность и характеръ, яснѣе можемъ видѣть и правильность указаній Ап. Григорьева. И обратно, прежнія произведенія гр. Л. Н. Толстаго всего прямѣе приводятъ насъ къ пониманію частнаго характера «Войны и Мира».

Это можно сказать вообще о каждомъ писателѣ; у каждаго есть связь настоящаго съ прошлымъ, и одно другимъ поясняется. Но оказывается, что ни у одного изъ нашихъ художественныхъ писателей эта связь не имѣетъ такой глубины и крѣпости,—что ничья дѣятельность не представляетъ большей стройности и цѣльности, чѣмъ дѣятельность гр. Л. Н. Толстаго. Онъ выступилъ на свое поприще вмѣстѣ съ Островскимъ и Писемскимъ: онъ явился со своими произве-

деніями немногимъ позже Тургенева, Гончарова, Достоевскаго. Но между тѣмъ, какъ всѣ его сверстники по литературѣ давно уже высказались, давно обнаружили наибольшую силу своего таланта, такъ что можно было исполнѣ судить о его мѣрѣ и направленіи,—гр. Л. Н. Толстой все продолжалъ упорно работать надъ своимъ дарованіемъ и исполнѣ развернулъ его сплу только въ «Войнѣ и Мирѣ». Это было медленное и трудное созрѣваніе, которое дало тѣмъ болѣе сочный и огромный плодъ.

Всѣ предыдущія произведенія гр. Л. Н. Толстаго суть не болѣе, какъ *этюды*, наброски и попытки, въ которыхъ художникъ не имѣлъ въ виду какого-нибудь цѣльнаго созданія, полного выраженія своей мысли, законченной картины жизни, какъ онъ ее понималъ,—а только разработку частныхъ вопросовъ, отдѣльныхъ лицъ, особенныхъ характеровъ, или даже особенныхъ душевныхъ состояній. Возьмите, на примѣръ, рассказъ «Мятедь»; очевидно, все вниманіе художника и весь интересъ рассказа сосредоточивается на тѣхъ странныхъ и едва уловимыхъ ощущеніяхъ, которыя испытываетъ человекъ, заносимый снѣгомъ, безпрестанно засыпающій и просыпающійся. Это простой этюдъ съ натуры, подобный тѣмъ этюдамъ, на которыхъ живописцы изображаютъ клочекъ поля, кустарникъ, часть рѣчки при особенномъ освѣщеніи и трудно передаваемомъ состояніи воды и пр. Такой характеръ, въ большей или меньшей степени, имѣютъ всѣ прежнія произведенія гр. Л. Н. Толстаго, даже тѣ, которыя имѣютъ нѣкоторую внѣшнюю цѣльность. «Казакѣ», на примѣръ, по видимому, представляютъ полную и мастерскую картину жизни казацкой станицы; но гармонія этой картины, очевидно, нарушена тѣмъ огромнымъ мѣстомъ, которое въ ней дано чувствамъ и волненіямъ Оленина; вниманіе автора слишкомъ односторонне направлено въ эту сторону и, вмѣсто стройной картины, выходитъ *этюдъ изъ душевной жизни* нѣкотораго московскаго юноши. Такимъ образомъ, «совершенно органическими, живыми созданіями» Ап. Григорьевъ признавалъ у гр. Л. Н. Толстаго только «Семейное счастье» и «Военные рассказы». Но теперь, послѣ «Войны и Мира» мы должны измѣнить это мнѣніе. «Военные рассказы», казав-



шіея критику *вполнѣ органическими* произведеніями, оказываются, въ сравненіи съ «Войною и Миромъ», тоже не болѣе, какъ этюдами, приготовительными набросками. Остается, слѣдовательно, только одно «Семейное счастье», романъ, который по простотѣ своей задачи, по ясности и отчетливости ея разрѣшенія, дѣйствительно, составляетъ вполнѣ живое цѣлое. «Это произведеніе—тихое, глубокое, простое и высоко-поэтическое, съ отсутствіемъ всякой эффектности, съ прямымъ и леломаннымъ поставленіемъ вопроса о переходѣ чувства страсти въ иное чувство». Такъ говоритъ Ап. Григорьевъ.

Если же это справедливо, если дѣйствительно, за однимъ исключеніемъ, до «Войны и Мира» гр. Л. Н. Толстой дѣлалъ только этюды, то спрашивается, изъ-за чего бился художникъ, какія задачи его задерживали на пути творчества? Легко убѣдиться, что въ немъ все это время происходила нѣкоторая борьба, совершался нѣкоторый трудный душевный процессъ. Ап. Григорьевъ хорошо это видѣлъ и въ своей статьѣ утверждалъ, что этотъ процессъ еще не кончился; мы видимъ теперь, какъ справедливо это мнѣніе: душевный процессъ художника завершился или, по крайней мѣрѣ, значительно созрѣлъ не прежде, какъ съ созданіемъ «Войны и Мира».

Въ чемъ же дѣло? Существенною чертою внутренней работы, происходившей въ гр. Л. Н. Толстомъ, Ап. Григорьевъ считаетъ *отрицаніе* и относитъ эту работу къ тому *отрицательному процессу*, который начался уже въ Пушкинѣ. Именно—отрицаніе *всего наноснаго, напускнаго въ нашемъ развитіи*,—вотъ что господствовало въ дѣятельности гр. Л. Н. Толстаго вплоть до «Войны и Мира».

Итакъ, внутренняя борьба, совершавшаяся въ нашей поэзіи, получила отчасти новый характеръ, котораго она еще не имѣла во время Пушкина. Критическое отношеніе прилагается уже не просто къ «высокопарнымъ мечтаніямъ», но къ тѣмъ душевнымъ настроеніямъ, когда поэтъ «казался нужны»

Пустыни, волнъ края жемчужны,  
И гордой дѣвы идеаль,  
И безымянныя страданья.

Теперь правдивый взглядъ поэзіи устремленъ уже на самое наше общество, на дѣйствительныя явленія, въ немъ совершающіяся. Въ сущности, впрочемъ, это тотъ же самый процессъ. Люди никогда не жили и никогда не будутъ жить иначе, какъ подъ властью идей, подъ ихъ руководствомъ. Какое бы ничтожное по содержанію общество мы ни вообразили, заправлять его жизнью всегда будутъ нѣкоторыя понятія, можетъ быть, извращенныя и смутныя, но все-таки не могущія утратить своей идеальной природы. Итакъ, критическое отношеніе къ обществу есть въ сущности борьба съ идеалами, которые въ немъ живутъ.

Процессъ этой борьбы ни у кого изъ нашихъ писателей не изложенъ съ такою глубокою искренностію и правдивою отчетливостію, какъ у гр. Л. Н. Толстаго. Герои его прежнихъ произведеній обыкновенно мучатся этою борьбою, и рассказъ о ней составляетъ существенное содержаніе этихъ произведеній. Для примѣра возьмемъ то, что одинъ изъ нихъ, Николай Иртеньевъ, пишетъ въ главѣ, носящей французское заглавіе „comme il faut“.

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ то время, о которомъ я пишу, было—на людей *comme il faut* и «на *comme il ne faut pas*. Второй родъ подраздѣлялся еще «на людей собственно не *comme il faut* и простой народъ. «Людей *comme il faut* я уважалъ и считалъ достойными «имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, «что презираю, *но въ сущности ненавиждъ ихъ, питая «къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; «третьи для меня не существовали—я ихъ презиралъ «совершенно».*

«Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ «братъ, мать или отецъ, которые бы не были *comme il faut*, я бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужъ «тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего «общаго».

Вотъ какова можетъ быть сила французскихъ и пныхъ понятій, и вотъ одинъ изъ яркихъ образцовъ той общественной фальши, среди которой росли герои гр. Л. Н. Толстаго.

«Я зналъ и знаю», заключаетъ Николай Иртеньевъ,

«очень, очень много людей *старыхъ, гордыхъ, самоуверенныхъ, рязкихъ въ сужденіяхъ*, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой? И что ты тамъ дѣлалъ?», не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ: *je fus un homme très comme il faut*».

*«Эта участь ожидала меня» \*)*.

Вышло, однако же, совершенно другое, и въ этомъ внутреннемъ поворотѣ, въ томъ тяжкомъ перерожденіи, которое совершаютъ надъ собою эти юноши, заключается величайшая важность. Вотъ что говорить объ этомъ Ап. Григорьевъ:

«Душевный процессъ, который раскрывается намъ въ «Дѣтствѣ и Отрочествѣ» и первой половинѣ «Юности», — процессъ *необыкновенно-оригинальный*. Герой этихъ замѣчательныхъ психологическихъ этюдовъ родился и воспитался въ средѣ общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она въ сущности не имѣетъ реального бытія, — въ сферѣ, такъ называемой, аристократической, въ сферѣ высшаго свѣта. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина — самый крупный свой фактъ — и нѣсколько болѣе мелкихъ явленій, каковы герои разныхъ великосвѣтскихъ повѣстей. *Удивительно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательно то, что изъ нея, этой узкой сферы, выходитъ, т. е. отрывается отъ нея посредствомъ анализа, герой разсказовъ Толстаго*. Вѣдь, не вышелъ же изъ нея, несмотря на весь свой умъ, Печоринъ; не вышли же изъ нея герои графа Саллогуба и г-жи Евгеніи Туръ!.. А съ другой стороны, становится понятнымъ, когда читаешь этюды Толстаго, какимъ образомъ, *несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила въ себѣ живую струю народной, широкой и общей жизни*, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать, и временами даже съ нею отождествляться».

Итакъ, внутренняя работа художника имѣла необыкновенную силу, необыкновенную глубину и дала результатъ не-

\*) Сочиненія графа Л. Н. Толстаго. Спб. 1864 ч. I, стр. 123.



сравненно высшій, чѣмъ у многихъ другихъ писателей. Зато какая же это была тяжелая и продолжительная работа! Укажемъ здѣсь хотя на главнѣйшія ея черты.

Прежніе герои гр. Л. Н. Толстаго обыкновенно питали въ себѣ очень сильный и совершенно неопредѣленный идеализмъ, т. е. стремленіе къ чему-то высокому, прекрасному, доблестному безъ всякихъ формъ и очертаній. Это были, какъ выражается Ап. Григорьевъ, «идеалы на воздухѣ, созиданіе «сверху, а не снизу,—то, что погубило нравственно и даже «физически Гоголя». Но этими воздушными идеалами герои гр. Л. Н. Толстаго не удовлетворяются, не останавливаются на нихъ, какъ на чемъ-то несомнѣнномъ. Напротивъ, начинается двойная работа: во первыхъ, анализъ существующихъ явленій и доказательство ихъ несостоятельности передъ идеалами; во вторыхъ, *упорное, неутомимое исканіе такихъ явленій дѣйствительности, въ которыхъ бы идеалъ осуществлялся.*

Анализъ ходожника, направленный къ обличенію всякаго рода душевной фальши, поразителенъ своею тонкостію, и онъ-то преимущественно бросился въ глаза читателямъ. «Анализъ», пишетъ Ап. Григорьевъ, «развивается рано въ «героѣ «Дѣтства, Отрочества» и «Юности» и подкапывается «глубоко подъ основы всего того условнаго, чѣмъ онъ окруженъ,—того условнаго, что въ немъ самомъ». «Онъ роется «терпѣливо и безпощадно-строго въ каждомъ собственномъ «чувствѣ, даже въ томъ самомъ, которое по виду кажется со «вершено святымъ (глава *Исповѣдь*),—уличаетъ каждое «чувство во всемъ, что въ чувствѣ *сдѣлано*, даже напередъ «ведетъ каждую мысль, каждую дѣтскую или отроческую мечту «до ея крайнихъ граней. Вспомните, напримѣръ, мечты героя «*Отрочества*, когда его заперли въ темную комнату за непослушаніе гувернеру. Анализъ въ своей безпощадности за- «ставляетъ душу признаться себѣ въ томъ, въ чемъ стыдно «себѣ самому признаваться».

«Та же безпощадность анализа руководить героя и въ «*Юности*. Поддаваясь своей условной сферѣ, принимая даже «ея предразсудки, онъ постоянно *казнитъ самого себя* и «изъ этой казни выходитъ побѣдителемъ».

Такимъ образомъ, сущность этого процесса заключается въ «казни, совершаемой имъ надъ всѣмъ фальшивымъ, чисто «сдѣланнымъ въ ощущеніяхъ современнаго человѣка, который «Лермонтовъ суетвѣрно обоготворилъ въ своемъ Печоринѣ». «Анализъ Толстаго дошелъ до глубочайшаго невѣрія во всѣ *«приподнятыя, необыденныя чувства души человѣческой въ извѣстной сферѣ. Онъ разбилъ готовые, сложившіеся, «отчасти чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи».*

По отношенію къ такимъ чисто-фальшивымъ явленіямъ, анализъ Толстаго, замѣчаетъ далѣе Ап. Григорьевъ, «правъ «вполнѣ,—правѣе, чѣмъ анализъ Тургенева, иногда, и даже «нерѣдко, кающій нашимъ фальшивымъ сторонамъ, и съ «другой стороны—правѣе, чѣмъ анализъ Гончарова, ибо *«каз-  
«нитъ во имя глубокой любви къ правдѣ и искрен-  
«ности ощущеній, а не во имя узкой бюрократической  
«практичности».*

Такова чисто-отрицательная работа художника. Но сущность его таланта обнаруживается гораздо янѣе въ положительныхъ сторонахъ его работы. Идеализмъ не внушаетъ ему ни презрѣнія къ дѣйствительности, ни вражды къ ней. Напротивъ, художникъ смиренно вѣритъ, что дѣйствительность содержитъ въ себѣ истинно прекрасныя явленія; онъ не довольствуется созерцаціемъ воздушныхъ идеаловъ, существующихъ только въ его душѣ, а упорно ищетъ хотя бы частнаго и неполнаго, но на дѣлѣ во очію существующаго воплощенія идеала. На этомъ пути, по которому онъ идетъ съ неизмѣнной правдивостію и зоркостію, онъ приходитъ къ двумъ выходамъ: или ему—въ видѣ слабыхъ искръ попадаются явленія, болѣею частію, слабыя и мелкія, въ которыхъ онъ готовъ видѣть осуществленіе своихъ заветныхъ думъ, или же онъ не довольствуется этими явленіями, утомляется своими безплодными исканіями и приходитъ въ отчаяніе.

Герои гр. Л. Н. Толстаго иногда прямо представлены какъ-будто бродящими по свѣту, по казацкимъ станицамъ, деревнямъ, петербургскимъ шпичъ-баламъ и пр. и старающимися разрѣшить вопросъ: есть ли на свѣтѣ истинная доблесть, истинная любовь, истинная красота души человѣческой? И вообще, начиная даже съ дѣтства, они невольно останав-

ливаютъ свое вниманіе на случайно попадающихся имъ явленійхъ, въ которыхъ имъ открывается какая-то другая жизнь, простая, ясная, чуждая испытываемаго ими колебанія и раздвоенія. Эти явленія они принимаютъ за то, чего искали. «Анализъ», говоритъ Ан. Григорьевъ, «доходя до явленій, ему неподдающихся, передъ ними останавливается. Въ этомъ отношеніи въ высокой степени замѣчательны главы *о нянь*, *о любви Маши къ Василью*, и въ особенности глава *о «юродивомъ»*, въ которой анализъ сталкивается съ явленіемъ, «составляющимъ и въ самой пародіи простой жизни нѣчто «рѣдкое, исключительное, эксцентрическое. Всѣ эти явленія «анализъ противопоставляетъ всему условному, его окружающему».

«Въ *Военныхъ разсказахъ*, въ разсказѣ *Встрѣча въ отрядѣ*, въ *Двухъ гусакахъ* — анализъ продолжаетъ свое дѣло. Останавливаясь передъ всѣмъ, что ему не поддается, и переходя тутъ — то въ пафосъ передъ громадно-грандіознымъ, какъ Севастопольская эпопея, то въ изумленіе передъ всѣмъ смиренно-великимъ, какъ смерть Валентука, или капитанъ Хлоповъ, онъ безпощаденъ ко всему «искусственному и сдѣланному, является ли оно въ буржуазномъ штабс-капитанѣ Михайловѣ, въ кавказскомъ ли героѣ «à la Марлинскій, въ совершенно ли ломанной личности юнкера въ разсказѣ *Встрѣча въ отрядѣ*».

Эта трудная, копотливая работа художника, это упорное исканіе истинно-свѣтлыхъ точекъ въ сплошномъ сумракѣ сѣрой дѣйствительности долго, однако же, не даетъ никакого прочнаго результата, даетъ только намеки и отрывочныя указанія, а не цѣльный, ясный взглядъ. И часто художникъ утомляется, часто на него находитъ отчаяніе и невѣріе въ то, чего онъ ищетъ. Часто онъ впадаетъ въ апатію. Оканчивая одинъ изъ севастиопольскихъ разсказовъ, въ которомъ онъ жадно искалъ и, по видимому, не нашелъ явленій *истинной доблести* въ людяхъ, художникъ съ глубокой искренностію говорить:

«*Тяжелое раздумье одолеваетъ меня. Можетъ быть, не «надо было говорить этого, можетъ быть то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ злыхъ истинъ,*



«которые, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны «быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ «осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его».

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? *«Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны»* \*).

Поэтъ часто и съ удивительною глубиною высказывалъ свое отчаяніе, хотя этого и не замѣтили читатели, вообще мало расположенные къ подобнымъ вопросамъ и чувствамъ. Такъ, напримѣръ, отчаяніе слышно въ «Люцернѣ», «Альбертѣ» и еще раньше—въ «Запискахъ маркера». «Люцернѣ», какъ замѣчаетъ Ап. Григорьевъ, «представляетъ очевидное выраженіе пантеистической скорби за жизнь и ея идеалы, за все сколько-нибудь искусственное и сдѣланное въ душѣ человѣческой». Еще яснѣе и рѣзче та же мысль высказана въ «Трехъ смертяхъ». Тутъ смерть дерева является для художника самою нормальною. «Она поставлена сознаниемъ», говоритъ Ап. Григорьевъ, «выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простаго человѣка». Наконецъ, само «Семейное счастье» выражаетъ, по замѣчанію того же критика, «суровую покорность судьбѣ, не падающей цвѣта человѣческихъ чувствъ».

Такова тяжкая борьба, совершавшаяся въ душѣ поэта, таковы физисы его долгаго и неутомимаго исканія идеала въ дѣйствительности. Немудрено, что посреди этой борьбы онъ не могъ производить стройныхъ художественныхъ созданій,—что его анализъ имѣлъ часто характеръ напряженный до болѣзненности. Только великая художественная сила была причиною,—что этюды, порождаемые столь глубокою внутреннею работою, сохранили на себѣ печать неизмѣнной художественности. Художника поддерживало и укрѣпляло высокое стремленіе, съ такою силой высказанное имъ въ концѣ того самаго разсказа, изъ котораго мы выписали его *тяжелое раздумье*.

\*) Сочин. гр. Л. Н. Толстаго, ч. II, стр. 61.

«Герой моей повѣсти», говоритъ онъ, *«герой несомнѣнный, котораго я люблю всѣми силами души, котораго «старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда».*

*Правда* есть лозунгъ нашей художественной литературы; правда руководить ее и въ критическомъ отношеніи къ чужимъ идеаламъ и въ исканіи своего.

Какой же окончательный выводъ изъ этой исторіи развитія таланта гр. Л. Н. Толстаго, исторіи столь поучительной и въ такихъ яркихъ и правдивыхъ художественныхъ формахъ лежащей передъ нами въ его произведеніяхъ? Къ чему пришесть, на чемъ остановился художникъ?

Когда Ап. Григорьевъ писалъ свою статью, гр. Л. Н. Толстой замолкъ на нѣкоторое время, и критикъ приписалъ эту остановку той апатіи, о которой мы говорили. «Апатія», писалъ Ап. Григорьевъ, «ждала непременно на серединѣ такого глубоко-искренняго процесса, но *что она не конецъ «его»,—въ этомъ, вѣроятно, никто изъ вѣрующихъ въ силу «таланта Толстаго даже и не сомнѣвается».* Вѣра критика не обманула его, и предсказаніе его оправдалось. Талантъ развернулся со всею своею силою и далъ намъ «Войну и Миръ».

Но куда клонился этотъ талантъ въ прежившихъ своихъ произведеніяхъ? Какія симпатіи въ немъ выработались и окрылили среди его внутренней борьбы?

Уже въ 1859 году Ап. Григорьевъ замѣчалъ, что гр. Л. Н. Толстой *не въ мѣру и насильственно стремится опозитизировать типъ Бѣлкина*; въ 1862 году критикъ пишетъ:

«Анализъ Толстаго разбилъ готовые, сложившіеся, *отчужденныя* чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи. *Въ русской жизни онъ видитъ только отрицательный типъ «простаго и смирнаго челоуѣка* и привязался къ нему «всею душою. Вездѣ слѣдитъ онъ идеаль простоты душевныхъ движеній: въ горести няни (въ «Дѣтствѣ и Отрочествѣ») о смерти матери героя,—горести, противопоставляемой «нимъ—нѣсколько эффектной, хотя и глубокой скорби старой «графини; въ смерти солдата Валенчука, въ честной и про-

«стой храбрости капитана Хлопова, явно превосходящей въ «его глазахъ—несомнѣнную же, но крайне эффектную храбрость одного изъ кавказскихъ героев à la Марлинскій; въ «покорной смерти простаго челоуѣка, противопоставленной «смерти—страдающей, но капризно страдающей барыни...»

Вотъ самая существенная черта, самая важная особенность, которую характеризуетъ художественное міросозерцаніе гр. Л. Н. Толстаго. Попятно, что въ этой особенности заключается и нѣкоторая односторонность. Ап. Григорьевъ находитъ, что гр. Л. Н. Толстой дошелъ до любви къ смиренному типу—*преимущественно по невѣрію въ блестящій и хищный типъ*,—что онъ иногда и пересаливаетъ въ своей строгости къ «приподнятымъ» чувствамъ. «Немногіе», говоритъ критикъ, «будутъ, напримѣръ, съ нимъ согласны на «счесть болѣе глубоины горя няни передъ горемъ старухи-графини».

Пристрастіе къ простому типу, впрочемъ, есть общая черта нашей художественной литературы; поэтому, какъ относительно гр. Л. Н. Толстаго, такъ и вообще относительно нашего искусства имѣетъ огромную важность и заслуживаетъ величайшаго вниманія слѣдующее общее заключеніе критики.

«Не правъ анализъ Толстаго потому, что не придаетъ «значенія блестящему *дѣйствительно* и страстному *дѣйствительно* и хищному *дѣйствительно* типу, который «и въ природѣ и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе, т. е. «оправданіе своей возможности и реальности».

«Не только мы были бы народъ весьма не щедро «одаренный природою, если бы мы видѣли свои идеалы «въ однихъ смиренныхъ типахъ,—будь это Максимъ Максимъ, или капитанъ Хлоповъ, даже и смиренные типы Островскаго; но пережитые нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы—чужіе намъ только отчасти, только, можетъ «быть, по своимъ формамъ и по своему, такъ сказать, лоску. «Пережиты они нами потому собственно, что къ воспринятію «ихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Не говоря уже о томъ, что у насъ въ исторіи «были хищные типы, и не говоря уже о томъ, что Стеньку Разина изъ міра эпическихъ сказаній народа не вы-



«Живешь; — нѣтъ, самые въ чуждой жизни сложившіеся типы «не чужды намъ. и у нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы. Въдъ, Тургеневскій Василій Лучиновъ—XVIII вѣкъ, но русскій XVIII вѣкъ, а ужъ его, напимѣрь, страстный и беззаботно прожигающій жизнь Веретевъ — и подавно».

## VIII.

Вотъ тѣ точки зрѣнія. съ которыхъ мы можемъ судить о *частномъ* характерѣ «Войны и Мира». Покойный критикъ поставилъ ихъ ясно, и намъ остается сдѣлать только ихъ приложеніе къ новому произведенію таланта, такъ вѣрно и глубоко имъ понятаго.

Онъ угадалъ, что апатія и лихорадочная напряженность анализа должны пройти. Онъ миновали совершенно. Въ «Войнѣ и Мирѣ» талантъ вполне владѣетъ своими силами, спокойно распоряжается пріобрѣтеніями долгаго и тяжкаго труда. Какая твердость руки, какая свобода, увѣренность, простая и отчетливая ясность въ изображеніи! Для художника, кажется, нѣтъ ничего труднаго, и куда бы ни обратилъ онъ свой взглядъ,—въ палатку Наполеона, или въ верхній этажъ дома Ростовыхъ,—ему все открывается до малѣйшихъ подробностей, какъ-будто онъ имѣетъ силу видѣть по своей волѣ во всѣхъ мѣстахъ и то, что есть, и то, что было. Онъ ни передъ чѣмъ не останавливается; трудныя сцены, гдѣ въ душѣ борются разнообразныя чувства или пробѣгаютъ едва уловимыя ощущенія, онъ, какъ-будто шутя и нарочно, дорисовываетъ до самаго конца, до малѣйшей черточки. Мало того, напимѣрь, что онъ съ величайшею правдою изобразилъ памъ безсознательно-геройскія дѣйствія капитана Тушина; онъ еще заглянулъ ему въ душу, послушалъ тѣ слова, которыя тотъ шепталъ, самъ того не замѣчая.

«У него въ головѣ», рассказываетъ художникъ такъ же просто и свободно, какъ-будто дѣло идетъ объ обыкновеннѣйшей въ мірѣ вещи, «у него въ головѣ установился свой «фантастическій міръ, который составлялъ его наслажденіе въ

«эту минуту. Непріятельскія пушки въ его воображеніи были «не пушки, а *трубки, изъ которыхъ рѣдкими клубами выпускалъ дымъ невидимый курильщикъ*».

«—Вишь, выхнулъ опять,—проговорилъ Тушинъ *шепотомъ про себя*, въ то время, какъ съ горы выскакивалъ клубъ дыма и влѣво полосой относился вѣтромъ,—теперь мячикъ жди, отсылать назадъ».

«Звукъ то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрѣлки подъ горою представлялся ему *чѣмъ-то дыханіемъ*. Онъ прислушивался къ затиханію и разговору этихъ звуковъ».

«—*Ишь, задышала опять, задышала*, говорилъ онъ про себя. *Самъ онъ представлялся себѣ огромнаго роста, мощнымъ мужчиной, который обѣими руками швыряетъ французамъ ядра*» (т. I, ч. 2-я, стр. 122).

Итакъ, это—тотъ же тонкій, всепроницающій анализъ, но получившій уже полную свободу и твердость. Мы видѣли, что отсюда вышло. Художникъ спокойно, ясно относится ко всѣмъ своимъ лицамъ и ко всѣмъ чувствамъ своихъ лицъ. Борьбы въ немъ нѣтъ, и онъ—какъ не вооружается усиленно противъ «приподнятыхъ» чувствъ, такъ и не останавливается съ изумленіемъ передъ простыми чувствами. И тѣ, и другія онъ умѣетъ изображать во всей ихъ *правдѣ*, въ ровномъ дневномъ свѣтѣ.

Въ «Люцернѣ», въ одну изъ минутъ того *тяжелаго раздумья*, о которомъ мы упоминали, художникъ съ отчаяніемъ спрашивалъ себя: «У кого въ душѣ такъ непоколебимо это *мѣрило добра и зла*, чтобы онъ могъ мѣрить имъ бѣгущіе факты?»

«Въ «Войнѣ и Мирѣ» это мѣрило, очевидно, найдено, имѣется въ полномъ обладаніи художника, и онъ съ увѣренностію измѣряетъ имъ всякіе факты, какіе только вздумаетъ взять.

Изъ предыдущаго понятно, однако же, какіе должны быть результаты этого измѣренія. Все фальшивое, блестящее только по вѣшности,—безпощадно разоблачается художникомъ. Подъ искусственными, наружно-изящными отношеніями высшаго общества онъ открываетъ намъ цѣлую бездну пустоты, низ-

кихъ страстей и чисто-животныхъ влеченій. Напротивъ, все простое и истинное, въ какихъ бы низменныхъ и грубыхъ формахъ оно ни проявлялось, находить въ художникѣ глубокое сочувствіе. Какъ ничтожны и пошлы салоны Анны Павловны Шереръ и Эленъ Безухой, и какой поэзіей облеченъ смиренный бытъ *дядюшки*!

Мы не должны забывать, что семейство Ростовыхъ, хотя они и графы, есть простое семейство русскихъ помѣщиковъ, тѣсно связанное съ деревнею, сохраняющее весь строй, все преданія русской жизни и только случайно соприкасающееся съ большимъ свѣтомъ. Большой свѣтъ есть сфера, совершенно отъ нихъ отдѣльная, тлетворная сфера, прикосновеніе которой такъ губительно дѣйствуетъ на Наташу. По своему обыкновенію, авторъ рисуетъ эту сферу по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя испытываетъ отъ нея Наташа. Наташу живо поражаетъ та фальшь, то отсутствіе всякой естественности, которое господствуетъ въ нарядѣ Эленъ, въ пѣніи Итальянцевъ, въ танцахъ Дюпора, въ декламации M-lle George; но вмѣстѣ съ тѣмъ пылкую дѣвушку невольно увлекаетъ атмосфера искусственной жизни, въ которой ложь и аффектація составляютъ блестящій покровъ всякихъ страстей, всякой жакды наслажденій. Въ большомъ свѣтѣ мы неминуемо наталкиваемся на французское, на итальянское искусство; идеалы французской и итальянской страстности, столь чуждые русской натурѣ, дѣйствуютъ на нее въ этомъ случаѣ развращающимъ образомъ.

Другое семейство, къ хроникѣ котораго принадлежитъ то, что разсказывается въ «Войнѣ и Мирѣ», семейство Болконскихъ точно также не принадлежитъ къ большому свѣту. Скорѣе можно сказать, что оно *выше* этого свѣта, но во всякомъ случаѣ оно *въ* его. Припомнимъ княжну Марью, не имѣющую никакого подобія свѣтской дѣвушки; припомнимъ враждебное отношеніе старика и его сына къ маленькой княгинѣ Лизѣ, самой очаровательной свѣтской женщинѣ.

Итакъ, несмотря на то, что одно семейство—графское, а другое—княжеское, «Война и Миръ» не имѣетъ и тѣни великосвѣтскаго характера. «Великосвѣтскость» нѣкогда очень соблазняла нашу литературу и породила въ ней цѣлый рядъ фальшивыхъ произведеній. Лермонтовъ не успѣлъ освобо-



даться отъ этого увлеченія, которое Ап. Григорьевъ называлъ «болѣзнию моральнаго лакейства». Въ «Войнѣ и Мирѣ» русское искусство явилось совершенно свободнымъ отъ всякаго признака этой болѣзни; эта свобода имѣетъ тѣмъ большую силу, что здѣсь искусство захватило тѣ самыя сферы, гдѣ, повидимому, господствуетъ большой свѣтъ.

Семья Ростовыхъ и семья Болконскихъ, по ихъ внутренней жизни, по отношеніямъ ихъ членовъ,—суть такія же русскія семьи, какъ и всякія другія. Для лицъ той и другой семьи, семейныя отношенія имѣютъ существенную, господствующую важность. Вспомните Печорина, Онегина; у этихъ героевъ нѣтъ семьи, или по крайней мѣрѣ семья не играетъ въ ихъ жизни никакой роли. Они заняты и поглощены своею личною, индивидуальною жизнью. Самая Татьяна, оставаясь вполнѣ вѣрною семейной жизни, не измѣняя ей ни въ чемъ, нѣсколько чуждается ея:

Она въ семьѣ своей родной  
Казалась дѣвочкой чужой.

Но, какъ только Пушкинъ сталъ изображать простую русскую жизнь, напр., въ «Капитанской дочкѣ», семья тотчасъ взяла всѣ свои права. Гриневы и Мироновы являются на сцену, какъ два семейства, какъ люди, живущіе въ тѣсныхъ семейныхъ отношеніяхъ. Но нигдѣ съ такою яркостію и силою не выступала русская семейная жизнь, какъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Юноши, какъ Николай Ростовъ, Андрей Болконскій, живутъ и своей особой, личною жизнью, честолюбіемъ, кутежомъ, любовью и пр.; они часто и надолго отрываются отъ дома своего службою и запятіями, но домъ, отецъ, семья—составляетъ для нихъ святилище и поглощаетъ лучшую половину ихъ думъ и чувствъ. Что касается до женщинъ, княжны Марьи, Наташи, онѣ вполнѣ погружены въ сферу семейства. Описаніе счастливой семейной жизни Ростовыхъ и несчастной—Болконскихъ, со всѣмъ разнообразіемъ отношеній и случаевъ, составляетъ существеннѣйшую и классически-превосходную сторону «Войны и Мира».

Позволимъ себѣ сдѣлать еще одно сближеніе. Въ «Капитанской дочкѣ», какъ и въ «Войнѣ и Мирѣ», изображено

столкновение частной жизни съ государственною. Оба художника, очевидно, чувствовали желаніе подсмотреть и показать то отношеніе, въ которомъ русскій человѣкъ находится къ своей государственной жизни. Не въ правѣ ли мы отсюда заключить, что къ числу существеннѣйшихъ элементовъ нашей жизни принадлежить двоякая связь: связь съ семействомъ и связь съ государствомъ?

Итакъ, вотъ какая жизнь изображена въ «Войнѣ и Мирѣ», — не личная эгоистическая жизнь, не исторія индивидуальных стремленій и страданій; изображена жизнь общинная, связанная во всѣхъ направленіяхъ живыми узами. Въ этой чертѣ, намъ кажется, обнаруживается истинно-русскій, истинно-самобытный характеръ произведенія гр. Л. Н. Толстаго.

А что же страсти? Какую роль играютъ личности, характеры въ «Войнѣ и Мирѣ»? Понятно, что страстямъ здѣсь не можетъ ни въ какомъ случаѣ принадлежать первенствующее мѣсто, и что личные характеры не будутъ выдаваться изъ общей картины огромностію своихъ размѣровъ.

Страсти не имѣютъ въ «Войнѣ и Мирѣ» ничего блестящаго, картиннаго. Возьмемъ для примѣра любовь. Это — или простая чувственность, какъ у Пьера въ отношеніи къ женѣ, какъ у самой Эленъ къ ея обожателямъ; или наоборотъ, это — совершенно спокойная, глубоко-человѣчественная привязанность, какъ у Софьи къ Николаю, или какъ постепенно возникающія отношенія между Пьеромъ и Наташею. Страсть, въ чистомъ своемъ видѣ, является только между Наташею и Курагинымъ; и тутъ она — со стороны Наташи представляетъ какое-то безумное опьяненіе, и только со стороны Курагина оказывается тѣмъ, что называется *passion* у французовъ, понятіе не русское, но, какъ извѣстно, сильно привившееся къ нашему обществу. Припомните, какъ Курагинъ восхищается своею *богиней*, какъ онъ, «съ пріемами знатока, разбираетъ передъ Долоховымъ достоинство ея рукъ, плечъ, ногъ и волосъ» (т. III, стр. 236). Не такъ чувствуетъ и выражается истинно-любящій Пьеръ: «она обворожительна», говоритъ онъ о Наташѣ, «а отчего, я не знаю: вотъ все, что можно про нее сказать» (тамъ же, стр. 203).

Точно такъ и всѣ другія страсти, все то, въ чемъ раскрывается отдѣльная личность человѣка, злоба, честолюбіе, мщеніе,—все это или проявляется въ видѣ мгновенныхъ вспышекъ, или переходитъ въ постоянныя, но уже болѣе спокойныя отношенія. Вспомните отношенія Пьера къ его женѣ, къ Друбецкому и пр. Вообще, «Война и Миръ» не возводитъ страстей въ идеалъ; надъ этой хроникой, очевидно, господствуетъ *вѣра въ семью* и столь же очевидно, *невѣріе въ страсти*, то есть невѣріе въ ихъ продолжительность и прочность,—убѣжденіе, что какъ бы сильны и прекрасны ни были эти личныя стремленія, они современемъ поблекнутъ и исчезнутъ.

Что касается до характеровъ, то совершенно ясно, что сердцу художника остались попрежнему неизмѣнно милы типы простые и смирные,—отраженіе одного изъ любимѣйшихъ идеаловъ нашего народнаго духа. Благодушные и смиренные герои, Тимохинъ, Тушинъ, благодущные и простые люди, княжна Марья, графъ Илья Ростовъ,—обрисованы съ тѣмъ пониманіемъ, съ тою глубокою симпатіею, которая намъ знакома изъ прежнихъ произведеній гр. Л. Н. Толстаго. Но всякій, кто слѣдилъ за прежнею дѣятельностію художника, не можетъ быть не пораженъ тою смѣлостію и свободою, съ которою гр. Л. Н. Толстой сталъ изображать и типы сильные, страстные. Въ «Войнѣ и Мирѣ» художникъ какъ-будто въ первый разъ овладѣлъ тайною сильныхъ чувствъ и характеровъ, къ которымъ прежде всегда относился съ такою недовѣрчивостію. Болконскіе—отецъ и сынъ уже никакъ не принадлежать къ смирному типу. Наташа представляетъ очаровательное воспроизведеніе страстнаго женскаго типа, въ одно время сильнаго, пылкаго и нѣжнаго.

Свою нелюбовь къ хищному типу художникъ, впрочемъ, заявилъ въ изображеніи цѣлаго ряда такихъ лицъ, какъ Эленъ, Анатоль, Долоховъ, ямщикъ Балага и пр. Все это—натуры по преимуществу хищныя; художникъ сдѣлалъ изъ нихъ представителей зла и разврата, отъ котораго страдаютъ главныя лица его семейной хроники.

Но самый интересный, самый оригинальный и мастерской типъ, созданный гр. Л. Н. Толстымъ, есть лицо Пьера



Безухаго. Это, очевидно, сочетаніе обоихъ типовъ, смирнаго и страстнаго, чисто русская натура, одинаково исполненная добродушія и силы. Мягкій, застѣнчивый, дѣтски-простодушный и добрый, Пьеръ по временамъ обнаруживаетъ въ себѣ (какъ говоритъ авторъ) натуру своего отца. Кстати—этотъ отецъ, богачъ и красавецъ Екатерининскаго времени, который въ «Войнѣ и Мирѣ» является только умирающимъ и не произноситъ ни одного слова—составляетъ одну изъ поразительнѣйшихъ картинъ «Войны и Мира». Это вполне—умирающій левъ, до послѣдняго издыханія поражающій могуществомъ и красотою. Натура этого-то льва порой и отзывается въ Пьерѣ. Вспомните, какъ онъ трясется за шиворотъ Анатоли, этого буяна, главу повѣсь, дѣлавшихъ штуки, которыя *обыкновенному человеку давно бы заслужили Сибирь* (т. III, стр. 259).

Каковы бы, впрочемъ, ни были сильные русскіе типы, изображенные гр. Л. Н. Толстымъ, все-таки очевидно, что въ совокупности этихъ лицъ мало блестящаго, дѣятельнаго, и что сила тогдашней Россіи гораздо болѣе опиралась на стойкость смирнаго типа, чѣмъ на дѣйствія сильнаго. Самъ Кутузовъ, величайшая сила, изображенная въ «Войнѣ и Мирѣ», —не имѣетъ въ себѣ блестящихъ сторонъ.—Это медлительный старикъ, главная мощь котораго обнаруживается въ той легкости и свободѣ, съ которою онъ носитъ на себѣ тяжелое бремя своей опытности. *Терпѣніе и время* его лозунгъ (т. IV, стр. 221).

Самыя двѣ битвы, въ которыхъ съ наибольшей ясностію показаны размѣры, какихъ можетъ достигать сила русскихъ душъ,—Шенграбенское дѣло и Бородинская битва,—имѣютъ, очевидно, характеръ оборонительный, а не наступательный. По мнѣнію князя Андрея, успѣхомъ при Шенграбенѣ мы обязаны болѣе всего *геройской стойкости капитана Тушина* (т. I, ч. I, стр. 132). Сущность же Бородинской битвы заключалась въ томъ, что атакующая армія французовъ была поражена ужасомъ передъ врагомъ, который, *потерявъ половину войска, стоялъ такъ же грозно въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія*» (т. IV, стр. 337). Итакъ, здѣсь повторилось давнишнее замѣчаніе историковъ, что рус-

скіе не сплыны въ нападеніи, но что въ оборонѣ имъ нѣтъ равныхъ на свѣтѣ.

Мы видимъ, слѣдовательно, что все геройство русскихъ сводится на силу типа самоотверженнаго и безтрепетнаго, но вмѣстѣ смирнаго и простаго. Типъ же истинно блестящій, исполненный дѣятельной силы, страстности, хищности,—очевидно, представляютъ, и по сущности дѣла должны представлять,—французы со своимъ предводителемъ Наполеономъ. По дѣятельной силѣ и блеску, русскіе ни въ какомъ случаѣ не могли поравняться съ этимъ типомъ, и, какъ мы уже замѣтили, весь рассказъ «Войны и Мира» изображаетъ столкновение этихъ двухъ столь различныхъ типовъ и побѣду типа простаго надъ типомъ блестящимъ.

Такъ какъ мы знаемъ коренное, глубокое нерасположеніе нашего художника къ блестящему типу, то здѣсь именно намъ слѣдуетъ искать пристрастнаго, неправильнаго изображенія; хотя, съ другой стороны, пристрастіе, имѣющее столь глубокіе источники, можетъ повести къ безцѣннымъ откровеніямъ,—можетъ достигнуть правды, незамѣчаемой равнодушными и холодными глазами. Въ Наполеонѣ художникъ какъ-будто прямо хотѣлъ разоблачить, развѣнчать блестящій типъ,—развѣнчать его въ величайшемъ его представителѣ. Авторъ положительно относится враждебно къ Наполеону, какъ-будто вполне раздѣляя чувства, которыя въ ту минуту питала къ нему Россія и русская армія. Сравните то, какъ держать себя на Бородинскомъ полѣ Кутузовъ и Наполеонъ. Какая чисто-русская простота у одного, и сколько аффектаціи, ломанья, фальши у другого!

При такого рода изображеніи, нами овладѣваетъ невольное недовѣріе. Наполеонъ у гр. Л. Н. Толстаго не довольно уменъ, глубокъ и даже не довольно страшенъ. Художникъ схватилъ въ немъ все то, что такъ противно русской натурѣ, такъ возмущаетъ ея простые инстинкты; но нужно думать, что эти черты въ своемъ, то есть французскомъ мирѣ, не представляютъ той неестественности и рѣзкости, какую въ нихъ видятъ русскіе глаза. Должно быть, въ томъ мирѣ была своя красота, свое величіе.

И однако же, такъ какъ это величіе уступило величію

русскаго духа,—такъ какъ на Наполеонѣ лежалъ грѣхъ насилія и угнетенія,—такъ какъ доблесть французовъ была, дѣйствительно, помрачена сіяніемъ русской доблести,—то нельзя не видѣть, что художникъ былъ правъ, набрасывая тѣнь на блестящій типъ императора, нельзя не сочувствовать чистотѣ и правильности тѣхъ инстинктовъ, которыми онъ руководился. Изображеніе Наполеона все-таки изумительно вѣрно, хотя мы и не можемъ сказать, чтобы внутренняя жизнь его и его арміи была захвачена въ такой глубинѣ и полнотѣ, въ какой намъ во очію представлена тогдашняя русская жизнь.

Таковы нѣкоторыя черты *частной* характеристики «Войны и Мира». Изъ нихъ, надѣмся, будетъ ясно по крайней мѣрѣ, сколько чисто-русскаго сердца положено въ это произведение. Еще разъ каждый можетъ убѣдиться, что настоящія, дѣйствительныя созданія искусства глубочайшимъ образомъ связаны съ жизнью, душою, всею натурою художника; они составляютъ исповѣдь и воплощеніе его душевной исторіи. Какъ созданіе вполне живое, вполне искреннее, проникнутое лучшими и задушевнѣйшими стремленіями нашего народнаго характера, «Война и Миръ» есть произведеніе несравненное, составляетъ одинъ изъ величайшихъ и своеобразнѣйшихъ памятниковъ нашего искусства. Значеніе этого произведенія въ нашей художественной литературѣ—мы выразимъ словами Ап. Григорьева, которыя были сказаны имъ десять лѣтъ тому назадъ и ничѣмъ такъ блистательно не подтверждены, какъ появленіемъ «Войны и Мира»:

*Кто не видитъ могучихъ произрастаній типоваго, коренного, народнаго—того природа обдѣлила зрѣніемъ и вообще чутъемъ.*

1869 г. 24 янв.

(Заря 1869, февраль).



#### IV.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ НОВОСТЬ.

(О появленіи 5-го тома).

---

3-го марта появился въ Петербургѣ давно жданный 5-й томъ «Войны и Мира» и производитъ сильнѣйшее впечатлѣніе. Читатели уже были подготовлены къ этому впечатлѣнію четырьмя предыдущими томами; они уже научились понимать автора, знали его манеру разсказа, были знакомы со всѣми его лицами. И потому пятый томъ, гдѣ гр. Л. Н. Толстой, вслѣдствіе тѣхъ событій, которыя ему пришлось въ немъ разсказывать, долженъ былъ развернуть всю силу своего таланта,—гдѣ ему нужно было сдѣлать новыя и глубочайшія откровенія душевной жизни своихъ героев,—поразилъ читателей съ большою силой, чѣмъ всѣ прежніе томы. Это была капля, переполнившая чашу,—новый восторгъ, тѣмъ болѣе всѣхъ изумившій, что и прежнему восторгу, казалось, не было мѣры. Читатели, глубоко увлеченные и потрясенные прежними томами, не могутъ надвинуться, откуда взялась у автора сила—увлечь и потрясти ихъ еще глубже, раскрыть передъ ними еще болѣе серіозныя, еще труднѣе постижимыя тайны жизни и исторіи. Пятымъ томомъ разсказъ не кончается; но уже теперь совершенно ясно, что, каковы бы ни были послѣдующіе томы, и даже будутъ они или нѣтъ,—«Война и Миръ» есть произведеніе *геніальное*, равное всему лучшему и истинно-великому, что произвела русская литература. Каждый читавшій и уразумѣвшій не можетъ не чувствовать, что такіа

сцены, какъ свиданіе Наташи съ княземъ Андреемъ, встрѣчи Николая Ростова съ княжною Марьею въ Воронежѣ, смерть князя Андрея, Кутузовъ, получающій вѣсть объ оставленіи Москвы французами, и пр.—суть сцены безсмертныя. Немногія страницы, гдѣ является солдатъ Каратаевъ, имѣющій столь важный смыслъ во внутренней связи цѣлаго разсказа, едва-ли не заслоняютъ собою всю ту литературу, которая была у насъ посвящена изображеніямъ быта и внутренней жизни простаго народа. Однимъ словомъ, съ появленіемъ 5-го тома «Войны и Мира» невольно чувствуется и сознается, что русская литература можетъ причислить *еще одного* къ числу своихъ *великихъ писателей*. Кто умѣетъ цѣнить высокія и строгія радости духа, кто благоговѣетъ передъ геніальностію и любитъ освѣжать и укрѣплять свою душу созерцаніемъ ея произведеній, тотъ пусть порадуется, что живетъ въ настоящее время.

(Заря 1869, мартъ).

---

## V.

**Война и Миръ.** Сочиненія гр. Л. Н. Толстаго. Томы V и VI.  
Москва, 1869.

„Нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ  
простоты, добра и правды“.

*Война и Миръ*, т. VI, стр. 62.

## I.

Наконецъ, великое произведеніе кончено. Наконецъ, оно передъ нами, оно навсегда наше, и исчезли всякія наши волненія. Въ то время, какъ гр. Л. Н. Толстой какъ-будто замедлилъ окончаніемъ своего труда, мы невольно мучились страхомъ и надеждой. Художникъ, какъ мы видимъ теперь, спокойно и увѣренно продолжалъ свою работу; твердою рукою онъ доканчивалъ ея послѣднія части; но мы, простые смертные, съ невольнымъ замираніемъ сердца ждали совершенія таинственнаго дѣла. Мы дивились до изумленія, какъ могла творческая сила, не ослабѣвая ни на минуту, дѣйствовать въ такихъ громадныхъ размѣрахъ и, еще не сумѣвъ понять всего величія открывшихся передъ нами силъ, не успѣвъ привыкнуть къ этому величію, малодушно страшились за окончаніе великаго и безцѣннаго дѣла. Самыя нелѣпыя опасенія приходили намъ въ голову.

Но, наконецъ, картина готова, и вся передъ нами. Красота ея открывается съ новю, съ поразительною силою. Только теперь всѣ подробности заняли свое надлежащее мѣсто, ясно обозначился центръ, ясно выступилъ колоритъ отдѣльных частей, и, обнимая картину однимъ взглядомъ,



мы можетъ отчетливо видѣть ея общее освѣщеніе, связь всѣхъ ея фигуръ и неотразимую мысль, которая составляетъ душу всего произведенія, которая даетъ ему полное единство, полную жизнь. Всмотритесь, вчитайтесь, попробуйте обозрѣть весь рассказъ, какъ одно цѣлое, — впечатлѣніе будетъ усиливаться и возрастать по мѣрѣ нашего вниманія и изученія.

Какая громада и какая стройность! Ничего подобнаго не представляетъ намъ ни одна литература. Тысячи лицъ, тысячи сценъ, всевозможныя сферы государственной и частной жизни, исторія, война, всѣ ужасы, какіе есть на землѣ, всѣ страсти, всѣ моменты человѣческой жизни, отъ крика новорожденного ребенка до послѣдней вспышки чувства умирающаго старика, всѣ радости и горести, доступныя человѣку, всевозможныя душевныя настроенія, стѣ ощущеній вора, укравшаго червонцы у своего товарища, до высочайшихъ движеній героизма и думъ внутренняго просвѣтленія, — все есть въ этой картинѣ. А между тѣмъ, ни одна фигура не заслоняетъ другой, ни одна сцена, ни одно впечатлѣніе не мѣшаютъ другимъ сценамъ и впечатлѣніямъ, все на мѣстѣ, все ясно, все раздѣльно и все гармонируетъ между собою и съ цѣлымъ. Подобнаго чуда въ искусствѣ, при томъ чуда, достигнутаго самыми простыми средствами, еще не бывало на свѣтѣ. Эта простая и въ то же время невообразимо-искусная группировка не есть дѣло внѣшнихъ соображеній и прилаживаній; она могла быть только плодомъ геніальнаго прозрѣнія, которое однимъ взглядомъ, простымъ и яснымъ, объемлетъ и проникаетъ все многообразное теченіе жизни.

Ревниво осматриваемъ мы наше сокровище, это неожиданное богатство нашей литературы, честь и украшеніе ея современнаго періода: нѣтъ ли гдѣ недостатковъ? Нѣтъ ли пропусковъ, противорѣчій? Нѣтъ ли какихъ-нибудь важныхъ несовершенствъ, за которыя мы, конечно, съ избыткомъ были бы вознаграждены сильными сторонами «Войны и Мира», но которыя намъ все-таки больно было бы видѣть въ этомъ произведеніи? Нѣтъ, нѣтъ ничего, что могло бы помѣшать полной радости, что смущало бы нашъ восторгъ. Всѣ лица выдержаны, всѣ стороны дѣла схвачены, и художникъ до послѣдней сцены не отступилъ отъ своего безмѣрно-широкаго

плана, не опустилъ ни одного существеннаго момента и довелъ свой трудъ до конца безъ всякаго признака измѣненія въ тонѣ, взглядѣ, въ приѣмахъ и силѣ творчества. Дѣло по истинѣ изумительное!

Для ясности попробуемъ сдѣлать коротенькій очеркъ двухъ послѣднихъ томовъ.

Пятый томъ содержитъ занятіе Москвы французами и все время ихъ пребыванія въ ней. Шестой—бѣгство французовъ и эпилогъ—развязку всѣхъ событій, государственныхъ и частныхъ. Надъ пятымъ томомъ царитъ ужасъ, а надъ шестымъ, несмотря на всѣ его мрачныя картины, уже носится вѣяніе мира, уже ясно, что все стихаетъ, борьба кончена и скоро наступитъ обыкновенное теченіе жизни.

Пятый томъ, начинающійся совѣтомъ въ Филяхъ, на которомъ рѣшено было отдать Москву, и оканчивающійся сценою, когда Кутузовъ получаетъ извѣстіе о выступленіи французовъ изъ столицы, поразителенъ изображеніемъ того страшнаго удара, который былъ нанесенъ русскимъ душамъ потерей Москвы. Люди потерялись, ошалѣли, обезумѣли отъ жестокаго потрясенія. Растопчинъ, Пьеръ, посѣтители питейнаго дома на Варваркѣ,—всѣ потеряли голову, всѣ чувствовали и дѣйствовали подъ давленіемъ неописаннаго ужаса. Самъ Кутузовъ, до конца вѣрившій и ни разу не колебавшійся, задумался, какъ никогда онъ не задумывался. Главное лицо пятаго тома, Пьеръ, на которомъ всего яснѣе отражается нравственный процессъ, совершавшійся въ русскихъ душахъ, своими похожденіями всего лучше изображаетъ чувства, овладѣвшія тогда всѣми. Его бѣгство изъ своего дворца, переодѣваніе, попытка убить Наполеона, и пр., все свидѣлствуетъ о глубокомъ душевномъ потрясеніи, о страстномъ желаніи—такъ или иначе раздѣлить бѣдствія своей родины, страдать тогда, когда всѣ страдаютъ. Онъ, наконецъ, добивается своего и въ плѣну—успокоивается. Въ плѣну онъ сливается съ массою простонародныхъ лицъ, и въ этой массѣ встрѣчаетъ человѣка, который всего яснѣе, всего глубже показываетъ ему силу и красоту русскаго народа,—Платона Каратаева. Убѣжавши съ Бородинскаго поля, Безухій размышлялъ такъ: «Какъ ужасенъ страхъ, и какъ позорно я отдался! А

«они... они все время до конца были тверды, спокойны»... Они «въ понятіи Пьера были солдаты, тѣ, которые были на ба-  
«тареѣ, и тѣ, которые его кормили, и тѣ, которые молились  
«на икону. Они — *эти странные, невѣдомые ему досель,*  
«они ясно и резко отделились въ его мысли отъ дру-  
«гихъ людей» (стр. 35, т. V). Затѣмъ во снѣ ему видится  
масонъ-благодѣтель, говорящій о добрѣ, о возможности быть  
тѣмъ, чѣмъ были они. «И они со всѣхъ сторонъ, съ свои-  
ми простыми, добрыми лицами, окружили благодѣтеля». Такъ образъ народа съ неизгладимою силою отпечатлѣлся въ  
душѣ Пьера на Бородинскомъ полѣ. Но это впечатлѣніе еще  
разъ, съ болѣею силою, въ болѣе конкретныхъ формахъ,  
повторилось для Пьера тогда, когда онъ всего способнѣе былъ  
его принять, — въ плѣну, среди величайшихъ страданій. «Пла-  
«тонъ Каратаевъ», говоритъ авторъ, «остался навсегда въ  
«душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ  
«и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго и круглаго» (тамъ  
же, стр. 233). Въ лицѣ Каратаева Пьеръ видѣлъ то, какъ  
русскій народъ мыслить и чувствуетъ при самыхъ крайнихъ  
бѣдствіяхъ, какая великая вѣра живетъ въ его простыхъ  
сердцахъ. Душевная красага Каратаева поразительна, выше  
всякой похвалы. Вспомнимъ, какъ долго наша литература  
занималась простымъ народомъ, сколько попытокъ было сдѣ-  
лано, чтобы уловить его духъ и силу, сколько подобныхъ по-  
пытокъ есть у самого гр. Л. Н. Толстаго. Вся эта литера-  
тура, всѣ эти попытки превзойдены и навсегда заслонены  
несравненною фигурою Каратаева, показывающею, какъ глу-  
боко овладѣть художникъ труднѣйшими задачами, волновав-  
шими цѣлый литературный періодъ, и его самого вмѣстѣ съ  
другими.

Итакъ, внутренній смыслъ пятаго тома сосредоточенъ на  
Пьерѣ и Каратаевѣ, какъ на лицахъ, которыя, страдая вмѣ-  
стѣ со всѣми, но оставаясь безъ дѣйствія, имѣли возможность  
продумать и выносить въ душѣ впечатлѣніе великаго общаго  
бѣдствія. Для Пьера глубокій душевный процессъ окончился  
правдивымъ обновленіемъ; Наташа говоритъ, что Пьеръ  
морально очистился, что плѣнъ былъ для него нравственною  
банею (т. VI, стр. 136). Каратаеву нечему было учиться; онъ



словомъ и дѣломъ училъ другихъ, и умеръ, завѣщавъ свой духъ Пьеру.

Рядомъ съ этими событіями внутренней духовной жизни стоятъ въ пятомъ томѣ всякаго рода внѣшнія событія. Отъѣздъ Ростовыхъ, хлопоты и порыванія Растопчина, убійство Верещагина, капитанъ Рамбаль со своими разказами, Мишо, доносящій Царю о взятіи Москвы, разстрѣливаніе русскихъ поджигателей и т. д. Всѣ эти сцены съ изумительной живостію рисуетъ намъ ходъ всего дѣла въ эту тяжелую эпоху, тогдашнюю жизнь Москвы, Россіи, отъ Царя до послѣдняго солдата.

Но творчество нашего художника достигаетъ своей высшей силы тамъ, гдѣ оно касается вѣчныхъ, непреходящихъ интересовъ души человѣческой. Участіе князя Андрея въ общихъ дѣлахъ кончилось на Бородинскомъ полѣ, гдѣ онъ былъ смертельно раненъ. Ему предстояли теперь уже однѣ частныя его дѣла:—свиданіе съ Наташею и смерть. Изображеніе этого свиданія и внутренняго просвѣтлѣнія, испытаннаго княземъ Андреемъ передъ смертію, есть верхъ художественнаго совершенства, дѣйствительное откровеніе тайнъ человѣческаго сердца, потрясающее насъ своею неизмѣримою глубиною. Другой разсказъ не менѣе поразителенъ. Въ пятомъ же томѣ разсказывается, какъ среди всеобщихъ бѣдствій завязалась любовь между княжною Марьею и Николаемъ Ростовымъ. Чистота и нѣжность этихъ отношеній невыразимы, безконечны. Невольно изумляешься тому, какъ просты и вмѣстѣ, какъ чисты оба эти существа, какой ясный свѣтъ можетъ горѣть въ самыхъ обыкновенныхъ людяхъ. Итакъ, князь Андрей—умираетъ, Николай Ростовъ влюбляется въ свою будущую жену, Пьеръ страдаетъ—вся гамма человѣческой жизни еще разъ взята художникомъ въ пятомъ томѣ.

Шестой томъ—развязка,—конецъ страшныхъ событій и начало новой жизни. Характеръ отступленія французской арміи и образъ дѣйствій нашихъ войскъ показанъ съ такою же ясностію и вѣрностію, какъ и смыслъ Бородинской битвы и значеніе гибели Москвы для насъ и для французовъ. Событія идутъ быстро, но не опущено ничего, требуемаго полною картиною. Обрисована партизанская война, положеніе бѣ-

гущихъ французовъ, жестокость однихъ русскихъ, благодушіе другихъ, «чувство величественнаго торжества въ соединеніи «съ жалостью къ врагамъ и сознаніемъ своей правоты», какъ говоритъ авторъ (т. VI, стр. 91). Наконецъ, Кутузовъ, подобно тому, какъ въ пятомъ томѣ, является въ началѣ, «когда уже стало ясно, что непріятель вездѣ бѣжитъ» (стр. 88), и въ концѣ, когда онъ въ Вильнѣ выслушиваетъ выговоръ Гошударя (стр. 107).

Мы видимъ при этомъ, какъ погибали юноши (смерть Пети Ростова), какъ невѣсты горевали объ женихахъ и сестры о братьяхъ (Наташа и княжна Марья о князѣ Андрѣ), какъ матери убивались объ дѣтяхъ (графиня Ростова объ Петѣ). Когда же кончилась война, наступаютъ свиданія въ Москвѣ тѣхъ лицъ, которыя были разлучены войною, начинаются рассказы и разпросы, завязываются и выя отношенія и начинается новая жизнь.

Внутренній смыслъ хроники заканчивается послѣдними поученіями, преподаваемыми Пьеру его собственными страданіями и предсмертными рѣчами и смертью Каратаева. Живо и глубоко изображаетъ художникъ обновленіе Пьера. Въ этомъ обновленіи олицетворено обновленіе всей Россіи, то раскрытіе духовныхъ силъ, которое должно было послѣдовать за испытаніями и борьбою. Для Пьера, какъ и для Россіи, начался новый, лучший періодъ. Очистившійся, укрѣпленный и просвѣтленный страданіемъ, Пьеръ заслуживаетъ любовь Наташи и испытываетъ все счастье, къ какому только способенъ.

Тутъ опять художникъ вступаетъ въ область неизмѣнныхъ, непреходящихъ интересовъ человѣческой жизни, и опять поднимается до высоты удивительной и несравненной. Онъ рисуетъ намъ двѣ семьи, двѣ новыя семьи, сложившіяся подъ влияніемъ всѣхъ разсказанныхъ имъ событій и составляющія какъ бы вѣнецъ дѣла, какъ бы плодъ на одной изъ безчисленныхъ вѣтокъ дерева, выдержавшаго благотворную бурю,—Россіи. Никогда еще не было на свѣтѣ подобнаго описанія русской семьи, т. е. самой лучшей изъ всѣхъ семей на свѣтѣ. Любовь между мужемъ и женою въ полномъ разцвѣтѣ ихъ силъ, чистая, нѣжная, твердая, неизбежно глубо-

кая,—въ первый разъ изображена намъ во всей ея высокой силѣ и безъ единой прикрасы.

Картина двухъ новыхъ семействъ удивительно гармонически заканчиваетъ всю хронику. Когда начинался рассказъ, передъ нами открывались два семейства, уже давно сложившіяся,—семейство Болконскихъ, въ которомъ были взрослые сынъ и дочь, и семейство Ростовыхъ, въ которомъ Николай былъ еще студентомъ, а Наташѣ было двѣнадцать лѣтъ. Черезъ пятнадцать лѣтъ (таковъ періодъ, обнимаемый хроникой), передъ нами являются двѣ молодые семьи съ маленькими дѣтьми. Съ геніальнымъ тактомъ художникъ началъ свою семейную хронику съ людей настолько взрослыхъ, что мы можемъ ими заинтересоваться, и кончилъ картинами, въ которыхъ даже грудныя дѣти намъ безконечно милы, такъ какъ принадлежать къ семействамъ, съ которыми мы сжились и сроднились во время рассказа.

Полная картина человѣческой жизни.

Полная картина тогдашней Россіи.

Полная картина того, въ чемъ люди полагаютъ свое счастье и величіе, свое горе и униженіе.

Вотъ что такое «Война и Миръ».

---

## II.

Но какой же смыслъ великаго произведенія? Нельзя ли въ короткихъ словахъ изобразить существенную мысль, разлитую въ этой огромной эпопеѣ, указать на ту душу, для которой всѣ подробности рассказа составляютъ только воплощеніе, а не сущность?

Дѣло трудное. Скажемъ здѣсь нѣсколько словъ по этому поводу, для разъясненія кое-какихъ недоразумѣній.

«Война и Миръ» испытываетъ на себѣ судьбу всего истинно-великаго. Истинно-великое часто вовсе не признается людьми; иногда оно увлекаетъ ихъ, покоряетъ ихъ своей силѣ; но *не понимается* оно почти всегда, почти безъ всякаго исключенія. Обыкновеннѣйшій ходъ дѣла таковъ, что люди *чувствуютъ* величіе, но его *не понимаютъ*. Такъ



это было съ Пушкинымъ въ послѣднюю эпоху его дѣятельности; такъ это продолжается съ Пушкинымъ до сихъ поръ, несмотря на удивительнѣйшій прогрессъ, который мы у себя сочинили; такъ это случилось, и необходимо должно было случиться, и съ «Войною и Миромъ». Неотразимая прелесть художественнаго разсказа всѣхъ поразила, всѣхъ покорила; но въ то же время обнаружилось повальное недоумѣніе, совершенная неспособность понять самый смыслъ произведенія. Читатели, подобно *черни* въ стихотвореніи Пушкина, никакъ не могли рѣшить вопросъ:

Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ?  
 Напрасно ухо поражая,  
 Къ какой онъ цѣли насъ ведетъ?  
 О чемъ бренчить? Чему насъ учить?  
 Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ  
 Какъ своенравный чародѣй?

Можно сказать, что «Война и Миръ» есть самое непонятное изъ всѣхъ произведеній русской литературы, столь же непонятное, какъ самъ Пушкинъ.

Но что же тутъ мудренаго, и какъ же иначе могло быть? Чѣмъ выше явленіе само по себѣ, тѣмъ оно труднѣе для пониманія. Въ отношеніи къ «Войнѣ и Миру» нельзя даже сваливать всю вину на дурное состояніе нашей литературы и вообще нашихъ читателей; главная вина непониманія и недоумѣнія заключается въ той страшной высотѣ, на которую поднялся гр. Л. Н. Толстой и которая недоступна для большинства.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, «Война и Миръ» подымается до высочайшихъ вершинъ человѣческихъ мыслей и чувствъ, до вершинъ, обыкновенно недоступныхъ людямъ. Вѣдь, гр. Л. Н. Толстой есть поэтъ въ старинномъ и наилучшемъ смыслѣ этого слова; онъ носитъ въ себѣ глубочайшіе вопросы, къ какимъ только способенъ человѣкъ; онъ прозрѣваетъ и открываетъ намъ сокровеннѣйшія тайны жизни и смерти. Какъ же вы хотите, чтобы его поняли люди, для которыхъ подобныхъ вопросовъ вовсе не существуетъ, и которые такъ тупы, или, если хотите, такъ умны, что никакихъ тайнъ ни въ себѣ,

ни вокругъ себя не находятъ? Смыслъ исторiи, сила народовъ, таинство смерти, сущность любви, семейной жизни и т. п.—вотъ, вѣдь, предметы гр. Л. Н. Толстаго. Что же? Развѣ всѣ эти и подобные предметы—такія легкія вещи, что ихъ можетъ понимать первый попавшійся человѣкъ? Развѣ есть что-нибудь мудреное въ томъ, что для пониманія ихъ у многихъ и многихъ не хватаетъ ни ширины ума, ни жизненнаго опыта.

Если мы только сообразимъ обыкновенное умственное состояніе не столько простыхъ читателей, сколько, главнымъ образомъ, «цѣнителей и судей», то мы перестанемъ удивляться кривымъ и пустымъ толкамъ, которыми было встрѣчено произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, и которые будутъ, конечно, раздаваться около него еще нескончаемые годы. Есть, вѣдь, множество людей, которые никогда не мыслили и не чувствовали, а только всю жизнь прикидываются мыслящими и чувствующими. Всю жизнь они, собственно говоря, мошенничаютъ, то есть постоянно обманываютъ другихъ, надѣвая на себя маску мыслей и чувствъ, которыхъ вовсе не имѣютъ. Многіе изъ нихъ даже вовсе не вѣрятъ, что на свѣтѣ существуетъ мысль и чувство, и простодушно считаютъ людей мыслящихъ и чувствующихъ за такихъ же обманщиковъ, какъ они сами. Они судятъ какъ Пандалевскій (благодаримъ васъ, г. Тургеневъ), который, послушавъ Рудина, призналъ его въ глубинѣ души только «очень ловкимъ человѣкомъ», т. е. гораздо ловчѣе себя (соч. Тург. т. III, стр. 274).

И такіе люди судили, судятъ и будутъ судить о «Войнѣ и Мирѣ».

Есть другой болѣе современный типъ «судей», также очень распространенный и игравшій даже важнѣйшія роли въ нашемъ прогрессѣ. Это люди—чрезвычайно тупые и въ то же время чрезвычайно самоувѣренные. Не имѣя ни ума, ни сердца, они, однако же, воображаютъ себя все понимающими, способными сочувствовать всему хорошему. Самолюбіе ихъ такъ велико и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ слѣпо и простодушно, что имъ кажется смѣшнымъ и обиднымъ, когда что-нибудь ставится выше ихъ. Они питаютъ самую дѣтскую, са-

мую заразительную увѣренность, что для ихъ образованія и ихъ ума все доступно, все понятно. Первое слѣдствіе отсюда то, что они съ полной важностію, съ неописаннымъ увлеченіемъ и жаромъ проповѣдываютъ величайшія пошлости, сообразныя мелкости ихъ ума и сердца. Второе слѣдствіе — что все, чего они не понимаютъ, они признаютъ за совершенную глупость.

И такіе люди судили, судятъ и будутъ судить о «Войнѣ и Мирѣ».

Говорить ли о множествѣ другихъ? Большею частью, поэзія, наука, всѣ области мысли и творчества являются людямъ какимъ-то дремучимъ и безпредѣльнымъ лѣсомъ, въ которомъ они, боясь заблудиться, ходятъ только по тропинкамъ, уже протоптаннымъ другими, а чаще всего держатся большой, давно извѣженной дороги. Большею частью, люди, для собственнаго удобства и собственной безопасности, смотрятъ въ землю, а не на небо, замѣчаютъ только то, что приходится по ихъ росту, усмѣиваютъ разглядѣть на своемъ жизненномъ пути только подножія великихъ явленій нравственнаго міра и никогда не становятся на точку зрѣнія, съ которой бы ясно открывались истинные размѣры этихъ явленій. А если люди и попадаютъ случайно на такую точку, то они слишкомъ близоруки, чтобы видѣть то, что открывается предъ ними.

Какъ бы то ни было, безмѣрная высота «Войны и Мира» необходимо должна была повести къ непониманію. Въ нашей молодой и слишкомъ быстро движущейся литературѣ еще мало распространено понятіе о тѣхъ опасностяхъ, которыя предстоятъ людямъ, публично объявляющимъ свои мысли. «Война и Миръ» естественно должна была стать камнемъ преткновенія для тѣхъ, кто брался судить объ этомъ произведеніи. Многимъ суждено было по этому случаю собственными руками наложить на свой лобъ клеймо тупости и непонятливости, соединенной съ самодовольствомъ и дерзостію. Постараемся же избѣжать подобнаго позора и быть почтительными и понятливыми, сколько можемъ.

---



## III.

Итакъ, какой же смыслъ «Войны и Мира»?

Всего яснѣе, намъ кажется, этотъ смыслъ выражается въ тѣхъ словахъ автора, которыя мы поставили эпиграфомъ «Нѣтъ величія», говоритъ онъ, «тамъ, гдѣ нѣтъ *простоты добра и правды*».

Задача художника состояла въ томъ, чтобы изобразить истинное величіе, какъ онъ его понимаетъ, и противопоставить его ложному величію, которое онъ отвергаетъ. Эта задача выразилась не только въ противопоставленіи Кутузова и Наполеона, но и во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ борьбы вынесенной цѣлою Россіею, въ образѣ чувствъ и мыслей каждаго солдата, во всемъ нравственномъ мірѣ русскихъ людей, во всемъ ихъ бытѣ, во всѣхъ явленіяхъ ихъ жизни, въ ихъ манерѣ любить, страдать, умирать. Художникъ изобразилъ со всею ясностію, въ чемъ русскіе люди полагаютъ человѣческое достоинство, въ чемъ тотъ идеалъ величія, который присутствуетъ даже въ слабыхъ душахъ и не оставляетъ сильныхъ даже въ минуты ихъ заблужденій и всякихъ нравственныхъ паденій. Идеалъ этотъ состоитъ, по формулѣ данной самимъ авторомъ, въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Простота, добро и правда побѣдили въ 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вотъ смыслъ «Войны и Мира».

Другими словами—художникъ далъ намъ новую, русскую формулу *героической жизни*, ту формулу, подъ которую подходитъ Кутузовъ и подъ которую никакъ не можетъ подойти Наполеонъ. О Кутузовѣ авторъ прямо говоритъ: «*Простая, скромная, и потому истинно-величественная* фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія» (т. VI, стр. 88). Но то же самое слѣдуетъ разумѣть обо всѣхъ русскихъ людяхъ, обо всѣхъ фигурахъ, выведенныхъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Ихъ чувства, мысли и желанія, насколько въ нихъ есть героическаго, насколько въ нихъ проявляется стремленіе къ героическому и пониманіе героическаго, не укладываются въ тѣ чужія и лживыя фор-

мы, которыя созданы Европою. Весь русскій душевный строй *проще, скромнѣе*, представляетъ ту гармонію, то равновѣсіе силъ, которыя одни согласны съ истиннымъ величіемъ, и нарушение которыхъ мы ясно чувствуемъ въ величіи другихъ народовъ. Обыкновенно насъ плѣняютъ и долго еще будутъ плѣнять блескъ и мощь тѣхъ формъ жизни, которыя создаются силами, не соблюдающими гармоніи, вышедшими изъ взаимнаго равновѣсія. Этихъ яркихъ формъ всякаго рода страстей, всякаго рода душевныхъ напряженій, разрастающихся до ослѣпляющаго величія,—много создала Европа, много создалъ древній міръ. Мы, младшій изъ великихъ народовъ, невольно увлекаемся этими формами чуждой жизни; но въ глубинѣ души у насъ хранится другой, своеобразный идеаль, въ сравненіи съ которымъ часто меркнуть и являются безобразіемъ—воплощенія въ дѣйствительности и искусствѣ идеаловъ, несогласныхъ съ нашимъ душевнымъ строемъ.

Чисто-русскій героизмъ, чисто-русское героическое во всевозможныхъ сферахъ жизни,—вотъ что далъ намъ гр. Л. Н. Толстой, вотъ главный предметъ «Войны и Мира». Если мы оглянемся на нашу прошлую литературу, то намъ будетъ яснѣе, какую огромную заслугу оказать намъ художникъ, и въ чемъ состоитъ эта заслуга. Основатель нашей самобытной литературы, Пушкинъ, одинъ только въ своей великой душѣ носилъ сочувствіе всѣмъ родамъ и видамъ величія, всѣмъ формамъ героизма, почему и могъ онъ постигнуть русскій идеаль, почему и могъ стать основателемъ русской литературы. Но въ его дивной поэзіи этотъ идеаль проступалъ только чертами, только указаніями, безошибочными и ясными, но неполными и неразвитыми.

Явился Гоголь и не совладалъ съ безмѣрною задачею. Раздался плачь по идеаль, полились «сквозь видимый міру смѣхъ незримыя слезы», свидѣтельствовавшія, что художникъ не хочетъ отказаться отъ идеала, но и не можетъ достигнуть его воплощенія. Гоголь сталъ отрицать эту жизнь, которая такъ упорно не выдавала ему своихъ положительныхъ сторонъ. «Нѣтъ у насъ героическаго въ жизни; мы всѣ или Хлестаковы, или Поприщины»—вотъ заключеніе, къ которому пришелъ несчастный идеалистъ.

Задача всей литературы послѣ Гоголя состояла только въ томъ, чтобы отыскать русскій героизмъ, сгладить то отрицательное отношеніе, въ которое сталъ къ жизни Гоголь, уразумѣть русскую дѣйствительность болѣе правильнымъ, болѣе широкимъ образомъ, чтобы не могъ отъ насъ укрыться тотъ идеалъ, безъ котораго народъ такъ же не могъ бы существовать, какъ тѣло безъ души. Для этого требовалась тяжелая и долгая работа, и ее-то сознательно и бессознательно несли и совершали всѣ наши художники.

Но первый разрѣшилъ задачу гр. Л. Н. Толстой. Онъ первый одолѣлъ всѣ трудности, выносилъ и побѣдилъ въ своей душѣ процессъ отрицанія и, освободившись отъ него, сталъ творить образы, воплощающіе въ себѣ положительныя стороны русской жизни. Онъ первый показалъ намъ въ неслыханной красотѣ то, что ясно видѣла и понимала только безупречно-гармоническая, всему великому доступная душа Пушкина. Въ «Войнѣ и Мирѣ» мы опять нашли свое героическое, и теперь его уже никто отъ насъ не отниметъ.

Попробуемъ частіе и опредѣленіе указать, что сдѣлано гр. Л. Н. Толстымъ. Не вся задача рѣшена, не вся широкая область русской души исчерпана гр. Л. Н. Толстымъ, но та половина задачи, которая въ настоящую минуту была всего настоятельнѣе и важнѣе, получила въ «Войнѣ и Мирѣ» рѣшеніе, по своей силѣ и ясности не уступающее никакому другому созданію поэзіи, принадлежащее къ высшимъ ея проявленіямъ, какія только существуютъ и будутъ существовать.

Не весь русскій идеалъ воплотился у гр. Л. Н. Толстаго, но съ неотразимою силою и прелестію у него раздался «голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго». Этотъ голосъ въ первый разъ послышался у Пушкина, а смыслъ его въ первый разъ понять и засвидѣтельствованъ Ап. Григорьевымъ, употребившимъ и приведенное нами въ кавычкахъ выраженіе (соч. Ап. Григорьева, I, стр. 326, 333 и др.). Замѣчательно то буквальное сходство, которое оказывается въ формулѣ Григорьева и въ опредѣленіи гр. Л. Н. Толстымъ истиннаго величія. Это величіе должно совмѣщать *простоту, добро и правду*, т. е. быть чуждо всего *ложнаго*.



Голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго — вотъ существенный, главнѣйшій смыслъ «Войны и Мира». Это тотъ прекрасный и своеобразный элементъ нашей литературы, который былъ открытъ въ ней и прослѣженъ съ великою чуткостью Ап. Григорьевымъ. Но критикъ, столь вѣрно понимавшій глубочайшія струны нашей поэзіи, едва ли предвидѣлъ и ожидалъ, что этотъ голосъ послѣ его смерти раздастся несравненно сильнѣе, чѣмъ онъ когда-либо его слыпалъ, что могучій звукъ этого прекраснаго голоса нѣкогда покроетъ гамъ нашей литературы и примкнетъ, по своей несравненной чистотѣ и силѣ, къ дивнымъ звукамъ Пушкинской поэзіи.

Особенный смыслъ этого голоса — вотъ что намъ слѣдуетъ опредѣлять. Если мы для этого прослѣдимъ всѣ лица и событія «Войны и Мира», то мы ясно увидимъ, что симпатіи автора имѣютъ нѣкоторую односторонность, выкупаемую тѣмъ болѣею проницательностію и глубиною относительно той стороны, въ которую обращены эти симпатіи. Существуетъ на свѣтѣ какъ-будто два рода героизма: одинъ — дѣятельный, тревожный, порывающійся, другой — страдательный, спокойный, терпѣливый. Ап. Григорьевъ замѣтилъ въ нашей литературѣ появленіе лицъ, представляющихъ въ своей натурѣ это различіе, и называлъ ихъ двумя различными типами, *хищнымъ* и *смирнымъ*. Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, съ величайшимъ сочувствіемъ относится къ страдательному или смирному героизму, и — очевидно же — мало цинтаетъ сочувствія къ героизму дѣятельному и хищному. Въ пятомъ и шестомъ томѣ эта разница въ симпатіи выступила еще рѣзче, чѣмъ въ первыхъ томахъ. Къ категоріи дѣятельнаго героизма относятся не только французы вообще и Наполеонъ въ особенности, но и множество русскихъ лицъ, напр., Растопчинъ, Ермоловъ, Милорадовичъ, Долоховъ и пр. Къ категоріи смирнаго героизма принадлежитъ прежде всего — самъ Кутузовъ, величайшій образецъ этого типа, потомъ Тушинъ, Тимохинъ, Дохтуровъ, Коновницынъ и пр., вообще — вся масса нашихъ военныхъ и вся масса русскаго народа. Весь разсказъ «Войны и Мира» какъ-будто имѣетъ цѣлью доказать превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ, ко-

торый повсюду оказывается не только побѣжденнымъ, но и смѣшнымъ, не только беспильнымъ, но и вреднымъ. Самая ясная и живая фигура, въ которой гр. Л. Н. Толстой съ удивительной силой очертилъ типъ людей, думающихъ быть дѣятельными героями, есть Растопчинъ. Мы слышали, что это лицо угадано авторомъ совершенно вѣрно, что самыя подробныя и многолѣтнія историческія изысканія только подтверждаютъ поэтическую проникающую гр. Л. Н. Толстого \*). Передъ величіемъ совершающихся событій, люди, подобные Растопчину, являются ничтожными и жалкими, не потому, чтобы это были личности очень слабыя сами по себѣ, а потому, что они порываются вмѣшаться въ ходъ событій, неизмѣримо превышающихъ собою размѣры ихъ силъ. Въ этомъ преувеличеніи своего значенія, въ этомъ нелѣпомъ и дерзкомъ самообольщеніи, у автора оказываются виновными не только отдѣльныя лица, но цѣлые народы, напримѣръ, французы, приведшіе на насъ Европу и цѣлыя сферы въ самой Россіи, напримѣръ, придворная сфера, сфера военныхъ штабовъ и т. д. Авторъ показываетъ, какъ повсюду — увѣренность въ своей силѣ, признаніе за своею личностію способности измѣнять и направлять событія ведетъ только къ ошибкамъ и неизбѣжно соединяется съ игрою самыхъ дурныхъ страстей, самолюбія, тщеславія, зависти, ненависти и пр.

Такимъ образомъ, по смыслу всего разказа, у хищнаго типа отнято всякое поприще дѣйствія. Между тѣмъ, вообще говоря, невозможно отрывать, чтобы люди рѣшительные, смѣлые — не имѣли никакой важности въ ходѣ дѣлъ, чтобы русскій народъ не порождалъ людей, дающихъ просторъ своимъ личнымъ взглядамъ и силамъ. Совершенно справедливо, что при такомъ развитіи личности она, большею частью, отличается весьма непривлекательными чертами; но несомнѣнно также, что въ этихъ людяхъ проявляются и прекрасныя свойства русской душевной силы.

Итакъ, есть сторона русскаго характера, которая не вполне схвачена и изображена авторомъ. Нужно ждать еще художника, который бы сумѣлъ такъ отнестись къ этой сторонѣ, какъ, напримѣръ, Пушкинъ относился къ Петру I:

---

\*) Такъ отзывался покойный Александръ Николаевичъ Поповъ.

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!  
 Какая дума на челѣ,  
 Какая сила въ немъ сокрыта!  
 А въ семъ конѣ какой огонь!  
 Куда ты скачешь, гордый конь,  
 И гдѣ опустишь ты копыта?  
*О, мощный властелинъ судьбы!*  
 Не такъ-ли ты надъ самой бездною,  
 На высотѣ, уздой желѣзной  
 Россію вздернулъ на дыбы?

(Младшій Всадникъ).

Но пока нѣтъ у насъ чистыхъ и ясныхъ образовъ дѣятельнаго героизма, пока этотъ героизмъ не нашелъ себѣ своего поэта-выразителя, мы должны смиренно преклониться передъ поэтомъ, прослѣдившимъ и воплотившимъ передъ нами героизмъ смиренія. Мы только можемъ гадать и смутно прозрѣвать черты иного величія, также свойственнаго русской натурѣ, а то величіе, которое изображено гр. Л. Н. Толстымъ, мы уже видимъ воочію, въ ясномъ воплощеніи.

И въ существенномъ пунктѣ мы не можемъ не согласиться съ поэтомъ, то есть мы вполне признаемъ превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ. Гр. Л. Н. Толстой изобразилъ намъ если не самыя сильныя, то во всякомъ случаѣ самыя лучшія стороны русскаго характера, тѣ его стороны, которымъ принадлежитъ и должно принадлежать верховное значеніе. Какъ нельзя отрицать, что Россія побѣдила Наполеона не дѣятельнымъ, а смиреннымъ героизмомъ, такъ вообще нельзя отрицать, что *простота, добро и правда* составляютъ высшій идеалъ русскаго народа, которому долженъ подчиняться идеалъ сильныхъ страстей и исключительно сильныхъ личностей. Мы сильны *всѣмъ народомъ*, сильны тою силою, которая живетъ въ самыхъ простыхъ и смиренныхъ личностяхъ,—вотъ что хотѣлъ сказать гр. Л. Н. Толстой, и онъ совершенно правъ. Прибавимъ, что мы должны бы были преклониться передъ лучшими чертами нашего народнаго идеала и въ томъ случаѣ, если бы намъ не было доказано, что простота, добро и правда могутъ побѣдить всякую ложную, злую и неправую силу. Если вопросъ идетъ о силѣ, то онъ рѣшается тѣмъ, на какой сто-



ронѣ побѣда; но простота, добро и правда намъ милы и дороги сами по себѣ, все равно, побѣдятъ они, или нѣтъ.

Всѣ сцены частной жизни и частныхъ отношеній, введенныя гр. Л. Н. Толстымъ, имѣютъ одну и ту же цѣль, — показать, какъ страдаетъ и радуется, любитъ и умираетъ, ведетъ свою семейную и личную жизнь тотъ народъ, вышій идеалъ котораго заключается въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Разница, столь ясно изображенная, между Кутузовымъ и Наполеономъ, та же самая разница существуетъ между Пьеромъ и капитаномъ Рамбалемъ, толкующими о своихъ любовныхъ приключеніяхъ, между Бурьенкой и княжной Марьей, и т. д. Тотъ же народный духъ, который проявился въ Бородинской битвѣ, проявляется въ предсмертныхъ думахъ князя Андрея, и въ душевномъ процессѣ Пьера, и въ разговорахъ Наташи съ матерью, и въ складѣ вновь образовавшихся семействъ, словомъ, во всѣхъ душевныхъ движеніяхъ частныхъ лицъ «Войны и Мира».

Вездѣ и повсюду или господствуетъ духъ простоты, добра и правды, или является борьба этого духа съ уклоненіями людей на иные пути, и рано или поздно—его побѣда. Въ первый разъ мы увидѣли несравненную прелесть чисторусскаго идеала, смѣренного, простого, безконечно нѣжнаго и въ то же время незыблемо-твердаго и самоотверженнаго. Огромная картина гр. Л. Н. Толстаго есть достойное изображеніе русскаго народа. Это—дѣйствительное неслыханное явленіе, — эпопея въ современныхъ формахъ искусства.

---

#### IV.

Необходимо сказать здѣсь хотя нѣсколько словъ о предметѣ, который мы охотно отложили бы до другого времени, —именно о философскихъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго на исторію. Есть много читателей, для которыхъ эти взгляды составляютъ помѣху впечатлѣнію самой хроники, слишкомъ рѣзко выдаваясь впередъ и отвлекая вниманіе, недостаточно живо заинтересованное самимъ художественнымъ произведе-

ніемъ. Въ этомъ отношеніи авторъ, кажется, вполне достигъ своей цѣли, то есть, дѣйствительно, всѣхъ заставилъ обратить вниманіе на свои любимыя мысли. Читая его полемическія выходки, замѣчая, какъ онъ начинаетъ горячиться, чуть только дѣло доходитъ до его философскихъ идей, можно подумать, что онъ гораздо меньше запылъ и увлеченъ своимъ существеннымъ предметомъ, то есть изображеніемъ Россіи, побѣдившей Наполеона, чѣмъ нѣкоторыми общими соображеніями относительно исторіи. Такъ, говоритъ, Ветховенъ считать своимъ главнымъ призваніемъ юриспруденцію и почти жалѣлъ, что слишкомъ много времени посвятилъ музыкѣ.

Прежде всего сознаемся со всею откровенностію, что одно дѣло вредить другому. Философскія разсужденія гр. Л. Н. Толстаго сами по себѣ чрезвычайно хороши; если бы онъ выступилъ съ ними въ отдѣльной книгѣ, то его нельзя было бы не признать отличнымъ мыслителемъ, и книга его была бы одною изъ тѣхъ немногихъ книгъ, которыя вполне заслуживаютъ названіе философскихъ. Но въ сосѣдствѣ съ хроникою «Войны и Мира», на ряду съ ея животрепещущими картинками, эти разсужденія кажутся слабыми, мало занимательными, мало соответствующими величію и глубинѣ предмета. Въ этомъ отношеніи гр. Л. Н. Толстой сдѣлалъ большую ошибку противъ художественнаго такта: его хроника, очевидно, подавляетъ собою его философію, и его философія мѣшаетъ его хроникѣ. Многіе «цѣнители и судьи», изъ тѣхъ, которые

Имѣютъ даръ одно худое видѣть,

обрадовались этой ошибкѣ и тотчасъ напали на «Войну и Миръ» со слабаго мѣста, со стороны разсужденій объ исторіи, очевидно, воображая, что тутъ-то они побѣдятъ навѣрное. Эти господа, намъ кажется, очень ошиблись; мы не помнимъ ни единого дѣльнаго замѣчанія со стороны тѣхъ, кто весьма презрительно отзывался объ философскихъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго, и полагаемъ вообще, что авторы этихъ отзывовъ еще далеко не доросли до своего подсудимаго.

Вся бѣда, впрочемъ, заключается только въ первомъ

впечатлѣніи; пройдетъ немного времени, и наши глаза привыкнутъ ясно раздѣлять два предмета, которые смѣшиваются только на первый взглядъ: хронику «Война и Миръ» и ея философію. Хроника сама по себѣ составляетъ такое стройное, ясное, законченное цѣлое, что для всякаго, сколько-нибудь способнаго понимать художественныя произведенія, никакія приставки и вводныя мысли не могутъ ослабить неотразимаго впечатлѣнія, не затемнять въ ней ни одной черты, такъ какъ всѣ ея черты чисты, просты и вполне отчетливы. Что же касается до философіи гр. Л. Н. Толстаго, то, когда мы привыкнемъ разсматривать ее отдѣльно отъ хроники,—и она обнаружитъ тѣ неотъемлемыя достоинства, которыя теперь теряются въ слишкомъ блестящемъ сосѣдствѣ хроники.

Философскіе взгляды гр. Л. Н. Толстаго тѣсно связаны съ содержаніемъ его хроники; они содержатъ въ себѣ замѣчательно точную и глубокую формулировку нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся исторіи вообще, но они не захватываютъ, не исчерпываютъ въ отвлеченной формѣ всего содержанія, которое «Война и Миръ» представляетъ въ формѣ художественной. Вотъ наше сужденіе, которое мы постараемся подкрѣпить кое-какими замѣчаніями и ссылками.

Мысль о томъ, что исторія совершается помимо людскаго произвола, что въ ней, неожиданно для разума и усилій людей, обнаруживается дѣйствіе другихъ, болѣе могучихъ и глубокихъ силъ,—вотъ главная мысль и философіи и хроники гр. Л. Н. Толстаго. Что движетъ народами? Отчего зависятъ ихъ страшныя столкновенія, ихъ побѣды и пораженія? Вотъ вопросы, на которые отвѣчаетъ гр. Л. Н. Толстой своими разсужденіями, и на эти же вопросы еще яснѣе, еще вразумительнѣе отвѣчаетъ вся хроника «Войны и Мира», излагающая въ лицахъ и картинахъ, какъ Наполеонъ оказался «ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи» (т. VI, стр. 84), какъ онъ ничего не могъ сдѣлать противъ той силы, которою, дѣйствительно, управляются событія. Высокоумные господа, считающіе возможнымъ восхищаться поэзіею гр. Л. Н. Толстаго и глумиться надъ его философіею, очевидно, не замѣчаютъ этой связи между тою и другою, то есть не замѣчаютъ, какъ говорится, слона, чѣмъ ясно показываютъ, что



и ихъ глумленіе, и ихъ восхищеніе одинаково безсмысленны. Нельзя восхищаться безукоризненно-правдивымъ художественнымъ разсказомъ гр. Л. Н. Толстаго и не видѣть, что этимъ разсказомъ вполне подтверждаются его мысли о великихъ людяхъ, о власти, о значеніи каждаго отдѣльнаго человѣка въ общемъ ходѣ событій, о томъ, что недостаточны и лживы объясненія историковъ, и т. д. Это цѣлый рядъ прекрасныхъ истинъ, тѣсно связанныхъ между собою и лишь иногда выраженныхъ преувеличенно, что очень легко исправить, держась несомнѣннаго руководства, даннаго намъ самимъ гр. Л. Н. Толстымъ, т. е. его хроники.

Пусть, напримѣръ, кто-нибудь попробуетъ отрицать то положеніе, которое мы только что привели, именно, что Наполеонъ былъ *ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи*. По смыслу хроники это, вѣдь, не значитъ, что Наполеонъ былъ человѣкъ тупой умомъ и слабый волею; напротивъ, все дѣло въ томъ, что онъ былъ необычайно проникателенъ и энергиченъ, и однако же, *не могъ ничего уразумѣть и ничего сдѣлать*, когда на сцену выступили дѣйствительныя силы исторіи; въ самой ссылкѣ, на островѣ св. Елены, какъ доказываетъ гр. Л. Н. Толстой, онъ не понималъ того, что съ нимъ случилось въ Россіи, и, слѣдовательно, онъ былъ вполне слѣпымъ орудіемъ высшихъ судебъ, обнаружилъ самымъ разительнымъ образомъ свое ничтожество, такъ какъ столкнулся съ силою безмѣрно превышавшею его волю и его разумъ.

Изъ «Войны и Мира» ясно, что каждый солдатъ, повиновавшійся силѣ исторіи и потому содѣйствовавшій событію, которое она совершала, былъ въ этомъ отношеніи выше Наполеона, который ничего не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать ни въ пользу событія, ни противъ него. Дѣятельность солдата была направлена на возможное, которое и совершалось; дѣятельность Наполеона была направлена на невозможное—и слѣдовательно, была совершенно безплодна. Вотъ смыслъ, въ которомъ Наполеонъ оказался *ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи*.

Люди сами не знаютъ, чему они служатъ орудіемъ; наибольшее посрамленіе выпадаетъ на долю тѣхъ, которые

имѣють притязаніе на наибольшее величіе. Вотъ простыя истины, къ которымъ сводятся многія разсужденія гр. Л. Н. Толстаго. Въ этихъ разсужденіяхъ такъ много вѣрнаго и яснаго, что они въ большей своей части не составляютъ новыхъ открытій, а представляютъ только оригинальное развитіе мыслей, давно уже высказанныхъ, хотя далеко не общераспространенныхъ.

*Фатализмъ*—вотъ какъ называли философскій взглядъ гр. Л. Н. Толстаго на исторію, не догадываясь, что это названіе само по себѣ ничего еще не выражаетъ. Фатализмъ, точно такъ же, какъ *пантеизмъ*, *идеализмъ*—суть общіе термины, подъ которые подходитъ всякая философія, что не мало удивляетъ тѣхъ, которые въ первый разъ знакомятся съ философскими системами. Вы хотите объяснить, какъ міръ произошелъ отъ божества, держится имъ и зависитъ отъ него,—это будетъ *пантеизмъ*. Вы хотите объяснить сущность явленій, смыслъ, для котораго вселенная составляетъ оболочку,—это будетъ *идеализмъ*. Вы, наконецъ, хотите понять причины, по которымъ исторія *необходимо* должна была совершаться такъ, а не иначе,—это будетъ *фатализмъ*.

Итакъ, мы не находимъ чего-либо совершенно новаго, или чего-либо рѣзко уклоняющагося отъ истины въ основныхъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго; но всякій безпристрастный читатель долженъ, по нашему мнѣнію, признать, что эти взгляды развиты съ необыкновенной оригинальностію, съ настоящимъ философскимъ талантомъ, и изложены мастерскимъ языкомъ, соединяющимъ чрезвычайную простоту и ясность съ силою и выразительностію.

Послѣдняя половина эпилога вся посвящена гр. Л. Н. Толстымъ изложенію его философіи исторіи. Тутъ въ порядкѣ и связи изложены его мнѣнія; и мы были удивлены многими превосходными, чисто-классическими страницами этихъ разсужденій. Вопросъ *о свободѣ воли* тутъ поставленъ съ замѣчательною глубиною, которой мы не найдемъ и малой доли у Бокля, или Милля, или другихъ нынѣ у насъ любимыхъ, философовъ.

Приведемъ нѣкоторые, наиболѣе выдающіеся мѣста.

«Если бы сознание свободы», говорит гр Л. Н. Толстой, «не было *отдѣльнымъ и независимымъ отъ разума источникомъ самопознанія*, оно бы подчинялось разсужденію и опыту; но въ дѣйствительности такое подчиненіе никогда не бываетъ и немислимо».

«Рядъ опытовъ и разсужденій показываетъ человѣку, что онъ, *какъ предметъ наблюденія*, подлежитъ извѣстнымъ законамъ, а человѣкъ подчиняется имъ и никогда не борется съ разъ узнаннымъ имъ закономъ тяготѣнія или непроницаемости. Но тотъ же рядъ опытовъ и разсужденій показываетъ ему, что полная свобода, которую онъ сознаетъ въ себѣ, невозможна, что всякое дѣйствіе его зависитъ отъ организаціи, отъ его характера и дѣйствующихъ на него мотивовъ; но человѣкъ никогда не подчиняется выводамъ этихъ опытовъ и разсужденій».

«Сколько бы разъ опытъ и разсужденіе ни показывали человѣку, что въ тѣхъ же условіяхъ, съ тѣмъ же характеромъ онъ сдѣлаетъ то же самое, что и прежде, онъ, въ тысячный разъ приступая въ тѣхъ же условіяхъ, съ тѣмъ же характеромъ къ дѣйствию, всегда кончавшемуся одинаково, несомнѣнно чувствуетъ себя столь же увѣреннымъ въ томъ, что онъ можетъ поступать, какъ онъ захочетъ, какъ и до опыта. Всякій человѣкъ, дикій и мыслитель, какъ бы неостраимо ему ни доказывали разсужденіе и опытъ то, что невозможно представить себѣ два поступка въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ жизни, чувствуетъ, что безъ этого безсмысленнаго представленія (составляющаго сущность свободы), онъ не можетъ себѣ представить жизни. Онъ чувствуетъ, что, какъ бы это ни было невозможно, это есть; ибо безъ этого представленія свободы онъ не только не понималъ бы жизни, но не могъ бы жить ни одного мгновенія».

«Если понятіе о свободѣ для разума представляется безсмысленнымъ противорѣчіемъ, какъ возможность совершить два поступка въ одинъ и тотъ же моментъ, то *это доказываетъ только то, что сознание свободы не подлежитъ разуму*» (т. VI, стр. 267 и 268).

Итакъ, свобода и вопросы о ней составляютъ область, не подлежащую обыкновенному познанію, обыкновеннымъ приемамъ и выводамъ разсужденій и опытовъ. Обыкновенное знаніе есть не что иное, какъ отыскиваніе необходимости и, слѣдовательно, отрицаніе свободы. Мы получаемъ, слѣдовательно, двѣ области мышленія: одна — вполне подчинена разуму и неизбежно ведетъ къ фатализму; другая имѣетъ источники познанія, независимые отъ разума, и обнимаетъ вопросы о свободѣ.



«Только въ наше самоувѣренное время популяризація знаній, продолжаетъ гр. Л. Н. Толстой, «благодаря сильнѣйшему орудію невѣжества—распространенію книгопечатанія, вопросъ о свободѣ воли сведенъ на такую почву, на которой и не можетъ быть самаго вопроса. Въ наше время, болѣшинство, такъ называемыхъ, передовыхъ людей, т. е. толпа невѣждъ приняла работы естествоиспытателей, занимающихся одной стороною вопроса, за разрѣшеніе всего вопроса».

«Души и свободы нѣтъ, потому что жизнь человѣка выражается мускульными движеніями, а мускульныя движенія обуславливаются нервной дѣятельностію; души и свободы нѣтъ, потому что мы въ неизвѣстный періодъ времени произошли отъ обезьянъ,—горятъ, пишутъ и печатаютъ они, вовсе не подозревая того, что тысячелѣтія тому назадъ, всѣми религіями, всѣми мыслителями не только признанъ, но никогда и не былъ отрицаемъ тотъ самый законъ необходимости, который съ такимъ стараніемъ они стремятся доказать теперь фізіологіей и сравнительной зоологіей. Они не видятъ того, что роль естественныхъ наукъ въ этомъ вопросѣ состоитъ только въ томъ, чтобы служить орудіемъ для освѣщенія одной стороны его. Ибо то, что съ точки зрѣнія наблюденія, разумъ и воля суть только отдѣленія (*secrétions*) мозга, и то, что человѣкъ, слѣдуя общему закону, могъ развиваться изъ низшихъ животныхъ въ неизвѣстный періодъ времени, уясняетъ только съ новой стороны, тысячелѣтія тому назадъ признанную всѣми религіями и философскими теоріями, истину о томъ, что съ точки зрѣнія разума человѣкъ подлежитъ законамъ необходимости,—но ни на волосъ не подвигаетъ разрѣшеніе вопроса, имѣющаго другую, противоположную сторону, основанную на сознаніи свободы».

«Если люди произошли отъ обезьянъ въ неизвѣстный періодъ времени, то это столь же понятно, какъ и то, что люди произошли отъ горсти земли въ неизвѣстный періодъ времени (въ первомъ случаѣ X есть время, во второмъ происхожденіе), и вопросъ о томъ, какимъ образомъ соединяется сознаніе свободы человѣка съ закономъ необходимости, которому подлежитъ человѣкъ, не можетъ быть разрѣшенъ сравнительною фізіологіей и зоологіей, ибо въ лягушкѣ, кроликѣ и обезьянѣ мы можемъ наблюдать только мускульно-нервную дѣятельность, а въ человѣкѣ—и мускульно-нервную дѣятельность и сознаніе».

«Естествоиспытатели и ихъ поклонники, думающіе разрѣшить вопросъ этотъ, подобны штукатурамъ, которыхъ бы приставили заштукатуривать одну сторону стѣны церкви и которые, пользуясь отсутствіемъ главнаго распорядителя работъ, въ порывѣ усердія замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и неутвержденные еще стѣны, и радовались бы на то, что съ ихъ штукатурной точки зрѣнія все выходитъ ровно и гладко» (т. VI, стр. 269 и 270).

Вотъ истинно-глубокомысленная, превосходно выраженная и до конца выдержанная постановка различія, существующаго между изслѣдованіями, для которыхъ верховнымъ закономъ можетъ быть только необходимость, и между совершенно иною областью мысли, — вопросами о свободѣ. Происхождение человѣка отъ обезьяны, столь сильно смущавшее многихъ, здѣсь поставлено на настоящее мѣсто, правильно и точно отнесено къ тѣмъ положеніямъ, которыя ни мало не касаются главной сущности дѣла.

Итакъ, г-р. Л. Н. Толстой отнюдь не фаталистъ въ строго-опредѣленномъ смыслѣ этого слова, и никакъ фаталистомъ быть не можетъ. Онъ отличаетъ исторію, какъ науку фаталистическую (подобно всеѣмъ другимъ частнымъ наукамъ), отъ тѣхъ умозрѣній, которыя содержатъ глубочайшія начала наукъ и высшіе вопросы о свободѣ.

«Точно такъ же», говоритъ онъ, «какъ предметъ всякой науки есть проявленіе неизвѣстной сущности, сама же эта сущность можетъ быть только предметомъ метафизики, — точно также проявленіе силы свободы людей въ пространствахъ, времени и зависимости отъ причинъ, составляетъ предметъ исторіи; *сама же свобода есть предметъ метафизики*» (т. VI, стр. 284).

Въ другомъ мѣстѣ онъ указываетъ на то, что метафизическіе вопросы составляютъ главные центры наукъ праведнаго міра. Въ самомъ простомъ видѣ онъ излагаетъ эти вопросы такъ:

«Человѣкъ есть твореніе всемогущаго, всеблагаго и всевѣдущаго Бога. Что же такое есть грѣхъ, понятіе о которомъ вытекаетъ изъ сознанія свободы человѣка? Вотъ вопросъ богословія».

«Дѣйствія людей подлежатъ общимъ, неизмѣннымъ законамъ, выражаемымъ статистикой. Въ чемъ же состоитъ отвѣтственность человѣка передъ обществомъ, понятіе о которой вытекаетъ изъ сознанія свободы? Вотъ вопросъ права».

«Поступки человѣка вытекаютъ изъ его природнаго характера и мотивовъ, дѣйствующихъ на него. Что такое есть совѣсть и сознаніе добра и зла поступковъ, вытекающее изъ сознанія свободы? Вотъ вопросъ этики».

«Человѣкъ, въ связи съ общей жизнью человѣчества, представляется подчиненнымъ законамъ, опредѣляющимъ эту жизнь. Но

тотъ же человѣкъ, независимо отъ этой связи, представляется свободнымъ. Какъ должна быть разсматриваема прошедшая жизнь народовъ и человѣчества,—какъ произведеніе свободной, или несвободной дѣятельности людей? Вотъ вопросъ исторіи» (т. VI, стр. 269).

Итакъ, безъ понятія свободы нравственныя науки не имѣли бы никакого смысла. Вопросы, относящіеся къ свободѣ, составляютъ самую душу этихъ наукъ, несмотря на то, что и тутъ господствуетъ фатализмъ, который вообще свойственъ знанію. Подводя поступки людей подъ законы статистики, ихъ душевныя свойства подъ законы образованія характера, развитіе народовъ подъ общіе законы жизни человѣчества,—мы стремимся внести фатализмъ въ эти науки; но весь интересъ ихъ заключается не въ этомъ фатализмѣ, а въ томъ, что держится подъ нимъ, какъ подъ оболочкой. Чѣмъ рѣзче и глубже въ нихъ проводится фатализмъ, тѣмъ опредѣленнѣе и отчетливѣе выступаетъ передъ нами область свободы, тѣмъ громче звучитъ противорѣчіе и яснѣе слышенъ голосъ, возвышающій намъ нравственный смыслъ явленій.

Прекрасно слыша этотъ голосъ, хорошо понимая, что въ немъ одномъ заключается значеніе исторіи, авторъ, однако же, посвятилъ весь конецъ своего труда задачѣ чисто-формальной; его заинтересовалъ не дѣйствительный смыслъ исторіи, а только вопросъ о *примиреніи необходимости и свободы*, то есть о томъ, какимъ образомъ исторія возможна, какъ наука въ тѣсномъ смыслѣ. Цѣлый рядъ остроумныхъ и тонкихъ разсужденій опредѣляетъ отношенія между необходимостью и свободою, и авторъ приходитъ къ заключенію, что въ исторіи, не отвергая дѣйствительной свободы и не пытаясь проникнуть въ ея сущность, мы должны *отказаться отъ несуществующей \*) свободы и признать неощущаемую нами зависимость*.

Этими словами оканчивается «Война и Миръ». Какое—скажемъ прямо—нехудожественное заключеніе! Скучно и странно читать хотя превосходныя, но совершенно сухія разсужденія послѣ живыхъ лицъ и картинъ хроники. А что нехорошо въ художественномъ отношеніи, то непременно будетъ

---

\*) То есть такой, какую мы обыкновенно въ себѣ воображаемъ.



нехорошо и въ другихъ отношеніяхъ. Такъ случилось и здѣсь. Конечно, были бы не скучны такіа разсужденія, которыя бы вполне стояли на высотѣ хроники, вполне исчерпывали ея предметъ. Но этого здѣсь нѣтъ. Читатель, слѣдя за философскими мыслями автора, все ждетъ, что авторъ приложитъ свои общія соображенія къ главному своему предмету, къ борьбѣ Россіи съ Европой. Но авторъ какъ-будто вовсе забылъ о томъ, что составляетъ весь интересъ его произведенія.

Ошибка заключается не въ неправильности мысли, а въ ея неполнотѣ. Очевидно, всѣ разсужденія автора ни мало не показываютъ намъ, какой смыслъ имѣла борьба, изображенная въ хроникѣ, какія силы въ ней проявились. Такъ, справедливо оказывается ученіе Канта и другихъ философовъ, что связь причинъ и слѣдствій, изысканіе *необходимаго* хода вещей, — въ чемъ состоятъ всѣ цѣли науки въ тѣсномъ смыслѣ, — не исчерпываетъ содержанія явленій, что причинность есть не что иное, какъ форма нашего ума, которая, въ качествѣ формы, не можетъ захватить собою сущности. Между тѣмъ, вопросъ о свободѣ воли, о нравственномъ смыслѣ явленій есть вопросъ о сущности.

Сущность дѣла передъ нами живо и ясно выступаетъ въ хроникѣ, и вовсе не затрогивается въ разсужденіяхъ автора объ исторіи. Если бы художникъ закончилъ свою книгу философскими или какими угодно мыслями, изъ которыхъ намъ сталъ бы яснѣе смыслъ Бородинскаго сраженія, сила русскаго народа, тотъ идеалъ, который насъ тогда спасъ и живить насъ до сихъ поръ, — мы были бы довольны. Но формулы обыкновеннаго знанія сами по себѣ холодны, безстрастны, безразличны; они не уловляютъ ни красоты, ни добра, ни правды, то есть того, что всего выше на свѣтѣ, въ чемъ заключается самый существенный интересъ нашей жизни. Для науки — самое отвратительное явленіе, какъ и самое высокое, есть только слѣдствіе извѣстныхъ причинъ; но для живыхъ людей это не все равно. Для науки міръ превращается въ мертвую, однообразную игру причинъ и слѣдствій; но для живого человека міръ имѣетъ красоту, жизнь, составляетъ предметъ отчаянія или восторга, благоговѣнія или отвращенія, — и въ этомъ состоитъ для насъ су-

щественная сторона дѣла. Умъ не находитъ въ мирѣ ничего, кромѣ какой-то безконечной и бессмысленной механики; но сердце указываетъ намъ другой смыслъ, который въ сущности одинъ только и важенъ.

Итакъ, главной мысли «Войны и Мира» нельзя искать въ философскихъ формулахъ гр. Л. Н. Толстаго, а нужно искать въ самой хроникѣ, гдѣ жизнь исторіи изображена съ такой изумительной полнотою, гдѣ для нашего сердца столько высокихъ откровеній. Тутъ очевидно, что вопросъ о нашей борьбѣ съ Европою есть совершенно особенный вопросъ; тутъ ясно свѣтится тотъ чисто-русскій идеалъ, который намъ дороже всего на свѣтѣ и въ которомъ, наконецъ, все дѣло.

Самъ авторъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приходитъ къ отвлеченнымъ положеніямъ, очевидно, не вытекающимъ изъ его заключительныхъ разсужденій. Называя войну 1812 года *величайшею изъ всѣхъ извѣстныхъ войнъ* (т. VI, стр. 2), онъ замѣчаетъ, что она была въ то же время войною, не подходящею ни подъ какія прежнія преданія войны» (стр. 4). Бородинское сраженіе онъ называетъ *однимъ изъ самыхъ поучительныхъ явленій исторіи* (стр. 1) именно потому, что оно представляетъ какое-то противорѣчіе обыкновенному ходу историческихъ явленій.

«Всѣ факты исторіи», говоритъ онъ, «подтверждаютъ справедливость того, что бѣдшіе или меньшіе успѣхи войска одного народа противъ войска другого народа суть причины или, по крайней мѣрѣ, существенные признаки увеличенія или уменьшенія силы народовъ. Войско одержало побѣду, и тотчасъ же увеличились права побѣдившаго народа въ ущербъ побѣжденному. Войско понесло поражение—и тотчасъ же по степени поражения народъ лишается правъ, а при совершенномъ пораженіи своего войска—совершенно покоряется».

«Такъ было (по исторіи) съ древнѣйшихъ временъ и до настоящаго времени. Всѣ войны Наполеона служатъ подтвержденіемъ этого правила. По степени пораженія австрійскихъ войскъ, Австрія лишается своихъ правъ и увеличиваются права и силы Франціи. Побѣда французамъ подъ Іеной и Ауерштедомъ уничтожаетъ самостоятельное существованіе Пруссіи».

«Но вдругъ, въ 1812 году, французами одержана побѣда подъ Москвою. Москва взята, и вслѣдъ за этимъ, безъ новыхъ сраженій, не Россія перестала существовать, а перестала существовать 600-ты-

саянная армія, потомъ—Наполеоновская Франція. *Натянуть факты на правила исторіи*, сказать, что поле сраженія въ Бородинѣ осталось за русскими, что послѣ Москвы были сраженія, уничтожившія армію Наполеона,—*невозможно*» (т. V, стр. 12).

Выводъ, къ которому приходитъ авторъ и въ которомъ содержится *поучительность* Бородинскаго сраженія и *новый* результатъ, не подходящій подъ преданія исторіи, состоитъ въ слѣдующемъ:

«Періодъ кампаніи 1812 года отъ Бородинскаго сраженія до изгнанія французовъ доказалъ, что выигранное сраженіе не только не есть причина завоеванія, но даже и не постоянный признакъ завоеванія;—доказалъ, что *сила, рѣшающая участь народовъ, лежитъ не въ завоевателяхъ, даже не въ арміяхъ и сраженіяхъ, а въ чемъ-то другомъ*» (тамъ же, стр. 3).

Итакъ, исторія не есть однообразная игра однихъ и тѣхъ же силъ, не есть безконечная вереница повторяющихся причинъ и слѣдствій; въ ней есть событія *особенныя*, представляющія *особенный* смыслъ, особенную поучительность, такъ какъ они обнаруживаютъ дѣйствіе силъ дотолъ неясныхъ или не существовавшихъ. Въ исторіи раскрывается и обнаруживается что-то закрытое и глубокое, является нѣчто новое, воплощается то, что еще никогда не было воплощено. Если такъ, то въ этомъ одномъ и состоитъ интересъ и поучительность исторіи.

Гр. Л. Н. Толстой въ своей великолѣпной эпопееъ показъ намъ, *что* обнаружилось въ нашей борьбѣ съ Наполеономъ. Въ первый разъ отъ начала исторіи ясно и грозно проявился русскій идеалъ, и передъ этимъ идеаломъ сломилась и померкла вся сила Наполеона и Наполеоновской Франціи. Вотъ примѣръ того смысла, который заключается въ исторіи и составляетъ ея существенное содержаніе. Дѣло вовсе не въ побѣдѣ, не въ томъ, что случилась новая комбинація единичныхъ силъ, вслѣдствіе которой рушилось могущество, до тѣхъ поръ все покорявшее и побѣждавшее; сущность дѣла въ томъ, *что* скрывается подъ этою механическою игрою причинъ и слѣдствій. Подъ нею скрывается пробужденіе си-



лы, еще не дѣйствовавшей въ мірѣ,—духа *простоты, добра и правды*.

Простота есть высшее изящество, высшая красота человека.

Добро и правда—суть высшія цѣли, для которыхъ долженъ жить и дѣйствовать человекъ.

Таковы лучшія черты идеала, хранящагося въ русскомъ народѣ. Этотъ духъ смиренія и доброты много принесть и приносить намъ всякаго вреда и всякихъ бѣдъ; но этотъ же духъ побѣдиль Наполеона, разрушилъ его армію и государство.

## V.

Мы старались разсмотрѣть «Войну и Миръ» съ главныхъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ, какъ мы думаемъ, слѣдуетъ разсматривать это произведеніе. Мы старались быть краткими и упускали множество замѣчаній, которыя напрашивались подъ перо и которыя, можетъ быть, окажется нужнымъ высказать. Мы не говорили ни объ удивительномъ языкѣ, ни о несравненной твердости и чистотѣ художественныхъ приемовъ автора, хотя во всѣхъ этихъ отношеніяхъ «Война и Миръ» есть произведеніе образцовое, такъ что его долженъ прилежно изучать всякій русскій писатель по художественной словесности. Все это приходится отложить до другого времени, и мы поспѣшимъ къ заключенію нашей статьи, которая, какъ мы это предчувствуемъ, и безъ того покажется нашимъ рецензентамъ необыкновенно *длинной* и донельзя *туманной*.

Но прежде заключенія, сдѣлаемъ еще одно небольшое отступленіе; оно, быть можетъ, будетъ кстати и не помѣшаетъ дѣлу. Именно—подыместъ здѣсь камушекъ, брошенный въ «Войну и Миръ» изящною рукою (какъ говорятъ изящные фельетонисты) г. Тургенева. Въ одно время съ появленіемъ VI тома гр. Л. Н. Толстаго появился первый томъ новаго изданія сочиненій г. Тургенева, и въ этомъ томѣ, въ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», между многими диковинками

заклѣчается одна весьма любопытная,—взглядъ г. Тургенева на всю нашу современную изящную словесность. Тутъ вы найдете отзывы обо всѣхъ нашихъ знаменитостяхъ, даже о самой новѣйшей, о г. Рѣшетниковѣ; есть отзывъ и о «Войнѣ и Мирѣ».

Какъ это случилось, т. е. какимъ образомъ г. Тургеневъ, говоря о своей прошлой дѣятельности, успѣлъ не оставить безъ краткой оцѣнки ни одного изъ своихъ нынѣшнихъ со-  
братовъ по поэзіи,—это понять не совсѣмъ легко. По видимому, дѣло простое; отзывы пришлись къ слову, вызваны связью съ тѣмъ или другимъ предметомъ рѣчи. Но если мы сообразимъ полноту этихъ отзывовъ, ихъ характеръ, оригинальность и вѣскость сужденій, въ нихъ заключающихся, то мы невольно станемъ подозрѣвать г. Тургенева въ хитрости и подумаемъ, что онъ только прикидывается простодушно-разболтавшимся писателемъ, которому случайно попадаются на языкъ самыя разнообразныя имена.

Есть вещи, о которыхъ говорить вскользь, мимоходомъ —нельзя. Есть слова, въсѣ которыхъ долженъ быть извѣстенъ всякому, и которыхъ произносить нельзя, прикидываясь, что мы не знаемъ этого вѣса. Такъ какъ г. Тургеневъ учился нѣмецкой философій, такъ какъ въ «Воспоминаніяхъ» онъ самъ много толкуетъ объ авторитетахъ и объ отношеніяхъ къ нимъ, то мы позволимъ себѣ здѣсь маленькое отвлеченное разсужденіе на тему Гоголя: *обращаться съ словомъ нужно честно*; другими словами, это будетъ такой вопросъ: почему писатель долженъ и какимъ образомъ онъ можетъ избѣгать всякаго злоупотребленія своимъ авторитетомъ?

Мы вовсе не принадлежимъ къ строгимъ моралистамъ, которые готовы возложить на писателей тяжкую и едва ли выполнимую отвѣтственность. Многіе, какъ, напримѣръ, Гоголь, думаютъ, что писатель долженъ отвѣчать за впечатлѣніе, производимое его словами. Слѣдовательно, онъ долженъ взвѣсить понятія и умственные силы читателей и говорить такъ, чтобы его слова были поняты въ ихъ настоящемъ смыслѣ и не породили бы никакого заблужденія, не возбудили бы никакихъ дурныхъ страстей. По мнѣнію этихъ моралистовъ

писатель виновать во всякомъ своемъ поспѣшномъ, недодуманномъ, неумѣло сказанномъ словѣ.

Подобныя требованія мы находимъ слишкомъ высокими и потому примѣнимыми только въ рѣдкихъ случаяхъ. Сказать писателю: ты долженъ быть умнѣе и дальновиднѣе всѣхъ твоихъ читателей,—не значить ли это возложить на писателей долгъ, котораго они въ большинствѣ случаевъ выполнить не могутъ? Если даже многіе охотно принимаютъ на себя такія обязанности и воображаютъ себя свѣтилами и наставниками, то большею частію мы справедливо видимъ въ этомъ одно ихъ излишнее самолюбіе.

Итакъ, обязанности писателя, по нашему мнѣнію, проще и легче. Отъ него, строго говоря, требуется только одно—полная искренность. Требуется не то, чтобы онъ самъ строго и точно взвѣшивалъ свои слова (этотъ даръ не всякому дается), а чтобы онъ намъ, читателямъ, давалъ полную возможность произвести это взвѣшивание. Требуется не то, чтобы онъ самъ никогда не обманывался и не ошибался (кто за себя поручится?), а чтобы онъ насъ не обманывалъ, насъ не вводилъ въ ошибку. А для этого нужно не только не лгать завѣдомо, не только не писать того, чего не думаешь, но каждую свою мысль высказывать открыто и ясно, *не скрывая тѣхъ оснований и побужденій, по которымъ она возникла и сказана*. Когда мы знаемъ, что человѣкъ говоритъ искренно, и видимъ, съ какою цѣлью онъ говоритъ, чего хочетъ, чѣмъ заинтересованъ,—мы можемъ быть вполне довольны добросовѣстностію такого человѣка, и уже сами разберемъ, есть ли толкъ въ его словахъ, или нѣтъ.

Поэтому мы считаемъ, что читатель погрѣшаетъ противъ своихъ обязанностей, если онъ говоритъ намеками, если онъ умышленно пользуется своимъ авторитетомъ и какъ-будто невзначай роняетъ инныя вѣскія слова, надѣясь, что они произведутъ въ такой формѣ больше дѣйствія. Писатель, который, подобно злоязычной бабѣ, говоритъ объ одномъ, а думаетъ о другомъ, который въ мягкую и ласковую рѣчь вставляетъ шпильки для тѣхъ или другихъ слушателей, который льститъ подъ видомъ общихъ разсужденій и жалить, изли-



вался любовью въ литературѣ,—такой писатель преступаетъ самыя простыя и скромныя свои обязанности.

Совершенно мимоходомъ, занятый, по видимому, очень важными соображеніями, г. Тургеневъ называлъ гр. Л. Н. Толстаго писателемъ пристрастнымъ и невѣжественнымъ. Вотъ слова г. Тургенева: «Самый печальный примѣръ *отсутствія истинной свободы, протекающаго изъ отсутствія истиннаго знанія* представляетъ намъ послѣднее произведеніе гр. Л. Н. Толстаго «Война и Миръ», которое въ то же время, по силѣ творческаго, поэтическаго дара, стоитъ едва ли не во главѣ всего, что явилось въ нашей литературѣ съ 1840 года». (Соч. Тург., т. I, 1869 г., стр. С).

И только! Г. Тургеневъ прикидывается наивнымъ и простодушнымъ и дѣлаетъ видъ, что ему нуженъ былъ этотъ отзывъ только для примѣра, только ради небольшого поясненія его собственныхъ мыслей, какъ-будто о такихъ вещахъ можно говорить мимоходомъ! Какъ-будто, признавши «Войну и Миръ» выше всего, что явилось у насъ съ 1840 г., то есть съ «Мертвыхъ душъ», и слѣдовательно выше собственныхъ своихъ твореній, г. Тургеневъ имѣлъ право говорить о произведеніи гр. Л. Н. Толстаго вскользь, мелькомъ, и, съ улыбкой на устахъ и взоромъ, устремленнымъ на созерцаніе высшихъ истинъ, произнести объ этомъ произведеніи сколь возможно тяжкій приговоръ!

Намъ и читателямъ теперь приходится разбирать и догадываться, какой смыслъ имѣетъ эта *шипилка*, такъ искусно вставленная въ изящныя «Воспоминанія» г. Тургенева. Что значитъ, напримѣръ, *отсутствіе истиннаго знанія* у гр. Л. Н. Толстаго, заявляемое г. Тургеневымъ такъ положительно и безъ малѣйшихъ околнчностей, какъ-будто это дѣло самое ясное и не подлежащее никакому сомнѣнію? Это значитъ, во первыхъ, вообще, что г. Тургеневъ считаетъ себя несравненно образованнѣе гр. Л. Н. Толстаго, а во вторыхъ, въ частности, что г. Тургеневъ, вѣроятно, недоволенъ невѣжественными, по его мнѣнію, взглядами гр. Л. Н. Толстаго на исторію, на Наполеона, на войну 1812 года.

Предметъ любопытный, и если бы г. Тургеневъ поступилъ согласно съ обязанностями всякаго писателя, большаго

и малаго, то есть выразилъ бы ясно мысль, какую ему Богъ послалъ, то мы могли бы по мѣрѣ силъ и сами разсудить объ этомъ предметѣ. Теперь же ограничимся слѣдующими замѣчаніями.

Образованіе само по себѣ, безъ ума, безъ сердца, есть вздоръ. Можно долго учиться философіи, всю жизнь читать умнѣйшія книги, знать множество языковъ и все-таки не только не сдѣлать ничего путнаго, а даже не быть умнымъ человекомъ. Все дѣло въ *истинномъ знаніи*, какъ выразился г. Тургеневъ весьма неудачно для себя и очень удачно для насъ. Мы ничего не знаемъ объ *образованіи* гр. Л. Н. Толстаго, кромѣ только того, что, какъ писатель съ высокимъ настроеніемъ ума, онъ никогда, ни въ одной строчкѣ своихъ произведеній не вздумалъ ни похвалиться малѣйшей чертой своего образованія, ни въ какомъ бы то ни было смыслѣ унизить, дѣйствительно, умныя вещи. Что же касается до *истиннаго знанія*, то чрезвычайное обиліе этого знанія у гр. Л. Н. Толстаго есть дѣло, не подлежащее никакому сомнѣнію и для всякаго очевидное. Чего только не знаетъ этотъ человѣкъ! И при томъ, чего только не знаетъ онъ—не по книгамъ, а этимъ *истиннымъ знаніемъ*, котораго часто ни въ какихъ книгахъ не доищешься! Не только душа человѣческая—истинная область поэта—ему знакома лучше, чѣмъ всякимъ ученымъ психологамъ; безчисленныя сферы жизни и дѣятельности извѣстны ему такъ, какъ одной изъ нихъ не знаетъ иной человѣкъ, вращающійся въ ней цѣлую жизнь.

Сверхъ художественной геніальности мы должны признать за гр. Л. Н. Толстымъ огромную способность знанія, сверхъ поэтическаго дара—философскій талантъ, сверхъ изумительнаго умѣнья понимать смыслъ того, что пишется въ книгахъ и того, что еще ни въ какихъ книгахъ не написано,—огромную начитанность по предмету нашихъ войнъ съ Наполеономъ.

Въ словахъ г. Тургенева о невѣжествѣ гр. Л. Н. Толстаго намъ слышится всего ясное одно—страхъ передъ авторитетомъ западной науки, страхъ, весьма распространенный въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ. Г. Тургеневъ

вздумать насъ, поугатъ своею образованностію и ссылкой на какое-то *знаніе*, о которомъ, мы увѣрены, онъ и самъ не имѣетъ яснаго понятія. Эти вѣчныя пуганья кокою то неопредѣленною и неизвѣстно гдѣ существующею *западною наукою* — приличны только тому, кто самъ не знаетъ, что ему думать и чего держаться. У кого же есть собственная мысль, того ничѣмъ не испугаешь.

Мы переходимъ, такимъ образомъ, ко второму упреку, заключающемуся въ шпилькѣ г. Тургенева; именно—г. Тургеневъ называетъ Толстаго человѣкомъ *несвободнымъ*, конечно, разумѣя подъ этимъ то, что Толстой будто бы пристрастенъ къ своему народу и своей исторіи, что онъ подчиняется этимъ великимъ авторитетамъ. Но умственная свобода и умственное рабство вовсе не этимъ опредѣляется, вовсе не состоятъ въ независимости отъ всякихъ авторитетовъ, а заключается въ томъ, чтобы и наше подчиненіе и наше возстаніе исходили изъ насъ самихъ, были яснымъ и сознательнымъ дѣломъ нашего ума и нашего сердца. Не подчиняться никакимъ авторитетамъ есть сущая глупость, ибо это значило бы, ничего не уважать и ничего не любить. «Есть, сказать одинъ умный человѣкъ, свобода разнаго рода: есть, напримѣръ, свобода отъ здраваго смысла, да только какой же толкъ въ подобной свободѣ?» Истинно свободенъ не тотъ, кто не имѣетъ силы ни во что повѣрить, не имѣетъ ума, чтобы понять верховную важность извѣстныхъ началъ, а тотъ, кто, вѣря и понимая, дѣйствуетъ при этомъ *своимъ* умомъ, *своею* душою, а не подъ чужимъ вліяніемъ, не подъ страхомъ общественнаго мнѣнія, не ради постороннихъ дѣлу причинъ. Собственное убѣжденіе—вогь истинная свобода.

Если мы взглянемъ съ этой точки зрѣнія.—то безъ сомнѣнія убѣдимся, что нѣтъ человѣка болѣе свободнаго, чѣмъ Толстой, и что, если мы захотимъ найти примѣръ рабства, то самый разительный примѣръ представляетъ г. Тургеневъ, тотъ самый, который теперь поднялъ толки о свободѣ писателя. Кто, въ самомъ дѣлѣ, можетъ укорить гр. Л. Н. Толстаго въ томъ, что онъ когда-нибудь плылъ по вѣтру, что онъ подчинялся чужимъ мнѣніямъ или минутнымъ настроеніямъ общества и литературы? Ни на одномъ произведеніи



этого писателя не лежить отпечатка какого бы то ни было подчиненія. Вездѣ слышна упорная, *независимая* работа его собственнаго ума. Повторимъ то, что мы доказывали въ «Зарѣ» прошлаго года: ни одинъ изъ нашихъ писателей не представляетъ такого длиннаго и цѣльнаго, вполне органическаго развитія, какъ г. Л. Н. Толстой. Вспомните, что дѣлалось въ это время въ литературѣ, какія въ ней совершались воздушныя революціи, какими метеорами наполнены былъ воздухъ, какими обманчивыми миражами заслоненъ былъ весь горизонтъ. Чего-чего только у насъ не было! Люди самыя проникательныя готовы были обмануться и признать важность и существенность того, что въ дѣйствительности было пѣной и брызгами. Гр. Л. Н. Толстой во все это время не подпалъ ни единому изъ многихъ вліяній. Глубокая, упорная внутренняя работа дѣлала его совершенно независимымъ отъ всякихъ вліяній минуты. Каждое его произведеніе свидѣтельствуетъ, что онъ писатель *свободный* въ лучшемъ, въ высочайшемъ смыслѣ этого слова,—то есть писатель самостоятельный, имѣющій *свои* мысли, *свои* задачи.

Возьмите же теперь, для контраста и поясненія, г. Тургеневъ, который самъ напросился на невыгодное для себя сравненіе. Чѣмъ только не былъ г. Тургеневъ, какимъ вліяніямъ онъ не подчинялся? Каждое минутное настроеніе нашихъ журналовъ и нашихъ литературныхъ кружковъ отражалось на немъ съ такою быстротою и силою, какой мы едва ли найдемъ другой примѣръ. Вотъ истинный *рабъ* минуты, человѣкъ, какъ-будто не имѣющій ничего своего, а все заимствующій отъ другихъ. Къ нему больше, чѣмъ къ кому-нибудь, идутъ слова, сказанныя вообще о поэтахъ:

Вы всѣ на колоколь похожи,  
Изъ который можетъ зазвонить  
На площади любой прохожій.

Самостоятельности и, слѣдовательно, независимости нѣтъ въ г. Тургеневѣ никакой; будучи эхомъ чужихъ взглядовъ и настроеній, г. «Тургеневъ не сумѣлъ до сихъ поръ выработать себѣ точки зрѣнія, которая подымалась бы выше изображаемыхъ имъ явленій. Что изъ того, что во время разгара

нигилизма онъ написать «Отцовъ и Дтей», а во время разгара патриотизма—«Дымъ»? Если человекъ руководится желаніемъ противорѣчить настроенію минуты, — онъ все-таки зависитъ отъ минуты, онъ говоритъ не свое, а то, что въ немъ вызывается этимъ противорѣчіемъ. Нѣкоторое время можно было думать, что у г. Тургенева есть какіе-нибудь высшіе взгляды, изъ-за которыхъ онъ осуждаетъ мимолетныя явленія нашего прогресса. Но теперь плачевная истина вполне обнаружилась; оказалось, что г. Тургеневъ стоитъ даже ниже этихъ явленій; не зная, что ему дѣлать, гдѣ установить свою точку опоры, онъ рѣшился, наконецъ, объявить себя приверженцемъ *нигилизма*, т. е. самой послѣдней и, по нашему мнѣнію, самой уродливой формы нашего прогресса. И этотъ человекъ объявляетъ себя свободнымъ! И онъ имѣетъ смѣлость укорять другихъ въ рабствѣ, да еще кого — Л. Н. Толстого!

---

## VI.

Предыдущее разбирательство оказалось вовсе не лишнимъ дѣломъ: оно прямо приводитъ васъ къ нѣкоторымъ общимъ замѣчаніямъ относительно нашей литературы, которыми мы и закончимъ нашу статью. Совершенно ясно, что съ 1868 года, то есть съ появленія «Войны и Мира», составъ того, что собственно называется русскою литературою, то есть составъ нашихъ художественныхъ писателей получилъ иной видъ и иной смыслъ. Гр. Л. Н. Толстой занялъ первое мѣсто въ этомъ составѣ, мѣсто неизмѣримо высокое, поставившее его далеко выше уровня остальной литературы. Писатели, бывшіе прежде первостепенными, обратились теперь во второстепенныхъ, отошли на задній планъ. Если мы взглянемъ въ это перемѣщеніе, совершившееся самымъ безобиднымъ образомъ, т. е. не въ силу чьего-нибудь пониженія, а вслѣдствіе огромной высоты, на которую взомель раскрывшій свои силы талантъ, то намъ невозможно будетъ не радоваться этому дѣлу отъ всего сердца. До сихъ поръ, кто были представители

русской литературы, кто занималъ въ ней первое мѣсто, и для насъ, и для иностранцевъ? Конечно, Тургеневъ, Островскій, Некрасовъ. Вотъ тѣ таланты, которые своею дѣятельностію, своимъ успѣхомъ, своимъ неотразимымъ обаяніемъ— господствовали надъ массою читателей. И что же? Ни одинъ изъ нихъ, по несчастію, не заслужилъ полного сочувствія, ни одинъ не былъ человѣкомъ вполне свободнымъ—такъ какъ ужъ пошла рѣчь о свободѣ,—ни одинъ не былъ чистъ отъ важныхъ недостатковъ. О колебаніяхъ г. Тургенева мы уже говорили; колебанія г. Островскаго не менѣе многочисленны, хотя менѣе были замѣчены и истолкованы читателямъ нашею критикою. Что же касается до г. Некрасова, то о немъ давно извѣстно, что онъ отдалъ свою музу въ крѣпостное рабство извѣстнымъ пдеямъ и направленіямъ. Это самый талантливый изъ нашихъ стихотворцевъ, но вмѣстѣ наименѣе смѣлый, наиболѣе уродующій и пригибающій свои чувства въ угоду стремленіямъ, которымъ подчинился.

Такимъ образомъ, наша литература представляла жалкое зрѣлище. Вслѣдствіе неправильности нашего умственного развитія, люди самые талантливые были испорчены; они или шли по ложной дорогѣ, покоряясь общему теченію, или сами не знали, что дѣлать и метались изъ стороны въ сторону. Но явился, наконецъ, богатырь, который не поддался никакимъ нашимъ язвамъ и повѣтріямъ, который разметалъ, какъ щепки, всякіе тараны, отшибающіе у русскаго образованнаго человѣка ясный взглядъ и ясный умъ, все тѣ авторитеты, подъ которыми мы гнемся и ежимся. Изъ тяжелой борьбы съ хаосомъ нашей жизни и нашего умственного міра (мы говорили объ этой борьбѣ въ прошломъ году) онъ вышелъ только могучѣе и здоровѣе, только развилъ и укрѣпилъ въ ней свои силы, и разомъ поднялъ нашу литературу на высоту, о которой она и не мечтала.

Какъ же не радоваться? Теперь мы будемъ даже снисходительнѣе къ нашимъ прежнимъ представителямъ литературы; мы не станемъ испытывать той печали и злобы которыя, бывало, волновали насъ, когда мы видѣли, что руководство толпы принадлежитъ людямъ или упорно косящимъ на ложномъ пути, или не знающимъ хорошенько, чего



имъ держаться и потому угрожающимъ господствующему вѣтру. Богъ съ ними! Ихъ царство миновало!

Какъ же не радоваться? Послѣ долгихъ уклоненій отъ настоящей дороги, послѣ всякихъ заразъ, которыя русская литература выносила въ своемъ тѣлѣ со всѣми ихъ послѣдовательными симптомами, она, наконецъ, возвращается къ своему прежнему здоровью. Та могучая гармоническая сила, которая нѣкогда сказала въ Пушкинѣ и съ тѣхъ поръ какъ-будто обмелѣла, разбилась на мелкіе ручьи, затерялась въ трясинахъ и болотахъ, вдругъ снова во очію явилась намъ, вдругъ показалась намъ въ новыхъ формахъ, но съ тою же печатью несравненной прелести, здоровая, чистая, по своей простотѣ и внутреннему равновѣсію превосходящая самыя высокія поэтическія силы другихъ народовъ. Какъ же не радоваться!

Если теперь иностранцы спросятъ у насъ о нашей литературѣ, то мы не скажемъ имъ въ отвѣтъ, что она подаетъ прекрасныя надежды, что она заключаетъ великодушныя задатки, не станемъ пускаться въ оговорки и приводить разныя смягчающія обстоятельства, чтобы объяснить уродливость и односторонность современныхъ нашихъ литературныхъ авторитетовъ; мы прямо укажемъ на «Войну и Миръ», какъ на зрѣлый плодъ нашего литературнаго движенія, какъ на произведеніе, передъ которымъ мы сами преклоняемся, которое для насъ дорого и важно не *за немнѣніемъ лучшихъ*, а потому, что оно принадлежитъ къ самымъ великимъ, самымъ лучшимъ созданіямъ поэзіи, какія мы только знаемъ и можемъ вообразить. Западные литературы въ настоящее время не представляютъ ничего равнаго, и даже ничего близко подходящаго къ тому, чѣмъ мы теперь обладаемъ.

Если братья славяне попросятъ теперь у насъ книгъ, то мы не будемъ, *скръпя сердце*, посылать имъ Тургенева, Островскаго, Некрасова; нѣтъ, мы пошлемъ имъ этихъ писателей спокойно и безбоязненно. потому что вмѣстѣ съ ними пошлемъ и «Войну и Миръ». Свѣтъ, которымъ сіяетъ произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, такъ силенъ, что при немъ

не страшны всѣ эти меньшія свѣтила, озаряющія нашу жизнь такимъ слабымъ и неровнымъ, а часто даже совершенно неправильнымъ свѣгомъ. Всѣ слабыя и больныя стороны нашей литературы теперь сами собою обличаются; у насъ есть мѣрка здоровой и могучей поэзіи, и, въ сравненіи съ этимъ образцомъ, получаютъ свое настоящее значеніе тѣ неполныя и искаженные проблески поэзіи, съ которыми мы такъ долго возились, которымъ по неволѣ приписывали больше важности, чѣмъ они ея имѣютъ на самомъ дѣлѣ.

Но главное, конечно, не въ томъ, что мы скажемъ Европѣ, или что пошлемъ славянамъ; главное—въ насъ самихъ, въ томъ благотворномъ вліяніи, которое можетъ имѣть «Война и Миръ» на духовное развитіе нашего общества,—этого больного общества, пораженнаго недугами, приводящими иногда въ ужасъ и отчаяніе людей, преданныхъ своему народу. Въ изящной литературѣ, въ журналистикѣ, въ массѣ читающихъ и пишущихъ людей,—вездѣ господствуетъ такая слабость мысли, такое искаженіе инстинктовъ и понятій, такое обиліе предразсудковъ и заблужденій,—что невольно является страхъ за наше духовное развитіе, невольно приходится въ голову мысль, не поражены ли мы какою-нибудь неизлѣчимою болѣзью, не суждено ли русскому уму и сердцу заглохнуть и вымереть подъ язвами, разъѣдающими нашъ духовный строй. Вотъ то существенное дѣло, въ которомъ «Война и Миръ» можетъ принести намъ помощь и отраду. Эта книга есть прочное пріобрѣтеніе нашей культуры, столь же прочное и непоколебимое, какъ, на примѣръ, сочиненія Пушкина. Пока жива и здорова наша поэзія, до тѣхъ поръ нѣтъ причины сомнѣваться въ глубокомъ здоровьи русскаго народа и можно принимать за миражъ всѣ болѣзненные явленія, совершающіяся, такъ сказать, на окраинахъ нашего духовнаго царства. «Война и Миръ» скоро станетъ настольною книгою каждаго образованнаго русскаго, классическимъ чтеніемъ нашихъ дѣтей, предметомъ размышленія и поученія для юношей. Съ появленіемъ великаго произведенія гр. Л. Н. Толстаго наша поэзія опять займетъ подобающее ей мѣсто, сдѣлается правльнымъ и важнымъ элементомъ воспитанія, какъ въ тѣсномъ смыслѣ—воспитанія подрастающаго по-

колѣнѣи, такъ и въ обширномъ смыслѣ—воспитанія всего общества. И все крѣпче и крѣпче, все сознательнѣе мы будемъ питать приверженность къ прекрасному идеалу, проникающему собою книгу гр. Л. Н. Толстаго, къ идеалу *простоты, добра и правды*.

(Заря 1870, январь).

1870. 10 янв.

---



## VI

### НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ КЪ СТАТЬЯМЪ О «ВОЙНѢ И МИРѢ» \*).

---

Выпуская отдѣльной брошюрою оттиски моихъ статей о «Войнѣ и Мирѣ», я желать бы этимъ способствовать лучшему пониманію произведенія гр. Л. Н. Толстаго. Насколько вѣрны и достойны своего высокаго предмета мои мысли, пусть судятъ люди, разумѣющіе дѣло; но одно я знаю навѣрное: я шелъ правильнымъ, надлежащимъ путемъ. Я не спорилъ съ художникомъ, не торопился стать къ нему въ положеніе судьи, не чувствовалъ желанія противорѣчить его отдѣльнымъ мнѣніямъ и высказывать свои собственные, будто бы болѣе основательные взгляды на тѣ же вещи. Прежде всего я постарался понять созданіе художника, проникнуть въ смыслъ того очарованія, которое такъ могущественно и неотразимо овладѣло мною: уразумѣть, откуда и въ чемъ эта сила? Вотъ почему я надѣюсь, что не лишень той награды, которая достается и слѣдуетъ за такое простое и смиренное

---

\*) Эти нѣсколько словъ были напечатаны подъ именемъ *предисловія* въ книжкѣ: *Критическій разборъ „Войны и Мира“*. Спб. 1871. Книжка состояла изъ оттисковъ четырехъ предыдущихъ статей.

отношеніе къ дѣлу. Не только я награжденъ тѣмъ, что скоро понялъ безмѣрно-великую цѣнность «Войны и Мира», но мнѣ думается, я заслужилъ и болѣе наипую награду: въ нѣ-которой мѣрѣ я понялъ душу этого произведенія; я нашелъ тѣ точки зрѣнія, тѣ категоріи, съ которыхъ его слѣдуетъ судить, и мнѣ открылась связь его съ исторіею и ходомъ нашей литературы.

Что такое литература? Что такое искусство? Вопросы темные и мало кѣмъ понимаемые. Напримѣръ, ходячее мнѣніе, составившееся о «Войнѣ и Мирѣ», заключается въ томъ, что это произведеніе очень высокое по своимъ художественнымъ достоинствамъ, но будго бы не содержащее глубокой мысли, не имѣющее большаго внутренняго значенія. Такимъ образомъ, искусству еще разъ нанесено жестокое оскорбленіе, еще разъ заявлено, что даже гениальный художественный даръ можетъ остановиться на пустякахъ, можетъ ограничиться праздною, чуждою жизни игрою своихъ силъ. Какъ-будто возможна подобная безсмыслица! Какъ-будто могутъ существовать живыя явленія, не соблюдающія существенныхъ условій жизни!

Въ томъ же самомъ смыслѣ меня бранятъ эстетикомъ, то есть (на ихъ языкѣ) человѣкомъ, который вообразилъ, что художественныя красоты могутъ существовать отдѣльно отъ внутренняго, живаго, серіознаго смысла, и который гоняется за такими красотами и наслаждается ими. Вотъ какую непонимѣрную глупость мнѣ приписываютъ! И эту глупостію собственнаго сочиненія объясняютъ, между прочимъ, и мой восторгъ отъ «Войны и Мира».

Прошу вниманія разумѣющихъ и желающихъ разумѣть читателей; въ настоящей брошюрѣ они увидятъ, въ чемъ дѣло. Въ такихъ великихъ произведеніяхъ, какъ «Война и Миръ», всего яснѣе открывается истинная сущность и важность искусства. Поэтому «Война и Миръ» есть также превосходный пробный камень всякаго критическаго и эстетическаго пониманія, а вмѣстѣ и жестокій камень преткновенія для всякой глупости и всякаго нахальства. Кажется, легко понять, что не «Войну и Миръ» будутъ цѣнить по вашимъ

словамъ и мнѣніямъ, а васъ будутъ судить по тому, что вы скажете о «Войнѣ и Мирѣ».

Если почитатели этого произведенія найдутъ, что я способствовалъ истолкованію его внутренняго, глубокаго смысла, то это было бы для меня великою и очень желательною похвалою.

1871, 19 февр.

---



## VII.

### ОБУЧЕНІЕ НАРОДА.

---

**О народномъ образованіи** (статья гр. Л. Н. Толстого въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1874, сентябрь).

#### I.

Немудрено, что эта статья возбудила всеобщее вниманіе; таково уже свойство всего, что пишетъ гр. Л. Н. Толстой. Сила его заключается не въ необычности содержанія, не въ эффектѣ изложенія, а въ такой простотѣ и искренности, которая дѣйствуетъ въ тысячу разъ сильнѣе всякихъ эффектовъ, и которою каждая его страница сейчасъ же рѣзко отличается отъ всей обыкновенной литературы. Чтобы писать такъ, нужно, прежде всего, очень любить свой предметъ; читатели чувствуютъ, что гр. Л. Н. Толстой заговорилъ о дѣлѣ, которое близко его душѣ, которому онъ посвятилъ много силъ и времени.

Съ своей стороны, мы хотимъ здѣсь только указать читателямъ всю великую важность вопроса, поставленнаго гр. Л. Н. Толстымъ. Многіе могутъ ошибиться, принявъ поднимающійся споръ за одно изъ тѣхъ безчисленныхъ разногласій, которыя появляются въ педагогическомъ мірѣ; между тѣмъ дѣло гораздо важнѣе. Это—коренной, главный споръ педагогівъ, это—самый существенный вопросъ, какой только есть въ этой области. Надъ спорами объ обученіи грамотѣ легко посмѣяться и, вѣроятно, многіе посмѣиваются. Не все ли равно, въ сущности, по какой методѣ учить? Вѣдь, цѣль

одна—грамотность и скорѣе или медленнѣе, а она достигается. Точно такъ можно сказать, что кѣмъ бы ни были заведены училища, самими-ли крестьянами, или земствомъ и министерствомъ,—все равно, лишь бы были заведены. Школы, учрежденныя сверху, и школы, возникшія снизу имѣютъ одну цѣль, одинъ смыслъ, и если вѣдомства, стоящія надъ народомъ, хлопочутъ о правильномъ надзорѣ и правильномъ обученіи, то, вѣдь, это же—не дурное дѣло. Итакъ, больше грамотности, больше школъ—вотъ все, чего надобно желать, чего все одинаково желаютъ. Если же выходятъ разногласія о средствахъ и пріемахъ, то это неизбежно по слабости самой человѣческой природы; но при одинаковости цѣли эти споры не могутъ повредить сущности дѣла.

Такъ могутъ говорить и, вѣроятно, говорятъ многіе, вѣрующіе въ твердость и простоту дѣлъ человѣческихъ. Между тѣмъ все насъ убѣждаетъ, что тамъ, гдѣ возможно благо, возможно и соразмѣрное ему зло; такъ и въ настоящемъ случаѣ проявляется такое искаженіе дѣла, которое тѣмъ печальнѣе, чѣмъ это дѣло важнѣе. Грамотность и образованіе сами по себѣ суть вещи безразличныя; что народъ нужно учить, объ этомъ никто не споритъ; но весь вопросъ въ томъ, *чему* учить? И такъ какъ въ этомъ вопросѣ возможны разногласія, то и оказывается, что *цѣли* школы могутъ быть различны, и, слѣдовательно, споръ идетъ о самомъ существѣ дѣла.

Гр. Л. Н. Толстой превосходно поставилъ этотъ вопросъ. Онъ настоятельно утверждаетъ, какъ утверждалъ и пятнадцать лѣтъ назадъ, что существуетъ разногласіе и недоумѣніе относительно *содержанія* обученія, и что выйти изъ этого разногласія и недоумѣнія можно не иначе, какъ разрѣшивши новый вопросъ: *Кому* нужно предоставить опредѣленіе этого содержанія? *Кто* здѣсь рѣшитель?

Въ самомъ дѣлѣ, если мы предположимъ, что содержаніе народнаго образованія можетъ быть опредѣляемо всякимъ, на основаніи какихъ-нибудь общихъ соображеній, то мы этимъ самымъ предоставимъ каждому свободу рѣшать дѣло по своему. Кто что задумаетъ, тотъ то и слѣдуетъ и, слѣдовательно, въ настоящемъ случаѣ, все дѣло будетъ зависѣть

отъ учредителейъ школъ и отъ учителей. Мы имъ даемъ, такимъ образомъ, чрезвычайное право и прямо отказываемся отъ общаго рѣшенія вопроса. Мы говоримъ какъ-будто такъ: кто учить, тотъ пускай и рѣшаетъ вопросъ, чему и какъ учить.

И всѣмъ извѣстно, что есть множество самоувѣренныхъ людей, которые охотно принимаютъ на себя это право и даже считаютъ его своею естественною и неотъемлемою собственностію. Такъ называемые *просвѣщенные* люди обыкновенно такъ горды своимъ образованіемъ, такъ берутъ въ него, что и не задумываются надъ вопросомъ о достаточности своего авторитета. Они думаютъ, что въ своемъ просвѣщеніи стоятъ на совершенно твердой почвѣ, и что всѣ ихъ безчисленные разногласія ничего не значатъ въ сравненіи съ той, будто бы ясной и единой, цѣлью, къ которой они одинаково стремятся. Вотъ узелъ дѣла. Гр. Л. Н. Толстой описываетъ свое положеніе въ этомъ отношеніи слѣдующимъ образомъ:

«Вопросъ этотъ (*въ чемъ состоитъ критеріумъ того, чему и какъ должно учить*), какъ тогда (15 лѣтъ тому назадъ), такъ и теперь представляется мнѣ краеугольнымъ камнемъ всей педагогіи, и разрѣшенію этого вопроса я посвятилъ изданіе педагогическаго журнала «Ясная Поляна». Въ нѣсколькихъ статьяхъ я старался поставить этотъ вопросъ во всей его значительности и, сколько умѣлъ, старался разрѣшить его. Въ то время я не нашелъ въ педагогической литературѣ не только сочувствія, не нашелъ даже ни противорѣчій, но совершеннѣйшее равнодушіе къ поставленному мною вопросу. Были нападки на нѣкоторыя подробности, мелочи, но самый вопросъ, очевидно, никого не интересовалъ. Я тогда былъ молодъ, и это равнодушіе огорчало меня. Я не понималъ, что я съ своимъ вопросомъ: почему вы знаете, какъ учить? былъ подобенъ тому челоуку, который бы, положимъ хоть въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ бы побольше съ народа собрать податей, предложилъ бы имъ слѣдующее: гл., чтобы знать, съ кого сколько податей, надо разобрать вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія? Очевидно, всѣ наши продолжали бы свое обсужденіе о мѣрахъ взима-



«нія и только молчаніемъ отвѣтили бы на неумѣстный во-просъ. Но обойти вопроса нельзя. 15 лѣтъ тому назадъ на «него не обратили вниманія, и педагоги каждой школы, увѣ-ренныя, что всѣ остальные врутъ, а они правы, преспокой-но предписывали свои законы, основывая свои положенія на «философіи весьма сомнительнаго свойства, которую они под-«кладывали подъ свои теоріи» (стр. 178, 179).

Какъ ни рѣзко сравненіе педагоговъ съ турецкими па-шами, и права просвѣщать народъ съ правомъ взиманія по-датей, но это сравненіе вполне справедливо, вполне выража-етъ сущность дѣла. Для многихъ педагоговъ народъ не имѣ-етъ въ этомъ дѣлѣ никакого голоса, никакого значенія, а они, напротивъ, имѣютъ такое же неограниченное право про-свѣщать его и образовывать по своему, какъ турокки паша собирать подати съ своего пашалыка.

Все это вытекаетъ изъ того понятія, которое составилось о просвѣщеніи. Просвѣщенію приписываются всѣ тѣ права, какія мы придаемъ истинѣ, когда разумѣемъ ее въ самомъ чистомъ и совершенномъ видѣ. Нѣтъ авторитета, который бы стоялъ выше авторитета, такъ называемаго, просвѣщенія. Оно, будто бы, всегда нужно, всегда полезно, и притомъ не толь-ко въ полномъ своемъ составѣ, а и въ каждой малѣйшей части, и въ каждой самой слабой степени. Можно подумать, что мы нашли, наконецъ, то высочайшее и несомнѣнное бла-го, ради котораго нужно пренебрегать и даже жертвовать всѣмъ остальнымъ. Всякій шагъ на пути къ, такъ называе-мому, просвѣщенію, всякое движеніе въ его сторону считае-ся уже приближеніемъ къ такому благу.

Весьма важно здѣсь то, что сторонники этого блага суть вмѣстѣ и его обладатели, такъ что на нихъ переходитъ тотъ авторитетъ, который приписывается просвѣщенію. Про-свѣщеніе не есть авторитетъ, стоящій выше самихъ просвѣ-щенныхъ людей; по самому понятію своему, оно въ нихъ и заключается, и нигдѣ въ иномъ мѣстѣ и быть не можетъ. По крайней мѣрѣ, таково обыкновенное понятіе объ этомъ дѣлѣ. Намъ увѣряютъ, что просвѣщеніе въ дѣйствительности вполне соответствуетъ своей идеѣ; что оно дѣлаетъ человѣ-ка вполне самостоятельнымъ, освобождаетъ его умъ отъ всѣхъ

нихъ путь, даетъ ему возможность самому изслѣдовать вещи, самому черпать изъ источниковъ истины и, слѣдовательно, даетъ ему право на, такъ называемыя, *убѣжденія*, на свое собственное рѣшеніе вопросовъ. Вотъ почему просвѣщенный человѣкъ не есть *служитель* просвѣщенія, а есть, какъ говорятъ, его *носитель*.

Понятна отсюда та увѣренность, съ которою поступаютъ просвѣщенные люди, когда вздумаютъ обучать народъ, то есть массу, не имѣющую, по ихъ мнѣнію, никакого просвѣщенія. Они, во первыхъ, ни мало не сомнѣваются, что, трудясь надъ этимъ дѣломъ, принесутъ народу самую существенную пользу, какая только возможна, а во вторыхъ, что каждый изъ нихъ имѣетъ право самъ рѣшить, чему именно слѣдуетъ учить народъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, они должны передавать народу то просвѣщеніе, которое въ нихъ самихъ заключается, и, слѣдовательно, каждый будетъ сообщать ему то пониманіе вещей, въ которомъ убѣжденъ, и будетъ вести его тѣмъ путемъ, который считаетъ несомнѣннымъ. Вотъ отчего такіе учителя народа являются нѣкотораго рода проповѣдниками, дающими отвѣты на всякіе вопросы и употребляющими всякій предметъ, всякій случай для вразумленія своихъ духовныхъ дѣтей. Гр. Л. Н. Толстой дѣлаетъ по этому поводу очень глубокое замѣчаніе. Выписавши наставленіе одного педагога о томъ, какъ вести такого рода бесѣды, онъ говорить:

«Невольна представляется вопросъ, — знаютъ, или не знаютъ дѣти все то, что имъ такъ хорошо рассказывается въ этой бесѣдѣ? Если ученики все это знаютъ, то къ слову, на улицѣ или дома, тамъ, гдѣ не нужно поднимать лѣвой руки, вѣрно умѣютъ все сказать болѣе красивымъ и русскимъ языкомъ, чѣмъ имъ велятъ это тутъ сдѣлать; никакъ не скажутъ, что лошадь *покрыта* шерстью; если такъ, то для чего имъ приказано повторять эти отвѣты такъ, какъ ихъ сдѣлалъ учитель? Если же они не знаютъ этого, (чего, кромѣ любимаго суетлика, нельзя допустить), то является вопросъ: чѣмъ будетъ *учитель руководствоваться* въ такъ важно называемой «программѣ вопросовъ»? *Наукой ли зоологіей? или логикой? или наукой краснорѣ-*

«*чія?* Если же никакой изъ нихъ, а только желаніемъ разговаривать о видимомъ въ предметахъ, то видимого въ предметахъ *такъ много и такъ оно разнообразно*, что необходима путеводная нить, о чемъ говорить, а при наглядномъ обученіи нѣтъ и не можетъ быть этой нити».

«Всѣ знанія человѣческія только затѣмъ и подраздѣлены, чтобы можно было ихъ удобнѣе собирать, приводить въ связь и передавать, и эти подраздѣленія называются науками. *Говорить же о предметахъ внѣ научныхъ разграниченій* можно что хотите и всякій вздоръ, какъ «это мы и видимъ» (стр. 159, 160).

Вотъ превосходное указаніе на самый существенный пунктъ. Гр. Л. Н. Толстой справедливо находитъ нелѣпымъ право учителя говорить о всевозможныхъ предметахъ, ничѣмъ не руководясь, кромѣ своихъ собственныхъ соображеній. А откуда это право? Очевидно, изъ того преувеличеннаго понятія о дѣлѣ, которое имѣютъ педагоги. Они очень расположены воображать учителя въ роли просвѣщеннаго чловѣка, попавшаго въ страну дикихъ. Учитель—это маленькое свѣтило во тьмѣ, свѣтило, которому и подобаетъ свѣтить уже собственнымъ свѣтомъ. Онъ учитъ и говорить, и мыслить, и открывать истину въ вещахъ. Вотъ почему онъ и можетъ выбирать всякіе предметы, какіе вздумаетъ.

Между тѣмъ естественно, что несостоятельность такихъ претензій должна обнаруживаться на каждомъ шагу. Не только учителя, но и наставники этихъ учителей не умѣютъ ни образцово говорить, ни образцово мыслить, ни вѣрно открывать истину. Они—люди обыкновенные и не могутъ обладать силами, которыя и людямъ необыкновеннымъ доступны только отчасти. Между тѣмъ учителя пытаются сыграть свою роль, и вотъ выходитъ комедія—являются безчисленныя нелѣпости, неточное употребленіе словъ, неточные логическіе выводы, извращенныя и спутанныя свѣдѣнія. Выходитъ вздоръ всякаго рода и вида, и этимъ безчисленнымъ вздоромъ угощаются ученики, и это называется просвѣщеніемъ народа!

Устранить это зло есть, очевидно, только одно средство, именно — предложить народу образцовую рѣчь, образцовое



мышленіе, правильное знаніе. Такія сокровища у насъ есть, хотя неполныя и немногія, и г-р. Л. Н. Толстой правильно указываетъ, гдѣ ихъ искать:—въ наукахъ, т. е. въ тѣхъ систематическихъ совокупностяхъ знаній, которыя, въ большемъ или меньшемъ совершенствѣ, выработаны человѣческимъ умомъ въ теченіе долгихъ вѣковъ его дѣятельности. Странно, что педагоги какъ-будто забыли дѣйствительное значеніе наукъ, забыли, что эти произведенія человѣческаго духа суть очень опредѣленные и своеобразные организмы, которыми нельзя распорядиться по произволу, и которые нужно или брать, какъ они есть, или вовсе ихъ не брать. Если я хочу учить народъ, то я еще могу предлагать ему механику, или химию, или анатомію,—смотря по своимъ соображеніямъ; но менѣе всего я имѣю право перепутать все это вмѣстѣ, или склеить что-нибудь новое и воображать, что создалъ, такимъ образомъ, наилучшую пищу для ума народа. Между тѣмъ педагоги, вообразивши себя какими-то воплощеніями научнаго духа, такъ именно и поступаюгъ. У нихъ появились какія-то новыя науки: *природовѣдніе, отечествовѣдніе, міровѣдніе* и т. п. Даже не разбирая этихъ явленій, а только судя по общимъ условіямъ образованія наукъ, можно заранѣе сказать, что эти попытки должны безконечно грѣшить противъ истиннаго научнаго духа, то есть, что въ нихъ нѣтъ именно того, что одно нужно—правильнаго развитія мысли и точнаго пониманія. Фразерство, поверхность умственной работы—вотъ неизбѣжные плоды этихъ мнимыхъ наукъ. Въ газетахъ смѣялись надъ тѣмъ, что ученики народныхъ школъ называли птицъ *воздушными явленіями*, человѣка *растеніемъ*, а картофель *ископаемымъ*; но если бы ученики были вышколены и такъ, что не путали бы множества сообщаемыхъ имъ терминовъ, они не ушли бы отъ болѣе глубокаго зта, отъ воображенія, что они что-нибудь знаютъ, тогда какъ ничему не учились, какъ слѣдуетъ.

Итакъ, не учителя нужно брать мѣрою обученія, а какіе-нибудь помимо его существующіе предметы и явленія. Если мы скажемъ: учитель долженъ научить дѣтей ариметикѣ, правильно писать, понимать Евангеліе и т. д., то мы, очевидно, даемъ ему задачу совершенно опредѣленную и

притомъ такую, которой смыслъ и достоинства не отъ него зависятъ, а заключаются въ ней самой. Точно такъ, если отъ школы требуется, чтобы ученики знали геометрію Эвклида, или могли читать Цезаря и Тацита, то мы заранѣе увѣрены, что дѣтямъ будетъ предложена настоящая наука, и что они будутъ изучать образцовую рѣчь, а не одни соображенія и способы выраженія учителя, въ достоинствахъ которыхъ нельзя быть увѣреннымъ. Такая постановка дѣла всего естественнѣе, всего сообразнѣе съ обыкновенными силами людей, и одна можетъ вести къ цѣли, то есть къ распространенію настоящаго образованія и къ избѣжанію всякаго фальшиваго и половинчатаго знанія, всѣхъ тѣхъ уродливостей, которыя въ этомъ дѣлѣ возможнѣе, чѣмъ во многихъ другихъ. Но если принять этотъ взглядъ, то учителю уже нельзя будетъ толковать о всевозможныхъ вещахъ; придется отказаться отъ энциклопедизма, отъ общихъ понятій, и ограничиться немногими *избранными* предметами. И слѣдовательно, во всей силѣ явится вопросъ гр. Л. Н. Толстаго: *чему слѣдуетъ учить, и кто* долженъ выбирать предметы обученія?

Главный же принципъ, который нужно признать въ этомъ случаѣ, состоитъ, какъ мы видѣли, въ томъ, что педагогія должна отказаться отъ верховнаго авторитета въ дѣлѣ народнаго образованія, точно такъ, какъ каждый учитель долженъ отказаться отъ своего личнаго авторитета просвѣщеннаго человѣка въ пользу авторитета той науки, того языка, которымъ онъ учитъ. Не педагогія должна рѣшать, чему учить народъ; это рѣшеніе принадлежитъ высшей области—той культурѣ, религіозной, умственной, художественной, которая существуетъ на лицо въ настоящую минуту. Педагогія любитъ разсматривать народъ, какъ *tabula rasa*, какъ массу человѣческихъ душъ, въ которой ничего нѣтъ, гдѣ все нужно начинать съ самаго начала. Между тѣмъ въ народѣ есть культурныя начала, и педагогія должна имъ *служить*, какъ учитель служить той наукѣ, которую преподаетъ. У народа есть языкъ, религія, есть даже своя любимая литература—церковно-славянская; слѣдовательно, нужно учить народъ читать и писать, нужно дать ему ариметику, потребность въ которой ему ясна, какъ нельзя болѣе, и прибавить сюда цер-

ковно-славянское чтеніе. Въ этомъ будетъ состоять *русская грамотность*, первая степень образованія,—задача вовсе не легкая, если бы мы вздумали выполнить ее съ совершенной полнотою и отчетливостію.

Если теперь мы вздумаемъ пойти дальше, то предметы *среднихъ* и *высшихъ* степеней образованія мы точно также должны опредѣлять не по отвлеченнымъ соображеніямъ, а согласно съ существующей культурой, съ тѣмъ самымъ принципомъ, на которомъ основывается, напримѣръ, раздѣленіе кафедръ въ университетахъ и въ академіяхъ наукъ. Для каждаго возраста нужно только *выбирать*, а не создавать вновь предметы обученія.

## II.

Мы говорили о предметахъ обученія; теперь поговоримъ о его способахъ.

Въ этомъ отношеніи мы находимъ у педагоговъ такія же преувеличенныя мнѣнія, какъ и въ ихъ понятіяхъ о томъ, что просвѣщеніе составляетъ какой-то цѣльный взглядъ на міръ, который возможно и должно передавать сперва учителямъ, а черезъ нихъ и учащимся. Относительно методовъ обученія у педагоговъ есть столь же высокій идеалъ, котораго они мечтаютъ достигнуть; они стремятся найти—а многіе увѣрены, что уже нашли—такой методъ, по которому могутъ *развивать* человѣческую душу, даже болѣе—*растить* ее, то есть совершать дѣло, обыкновенно приписываемое самой природѣ. Гр. Л. Н. Толстой приводитъ слѣдующія слова г. Евушевскаго:

«Не вдаваясь въ широкую область спорнаго вопроса о *врожденныхъ способностяхъ* человѣка, мы видимъ только, что ребенокъ не можетъ имѣть врожденныхъ представленій и понятій о предметахъ реальныхъ,—ихъ нужно *образовать*, и отъ искусства образованія ихъ со стороны *воспитателя и учителя* зависитъ, какъ ихъ правиль-



«ность, такъ и прочность. Въ *уходѣ за развитіемъ души* ребенка нужно быть *гораздо осторожнѣе*, нежели въ *уходѣ за его тѣломъ*. Если пища для тѣла и различныя *тѣлесныя упражненія* подбираются, какъ по количеству, такъ и по качеству, сообразно съ возрастаніемъ человѣка, тѣмъ болѣе нужно быть осторожнымъ въ выборѣ пищи и упражненій для ума. Разъ положенное дурно основаніе будетъ шатко поддерживать все на немъ укрѣпляющееся» (*Отчетъ. Зап. 1874. Сентябрь, стр. 155*).

Вотъ довольно ясное изложеніе господствующихъ мнѣній. Педагоги почему-то увѣрены, что надъ душою они имѣютъ гораздо больше силы, чѣмъ надъ тѣломъ человѣка. Относительно тѣла никто не рѣшится отрицать прирожденные особенности въ каждомъ недѣлимомъ, но относительно души вопросъ кажется «спорнымъ», такъ что не будетъ нелѣпости держаться и того мнѣнія, что всѣ душевныя свойства человѣка зависятъ отъ воспитанія. Поэтому относительно тѣла можно еще надѣяться, что человѣкъ и безъ всякихъ особыхъ заботъ, безъ тщательнаго выбора пищи и гимнастическихъ упражненій, вырастетъ не калѣкою, не уродомъ, что у него всѣ члены разовьются хорошо; но относительно души надобно быть *гораздо осторожнѣе*: «разъ положенное дурно основаніе», говоритъ г. Евтушевскій, «будетъ шатко поддерживать все на немъ укрѣпляющееся». Это значить, что педагогъ какъ-будто самъ строитъ какія-то части въ душевномъ организмѣ ребенка, строитъ безъ пособія силъ природы, и потому возведетъ шаткое зданіе, если положить непрочное основаніе.

Въ этихъ мнѣніяхъ, конечно, есть доля справедливости. Дѣйствительно, душа многообразнѣе, подвижнѣе, впечатлительнѣе, богаче формами, чѣмъ тѣло человѣка. Всѣ вліянія принимаются ею быстрѣе и дѣйствуютъ на нее глубже, чѣмъ на тѣло. Однако же, самостоятельности, самобытности, упругости, вѣрности внутреннимъ законамъ развитія—въ ней не меньше. Размѣры и характеръ нравственныхъ и умственныхъ силъ человѣка опредѣляются природою, а не воспитаніемъ. *Уходъ за душою человѣка*, какъ выражается г. Евтушевскій, не можетъ имѣть болѣешихъ результатовъ, чѣмъ уходъ за какимъ-нибудь растеніемъ. Листья сдѣлаются больше, сте-

бель укоротится, плоды станутъ сочными; но форма листьевъ и плодовъ, всѣ ихъ видовыя особенности, всѣ существенныя свойства останутся тѣ же. Такъ и человѣкъ: *каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилку*. Только для поверхностнаго взгляда, для посторонняго наблюдателя можетъ показаться, что человѣкъ измѣнился въ своей натурѣ, въ существенныхъ чертахъ; спросите мать, отца, которые знаютъ каждую минуту его жизни,—они часто вамъ скажутъ: да онъ таковъ съ трехъ лѣтъ.

Итакъ, *прирожденные способности* нельзя считать «спорнымъ вопросомъ»; это дѣло очевидное и несомнѣнное. Воспитатель не можетъ надѣяться и не долженъ брать на себя—передѣлать душу человѣка, измѣнить ея силы; эти силы, нравственная и умственная природа человѣка, составляютъ для педагога нѣчто *данное*, отъ него независящее; самое развитіе ихъ точно также совершается помимо его усилій, само собою; ему предстоитъ только способствовать этому развитію, оберегать его, давать ему просторъ и пищу, устранять препятствія, а не создавать и направлять его по своему.

Есть, однако же, область душевной жизни, въ которой воспитаніе имѣетъ, по видимому, больше силы и которая, поэтому, внушаетъ педагогѣи ея преувеличенныя притязанія; это область *умственной* дѣятельности, самая подвижная, самая измѣнчивая и многообразная. Натуру человѣка измѣнить нельзя; но можно укрѣпить данныя ему силы, и всего больше, по видимому, силу ума, которую такъ легко упражнять; мало того,—не будучи въ состояніи дать воспитываемому умъ высшего качества, чѣмъ у него есть, мы можемъ, однако же, сообщить ему множество *познаній*, можемъ *обогащить* имъ даже слабый умъ. Понятно, что здѣсь открывается для педагогѣи самое широкое поприще.

«Ребенокъ», пишетъ г. Евтушевскій, «не можетъ имѣть врожденныхъ представленій и понятій о предметахъ реальныхъ—ихъ нужно образовывать.» Еще общѣе это можно выразить такъ: положимъ, качества ума ребенка отъ насъ не зависятъ, но отъ насъ зависитъ то, въ какомъ порядкѣ и какіе предметы будетъ познавать этотъ умъ; словомъ—умъ есть пу-

стая форма; наполнить ее надлежащимъ содержаніемъ—вотъ важная задача воспитателя.

Эту задачу—самую доступную, самую очевидную,—преимущественно и разрабатываетъ современная педагогія. Но она зашла въ своихъ понятіяхъ объ этой задачѣ до самыхъ странныхъ преувеличеній. Она вообразила, что она можетъ и должна дать учащемуся *все содержаніе*, какое способенъ получить его умъ, и что она знаетъ тотъ *наилучшій* порядокъ, при которомъ одномъ это содержаніе пріобрѣтается надлежащимъ образомъ. Такое притязаніе слышится и въ словахъ г. Евтушевскаго: «нужно», говоритъ онъ, «*образовать понятія*» (подразумѣвается: въ головѣ ученика); «правильность» ихъ и прочность (въ головѣ ученика) зависятъ отъ искусства образованія ихъ со стороны воспитателя и учителя» (стр. 155).

Такимъ образомъ, педагогъ готовъ смотрѣть на ребенка, какъ на существо, неимѣющее *никакихъ понятій*, по крайней мѣрѣ, никакихъ «правильныхъ и прочныхъ» понятій и беретъ на себя *образовать въ немъ* такія понятія. Умъ учащагося разсматривается не только, какъ *tabula rasa*, а даже какъ доска, Богъ-знаетъ чѣмъ засоренная и испачканная, которую нужно обметать, вымывать и чертить на ней, что слѣдуетъ. Порядокъ этого начертыванія вполне зависитъ отъ педагога и долженъ быть послѣдовательный и постепенный, сообразный плану, заранѣе утвержденному педагогомъ.

Вотъ взглядъ на дѣло, который прямо ведетъ къ мученію дѣтей, къ безплоднымъ усиліямъ учителей, къ фальши и безтолковщинѣ, и который основывается на явной ошибкѣ въ пониманіи природы человѣка. Положимъ, что умъ есть сила формальная: но эта сила не можетъ не дѣйствовать, ни даже существовать безъ нѣкотораго содержанія. Педагоги напрасно воображаютъ, что ученикъ къ нимъ является, не имѣя никакого содержанія въ своемъ умѣ, и также, что они могутъ распоряжаться этимъ умомъ, влагать въ него все, что имъ вздумается. И въ томъ и другомъ случаѣ они очень заблуждаются. Умъ принимаетъ только то, что самъ хочетъ, что для него интересно, и онъ наполняется содержаніемъ по-



стоянно, съ первой минуты сознанія. Тотъ впадаетъ въ величайшую нелѣпость, кто подумаетъ, что исполнѣ овладѣль таинственнымъ процессомъ познанія, этимъ сочетаніемъ умственной формы и умственного матеріала въ нераздѣльное и неслиянное единство.

Послѣдствія, притекающія отъ неправильнаго взгляда, всего нагляднѣе доказываютъ его неправильность. Гр. Л. Н. Толстой возмущается тѣмъ, что съ крестьянскими дѣтьми педагоги бесѣдуютъ такъ, какъ-будто въ умѣ этихъ дѣтей была совершенная пустота.

«Можетъ быть», говоритъ онъ, «дѣти готтентотовъ, негровъ, можетъ быть, пныя нѣмецкія дѣти могутъ не знать того, что имъ сообщаютъ въ такихъ бесѣдахъ; но русскія дѣти, кромѣ блаженныхъ, все, приходя въ школу, знаютъ не только, что *внизъ*, что *вверхъ*, что лавка, что столъ, что двое, что одинъ и т. п., но, по моему опыту, крестьянскія дѣти, посылаемые родителями въ школу, все умѣютъ хорошо и правильно выражать свои мысли, умѣютъ понимать чужую мысль (если она выражена по-русски) и знаютъ считать до 20-ти и болѣе; играя въ бабки, считают парамъ, шестерами и знаютъ, сколько бабокъ и сколько паръ въ шестерѣ. Очень часто приходившіе ко мнѣ въ школу ученики приносили съ собой задачу гусей и разъясняли ее» (стр. 157, 158).

Итакъ, дѣти являются съ готовыми понятіями, съ готовымъ языкомъ, съ зачатками ариметики.

«Въ Россіи», замѣчаетъ далѣе гр. Л. Н. Толстой, «мы часто говоримъ дурнымъ языкомъ, а народъ всегда хорошимъ». «Мужикъ и крестьянскій мальчикъ скажутъ совершенно справедливо, что весьма трудно понимать, что говорятъ эти существа—подразумѣвая учителей. Незнаніе народа такъ полно въ этомъ мірѣ педагоговъ, что они смѣло говорятъ, будто бы въ крестьянскую школу приходятъ дикари, и потому смѣло учатъ ихъ тому, что *внизъ* и что *вверхъ*, что классная доска стоитъ на подставкѣ и подъ нею лоточекъ. Они не знаютъ того, что если бы ученики спрашивали учителя, то очень много бы оказалось вещей, кото-

«рыхъ не знаетъ учитель; что если, напримѣръ, стереть кра-  
«ску съ доски, то всякій почти мальчикъ скажетъ, изъ ка-  
«кого дерева эта доска: словая, липовая или осиновая,—чего  
«не скажетъ учитель; что про кошку и курицу мальчикъ  
«расскажетъ всегда лучше учителя, потому что наблюдалъ ихъ  
«больше учителя; что вмѣсто задачи о возахъ мальчикъ зна-  
«етъ задачи о воронахъ, о скотинѣ, о гусяхъ. Педагоги нѣ-  
«мецкой школы и не подозрѣваютъ той смѣтливости, того на-  
«стоящаго жизненнаго развитія, того отвращенія отъ всякой  
«фальши, той готовой насмѣшки надъ всѣмъ фальшивымъ,  
«которыя такъ присущи русскому крестьянскому мальчику»  
(стр. 173, 174).

И всѣмъ этимъ умственнымъ богатствомъ педагоги пре-  
небрегаютъ, какъ-будто оно ни къ чему не годится; этихъ  
самыхъ дѣтей они принимаютъ *развивать*, они выдумали  
искусство образовывать въ маленькихъ головахъ правильныя,  
настоящія понятія. На этомъ основаны всякаго рода *нагляд-  
ныя обученія*, разныя бесѣды, въ которыхъ непрерывнымъ  
спрашиваніемъ дѣти наводятся на признаки желаемого поня-  
тія и будто бы получаютъ его въ первый разъ въ надлежа-  
щей ясности. Въ дѣтяхъ, будто бы, совершается при помощи  
учителя вполне отчетливый и раздѣльный умственный процессъ.

Какъ мы уже замѣтили, тутъ большая ошибка. Умъ не  
можетъ быть приведенъ въ дѣйствіе чисто *механически*,  
одними виѣшними возбужденіями или побужденіями. Насто-  
ящимъ образомъ онъ начинаетъ дѣйствовать только тогда,  
когда имѣетъ къ тому свой собственный, *внутренній* инте-  
ресъ. Въ самомъ чистомъ видѣ этотъ интересъ является въ  
видѣ опредѣленнаго *вопроса*, вытекающаго изъ того, что уже  
есть въ умѣ, и требующаго разрѣшенія. Вообще, умственные  
операции совершаются не иначе, какъ если впереди видна  
*цѣль* этой дѣятельности; въ этомъ состоитъ отличіе ума отъ  
слѣпыхъ безсознательныхъ силъ. При обученіи самымъ про-  
стымъ и очевиднымъ интересомъ является *новость* предме-  
товъ, возбуждающая и поддерживающая уже существующую  
въ дѣтскихъ душахъ любознательность. Ребенокъ увѣренъ  
заранѣе, что онъ многого не знаетъ, что учитель умнѣе и

свѣдущіе его; но эта вѣра возбуждаетъ только вниманіе ученика, которое, если оно долго понапрасну напрягается, обращается въ недоумѣніе и скуку; дѣятельность же ума возбуждается въ ученикѣ только тогда, когда онъ завидѣлъ цѣль, когда онъ самъ по себѣ, безъ помощи учителя, чувствуетъ въ себѣ интересъ къ предмету обученія.

Между тѣмъ, что дѣлается при томъ обученіи, которымъ добиваются, такъ называемаго, развитія? Гр. Л. Н. Толстой привелъ нѣсколько примѣровъ этихъ хитрыхъ бесѣдъ, и эти примѣры поразили читателей своею безсодержательностью, отсутствіемъ въ нихъ всякаго интереса для познанія. Онъ справедливо замѣчаетъ, что «всякій ученикъ 6-ти, 7-ми, 8-ми и «9-ти лѣтъ *ничего не пойметъ* изъ этихъ вопросовъ именно «потому, что онъ все это знаетъ и не можетъ понять, о чемъ «говорять» (стр. 157). «Русскій ребенокъ не можетъ и не «хочетъ вѣрить (онъ имѣетъ слишкомъ большое уваженіе къ «учителю и къ себѣ), чтобы его серьезно спрашивали: пото-«локъ внизу или наверху? или—сколько у него ногъ?» (стр. 165).

Но такъ какъ, однако же, отъ учениковъ требуется, чтобы они отвѣчали, то умъ ихъ направляется къ этой цѣли, и смышленные мальчики, не зная сами для чего, научаются говорить, что нужно. «Результатъ бесѣды будетъ тотъ», говоритъ гр. Л. Н. Толстой, «что дѣтямъ или велятъ выучить «слова учителя, или свои слова передѣлать, помѣстить въ «извѣстномъ порядкѣ (и порядкѣ не всегда правильномъ), за-«помнить и повторить» (стр. 160).

Поэтому, элементъ принужденія и механическаго затверживанія необходимо долженъ войти въ такое обученіе. Гр. Л. Н. Толстой съ особенною настойчивостію указываетъ и объясняетъ это слѣдствіе методы, которая, по видимому, кладетъ въ основаніе самое свободное дѣйствіе ума учащихся.

«Въ школѣ», говоритъ онъ, «царствуетъ постоянный «внѣшній порядокъ, и дѣти находятся подъ постояннымъ «страхомъ и могутъ быть руководимы только при величай-«шей строгости. Г. Королевъ упомянулъ вскользь о томъ, «что при звуковомъ обученіи не пренебрегаются колотушки.



«Я видѣлъ это въ школахъ нѣмецкой манеры и полагаю, что безъ колотушекъ невозможно обойтись въ новой нѣмецкой школѣ, такъ какъ она, точно такъ же, какъ церковная школа, учить не спрашиваясь о томъ, что интересно знать ученику, а учить, тому, что по убѣжденію учителя кажется нужнымъ, и потому школа эта можетъ основываться только на принужденіи» (стр. 176).

Вотъ то живое, непосредственное и ясное отношеніе, которое гр. Л. Н. Толстой принялъ за исходную точку своихъ разсужденій. Необходимость принужденія доказываетъ, что тѣ готовыя мѣрки развитія, которыя употребляются педагогами, не годятся для учащихся, что онѣ остаются безъ отзыва въ душѣ учениковъ, или даже встрѣчаютъ противодѣйствіе. Чтобы достигнуть непринужденности, остается одно средство—дать свободу уму ученика и, слѣдовательно, примѣняться къ его движеніямъ.

«Никто, вѣроятно, не станетъ спорить, что наилучшее отношеніе между учителемъ и учениками есть отношеніе естественности, что противоположное естественному отношенію есть отношеніе принудительности. Если это такъ, то мѣрило всѣхъ методовъ состоитъ въ большей или меньшей естественности отношеній, и потому въ меньшемъ или большемъ принужденіи при ученіи».—«Въ той мысли, что для успѣшнаго обученія нужно не принужденіе, а *возбужденіе интереса въ ученикѣ*, согласны всѣ педагоги противной мнѣ школы. Разница между нами только та, что это положеніе о томъ, что ученіе должно возбуждать интересъ ребенка, у нихъ потеряно въ числѣ другихъ, противорѣчащихъ этому положеній о *развитіи*, въ которомъ они *увѣрены и къ которому принуждаютъ*; тогда какъ я возбужденіе интереса въ ученикѣ, наибольшее облегченіе, и потому непринужденность и естественность ученія считаю *основнымъ и единственнымъ мѣриломъ* хорошаго и дурнаго ученія» (стр. 183).

Вотъ плодотворное начало, которымъ нужно руководиться при обученіи. Ученикъ не долженъ быть разсматриваемъ, какъ безформенный матеріалъ, какъ пустой сосудъ, въ кото-

ромъ учитель строить и образуетъ тѣ понятія, какія захочетъ. Ученикъ есть живое существо, самостоятельно развивающееся, и отъ насъ требуется давать ему то, на что у него есть требованіе, а не то, что мы хотимъ. Какъ таинственно растеть и развивается его тѣло, такъ точно таинственно растеть и развивается его умъ. Учитель не производитъ этого развитія и не управляетъ имъ, онъ только даетъ ему пищу, онъ только упражняетъ тѣ органы, которые уже выросли и окрѣпли. Явилась у ребенка способность образовывать *понятія*, явилась въ его умѣ категория *числа*—пусть учитель упражняетъ эту способность и укрѣпляетъ эту категорию, никакъ не мечтая, будто онъ самъ ихъ создалъ, или еще долженъ создать. То, что само растеть въ душѣ, то одно живо и сильно; нужно только слѣдить за этимъ ростомъ и имъ пользоваться.

Но если такъ, то оказывается, что роль педагога гораздо проще, скромнѣе и естественнѣе, чѣмъ ее обыкновенно воображаютъ. Его главная потребность—*живой тактъ*, который бы давалъ ему понимать то, что дѣлается въ душѣ ученика. Не въ томъ дѣло, чтобы по своему образовывать понятія въ головѣ ребенка—задача едва ли достижимая,—а въ томъ, чтобы только наблюдать, какъ они у него образуются, и помогать этому образованію. Такимъ образомъ, учитель вовсе не есть господинъ развитія учащихся,—онъ его слуга. Роль педагога во всѣхъ отношеніяхъ—служебная. Не онъ создаетъ, и даже не онъ выбираетъ предметы обученія—эти предметы даны ему существующею культурою, опредѣлены умственными потребностями народа. Точно такъ, не онъ создаетъ способности воспитываемаго лица и опредѣляетъ порядокъ и степень ихъ развитія; онъ только даетъ имъ пищу, только открываетъ имъ поприща, на которыхъ они могутъ дѣйствовать. Педагогу слѣдуетъ не изобрѣтать новыя задачи, не мечтать о томъ, какъ дать новое направленіе душевной и умственной жизни человѣчества, ему нужно только сознать задачи, даваемые сущностію дѣла, и подчиняться имъ. Тогда его трудъ сдѣлается опредѣленнѣе, проще и по тому самому возможнѣе и полезнѣе: онъ будетъ отъ себя требовать не столько проникновенія въ тайны душевной природы человѣка, сколько терпѣнія и любви; и вмѣстѣ будетъ чувствовать, что

служить нѣкоторому великому дѣлу, одинаково стоящему какъ выше учениковъ, такъ и выше его самого.

Читавшіе статью гр. Л. Н. Толстаго, намъ кажется, согласятся, что она проникнута именно этимъ духомъ. Искренняя и чуткая любовь къ народу не могла не указать нашему поэту на самыя правильныя и естественныя отношенія въ этомъ практическомъ, жизненномъ вопросѣ.

*(Гражданинъ 1874, № 48 и 50).*

---



### VIII.

**Чѣмъ люди живы** (Въ журналѣ «Дѣтскій Отдыхъ». Москва, 1881, т. III, стр. 407—434).

Новое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, на которое, конечно, съ жадностію бросились всѣ его почитатели, произвело на этотъ разъ особенно сильное впечатлѣніе. Когда этотъ голосъ раздается среди шума нашей литературы, онъ всегда покрываетъ этотъ шумъ, покрываетъ не блескомъ и трескомъ, а тѣмъ тономъ искренности и простоты, передъ которымъ всѣ другія, и даже громкія рѣчи вдругъ начинаютъ казаться напускною риторикой, умышленною шумихой. Но на этотъ разъ въ маленькомъ разсказѣ Л. Н. Толстаго послышалась еще особая нота, такая глубокая и нѣжная, что она схватила за сердце самыхъ равнодушныхъ. Самое главное достоинство всего разсказа есть, конечно, удивительная сердечная теплота, и легко видѣть, что эта теплота находится въ прямой связи съ занятіями гр. Л. Н. Толстаго въ последнее время, о которыхъ, вѣроятно, знаютъ многіе читатели, съ занятіями тою книгой, изъ которой взяты восемь эпиграфовъ, стоящіе передъ разсказомъ. Евангельскій духъ, евангельская точка зрѣнія, — вотъ что поразило читателей, поразило неожиданно и неотразимо. Неожиданно потому, что этотъ духъ едва въ насъ теплится, давно заглушенъ и ежедневно заглушается другими вліяніями; неотразимо потому, что онъ явился въ дѣйствительно художественной формѣ, т. е. самой ясной и выразительной изъ всѣхъ формъ.

Чѣмъ люди живы? Они живы любовью, и разсказъ состоитъ въ изображеніи этой животворной любви.

Бѣдный сапожникъ даетъ у себя пріютъ голому нищему; женщина, имѣющая груднаго ребенка, беретъ къ себѣ двухъ только что родившихся дѣвочекъ, у которыхъ умерла мать.

И любовь скрѣпляется и растетъ; нищій оказывается ангеломъ, а дѣвочки замѣняютъ самыхъ лучшихъ дочерей для своей воспитательницы.

И вотъ, эти подвиги и дѣйствія любви изображены со всею ясностію, то есть изображены не одни вѣшніе поступки, а самыя души людей и то, что происходитъ въ этихъ душахъ. Въ нихъ проявилось чувство дѣйствительной любви, чистой, безкорыстной и простой, и оно-то приводитъ читателя въ умиленіе.

Замѣтимъ, однако же, что нѣтъ ничего необыкновеннаго въ томъ, что тутъ разсказано. Городецкому жителю, и вообще достаточному человѣку съ удобной квартирой и правильнымъ хозяйствомъ, конечно, покажется труднымъ взять бѣдняка съ улицы и раздѣлить съ нимъ и свое жилье и свои занятія. Но между бѣдняками, и простыми и даже образованными, такіе случаи гораздо возможнѣе и не въ диковину. Точно также дамѣ, имѣющей груднаго ребенка, не придетъ и въ голову кормить еще другихъ дѣтей, когда она, можетъ быть, не хочетъ кормить и своего. Обставляя свою жизнь удобствами и усложняя ее, мы, очевидно, ставимъ помѣхи сближенію людей и дѣлаемъ тяжелымъ и даже невозможнымъ то взаимное участіе, которое совершенно просто дѣлается у крестьянъ и бѣдняковъ.

Итакъ, въ разсказѣ Л. Н. Толстаго не совершаются какіе-нибудь чрезвычайные жертвы и подвиги. Да и люди, которые здѣсь дѣйствуютъ, не имѣютъ въ себѣ ничего героическаго; это—самые обыкновенные люди, скорѣе маленькіе, чѣмъ большіе люди, по размѣрамъ своихъ душъ. Сапожникъ Семенъ—добрый, но простой малый, любящій иногда выпить, какъ всѣ сапожники. Матрена—женщина хозяйственная, говорливая, любопытная и немножко сварливая,—словомъ обыкновеннѣйшая женщина. Купчиха тоже отличается только добродушіемъ и мягкостію, развившимися среди менѣе заботливой и трудной жизни. Во всемъ этомъ нашъ авторъ остался вѣренъ самому себѣ. Главный фонъ всѣхъ произведеній Л. Н.

Толстого есть описаніе самыхъ обыкновенныхъ людей и самыхъ обыкновенныхъ событій.

Но откуда же неотразимое впечатлѣніе этого разсказа? Въ чемъ его сила? Безъ сомнѣнія въ томъ, что художникъ сталъ совершенно въ уровень съ этими людьми, что онъ смотритъ на нихъ не сверху и не снизу, а прямо, какъ на равныхъ, какъ на братьевъ, какъ на своихъ. Онъ даже сталъ говорить ихъ языкомъ, такъ же, какъ онъ здѣсь думаетъ ихъ мыслями и чувствуетъ ихъ чувствами. Тонъ разсказа поэтому нѣсколько уклоняется отъ прямого тона самого художника; это собственно—*народный разсказъ, пересказанный Л. Н. Толстымъ*. Пересказъ этотъ, однако, таковъ, что народное сказаніе дѣлается въ немъ для насъ вполне понятнымъ, исполненнымъ глубокаго смысла, какого мы никогда не сумѣли бы найти въ простомъ народномъ сказаніи. Мы вдругъ начинаемъ понимать, чѣмъ живутъ эти люди, на чемъ держится эта простая жизнь, какія чувства и мысли составляютъ ея опору, руководство, отраду, ея главное зерно. Они живутъ—духомъ Христовымъ; они въ немъ видятъ главный смыслъ жизни; они искренно исповѣдуютъ ученіе любви, какъ верховное правило дѣйствій и мыслей; они слѣдуютъ наставленіямъ ангеловъ. Словомъ, они хотя и малые и слабые люди, но истинные христіане. Вотъ что обнаруживается для насъ изъ разсказа съ неотразимою художественною выпуклостію. Въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ сказать, что художникъ не только не заставляетъ насъ смотрѣть на описанныя лица сверху внизъ, но, напротивъ, поднимаетъ насъ до уровня этихъ лицъ, даетъ намъ чувствовать въ ихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ вѣяніе истинной жизни, внушаетъ намъ, что отъ насъ самихъ, пожалуй, постоянно несетъ «мертвымъ духомъ», и что сапожникъ Семенъ со своею семьею болѣе достоинъ общества ангеловъ, чѣмъ мы съ вами, любезный читатель.

Вотъ въ чемъ, мнѣ кажется, главная прелесть и новость разсказа Л. Н. Толстого.

(Гражданинъ, 1882, № 10—11).



## IX.

### ВЗГЛЯДЪ НА ТЕКУЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ.

Вы расчесываете у себя зудъ вашего  
мнѣнія до тѣхъ поръ, пока не станете  
паршивыми съ головы до ногъ.

*Шекспиръ.*

## I.

Отличительная черта русской литературы, и черта очень печальная, есть ея очевидная *искусственность*, т. е. что она не растетъ естественно изъ нашихъ духовныхъ силъ и жизненныхъ потребностей, а развивается больше всего въ силу побочныхъ влiянiй, изъ подражанiя, изъ тщеславiя, для развлеченiя, или изъ разсчета. Таковъ, впрочемъ, общiй характеръ всей нашей умственной дѣятельности и отъ этого происходитъ, что объемъ этой дѣятельности гораздо шире, чѣмъ ея содержанiе. У насъ есть Академiя Наукъ, университеты и другiя ученiя учрежденiя, но ученыхъ и учености очень мало. Точно также, пишется и печатается несравненно больше, чѣмъ слѣдуетъ, т. е. пропорцiя дѣльныхъ книгъ, настоящаго умственнаго труда, необыкновенно мала сравнительно съ другими просвѣщенными странами. Читающая публика растетъ съ каждымъ днемъ, но число серiозныхъ, истинно просвѣщенныхъ читателей ничтожно и, можно думать, не только не растетъ, а убываетъ. У насъ множество газетъ, но политической силы, т. е. настоящаго государственнаго и общественнаго значенiя, онѣ почти не имѣютъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое русская газета? Стоитъ ли

за нею какое-нибудь определенное дѣло, определенная партія? Очевидно, нѣтъ, такъ какъ нѣтъ у насъ дѣлъ и партій, имѣющихъ обязанность и право говорить самостоятельно. Поэтому, въ сущности, у насъ газета есть личный органъ ея редактора, и «Московскія Вѣдомости» однажды весьма правильно объявили себя такимъ органомъ. Въ другихъ странахъ определенная партія или извѣстное направленіе общественнаго мнѣнія создаютъ себѣ органъ въ газетѣ; у насъ на оборотъ—газета стремится возбудить общественное мнѣніе, образовать себѣ партію. Такъ точно, въ другихъ странахъ университетъ есть созданіе той учености, которая уже развилась въ обществѣ; у насъ наоборотъ—университетъ стремится насадить ученость въ обществѣ, еще чуждомъ учености. Преимущественно правительство у насъ заботится объ успѣхахъ наукъ и распространеніи просвѣщенія; такъ точно, оно же сочло нужнымъ вызывать въ извѣстной мѣрѣ развитіе общественнаго мнѣнія. Но, въ сущности, правительство придаетъ значеніе не партіямъ, а голосамъ отдѣльныхъ лицъ, и наши публицисты—не выразители мнѣній общества, а внушители этихъ мнѣній, руководители общества.

Въ новомъ журналѣ «Устон» мы встрѣтили слѣдующія сѣтованія:

«Въ то время, когда западно-европейскія партіи вырабатываютъ свои программы на основаніи богатаго опыта жизни, русскіе должны ихъ созидать чисто математическимъ путемъ, оперируя надъ отвлеченными величинами, или того хуже—надъ нксами. Западно-европейскій публицистъ, утверждая, положимъ, что необходимы такія-то и такія-то реформы, такія-то и такія-то законодательныя мѣры, прямо вамъ сошлетъ на резолюцію такого-то и такого-то митинга, на постановленіе такой-то и такой-то ассоціаціи, на прессу, не имѣющую надобности скрывать истину, и т. д. За него, слѣдовательно, говорить, и въ большинствѣ случаевъ громко и ясно, сама жизнь и на его долю остается, такимъ образомъ, только нетрудная задача регистраціи. Но что прикажете дѣлать публицисту русскому?» и т. д. («Устон», 1882, № 9 и 10, стр. 82).

Все это довольно вѣрно. Но вотъ вопросъ, кто же васъ

просилъ быть русскимъ публицистомъ? Откуда такое призваніе? Какъ случилось, что вы избрали себѣ дѣятельность, для которой нѣтъ никакихъ прямыхъ требованій, никакихъ надлежащихъ условий? Что это за партія, не имѣющая программы, но во что бы то ни стало желающая ее составить? Очевидно, роль публициста выбирается только по наслышкѣ, по подражанію, изъ желанія стать руководителемъ, но неизвѣстно въ чемъ и неизвѣстно кого.

И этому отвлеченному публицисту соответствуетъ его публика, точно такая же отвлеченная. Публика у насъ не просвѣщенная, не проникнутая какими-нибудь опредѣленными идеями, вкусами, ученіями, а только еще стремящаяся къ просвѣщенію, только еще жаждущая идей, ищущая убѣжденій и вкусовъ. Всѣ стараются быть образованными, но никто еще не знаетъ, въ чемъ состоитъ истинное образованіе. Просвѣщеніе у насъ почти не растетъ само собой, изъ своихъ естественныхъ корней, а распространяется сверху, преимущественно усиліями правительства. Молодежь мужская и женская постоянно стекается въ столицы и большіе города, отчасти изъ отвлеченнаго честолюбиваго желанія чему-нибудь учиться, еще больше изъ желанія куда-нибудь дѣвать себя, но главное — изъ расчета на чины и мѣста, для которыхъ образованіе поставлено непременнымъ условіемъ. Правительство имѣло сперва въ виду приготовить себѣ нужныхъ людей и, приготовивши, размѣщало ихъ по назначенію; но потомъ оно вполне расширило свою задачу и стало хлопотать о всякаго рода просвѣщеніи и въ размѣрахъ неограниченныхъ. вмѣстѣ съ тѣмъ оно отказалось отъ размѣщенія своихъ питомцевъ, отъ доставленія имъ поприща дѣятельности. Оно вводило къ намъ патентованные на Западѣ программы и порядки, посылало за границу молодыхъ людей, но не могло само давать направленіе нашему образованію, вливать въ него нѣкоторый духъ; а еще меньше могла быть во власти правительства серіозность и глубина, съ которою принималось просвѣщеніе. Нельзя даровать того, чего не существуетъ: очевидно, само общество, самъ народъ долженъ создать свою серіозную науку, твердое и ясное направленіе своего просвѣщенія. Такъ Ломоносовъ, Державинъ и т. д. создали русскую художественную литера-



туру не въ силу правительственныхъ программъ и указаній, а по внушенію своего генія. Въ научной же сферѣ у насъ не укрѣпилось и не развилось ничего самостоятельнаго. Мы особенно отличились въ тѣхъ наукахъ, гдѣ самостоятельность почти невозможна—въ математикѣ, химіи и т. п. Не нужно, однако, забывать главнаго. Пусть нашъ Чебышевъ одинъ изъ первыхъ математиковъ, пусть Менделѣевъ даже первый химикъ въ мірѣ—Кеплеръ химіи; но тѣ народы, съ которыми мы желаемъ соперничать, не только производятъ великихъ химиковъ и математиковъ, они могутъ гордиться бѣльшимъ—они создали самую химию и самую математику.

Въ наукахъ же нравственнаго міра, то есть въ тѣхъ, гдѣ есть просторъ для установленія самобытныхъ точекъ зрѣнія, для открытія своихъ особыхъ горизонтовъ, мы ничего почти не сдѣлали. Поэтому тутъ мы подвергаемся непрерывному и жалкому колебанію. Каждое поколѣніе учится по новымъ европейскимъ книжкамъ философіи, исторіи, юриспруденціи; но далеко еще не успѣютъ наши профессора выслужить свой двадцатипятилѣтній срокъ, какъ оказываются давно уже отсталыми въ сравненіи съ движеніемъ Европы; тогда молодые люди устремляются на вновь явившіяся книги, или на новыхъ европейскихъ профессоровъ, и становятся на нѣкоторое время современными и передовыми, а затѣмъ въ свою очередь запаздываютъ и отстаютъ. Такъ мы вѣчно гонимся за Европой и вѣчно отъ нея отстаемъ. Очевидно, только въ томъ случаѣ, еслибы у насъ совершалось свое собственное движеніе, мы могли бы поравняться съ нею, или даже перегнать ее.

При такомъ положеніи дѣлъ, что же такое наша публика, нашъ читающій міръ? Это—масса людей, потерявшихъ всякія точки опоры, не приуроченныхъ ни къ какому дѣлу или интересу, не имѣющихъ никакихъ умственныхъ преданій и авторитетовъ, но сильно возбужденныхъ и вмѣстѣ подавленныхъ требованіемъ образованія. Всякая публика во всѣхъ странахъ міра жаждетъ авторитета, ищетъ готовыхъ мнѣній, печатныхъ указаній, которыя бы каждое утро выводили ее изъ нерѣшительности, помогали ей мыслить и говорить. Газета въ этомъ случаѣ такъ же необходима, какъ обѣдъ. Но

нѣтъ въ мірѣ публики такой боязливой и нерѣшительной, какъ русская; тутъ истинно: кто палку взялъ, тотъ и кашралъ. Полуобразованные съ робостію затверживаютъ слова и мысли, выдаваемые имъ за выраженіе просвѣщенныхъ взглядовъ, а наши публицисты—большіе мастера терроризовать свою публику и, вмѣсто разъясненія дѣла, пугать ее отсталостію и измѣною разнымъ священнымъ знаменамъ.

Прибавьте къ этому ту зыбкость ума и ту наклонность къ идеализму, которыя составляютъ наши природныя черты, и даже преимущественно черты Великорусскаго племени. Способность доходить до послѣднихъ краевъ каждой мысли, отрицать самое завѣтное и легкое, бросаться отъ одной крайности въ противоположную, порождаетъ въ насъ ту умственную шаткость, отъ которой мы обыкновенно спасаемъ себя какимъ-нибудь упорнымъ старовѣрствомъ, или же безпрекословной, радостной покорностію родинѣ, государству. Склонностію къ идеализму я называю здѣсь то погруженіе въ себя, въ свои мысли, въ силу котораго мы чрезвычайно мало способны къ объективности. Мы ненормально дальнозорки и вплываемъ въ окружающую дѣйствительности только то, что намъ указываютъ наши мысли; для остальнаго же мы совершенно слѣпы. Отъ этого происходитъ, что мы въ нѣкоторыхъ вещахъ очень щепетильны, очень требовательны, но вообще—небрежны и неряпчивы; мы бываемъ при случаѣ такими энтузіастами, или наоборотъ—такими циниками, какихъ еще міръ не производилъ; но мы почти неспособны видѣть предметы въ надлежащемъ свѣтѣ и въ ихъ дѣйствительныхъ размѣрахъ.

При такой подвижности умовъ, при отсутствіи корней въ нашемъ просвѣщеніи, при господствѣ полуобразованія, естественно, что власть надъ умами существуетъ только одна—авторитетъ Запада. Не тѣ или другія частности, а общее направленіе западной жизни дѣйствуетъ на насъ, не встрѣчая своему вліянію никакихъ серьезныхъ препятствій. А въ чемъ состоитъ теперь это направленіе? На Западѣ, очевидно, одна идея заслонила собою всѣ другія и усиливается съ каждымъ днемъ—*идея политическая*. Религія, искусство, наука отодвинуты на задній планъ, и политика стремится обратить ихъ

въ свои служебныя силы. Въ политикѣ ищутъ себѣ исхода нравственныя потребности человѣчества; энергія людей все больше и больше устремляется въ эту сторону, и Западъ, съ свойственной ему послѣдовательностію и твердостію, конечно, будетъ развивать свою идею, пока не изживетъ ее вполне.

Политическая идея выступила на смѣну религіозной идеи, которою до XVIII-го вѣка жила Европа. Новое направленіе жизни, разумѣется, встрѣтило себѣ сопротивленіе въ другихъ историческихъ стихіяхъ, и изъ этого сопротивленія развились различныя реставраціи, иногда высокаго значенія, напр., въ искусствѣ—романтика, въ философіи—гегелизмъ, въ государственной сферѣ—начало національностей. Но политическая идея, какъ такой принципъ, который устанавливалъ новое *единое на потребу*, или обращала эти реставраціи въ свою пользу, или понекому брала верхъ надъ ними и совершенно ихъ устраняла. Исторія намъ постоянно показываетъ подобное преобладаніе одной стороны жизни надъ всѣми другими, и прогрессъ заключается какъ-будто въ томъ, что люди, перебравши эти стороны одну за другою, возвращаются къ началу одного и того же круга.

Всѣмъ этимъ теченіямъ европейской жизни мы подчинились въ нашемъ умственномъ и литературномъ развитіи. Романтика дала намъ нашу поэзію, нѣмецкая философія возбудила у насъ первое движеніе самостоятельной мысли, движеніе самосознанія. Съ славянофиловъ начинается поворотъ въ нашей умственной жизни. Какъ извѣстно, они—націоналы въ смыслѣ отрицанія космополитическихъ идей; они—самобытники, какъ противники подражательности; они—консерваторы, какъ защитники тѣхъ живыхъ началъ, на которыхъ выросла, окрѣпла и держится Россія. Съ тѣхъ поръ, какъ это направленіе выступило съ такою силою мысли и слова, которая дала ему мѣсто въ высшемъ разрядѣ литературныхъ явленій, направленія въ нашей умственной жизни установились, и началось не только логическое, но и сознательное ихъ развитіе, которое имѣетъ верховное значеніе въ литературѣ и которому предстоитъ далекая будущность. Всѣ наши *русскія партіи*, всякіе консерваторы и патріоты, не только не имѣютъ права отречься отъ славянофильства, а обязаны



признавать его существенные принципы и могутъ расходиться только въ частностяхъ, слѣдовательно, работать лишь въ пользу болѣе правильнаго и полнаго раскрытія и приложенія этихъ принциповъ. У насъ много безсознательныхъ славянофиловъ, и, какъ не разъ было сказано, весь нашъ простой народъ—такіе славянофилы. Но мы говоримъ здѣсь не о безсознательныхъ явленіяхъ, а объ литературѣ; въ ней мы имѣемъ право требовать сознанія.

Съ появленіемъ славянофильства, и западничество должно было получить настоящій сознательный характеръ; оно также обязано—и стать въ отчетливыя, ясныя отношенія къ *русской идее*, выставляемой славянофилами, и сознательно держаться той *западной идеи*, которая все сильнѣе и сильнѣе проникаетъ собою умственную жизнь Европы. Вопросъ поставленъ, формулированъ; уйти отъ него некуда, развѣ только въ легкомысліе или равнодушіе.

---

## II.

Вотъ тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ, намъ кажется, слѣдуетъ разсматривать движеніе нашей литературы. Эта литература, представляющая столько отвлеченности и искусственности, разыгрывающая роль образованной, взрослой литературы, плодящая все больше и больше не только поэтовъ и романистовъ, но и партій и ихъ программъ и публицистовъ, пріобрѣтающая съ каждымъ годомъ все большее число читателей, которые жаждутъ идей и руководства и заимствуютъ отъ нея и всѣ опоры для сужденій и самыя слова для ихъ выраженія,—эта литература естественно должна имѣть преимущественно теоретическій характеръ, должна быть, главнымъ образомъ, поприщемъ общихъ мѣстъ, общихъ вопросовъ. Но изъ всѣхъ вопросовъ самый существенный и господствующій надъ всѣми другими есть вопросъ объ авторитетѣ Запада, такъ какъ этотъ авторитетъ, непрерывно гнетущій и непрерывно возбуждающій, есть единственный ясный авторитетъ въ нашей умственной средѣ. Противъ него поднялась реакція,

заявленъ протестъ, и всеѣ наши вражды и партіи сводятся къ этому главному раздвоенію, къ борьбѣ этихъ двухъ началъ.

Давно уже наша умственная исторія совершается одинаковымъ порядкомъ. Со временъ Грибоѣдова и до нашихъ дней, наши мальчики набираются «какихъ-то новыхъ правилъ», а отцы въ глупомъ самодовольствѣ восклицаютъ:

Извольте посмотрѣть на нашу молодежь,  
На юношей, сынковъ и внучатъ:  
Журимъ мы ихъ, а если разберешь,  
Въ пятнадцать лѣтъ учителей научатъ!

До нашихъ дней, что дѣлаютъ образованные и достаточные люди?

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ...

До нашихъ дней, люди серьезные молятся все о томъ же:

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ  
Пустаго, рабскаго, слѣпаго подражанья,  
Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ-нибудь съ душой,  
Кто могъ бы словомъ или примѣромъ  
Насъ удержать, какъ крѣпкою вожжей,  
Отъ жалкой тошноты по сторонѣ чужой.

И, со временъ Грибоѣдова и до нашихъ дней, мы слышимъ о своихъ общественныхъ порядкахъ все тотъ же возгласъ:

Лохмотьевъ Алексѣй чудесно говорить,  
Что радикальныя потребности тутъ лѣкарства:  
Желудокъ больше не варить!

Въ теченіе шестидесяти лѣтъ, прошедшихъ съ тѣхъ поръ, когда указаны эти черты, существенное положеніе дѣлъ осталось то же, и если мы станемъ подводить итоги того, что сдѣлано у насъ въ наукѣ и литературѣ по этому главнѣйшему вопросу, то нельзя будетъ воздержаться отъ глубокаго унынія. По видимому, все такъ же обстоитъ, какъ и

прежде, и мы только толчемся на одномъ мѣстѣ. Умственный міръ нашъ *растетъ, но не зрѣетъ*, какъ выражался Чаадаевъ. Даже, наоборотъ, можно думать, что нынче западная идея получила нѣкоторый перевѣсъ. Вліяніе ея отчасти обострилось и породило то въ высшей степени злокачественное явленіе, которое называется *нигилизмомъ*. Нигилизмъ есть очень характерное порожденіе нашей земли, въ которомъ равно сказались и западное вліяніе, и нашъ русскій умъ съ его быстротою и отчаянностію. Это — самая послѣдовательная, самая опредѣленная и потому наиболѣе оригинальная и поучительная изъ нашихъ партій. Теперь, когда Бакунины и Крапоткины стали словомъ и дѣломъ работать въ самой Европѣ, мы могли бы злобно посмѣяться и сказать, что уже платимъ Западу долгъ, что уже вносимъ свою долю участія въ его политическое развитіе.

Но какіе же у насъ другіе, болѣе отрадныя успѣхи? Мудрено сказать. Не будемъ несправедливы; задача — совладать съ западною идеею, конечно, громадная задача, и естественно, что она подавляетъ наши силы. Однако же, если мы точно великій народъ, то было, кажется, достаточно времени, чтобы совершить какіе-нибудь изъ умственныхъ подвиговъ, которыхъ требуетъ эта задача. Между тѣмъ, мы до сихъ поръ не только въ математикѣ и химіи, а и во всѣхъ другихъ наукахъ, имѣющихъ на Западѣ свое особенное, одностороннее направленіе, рабски слѣдуемъ Европейцамъ. Появились, правда, нѣкоторые прекрасные зачатки, нѣкоторые довольно твердыя указанія самобытныхъ путей и постановокъ; но нѣтъ ничего цѣлаго, завершеннаго. А что всего печальнѣе — постоянно обнаруживается чрезвычайная слабость научнаго духа, поразительная неспособность къ общимъ идеямъ, къ ихъ ясному и твердому развитію. Все идетъ порывами, скачками, брызгами, и ничего не выходитъ послѣдовательнаго, полнаго и сознательнаго. Эта черта грустна потому, что отнимаетъ надежду на будущее, заставляетъ сомнѣваться въ годности нашихъ силъ для цѣли имъ поставленной. Собственно говоря, въ литературѣ теперь не господствуютъ опредѣленные теченія, а царитъ полный хаосъ, существуютъ лишь поползновенія, порыванія, а не убѣжденія. Чтобы увѣриться въ этомъ, стоить



только обратить вниманіе на то, какъ у насъ одинъ пишущій понимаетъ мысли другого пишущаго. Онъ всегда такъ ихъ искажаетъ, что, очевидно, не имѣетъ яснаго представленія ни о своей, ни о чужой точкѣ зрѣнія. Между тѣмъ восторги и негодованія происходятъ великіе, и все усиливаются. Наши публицисты, какъ мы видѣли, никакъ не могутъ составить своихъ программъ; но пугать публику, дразнить ее, подзадоривать и науськивать они умѣютъ превосходно и занимаются такимъ дѣломъ съ величайшимъ усердіемъ. Читатели, даже и тѣ, которые могли бы еще кое-что ясно видѣть, совершенно дурѣютъ отъ этихъ непрестанныхъ возбужденій и уже ничего не видятъ въ правильномъ свѣтѣ и видѣ. Есть люди, которые занимаются такимъ омраченіемъ или мороченіемъ публики долгіе годы, и со стороны невозможно не удивляться, какъ совѣсть ни разу не подсказала имъ, что они сами слѣпы, сами не имѣютъ опредѣленной мысли и, слѣдовательно, не дѣлаютъ ничего хорошаго, упражняясь въ напусканіи въ чужія головы той путаницы, какая царитъ въ ихъ собственной. Вѣроятно, они извиняютъ себя извѣстнымъ ученіемъ, что всякое движеніе, всякая кутерьма лучше, чѣмъ застой и спокойствіе, т. е. что въ разсужденіи прогресса цѣль оправдываетъ средства.

Но не только чужды умственной работѣ люди мало добросовѣстные и легкомысленные; и тѣ, за которыми нужно признать и сильный умъ и высокія чувства, страдаютъ у насъ какою-то *мыслебоязнью*. Они нерѣдко отличаются великою чуткостью относительно всего враждебнаго дорогимъ для нихъ интересамъ; но ограничиваются только указаніями своего чувства, а не стремятся къ раскрытію идеи этихъ драгоценныхъ интересовъ, къ возведенію своихъ чувствъ въ ясныя и твердыя мысли. Они питаются только своимъ фанатизмомъ и готовы видѣть что-то кощунственное и святотатственное въ попыткахъ анализа и логической формулировки, обращенныхъ на предметы ихъ уваженія. Понятно, что, при такомъ ходѣ дѣла, положительныя ученія не дѣлаютъ никакихъ успѣховъ, и смута умовъ только увеличивается. Ссылаясь на самыя священные знамена, на завѣтнѣйшіе интересы души человѣческой, русскіе люди, и прямо и косвенно, называютъ другъ

друга мерзавцами, измѣнниками, еретиками, извергами и сумасшедшими, и забываютъ, или лучше—знать не хотятъ, что эти ихъ любимые масштабы не годятся для дѣйствительныхъ явленій. Сѣмена злобы сѣются усердно и успѣшно, а сѣмена мыслей такъ скудно, что страшно подумать, каковъ будетъ созрѣвшій посѣвъ.

Другое дѣло отрицательныя ученія. Они, дѣйствительно, у насъ дѣлають успѣхи въ своемъ сознательномъ развитіи, потому что всякая смута имъ идетъ въ прокъ, потому что они требуютъ не широкой и ясной мысли, а только отрицанія, потому что нигилизмъ есть самое естественное исповѣданіе людей, у которыхъ нѣтъ преданій, нѣтъ авторитетовъ, нѣтъ никакихъ опоръ для чувствъ и мыслей. Нигилизмъ есть прямое выраженіе умственной и нравственной скудости нашего образованнаго слоя, и можно считать большимъ прогрессомъ, что эта скудость, наконецъ, высказалась въ такой ясной, сознательной формулѣ. Задача поставлена ясно, безповоротно, но большинство, вмѣсто того чтобы содрогнуться и задуматься, остается попрежнему довольнымъ пестрою смѣсью своихъ напесенныхъ вѣтромъ понятій, не имѣющихъ ни корней, ни взаимной гармоніи, или же избираетъ своимъ дѣломъ—грѣмѣть и пылать, но никакъ не думать. Между тѣмъ, если уже навсегда прекратилась безсознательная жизнь Русской земли, если мы приняли въ себя закваску западнаго просвѣщенія, то намъ не остается другого выхода, какъ самостоятельно работать мыслью; мы сильны, молоды, здоровы, но намъ не достаетъ умственного труда, и намъ угрожаютъ бѣды, отъ которыхъ только онъ одинъ насъ можетъ спасти.

За послѣдніе годы въ нашей литературѣ занимало большое, даже огромное мѣсто одно явленіе, о которомъ здѣсь кстати сказать. Покойный О. М. Достоевскій въ своемъ «Дневникѣ Писателя» дѣйствовалъ, какъ публицистъ, касался всякихъ вопросовъ дня, возводя ихъ къ общимъ вопросамъ, и имѣлъ необыкновенный успѣхъ, возбуждалъ симпатію, какой мало можно найти примѣровъ. Если мы вспомнимъ прежнюю журнальную дѣятельность Достоевскаго, начинающуюся съ 1861 г., съ начала «Времени», то можно вообще сказать, что онъ былъ главнымъ дѣтелемъ и представителемъ нѣко-

тораго *петербургскаго славянофильства*, составившаго совершенно особую струю въ потокѣ петербургской журналистики, струю, расширявшуюся съ каждымъ годомъ. Его «Дневникъ», его рѣчь на Пушкинскомъ праздникѣ, его публичные чтенія были рядомъ истинныхъ побѣдъ надъ публикою; когда онъ умеръ, уваженіе и любовь къ нему вспыхнули яркимъ пламенемъ, котораго не забудетъ никто изъ видѣвшихъ.

Огромное вліяніе Достоевскаго нужно причислить, конечно, къ самымъ отраднымъ явленіямъ, и въ немъ есть одна черта, заслуживающая величайшаго вниманія. Эта черта — отсутствіе злобы въ постановкѣ нашей великой распри между западной и русской идеею. Эта черта поразила всѣхъ въ Пушкинской рѣчи Достоевскаго, но она же характеризуетъ собою и его «Дневникъ», и его романы. При всей рѣзкости, съ какою онъ писалъ, при всей вспыльчивости его слога и мыслей, нельзя было не чувствовать, что онъ стремится найти выходъ и примиреніе для самыхъ крайнихъ заблужденій, противъ которыхъ ругаетъ. «Смирись гордый человекъ, потрудишься, праздный человекъ!» Эти слова, которыя съ такой неизобразимою силою прозвучали въ Москвѣ надъ толпою, эти слова звучали не угрозою, не не навистью, а задушевною, братскимъ увѣщаніемъ. Та же нота постоянно слышалась въ «Дневникѣ», который поэтому съ жадностію читался даже многими нигилистами и направлялъ ихъ на лучший путь. Молодые люди, именно тѣ, которые искали выхода изъ своихъ мрачныхъ и страшныхъ убѣжденій, не только охотно читали Достоевскаго, но и обращались къ нему частнымъ образомъ, ожидая опоры и руководства. Достоевскій, однако, не былъ ни мыслителемъ, ни публицистомъ въ настоящемъ смыслѣ слова; больше всего онъ былъ художникомъ, и своимъ художническимъ чутьемъ онъ различалъ правду и заблужденіе, добро и зло. Онъ проповѣдывалъ не столько логически, сколько психологически, и въ своихъ романахъ онъ всего полнѣе выразилъ свои стремленія и свои взгляды на состояніе русскихъ умовъ и душъ. Никто съ такою вѣрностію и глубиною не изображалъ всякаго рода нигилистовъ, и при этомъ онъ обнаруживалъ въ отношеніи къ однимъ презрѣніе и негодованіе,



но въ отношеніи къ другимъ—участіе и состраданіе. Онъ понималъ то, что совершается въ людяхъ, сбившихся съ прямого пути. Главною темою его быть—*раскаившійся нигилистъ*; таковы: Раскольниковъ, Шатовъ, Карамазовъ и пр.

Вотъ примѣръ и поученіе для всѣхъ нашихъ партій. Противъ чего бы мы ни боролись и какъ бы горячо мы ни возставали, намъ нужно не косить въ одной враждѣ и злобѣ, а стремиться къ пониманію своихъ противниковъ и отыскивать ту болѣе высокую сферу, въ которую мы могли бы вывести ихъ изъ ихъ мрака и духовнаго извращенія. Прежде всего и больше всего нужно искать свѣта, потому что,

Увиди свѣтъ, ужъ никому  
Назадъ не хочется во тьму.

### III.

Настоящая литература, въ тѣсномъ смыслѣ, есть литература художественная, творческая. Художество представляетъ возможность такого полного и широкаго выраженія идей, какого неспособны дать никакіе другіе приемы изложенія. Русскій характеръ, достоинства и недостатки русскаго ума и сердца и смыслъ движеній нашей жизни—яснѣе выражаются въ произведеніяхъ Пушкина, Гоголя, Л. Н. Толстаго, чѣмъ во всѣхъ разсужденіяхъ нашихъ историковъ и публицистовъ. Художество создаетъ живыя лица, воплощаетъ явленія жизни со всѣмъ ихъ содержаніемъ, съ корнями и задатками. Поэтому главнымъ предметомъ литературнаго обозрѣнія всегда должна быть художественная словесность. У насъ она, какъ извѣстно, процвѣтаетъ: мы можемъ, кажется, прямо сказать, что словесное художество у насъ болѣе серьезно, исполнено болѣе жизни и глубины, чѣмъ въ другихъ странахъ Европы. Эта словесность, какъ и другія отрасли литературы, стоитъ у насъ изъ нѣсколькихъ очень крупныхъ и важныхъ явленій и затѣмъ изъ великаго множества подражательныхъ и очень слабыхъ, т. е. и у нея объемъ несравненно шире

содержанія; но на этотъ разъ содержаніе такъ вѣско, что жаловаться не приходится.

Возьмемъ настоящую минуту. Что теперь въ рукахъ читателей? Во первыхъ, сочиненія Достоевскаго, которыхъ полное собраніе, четырнадцать очень большихъ томовъ быстро выходитъ томъ за томомъ; конечно, только теперь эти сочиненія получаютъ наибольшее свое распространеніе и дѣйствіе. Потомъ — усердно читается Некрасовъ; недавно напечатанъ третій десятокъ тысячъ посмертнаго собранія его сочиненій. Съ этими двумя покойниками по успѣху можно сопоставить Л. Н. Толстаго, котораго разсказъ «Чѣмъ люди живы» безъ конца перепечатывается, и непрерывно пишущаго г. Салтыкова, котораго въ послѣдніе два-три года многіе прямо провозглашаютъ *великимъ сатирикомъ*. Намъ кажется, эти четыре имени представляютъ уже очень серіозное содержаніе для читателей, и если требуется, чтобы изящная литература питала умы и сердца, то въ настоящую минуту она у насъ производитъ довольно обильное питаніе. Какого рода это питаніе, есть ли въ немъ ясность и гармонія, — это другой вопросъ; можно страшиться этого питанія, или печалиться о немъ, но нельзя не признать, что у насъ есть серіозная словесность, нельзя не задуматься надъ глубиною ея загадочныхъ явленій. Вспомните, напримѣръ, сочиненія Достоевскаго; это цѣлая туча самыхъ живыхъ и разнообразныхъ задачъ.

Конечно, нынѣшняя минута есть развитіе и продолженіе предыдущихъ годовъ. Чтобы взять нашу мысль полнѣе и яснѣе, мы думаемъ остановиться на трехъ явленіяхъ, которыя рассмотримъ въ связи: это — «Новь» г. Тургенева (1877 г.), романъ очень поучительный, хотя и неудачный по своей вялости и безсвязности, «Анна Каренина» гр. Толстаго (1877 г.), романъ, въ которомъ слѣдуетъ видѣть прологъ къ разсказу «Чѣмъ люди живы», и наконецъ «Братья Карамазовы» (1881 г.), послѣдній романъ Достоевскаго. Намъ кажется, изъ этихъ трехъ произведеній можно извлечь любопытныя указанія на духовное состояніе нашихъ образованныхъ классовъ.

---

## IV.

Одинъ Гоголь умѣлъ изображать русскую *глупость*. Геніальный малороссъ, серіозный, глубокій, поэтический, онъ былъ пораженъ тѣмъ вѣтромъ въ головѣ, тѣмъ отсутствіемъ всякой твердости мысли, которая такъ часто у насъ встрѣчается, и изобразилъ его въ своихъ Хлестаковыхъ, Ноздревыхъ, Кочкаревыхъ и т. д. Онъ изумительно уловлялъ пустоту ума, неспособность мысли видѣть дѣйствительность, и дважды, въ *Ревизорѣ* и въ *Мертвыхъ Душахъ*, представилъ намъ грандіозное комическое зрѣлище, какъ цѣлый городъ волнуется нелѣпѣйшими представленіями. Очень жаль, что мы не вспоминаемъ этихъ картинъ каждый разъ, когда случится съ нами то, что называется *пороть горячку*. Если бы мы внимательно всматрѣлись въ то, что тогда съ нами происходитъ, мы увидѣли бы, какъ поразительно всѣ наши горячки похожи на волненія, возбужденныя нѣкогда Чичиковымъ и Хлестаковымъ.

Послѣ Гоголя никто уже не умѣлъ смѣяться такъ, какъ онъ, смѣяться такъ отъ души, безъ всякой примѣси другого чувства, ибо смѣхъ былъ полнымъ отвѣтомъ на изображенныя фигуры и сцены. Наше настроеніе измѣнилось, мы ударились въ печаль и тоску и разучились смѣяться. Теперь случается слышать, что Гоголь скученъ, что въ немъ нѣтъ серіознаго содержанія; удивительное художество перестало на насъ дѣйствовать, и комическія картины мы принимаемъ за дѣйствительныя глупости. Этотъ переломъ начался давно и слѣды его можно найти, напр., у Аполлона Григорьева. Сначала онъ былъ восторженнымъ поклонникомъ Гоголя, говорилъ, что только у Гоголя отношеніе къ предметамъ вполнѣ правильно, что, напр., у Достоевскаго возводится въ трагедію то, что заслуживаетъ лишь комедіи (направленіе Достоевскаго Ап. Григорьевъ вообще называлъ *сентиментальнымъ натурализмомъ*). Но потомъ взгляды критика измѣнились: увлеченный движеніемъ литературы, ея попытками выставить положительные типы, онъ охладѣлъ къ Гоголю и въ 1861 году писалъ: «Чѣмъ болѣе я въ него на досугѣ вчитываюсь,



«тѣмъ болѣе дивлюсь нашему бывалому ослѣпленію, ставившему его не то что въ уровень съ Пушкинымъ, а, пожалуй, и выше его. Въдѣ, Федоръ-то Достоевскій—будь онъ художникъ, а не фельетонистъ,—и глубже, и симпатичнѣе его по взгляду,—и главное, гораздо проще и искреннѣе. Въдѣ, прямое, хотя нѣсколько грубое послѣдствіе Гоголя—«Писемскій, а косвенное Гончаровъ»... \*).

Критикъ разумѣетъ здѣсь свой давнишній упрекъ этимъ двумъ писателямъ, именно: что у нихъ мало идеальности. Точно такъ, какъ извѣстно, Гоголю приписывалось порожденіе «*натуральной школы*» и далѣе—«обличительной литературы». Но эта генеалогія, равно какъ и предпочтеніе Гоголю другихъ талантовъ, представлявшихъ уже не мнимое развитіе его недостатковъ, а какъ бы ихъ восполненіе,—едва ли справедливы. Можно согласиться, что послѣдовавшая литература полнѣе, шире захватила предметъ, но по художественной силѣ, а слѣдовательно и по глубинѣ внутренней правды она не подымалась выше Гоголя. Чтò же касается до дурныхъ *послѣдствій*, которыя ему приписываютъ и которыхъ онъ самъ испугался, то виноватъ въ нихъ не онъ, несчастный художникъ, потерявшій силы, но въ сущности никогда не измѣнявшій *возвышеннаго строя своей лиры*, а виновата сама жизнь, постоянно дѣйствующая такъ, что высокія явленія въ ней понижаются въ своихъ формахъ, вырождаются и искажаются. Ясный примѣръ этому можно видѣть въ той судьбѣ гоголевскаго смѣха, о которой мы ска-зали. Этотъ удивительный смѣхъ, представляющій одно изъ высочайшихъ явленій искусства, исчезъ у насъ почти безъ слѣда. Тяжелое настроеніе духа лишило прямого, правильнаго дѣйствія эти чудесные образцы. Историкъ и критику, который всегда долженъ воздерживаться отъ современныхъ пристрастій и смотрѣть на дѣло съ высоты, въ настоящее время потребенъ извѣстный трудъ, чтобы оживить въ себѣ и показать другимъ то, чтò такъ далеко отъ нынѣшнихъ литературныхъ вкусовъ и привычекъ.

---

\*) Эпоха 1864, окт.

Нынѣшній смѣхъ, котораго представителемъ нужно считать г. Щедрина, есть совершенно особенная потѣха, очень характерная для нашего времени. Всѣ называютъ г. Щедрина *сатирикомъ*, то есть относятъ его къ межеумочному роду, не принадлежащему къ настоящему художеству, и даже ярые его приверженцы самымъ естественнымъ образомъ пропускаютъ его имя, когда вздумаютъ говорить о нашихъ художественныхъ писателяхъ. Но и понятіе *сатиры* есть нѣчто слишкомъ точное и опредѣленное, въ сравненіи съ тѣмъ, что пишетъ г. Щедринъ. Это не сатира, а переходящая всякую мѣру карриатура, не иронія, а нахальная издѣвка, неистовое глумленіе, не насмѣшка, а надругательство надъ всякимъ предметомъ, за который берется этотъ сатирикъ. Все это совершается съ несомнѣннымъ талантомъ; скажемъ болѣе—несомнѣнный талантъ нахальства и глумленія одинъ только и руководитъ автора въ его долгой дѣятельности; онъ давно уже забылъ требованія мысли и художества, давно уже обдумываетъ не лица, а только прозвища, не дѣйствія, а только сальныя выраженія и язвительные обороты рѣчи. Но художество не даетъ попить себя безнаказанно; та *правда*, которой мы въ немъ ищемъ и въ которой состоитъ его сущность, не открывается писателю, который не служитъ искусству добросовѣстно. Вотъ почему этотъ фельетонистъ, конечно, не стоящій пмени сатирика, такъ успѣшно потѣшаетъ свою публику, но невообразимо скученъ, почти невозможенъ для чтенія для людей сколько-нибудь серіозныхъ. Изрѣдка можно полюбоваться тѣми чертами нашей ноздревщины и хлестаковщины, которыя схватываетъ г. Щедринъ, но въ цѣломъ изъ этого ничего не выходитъ, и внимательный читатель скоро убѣждается, что тутъ не только нѣтъ самаго отдаленнаго *послѣдствія* Гоголя, а даже наоборотъ, что вся эта пресловутая сатира сама есть нѣкотораго рода ноздревщина и хлестаковщина, съ большою прибавкою Собакевича.

---

## V.

Какъ бы то ни было, въ русской словесности, очевидно, все больше и больше утрачивается художественная свобода. Замолкъ карающій, но ясный и твердый смѣхъ Гоголя, и слышится шипѣніе злобныхъ издѣлокъ. И во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, свѣтлый міръ искусства потерялъ свою свѣтлость, потускнѣлъ и искажился. Литература подавлена какими-то требованіями и не можетъ избавиться отъ думы, нагоняющей мракъ на всѣ его созданія. Часто случается слышать, что литература нынче стала серіознѣе, и что этой болѣе серіозности слѣдуетъ радоваться. Между тѣмъ общій ходъ дѣла, если взять его въ существѣ, вовсе не радостный. Всѣ наши крупные таланты, какіе есть на лицо, образовались и заявили себя еще въ Николаевское время. Прошлое царствованіе, когда наша литература такъ непомѣрно расширилась, не произвело ни одного значительнаго таланта. Очевидно, было какое-то вліяніе, подавляющее развитіе художественныхъ силъ, не дававшее имъ зрѣть и складываться, сбивавшее ихъ съ ихъ естественной дороги. Если мы вздумаемъ присмотрѣться къ новымъ и новѣйшимъ произведеніямъ нашей литературы, то мы сейчасъ и увидимъ, гдѣ корень зла. Невообразимая распушенность, полная небрежность формы указываетъ, что авторы очень мало интересуются идеями тѣхъ предметовъ, о которыхъ вздумали писать, что у нихъ есть другія, постороннія цѣли, ради которыхъ они каждую минуту готовы пожертвовать требованіями искусства. Это даже не тенденціозность, а одна голая тенденція, безъ всякаго закрѣпленія сбрасывающая съ себя форму, въ которую она какъ-будто только ради шутки вздумала воплощаться. Никакое дѣло не можетъ хорошо дѣлаться, если его не дѣлаютъ серіозно. Нельзя служить разомъ двумъ господамъ, и вотъ почему литературная школа, господствовавшая до 1855 года и исповѣдывавшая, что художникъ долженъ всецѣло предаваться искусству, воспитала цѣлый рядъ талантовъ, тогда какъ послѣ *зари обновленія* всѣ явившіеся таланты неизбѣжно искажались, не успѣвая созрѣть и окрѣпнуть. Нѣтъ ничего



мудренаго, что и теперь писатели, болѣе другихъ сохранившіе или усвоившіе старыя преданія, напр., Маркевичъ, Авсеенко, Стахѣевъ, Боборыкинъ и т. д., даютъ намъ произведенія наиболѣе цѣльныя и колоритныя. У автора такого рода можетъ недоставать опредѣленности и высоты взгляда, но и въ такомъ случаѣ ихъ фигуры бываютъ выпуклѣе и интереснѣе, чѣмъ у писателей, задающихся самой высшей, по ихъ мнѣнію, тенденціей, но ради этой тенденціи пренебрегающихъ и попирающихъ искусство.

Искусство требуетъ свободнаго служенія себѣ, и оно даетъ свободу тому, кто ему служить. Оно не стѣсняетъ насъ въ выраженіи нашихъ думъ и чувствъ, а, напротивъ, даетъ средства выразить ихъ въ такой полнотѣ и глубинѣ, какая недоступна ни для какого другого способа выраженія. И потому счастливы тѣ, кому выпалъ на долю даръ художества; имъ нѣтъ нужды оглядываться по сторонамъ; искренно служа своему дѣлу, они могутъ быть увѣрены, что выскажутъ въ своихъ произведеніяхъ все лучшее, что хранится въ самой глубинѣ ихъ сердца, о чемъ они сами не знаютъ и не могутъ судить, и что безъ искусства осталось бы навсегда сокрытымъ и несказаннымъ.

Таковъ идеалъ художественной дѣятельности; но онъ рѣдко и слабо осуществляется въ дѣйствительности. Внутренняя свобода, всегда и вездѣ возможная, является у людей, какъ рѣдкое исключеніе и, къ нашему стыду, возникаетъ иногда лишь въ видѣ отпора внѣшнему стѣсненію. Прошлое царствованіе, исполненное такого шума и движенія, глубоко потрясшее весь русскій бытъ, было неблагоприятно для искусства, очевидно, въ силу чрезвычайнаго возбужденія умовъ, устремленія ихъ вниманія на практическіе вопросы и интересы. Началось это время радостнымъ ликованіемъ, розовыми мечтами и надеждами; но, странно!—только что стали отчасти сбываться эти мечты и надежды, обнаружился какой-то внутренній разладъ, ясная и прямая дорога понемногу стала казаться туманною и ненадежною; появилось общее недоумѣніе и растерянность, нагонявшіе на умы все болѣшую и болѣшую тоску. Напрасно говорить, что тутъ происходила правительственная *реакція*; такъ говорить журналы, не имѣю-

щіе у себя никакого другого слова и понятія для названія совершавшагося и судящіе лишь по поверхности; въ дѣйствительности, покойный Государь, очевидно, несмотря ни на что, не хотѣлъ измѣнять и не измѣнялъ своему разъ принятому пути. Въ тотъ періодъ, который кончился гибелью великодушнаго *Освободителя*, происходила не реакція, а нѣчто несравненно болѣе сложное и поучительное; а именно, въ нашихъ образованныхъ слояхъ обнаружилась шаткость, несостоятельность всякихъ идей и принциповъ, сказался крайній, томительный недостатокъ высшаго руководства, прямыхъ цѣлей и надежныхъ путей для дѣятельности. Жизнь какъ-будто потеряла свои животворящіе начала, и несмотря на то, что Россію слѣдуетъ признать не только крѣпкою, на здоровомъ корню сидящею, но и непрестанно возрастающею изъ силы въ силу, несмотря на то, что надъ нами не виситъ никакого виѣшняго бѣдствія, не душитъ насъ никакое насиліе,—мы не можемъ разогнать мрачной думы, твердящей намъ о нашей внутренней растерянности. Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ; мы мучительно страдаемъ нравственнымъ и умственнымъ голодомъ.

## VI.

Искусству, вообще, свойственна чуткость и отзывчивость, такъ что, собственно говоря, художникамъ нужно поставить въ обязанность воздерживаться отъ слишкомъ легкой отзывчивости, держать въ рукахъ свою впечатлительность и направлять ее отъ случайныхъ и минутныхъ предметовъ на предметы болѣе общіе и глубокіе. Но есть школа, которая, напротивъ, обязанностію художниковъ считаетъ—гоняться за современными явленіями, уловлять послѣдніе народившіеся типы людскихъ характеровъ и положеній. Къ такой школѣ принадлежали Тургеневъ и Достоевскій; разница между ними въ этомъ отношеніи только та, что Тургеневъ очень твердо держался указаннаго правила, тогда какъ Достоевскій, по нѣкоторой счастливой непослѣдовательности, соединялъ съ этимъ

правиломъ стремленіе къ чистому искусству, т. е. къ глубочайшимъ и вѣковѣчнымъ задачамъ. Какъ бы то ни было, произведенія этихъ писателей, отражая въ себѣ духъ минуты, представляютъ чрезвычайный современный интересъ, которому они и обязаны значительною долею своего успѣха.

Романъ *Новь* есть, можетъ быть, самый чистый образчикъ произведеній этого рода. Онъ очень любопытенъ и важенъ по содержанію и если не имѣлъ никакого успѣха, то это только доказываетъ, что никакое содержаніе не спасетъ произведенія, грѣшащаго противъ художества, не поднимающагося на высоту дѣйствительнаго поэтического созерцанія.

Дѣло было такъ. Романомъ *Отцы и Дети* авторъ провинился передъ молодымъ поколѣніемъ. Въ этомъ романѣ онъ съ великою чуткостію угадалъ народившійся типъ нигилиста и, изображая его съ полною свободою художника, положилъ на него все тѣни, какія слѣдуетъ. Юноши, узнавпіе себя въ зеркалѣ, были непріятно поражены, и самъ авторъ призналъ себя потомъ, какъ говорится, безъ вины виноватымъ. Чтобы поправить эту вину, очень тяготившую художника, онъ и написалъ *Новь*. Онъ очень усердно слѣдилъ за всѣми нарождавшимися типами молодыхъ людей (ибо такъ уже завелось и утвердилось, что у насъ только молодые люди даютъ новые типы, а люди въ лѣтахъ, очевидно, возвращаются въ типы давно отжившіе), и наконецъ, когда явились *опростѣлые*, то есть тѣ, которые шли въ народъ и старались *опроститься*, слиться съ народомъ во всемъ своемъ бытѣ, романистъ рѣшился нарисовать большую картину, которая захватывала бы всякаго рода типы этой *нови*, но въ которой была бы и чета совершенно образцовыхъ опростѣлыхъ (Соломинъ, Маріанна), могущихъ быть принятыми за идеалы. Для контраста и ясности картины, главнымъ лицомъ разсказа избранъ *Неждановъ*, юноша тоже безупречный по образу мыслей, но носящій въ себѣ уже отжившія свойства и наклонности; онъ сознаетъ это самъ, борется самъ съ собою и погибаетъ въ этой борьбѣ, рѣшившись на самоубійство. Замыселъ, какъ видите, очень недурной, и даже глубокій. Внутренняя борьба *Нежданова* со своими художественными наклонностями, съ особенною тонкостію понима-



нія, могла бы быть очень интересною, и, вѣроятно, въ мечтахъ автора смерть его должна была заставить расплакаться читающую Россію.

Отчего же произошла неудача? Отчего никто не плакалъ, а всѣ скучали? Очевидная вялость и безсвязность романа, въ которомъ лица безъ достаточнаго основанія мечутся изъ одного мѣста въ другое, и внутренніе мотивы ихъ дѣйствій выясняются очень слабо, зависятъ, намъ кажется, отъ слабости того интереса, который авторъ питаетъ къ предмету. Авторъ *сочинялъ*, а не вдохновлялся широкою и свободною точкою зрѣнія. Въ *Нови* наголо выступаетъ та мораль, которую мы знаемъ по всѣмъ другимъ произведеніямъ автора. Она состоитъ въ томъ, что Рудиныхъ смѣняютъ Лаврецкіе, Лаврецкихъ Базаровы, Базаровыхъ Соломины и т. д., и что, при каждой смѣнѣ, все человѣческое достоинство (а потому и героиня романа) принадлежитъ новому типу, старый же типъ отступаетъ на задній планъ и на низшую ступень. При такой точкѣ зрѣнія нельзя было не почувствовать, наконецъ, совершеннаго равнодушія къ этому великолѣпному прогрессу, въ которомъ каждая ступень одинаково законна и, слѣдовательно, въ сущности всѣ ступени одинаково незаконны. Трагедія, совершающаяся въ душѣ Нежданова, была бы очень интересна, если бы авторъ сталъ на одну изъ сторонъ, то есть или на сторону художественной чуткости, или на сторону революціоннаго задора; она была бы еще интереснѣе, если бы авторъ разомъ стоялъ за обѣ стороны, то есть самъ бы мучился этимъ противорѣчіемъ, ища ему примиренія въ чемъ-то высшемъ; но она теряетъ всякую занимательность, если намъ показываютъ, что обѣ стороны законны, но что позднѣйшая ступень, исключая собою предыдущую, вполне и съ избыткомъ замѣняетъ ее и превосходитъ.

Какъ бы то ни было, картина, изображаемая *Новью*, поразительна, если въ нее вдуматься, преодолевая скуку романа. Чѣмъ держится эта жизнь? Гдѣ въ ней струи той нравственной стихіи, которая одна дѣлаетъ возможнымъ общежитіе людей, одна имѣетъ связующую и примиряющую силу? Въ видѣ какихъ-то свѣтлыхъ точекъ эта стихія мелькаетъ въ главныхъ лицахъ романа; все остальное кругомъ—

мракъ и хаосъ, съ которымъ онѣ борются. Изображеніе это нельзя назвать невѣрнымъ; авторъ старательно изучалъ свой предметъ и всячески тщился быть точнымъ въ подробностяхъ. Но изображеніе вѣрно только до тѣхъ поръ, пока мы ищемъ однихъ *сознательныхъ* нравственныхъ началъ и въ нихъ однихъ способны видѣть нѣчто свѣтлое; *безсознательную* нравственную стихію авторъ вовсе упустилъ изъ виду, не умѣвъ ни разглядѣть, ни изобразить ее, — а это великое горе, потому что доказываетъ намъ, что, хотя бы она была и велика и прекрасна, она, однако же, дѣйствительно глубоко безсознательна.

---

## VII.

*Анна Каренина* есть произведеніе не чуждое художественныхъ недостатковъ, но представляющее и высокія художественныя достоинства. Во первыхъ, предметъ такой простой и общій, что многіе, и долго, не могли найти его интереснымъ, не воображали, чтобы въ романѣ могла оказаться современность и поучительность. Разсказъ распадается на двѣ части, или на два слоя, слишкомъ слабо связанныхъ внѣшнимъ образомъ, но внутри имѣющихъ тѣсную связь. На первомъ планѣ городская, столичная жизнь, и разсказывается, какъ Каренина влюбилась въ Вронскаго, вошла съ нимъ въ связь, ушла къ нему отъ мужа, но, живя съ Вронскимъ, такъ измучилась своею страстью, что бросилась подъ вагонъ. На второмъ планѣ, болѣе широкомъ и имѣющемъ болѣе общественное значеніе, исторія деревенскаго жителя Левина; разсказывается, какъ онъ объяснился въ любви, дѣлалъ предложеніе, говѣлъ, вѣнчался, какъ у него родился сынъ и сталъ, наконецъ, узнавать отца и мать. Величайшая оригинальность автора обнаруживается въ томъ, что эти обыкновенныя событія по ясности и глубинѣ, съ которою онъ ихъ изображаетъ, получаютъ поражающій смыслъ и интересъ. Общая идея романа, хотя выполненнаго не вездѣ съ одинаковою силою, выступаетъ очень ясно; читатель не можетъ уйти отъ невыразимо тяжелаго впечатлѣнія, несмотря на отсутствіе ка-

кихъ-нибудь мрачныхъ лицъ и событій, несмотря на обиліе совершенно идиллическихъ картинъ. Не только Каренина приходитъ къ самоубійству безъ яркихъ *внѣшнихъ* поводовъ и страданій, но и Левинъ, благополучный во всемъ Левинъ, ведущій такую нормальную жизнь, чувствуетъ подъ конецъ расположеніе къ самоубійству и спасается отъ него только религіозными мыслями, вдругъ пробудившимися въ немъ, когда мужикъ сказалъ, что нужно Бога помнить и жить для души. Это и есть то нравоученіе романа, по которому онъ составляетъ введеніе къ разсказу *Чѣмъ люди живы*.

Каренина живетъ своею страстью. До этой страсти она была голодна душою; съ удивительной тонкостію и ясностію намъ изображена эта столичная и придворная жизнь, въ которой нѣтъ никакой душевной пищи, гдѣ интересы искусственные, миражные. Анна и Вронскій чуть ли не лучшіе люди этой среды, потому что въ нихъ естественныя чувства взяли верхъ надъ всѣми искусственными влеченіями, составляющими радость и горе ихъ круга. Они вполне отдались своей любви; и для Анны эта любовь до конца осталась единственною жизнью, почему и погубила ее. *Анна Каренина* принадлежитъ къ числу чрезвычайно рѣдкихъ произведеній, въ которыхъ, дѣйствительно, изображена страсть любви. Несмотря на то, что любовь и сладострастіе составляютъ неизмѣнную тему повѣстей и романовъ, обыкновенно авторы довольствуются тѣмъ, что выведутъ на сцену молодую пару и, разсказывая всякаго рода встрѣчи и разговоры, предоставляютъ воображенію читателя подсказать ему чувства и волненія, сопровождающія эти встрѣчи и разговоры. Въ *Аннѣ Карениной*, напротивъ, точно описанъ самый душевный процессъ страсти,—дѣло столь новое и необыкновенное, что многіе критики и читатели даже не могли понять его и печатно выразили свое недоумѣніе. Страсть здѣсь возникаетъ съ перваго взгляда, безъ предварительныхъ разговоровъ о вкусахъ и убѣжденіяхъ. По стариннымъ романамъ это такъ и должно быть, но мы почему-то почти уже забыли эти старыя исторіи. Затѣмъ страсть растетъ, и авторъ разсказываетъ каждый ея фазисъ такъ же ясно и понятно, какъ этотъ первый взглядъ



влюбившихся. Все полнѣе и полнѣе раскрывается чувство; Анна начинаетъ ревновать,—

Кто любить, тотъ ревность неволью питаетъ,

какъ поется въ *Русланѣ*. Сущность ревности, внутренняя борьба Анны и Вронскаго разсказаны такъ убѣдительно и отчетливо, что ужасно видѣть неизбежную послѣдовательность этого развитія. Несчастная Анна, положившая всю душу на свою страсть, необходимо должна была сгорѣть на этомъ огнѣ. Когда она почувствовала, что ей измѣняетъ ея единственное благо, она позвала смерть. Она не стала дожидаться полного охлажденія, или измѣны Вронскаго; она умерла не отъ оскорбленій или несчастій, а отъ своей любви. Исторія трогательная и жестокая, и если бы авторъ не былъ такъ безпощаденъ къ своимъ героямъ, если бы онъ могъ измѣнить своей непоколебимой правдивости, онъ могъ бы заставить насъ горько плакать надъ несчастной женщиной, погибшей отъ безповоротной преданности своему чувству. Но авторъ взялъ дѣло полнѣе и выше. Тонкими, но совершенно ясными чертами онъ обрисовалъ намъ *нечистоту* этой страсти, не покоренной высшему началу, не одухотворенной никакимъ подчиненіемъ. Мало того. У Карениной и у ея мужа, въ минуты потрясеній и болѣзни, совершаются сознательные проблески чисто духовныхъ началъ (вспомните больную послѣ родовъ Анну и Каренина, прощающаго Вронскаго), проблески, быстро затянутае тиною другихъ враждебныхъ имъ чувствъ и мыслей. Одинъ Вронскій остается *плотянымъ съ начала и до конца*.

Такимъ образомъ, съ ужасающею правдою намъ показанъ этотъ міръ полной слѣпоты, полного мрака. Контрастъ ему составляетъ міръ, по видимому, гораздо болѣе свѣтлый, міръ Левина, человѣка искренняго, простаго, со многими недостатками, но съ чистымъ сердцемъ. Каренинъ и Вронскій—типы чиновника и военнаго, Левинъ—типъ помѣщика. Ихъ собственно три брата: старшій, отъ другого отца, Кознышевъ—славянофилъ; второй, Николай Левинъ,—нигилистъ; третій, Константинъ Левинъ, герой романа,—представляетъ какъ бы,

просто, русскаго чловѣка безъ готовыхъ теорій. Это сопоставленіе очень поучительно; оно даетъ намъ образчики главнѣйшихъ умственныхъ настроеній въ нашемъ обществѣ, картину нашего умственнаго броженія. Наилучшій представитель этого броженія, имѣющій на своей сторонѣ всѣ симпатіи автора, есть Константинъ Левинъ, вѣчно умствующій о самыхъ общихъ вопросахъ и не принимающій ходячихъ рѣшеній. Конечно, это расположеніе къ умствованію есть чисто русская черта, и вся наша современная литература единогласно свидѣтельствуешь, что такое умствованіе никогда не было въ болѣебольшемъ ходу, чѣмъ теперь.

Но романъ изображаетъ намъ не умствованія, а жизнь Левина, даже самый полный расцвѣтъ его жизни, и авторъ, именно, хотѣлъ намъ показать, какъ возникаютъ мысли Левина изъ событій его жизни, изъ неотразимыхъ чувствъ его сердца. По видимому, это совершенно благополучная жизнь; Левинъ чловѣкъ достаточный, онъ молодъ, силенъ, онъ занимается охотой и очень преданъ своимъ занятіямъ хозяйствомъ, онъ женится на той, которую любитъ, и становится счастливымъ отцемъ семейства. Картины всѣхъ этихъ удовольствій и радостей принадлежать къ лучшимъ и истинно удивительнымъ страницамъ романа. Спрашивается, откуда же могли взяться мрачныя мысли, и даже мысль о самоубійствѣ? Если всмотрѣться, то мы почувствуемъ пустоту этой жизни, и намъ станетъ понятенъ душевный голодъ Левина. Авторъ приводитъ Левина въ столкновеніе съ различнѣйшими сферами людей и дѣлъ, и вездѣ съ своей чудесной ясностію показываетъ, какъ Левинъ не могъ примкнуть ни къ одной изъ этихъ сферъ. Онъ страшно одинокъ, и одинокъ въ силу своей чуткости, своей правдивости и искренности, не допускающей никакихъ компромиссовъ, отвергающей всякую фальшь. Такимъ образомъ, лучший изъ людей, выведенныхъ въ романѣ, менѣе всего способенъ слиться съ окружающей жизнью. Онъ ее отвергаетъ, и это отверженіе тѣмъ сильнѣе, что оно совершается безъ раздраженія и невольно; Левинъ ничего не обличаетъ, ни на что не нападаетъ,—онъ, просто, уходитъ отъ того, что ему противно. Въ концѣ романа изображена волна общественнаго одушевленія, пробѣжавшая во время серб-

ской войны: Левинъ и тутъ устраняется, уходя отъ волны въ тѣ глубокіе народные слои, которые остались незатронутыми, хотя вполне подчинились ей по общему теченію своей жизни. Въ свое время этотъ эпизодъ надѣлалъ шума, и даже журналъ, печатавшій *Анну Каренину*, отказался его напечатать. Но въ сущности, романъ содержитъ много картинъ, гораздо болѣе безотрадныхъ. Несмотря на полнѣйшую мягкость приемовъ, едва ли было когда-нибудь сдѣлано болѣе мрачное изображеніе всего русскаго быта. Только міръ крестьянъ, лежащій на самомъ дальнемъ планѣ и лишь изрѣдка ясно выступающій, только этотъ міръ сіяетъ спокойною, ясною жизнью, и только съ этимъ міромъ Левину иногда хочется слиться. Онъ чувствуетъ, однако, что не можетъ этого сдѣлать.

Что же остается Левину? Что остается человѣку, который подпалъ такому жестокому разобщенію съ окружающею жизнью? Ему остается онъ самъ, его личная жизнь. Но личная жизнь есть всегда игралище случая. Когда смертельно заболѣлъ братъ Николай, когда жена мучится родами, когда громъ упалъ на дерево, подъ которымъ спалъ малютка-сынъ, и въ тысячѣ другихъ, болѣе мелкихъ событій, въ самыхъ своихъ радостяхъ и удачахъ, Левинъ чувствуетъ, что онъ во власти случайностей, что самая нить его жизни ежеминутно можетъ порваться такъ же легко, какъ тонкая паутинка. Вотъ откуда его отчаяніе. Если *моя* жизнь и радость есть единственная цѣль жизни, то эта цѣль такъ ничтожна, такъ хрупка, такъ очевидно недостижима, что можетъ внушать лишь отчаяніе, можетъ лишь давить человѣка, а не воодушевлять его. И вотъ гдѣ начинается поворотъ Левина къ религіознымъ мыслямъ.

---

## VIII.

Таковъ очевидный смыслъ *Анны Карениной*. Задача взята глубоко, взятъ вѣковѣчный вопросъ человеческой жизни, а не одинъ лишь современный типъ и современный интересъ. Если бы авторъ не расточилъ на Левина столько ре-



лизма, столько безпощадно-правдивой раступовки, онъ могъ бы сдѣлать изъ Левина не простаго смертнаго, неловкаго и колеблющагося, исполненнаго слабостей,—а какого-нибудь новаго Гамлета, замученнаго своими мыслями не вслѣдствіе горя и поражающихъ его прѣступленій, а, напротивъ, среди полного высшняго благополучія. Но этотъ романъ, дѣйствительно, изображаетъ нашу современность; на горе намъ (или, можетъ быть, на радость?) вѣчные вопросы у насъ волнуютъ обыкновенныхъ людей и при обыкновенныхъ обстоятельствахъ. У насъ совершается какое-то колебаніе человѣческой совѣсти, заражающее цѣлыя толпы всевозможныхъ людей, конечно, изъ образованныхъ классовъ. Помѣщикъ, не вѣрящій въ свое право владѣть землею; чиновникъ, не вѣрящій въ свое дѣло и полагающій, что его трудъ никакъ не можетъ стоить получаемаго имъ жалованья; образованный и достаточный человѣкъ, завидующій мужику; отецъ, отрекающійся отъ всякой собственной жизни ради своихъ дѣтей; человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ силъ и среди молодой семьи, не находящій смысла въ своей жизни и преслѣдуемый мыслью о самоубійствѣ,—эти и подобныя черты свидѣлствуютъ, что въ этомъ бытѣ исчезли твердыя начала, что почва колеблется подъ ногами этихъ людей. Левинъ нашелъ спасеніе въ религіозныхъ мысляхъ, но *Анна*, принадлежавшая къ миражному верхнему слою, несмотря на всѣ свои мученія, не образумилась ни на минуту, не знала даже, куда обратиться, чтобы искать спасенія. Это отсутствіе всякой серіозности въ понятіяхъ, такъ называемыхъ, образованныхъ людей, отсутствіе того, что собственно называется нравственностію, съ великимъ мастерствомъ изображено въ картинахъ большого свѣта. Весь же романъ есть изображеніе общаго душевнаго хаоса, господствующаго во всѣхъ слояхъ, кромѣ самаго нижняго.

Этотъ же нравственный хаосъ, очевидно, есть главный предметъ *Братьевъ Карамазовыхъ*. Тема этого романа отчасти есть повтореніе темы *Прѣступленія и Наказанія*, но слегка напоминаетъ и *Анну Каренину*. Здѣсь совершается уже не простое убійство, а *отцеубійство*, къ которому приводятъ нигилистическія мысли о томъ, что *все позволено*, что самоуправство, имѣющее ясныя, разумныя основанія и

цѣли, можетъ быть простираемо на все, что не существуетъ никакой границы, которой бы оно не имѣло права переступить. Выведены на сцену три брата, какъ представители трехъ различныхъ направленій: младшій, Алексѣй, исповѣдуетъ славянофильскія убѣжденія въ высокой религіозной ихъ формѣ; средній, Иванъ, есть нигилистъ, тоже самаго высокаго разряда; старшій, Дмитрій, есть простой малообразованный русскій человѣкъ, съ большой склонностью умствовать, но безъ опредѣленнаго образа мыслей. Въ началѣ авторъ говорить, что настоящій герой его разсказа есть Алексѣй; но по мѣрѣ писанія романа, первая часть его разрослась сама въ цѣлый огромный романъ, а остальные двѣ части, которыя должны были вполне выразить мысль разсказа, къ несчастію унесены авторомъ въ могилу. Такимъ образомъ, главнымъ героемъ *Братьевъ Карамазовыхъ* оказался не Алексѣй, а пока старшій братъ Дмитрій. По обыкновенію автора, весь романъ имѣетъ нѣсколько фантастическій колоритъ, состоящій въ томъ, что событія и встрѣчи слѣдуютъ другъ за другомъ съ ненатуральною быстротою и отчасти произвольно, но еще болѣе въ томъ, что всѣ дѣйствующія лица исполнены слишкомъ сложныхъ и слишкомъ быстро смѣняющихся чувствъ. Любовь и ненависть, подозрѣніе и вѣра, радость и отчаяніе и т. д., говорятъ въ душѣ каждаго лица почти въ одно время; при взаимныхъ сношеніяхъ эти лица почти не могли бы понимать другъ друга, если бы всѣ не имѣли равно этого особеннаго душевнаго строя. Хотя, такимъ образомъ, внутренніе и внѣшніе элементы разсказа сочетаются ненормально и, сверхъ того, безпрерывно повторяются въ новыхъ варіаціяхъ, но сами по себѣ эти элементы глубоко реальны, въ чемъ и состоитъ сила Достоевскаго и на чемъ основано было его собственное убѣжденіе въ реализмъ создаваемыхъ имъ картинъ. Внутренняя правда душевныхъ движеній, которыя онъ выставлялъ на показъ, неотразимо увлекала читателей, несмотря на всѣ внѣшніе недостатки разсказа.

Въ *Карамазовыхъ* разсказывается, какъ гнусный отецъ, Федоръ Павловичъ, убить ради грабежа своимъ незаконнымъ сыномъ, Смердяковымъ, одною изъ гнуснѣйшихъ и фантастичѣйшихъ фигуръ романа. Смердякова посвятилъ въ ни-

глизмъ и почти подбилъ на убійство Иванъ Карамазовъ. Оба они, какъ *Раскольниковъ* въ *Преступленіи и Наказаніи*, неожиданно для себя чувствуютъ страшныя угрызенія совѣсти, до того, что Иванъ впалъ въ нервную горячку, а Смердяковъ повѣсился. Между тѣмъ обвиненіе и кара за убійство по ошибкѣ падаетъ на Дмитрія, который тоже ненавидѣлъ отца, не только вообще за его гнусность, но и изъ-за недоданныхъ денегъ, а особенно изъ ревности къ гулящей дѣвушкѣ Грушѣ. Существенная черта разсказа заключается въ томъ, что Дмитрій, несмотря на свою злобу, несмотря на отчаяніе, къ которому его привели страсти и всякіе проступки и въ которомъ онъ мечтаетъ уже о самоубійствѣ,—Дмитрій воздерживается отъ убійства отца. При всѣхъ своихъ кутежахъ и буйствахъ, онъ исполненъ идеальныхъ порывовъ, онъ вѣритъ въ Бога и безсмертіе души, и этотъ строй мыслей спасаетъ его отъ злодѣйства, для котораго у него были всяческіе поводы и возможности. Когда же на него обрушивается приговоръ въ каторгу, онъ не ропщетъ, онъ понимаетъ, что несетъ наказаніе не только за другихъ, но и за свои вины; онъ чувствуетъ въ себѣ поворотъ къ обновленію, къ воскресенію въ себѣ новаго, чистаго человѣка.

Фонъ для этой хаотической картины поставленъ авторомъ самый опредѣленный и свѣтлый, именно—монастырь, олицетворяющій въ себѣ религію, православіе, разрѣшеніе всякихъ вопросовъ и несокрушимую надежду на побѣду истинно-живыхъ началъ. Къ послушнику Алешѣ и теперь всѣ обращаются, ища душевнаго успокоенія и руководства. Въ слѣдующемъ романѣ Алешѣ предстояли, вѣроятно, еще большія волненія и испытанія. Иванъ Карамазовъ, судя по своему, долженъ былъ выйти на дорогу политическаго преступника и совершить какое-нибудь страшное покушеніе (не даромъ *Карамазовъ* такъ похожъ на *Каракозовъ*). И все оканчивалось, вѣроятно, побѣдою свѣтлыхъ началъ и ихъ яркимъ откровеніемъ въ лицѣ Алеши.

Въ настоящемъ же романѣ изображена, главнымъ образомъ, душевная шалость, доходящая до крайнихъ предѣловъ. Какъ-будто авторъ вообще задавался мыслью о, такъ называемой, *ширинѣ* русской натуры, объ этомъ поразительномъ



сочетаніи въ той же душѣ великаго добра съ великимъ зломъ, объ готовности въ одно время и къ подвигу и къ злѣдѣнію, о равной способности и всѣмъ жертвовать и все пограть. Въ *Легендѣ объ великомъ инквизиторѣ* нигилизмъ возведенъ на свою высшую точку, до мыслей грандіозныхъ въ своей кощунственности; чувствуется, что этотъ Иванъ Карамазовъ долженъ повернуть, и если повернетъ, съ такою же силою уйдетъ въ противоположную сторону.

---

Таковы три самыя крупныя произведенія нашей литературы за послѣднее время. Въ каждомъ изъ нихъ есть по самоубійству, и вообще много отчаянія; каждое изъ нихъ изображаетъ нравственный хаосъ, жестокое колебаніе человѣческой совѣсти; два послѣднія—*Анна Каренина* и *Братья Карамазовы* указываютъ на религію, какъ на выходъ изъ хаоса и отчаянія.

Очевидно, мы переживаемъ нѣкоторый внутренній переломъ, имѣющій, судя по указаннымъ чертамъ, величайшую важность и глубину. Безпокойное чувство этого нравственного переворота смутно отзывается въ душахъ. Но до сознанія, до настоящаго пониманія далеко; для господствующихъ понятій и вкусовъ, для того, что нынче называется *образованіемъ* и *просвѣщеніемъ*, разумѣніе дѣла трудно, почти недоступно; и *вѣтренное племя*, какъ выразился Гоголь, еще не содрогается...

## IX.

### ФРАНЦУЗСКАЯ СТАТЬЯ ОБЪ Л. Н. ТОЛСТОМЪ.

---

Читатели «Руси», вѣроятно, сохранили особенное впечатлѣніе отъ *Зимнихъ разсказовъ* г. Вогюэ (см. «Русь», 1884 г., №№ 4, 5, 6). Не говоримъ о мастерствѣ разсказа, которое такъ обыкновенно у французовъ; самое пріятное и даже удивительное то, что этотъ иностранецъ относится къ русской жизни не только не безъ пріязни, не только съ серьезнымъ пониманіемъ, а даже съ явнымъ пристрастіемъ, что онъ умѣетъ сочувствовать очень глубокимъ, доступнымъ только сердечному вниманію, свойствамъ русской природы. Къ такой искренней ласкѣ мы не привыкли.

Лѣтомъ нынѣшняго года явилась статья Вогюэ объ Л. Н. Толстомъ \*), очень замѣчательная въ томъ же отношеніи; авторъ цѣнитъ нашего писателя съ величайшей любовью, съ такимъ пониманіемъ, какого можно пожелать каждому русскому. Онъ готовъ поставить Л. Н. Толстаго наравнѣ съ величайшими писателями всѣхъ временъ; онъ восхищается имъ, вѣрно и тонко оцѣнивая его художественныя достоинства. Но кромѣ того, Вогюэ подымается въ своей статьѣ до самыхъ высокихъ и общихъ точекъ зрѣнія; для него Л. Н. Толстой есть лучшій показатель не только современнаго искусства, но вмѣстѣ, и потому самому, и русскаго духа, и даже отчасти

---

\*) Les écrivains russes contemporains. Le comte Léon Tolstoi. *Revue des deux Mondes*, 15 juill. 1884.

духа современной Европы. Замѣчанія, сдѣланныя въ этомъ отношеніи въ статьѣ Вогюэ, чрезвычайно заинтересовали насъ, и мы подѣлились ими съ читателями. Мы увѣрены, что даже простыя выписки изъ этой статьи прочитаются съ живѣйшимъ интересомъ. У насъ рѣдко встрѣчаются разсужденія, имѣющія такую широту. Главное дѣло тутъ—чувство того нравственнаго переворота, того колебанія совѣсти, которое слышится теперь и въ Европѣ, и у насъ. Это чувство выражено въ статьѣ очень ясно и сильно; въ то же время, какъ намъ кажется, оно обосудается съ точекъ зрѣнія не вполнѣ вѣрныхъ, и авторъ какъ-будто готовъ искать гдѣ-нибудь спасенія отъ самыхъ благородныхъ и глубокихъ своихъ симпатій.

# I.

По общему направленію мыслей, по душевному строю Л. Н. Толстаго, французскій писатель называетъ его *нигилистомъ*. Очевидно, тутъ отчасти виновато происхожденіе этого слова nihil, и въ статьѣ часто повторяется звучное французское слово néant, съ оттънкомъ, который трудно передать по-русски. Вотъ главные въ этомъ отношеніи слова статьи:

«Прежде всякаго другого и больше всякаго другого, Толстой есть въ одно время и выразитель, и распространитель того состоянія русской души, которое получило имя *нигилизма*. Въ религіозной исповѣди, которую онъ написалъ, романистъ, обратившійся въ богослова, въ пяти строчкахъ «даетъ намъ исторію своей души: «Я прожилъ на свѣтѣ «пятьдесятъ пять лѣтъ; за исключеніемъ четырнадцати или «пятнадцати лѣтъ дѣтства, я тридцать пять лѣтъ прожилъ «*нигилистомъ*, въ прямомъ и настоящемъ значеніи этого слова,—не социалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно «принимаютъ это слово, но я былъ *нигилистомъ* въ смыслѣ «отсутствія всякой вѣры». Мы вовсе не нуждались въ этомъ «позднемъ признаніи: оно громко вошло изъ всѣхъ писаній «этого автора, хотя страшное слово въ нихъ ни разу не «произнесено.—Тургеневъ распозналъ болѣзнь и изучалъ ее «объективно; Толстой страдалъ ею отъ первыхъ дней, не имѣя



«сначала вполне яснаго сознанія своего состоянія: его пораженная душа высказываетъ на каждой страницѣ тоску, тягостящую надъ всѣми душами его племени. Если всего интереснѣе тѣ книги, которыя вѣрно выражаютъ жизнь известной части человѣчества въ данный моментъ исторіи, то нашъ вѣкъ не произвелъ ничего болѣе интереснаго, чѣмъ «сочиненія Толстаго» (стр. 267, 268).

Тутъ—явное смѣшеніе двухъ разнородныхъ вещей, и нельзя оставить этого смѣшенія безъ разъясненія. То, что Вогюэ называетъ нигилизмомъ, есть не что иное, какъ полный практическій скептицизмъ, не теорія, а жизнь, не содержащая никакихъ твердыхъ основъ для мысли и дѣятельности, безсознательная духовная пустота. Это вовсе не то, что принято называть нигилизмомъ, не та болѣзнь, которую нѣсколько анализировалъ Тургеневъ и который далъ это названіе. Настоящій нигилистъ есть именно социалистъ и революціонеръ, то есть человѣкъ увѣренный, знающій, что ему дѣлать, нимало не сомнѣвающийся ни въ своихъ познаніяхъ, ни въ правилахъ своей нравственности. Положимъ, нигилизмъ вырастаетъ на почвѣ духовной пустоты; но эта пустота не всегда разрѣшается этимъ узкимъ и скуднымъ исходомъ. Дѣло для насъ чрезвычайно важное. Люди, глубоко страдающіе болѣзнію пустоты, когда сознаютъ ее и переболѣютъ ею, очевидно, имѣютъ возможность подняться до высочайшихъ душевнымъ проявленій, до самаго свѣтлаго пониманія и великой нравственной красоты. Этого нельзя сказать о тѣхъ, кто уже попалъ въ колею давно окрѣпшихъ западныхъ ученій. Тургеневъ не имѣлъ взгляда настолько широкаго, чтобы уразумѣть и оцѣнить все значеніе русской подвижности и глубины, сказывающейся въ душахъ, страдающихъ пустотою, и потому его нигилистъ есть самый обыкновенный нигилистъ, то есть человѣкъ, имѣющій вполне готовый кодексъ и думающій очень мало.

Итакъ, неправильно Л. Н. Толстой называлъ себя нигилистомъ, и неправильно называется его такъ авторъ статьи, придавая этому слову слишкомъ широкій смыслъ. Слѣдующее мѣсто статьи, какъ намъ кажется, очень хорошо поясняетъ этотъ вопросъ.

«Князь Андрей», рассказывает г. Вогюэ, «принятъ у «Сперанскаго; извѣстно, каково было непонятное счастье этого «семинариста.—Это былъ какой-то Сіэсъ, чуть было не на- «дѣлившій Россію конституціею и управлявшій нѣкоторое вре- «мя имперіею во имя чистаго разума, силлогизмовъ доктора «каноническаго права». И Вогюэ приводитъ выписку изъ Л. Н. Толстаго:

«Главная черта ума Сперанскаго, поразившая князя «Андрея, была несомнѣнная, непоколебимая вѣра въ силу «и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не «могла прійти въ голову та обыкновенная для князя Андрея «мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что ду- «маешь, и никогда не приходило сомнѣніе въ томъ, что не «взоръ ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю? «И этотъ-то особенный складъ ума Сперанскаго всего болѣе «привлекъ къ себѣ князя Андрея». (*Война и Миръ*, т. 3, въ началѣ).

«Вотъ она», замѣчаетъ сейчасъ Вогюэ, «та черта, по «которой вы узнаете нигилиста (*въ князь Андрея*); онъ «увертывается и уходитъ въ свою пустоту (*néant*) до потери «всякой увѣренности. Последнее замѣчаніе (*Л. Н. Толстаго*) «очень вѣрно; оно вполне объясняетъ власть, которую Сперанскій имѣлъ надъ своимъ государемъ и надъ своею стра- «ною и, если взять дѣло общѣе, ту силу, которая постоянно «подчиняетъ эти нерѣшительные умы западному положитель- «ному складу ума» (*id.* p. 284).

Истолкованіе очень тонкое, сдѣланное французскимъ пи- сателемъ вслѣдствіе яснаго чувства и сознанія разницы, существующей между умами западными и русскими. И тутъ мы можемъ прямо сказать: именно Андрей Болконскій съ его нерѣшительностію и не похожъ на нигилиста въ точномъ смыслѣ слова; наоборотъ, именно Сперанскій представляетъ складъ ума, свойственный настоящимъ нигилистамъ, ихъ непоколебимую вѣру въ сдѣланные разъ выводы, ихъ опредѣленность въ пониманіи вещей. Достоевскій когда-то ихъ называлъ *прямолинейными умами*, а еще прежде Апололъ Григорьевъ, ради журнальных приличій, далъ имъ имя *теоретиковъ* и подъ этимъ именемъ выводилъ нигилисти-

ческія ученія, противъ которыхъ боролся. Припомнимъ кстати, что многихъ изъ главныхъ *теоретиковъ* дало намъ то самое сословіе, изъ котораго вышелъ Сперанскій. Есть эпоха въ недавней исторіи нашей литературы, которую въ грубыхъ чертахъ можно описать такъ: у насъ долго одни дворяне занимались литературою; поэтому и Пушкинъ когда-то замѣтилъ, говоря о писателяхъ:

Въ Россіи же мы всѣ—дворяне,  
Всѣ, кромѣ двухъ или трехъ; за то  
Мы ихъ и ставимъ ни во что.

Но вдругъ явились семинаристы, быстро добились главной, руководящей роли, и почти всѣ дворяне-литераторы смиренно покорились и пошли слѣдомъ за этими увѣренными теоретиками.

## II.

Несравненно яснѣе характеризуетъ Вогюэ умственное настроеніе и все душевное развитіе Л. Н. Толстаго въ слѣдующемъ мѣстѣ, которое, по его важности, мы приведемъ вполнѣ, не прерывая своими замѣчаніями.

«Въ силу страннаго и часто встрѣчающагося противорѣчія, этотъ возмущенный и колеблющійся умъ, тонущій въ «туманѣ нигилизма, одаренъ несравненно зоркостью и про-  
«ницательностью для научнаго изслѣдованія явленій жизни;  
«онъ ясно, быстро, аналитически видитъ все, что ни бываетъ  
«на землѣ, и наружность и внутренность человѣка; во пер-  
«выхъ, реальности доступныя чувствамъ, потомъ —игру стра-  
«стей, самые летучіе мотивы дѣйствій, самыя легкія смуще-  
«нія совѣсти. Можно бы сказать: умъ англійскаго химика въ  
«душѣ индійскаго буддиста; пусть кто хочетъ берется объ-  
«яснить это удивительное сочетаніе: кто сумѣетъ это сдѣлать,  
«тотъ объяснитъ современную Россію. Толстой ходитъ среди  
«человѣческаго общества съ тою простотою и естественностію,  
«въ которой, по видимому, отказано французскимъ писате-  
«лямъ; онъ смотритъ, слушаетъ, онъ сохраняетъ въ себѣ



«образъ и удерживаетъ эхо того, что видѣлъ и слышалъ; и  
«это—навсегда, съ такою точностію, которая вынуждаетъ на-  
«ше громкое подтвержденіе. Не довольствуясь тѣмъ, что со-  
«бралъ разсѣянные черты общественной фізіономіи, онъ ихъ  
«разлагаетъ на ихъ послѣдніе элементы съ какимъ-то утон-  
«ченнымъ ожесточеніемъ; вѣчно занятый вопросомъ, какъ и  
«почему совершается данный поступокъ, онъ за видимымъ  
«дѣйствіемъ преслѣдуетъ начальную мысль, онъ не выпу-  
«скаетъ изъ виду, пока не обнажить ея, извлекши ее изъ  
«сердца съ самыми сокровенными и тонкими ея корнями.  
«Къ несчастію, его любопытство на этомъ не останавливается.  
«Эти явленія представляютъ ему очень твердую почву, когда  
«онъ изучаетъ ихъ въ отдѣльности, но онъ хочетъ узнать  
«ихъ общія связи, хочетъ подняться до законовъ, управляю-  
«щихъ этими связями, до недостижимыхъ причинъ. Тутъ его  
«отчетливое зрѣніе отуманивается; безстрашный изслѣдователь  
«теряетъ опору и падаетъ въ бездну философскихъ противо-  
«рѣчій; въ себѣ и вокругъ себя онъ чувствуетъ только пу-  
«стоту и мракъ; лица, которыя онъ заставляетъ говорить,  
«предлагаютъ жалкія метафизическія объясненія; и вдругъ  
«раздраженные этими школьными глупостями, они сами ухо-  
«дятъ изъ-подъ своихъ истолкованій».

«По мѣрѣ того, какъ онъ подвигается въ своемъ писа-  
«ніи и въ своей жизни, все больше и больше колеблемый  
«сомнѣніемъ обо всемъ, Толстой расточаетъ свою холодную  
«пронию на созданія своего воображенія, усиливающіяся въ-  
«рять въ какую-нибудь послѣдовательную систему и выпол-  
«нять ее на дѣлѣ; но подъ этимъ внѣшнимъ холодомъ слы-  
«шатся рыданія сердца, алчущаго вѣчныхъ предметовъ. На-  
«конецъ, утомясь сомнѣніемъ и исканіемъ, убѣдясь, что всѣ  
«исчисленія разума приводятъ только къ позорной несостоя-  
«тельности, попавъ подъ чары мистицизма, который уже  
«давно сторожилъ его безпокойную душу, нигилистъ вдругъ  
«повергается къ ногамъ Бога,—какого Бога, мы сейчасъ  
«увидимъ. Я долженъ буду говорить въ концѣ этого этюда о  
«странномъ фазисѣ, который приняла мысль этого писателя;  
«надѣюсь сдѣлать это со всею сдержанностію, какая слѣдуетъ  
«живому, со всѣмъ уваженіемъ, какое слѣдуетъ искреннему

«убѣжденію. Я не знаю ничего болѣе занимательнаго, какъ «нынѣшнія заявленія г. Толстаго о томъ, что творится въ «глубинѣ его души: это цѣлый кризисъ, которому подвергается теперь русская душа, кризисъ, являющійся въ ракурсѣ, «въ полномъ освѣщеніи, на высотѣ. Этотъ мыслитель есть «законченный типъ, вліятельный вождь множества умовъ; онъ «пробуетъ высказать то, что смутно чувствуютъ эти умы» (ib. p. 268—269).

Тутъ, какъ видятъ читатели, вопросъ о складѣ ума и направленіи мыслей Л. Н. Толстаго берется во всей ширинѣ. Французскій критикъ чрезвычайно вѣрно замѣчаетъ, что это направленіе составляетъ главный нервъ всѣхъ произведеній Толстаго, что оно находится въ тѣсной связи съ самыми приѣмами его творчества. Далѣе, что это—направленіе глубокое, захватывающее самые важные интересы человѣческой жизни. Наконецъ, что отсюда же объясняется и тотъ послѣдній поворотъ мыслей Толстаго, который такъ удивилъ и удивляетъ многихъ. Тутъ утверждается и связь писателя съ человѣкомъ, и единство всего, что писано Толстымъ отъ начала до послѣдней строчки. Почему же этотъ процессъ, такой правильный и такой важный, процессъ, приведшій великаго художника къ Богу, почему онъ не встрѣчаетъ полного сочувствія со стороны французскаго критика? Это сомнѣніе, это исканіе—что можетъ быть естественнѣе? Не тѣмъ ли и поражаетъ насъ Толстой, что величайшая пылкость и серьезность чувствуется во всемъ, что онъ ни изображаетъ?—Эти *рыданія алчущаго сердца*, которыя подслушалъ критикъ въ картинахъ, написанныхъ съ такой несравненной яркостью и точностью, ужели это не законное явленіе человѣческой души, не лучшій ея откликъ на все, что она испытываетъ въ жизни? И наконецъ, порывъ къ Богу есть, безъ сомнѣнія, единый правильный исходъ изъ всей борьбы.

Между тѣмъ критикъ, такъ вѣрно установившій общую формулу развитія Толстаго, такъ ясно видящій связь между фазами этого развитія, вполне признаетъ, и хотѣлъ бы удержать для себя, только одно художество нашего писателя. Пружина, двигавшую этимъ художествомъ, ту думу, которая его воодушевляла, онъ называетъ *нигилизмомъ*, а исходъ

изъ всѣхъ сомнѣній и исканій — *мистицизмомъ*, — два слова, очевидно, имѣющія для критика значеніе порицанія, хотя бы и не такого страшнаго, какъ для многихъ. Такъ называемый янглизмъ и такъ называемый мистицизмъ Толстаго критикъ отвергаетъ, какъ нѣкоторую болѣзнь, или уродливость. Онъ хотѣлъ бы, какъ и многое множество читателей, чтобы Толстой ограничился однимъ творчествомъ.

Невозможное и странное требованіе! Глубокая и серьезная мысль разлита во всѣхъ произведеніяхъ Толстаго, и выдѣлить ее изъ нихъ, выдернуть изъ нихъ этотъ стержень невозможно. Не ясно ли, что эта страшная чуткость, эта небывалая ясность изображенія связаны съ упорнымъ исканіемъ правды и не могутъ помириться ни на чемъ половинчатомъ, не могутъ быть обмануты никакою видимостію? Такого художника могла удовлетворить только истинная жизнь, только вѣчная правда; онъ всегда стремился къ ней, всегда ее одну имѣлъ въ виду.

Когда онъ замолкъ и разнеслись слухи, что онъ не хочетъ болѣе писать романовъ, всѣ принялись сокрушаться о томъ, что будутъ лишены такого великаго удовольствія. Но удовольствія онъ, кажется, достаточно принесъ читателямъ и имѣетъ уже нѣкоторое право негодовать на нихъ за то, что они продолжаютъ требовать отъ него забавы, но остались совершенно чужды его задушевнымъ стремленіямъ, нимало не приняли той мысли, которая составляетъ душу его произведеній. Если бы они выпкали въ эту мысль, можетъ быть, они поняли бы, что для человѣка бываютъ дѣла и занятія, которыя выше художества, что прежде всего нужно найти такое дѣло и дѣлать его, а уже потомъ думать или не думать о художествѣ.

### III.

Французскій критикъ очень ясно видитъ цѣльность всѣхъ писаній Толстаго. Онъ дѣлаетъ подробный разборъ «Войны и Мира» и «Анны Карениной», съ восторгомъ выставляетъ на видъ ихъ художественныя достоинства и показываетъ,



что основная мысль въ томъ и другомъ произведеніи однакова.

Главными выразителями этой мысли онъ справедливо считаетъ Левина и Пьера, называя ихъ *нигилистами* въ томъ неправильномъ смыслѣ, который онъ придаетъ этому слову. Свой рассказъ о Пьерѣ онъ оканчиваетъ такъ: «Тотъ же Пьеръ олицетворяетъ чувства русскаго народа въ 1812 г., «національное возстаніе противъ чужеземца, мрачное безуміе, «которое овладѣло побѣжденною Москвою и изъ котораго вышелъ этотъ навсегда необъяснимый пожаръ, зажженный непзвѣстно чьими руками. Это безуміе—составляетъ высшую «точку книги: непроницаемый образъ дѣйствій Растопчина, «Верецагинъ, отданный на жертву толпѣ, сумасшедшіе и преступники, выпущенные на волю, входъ французовъ въ «Кремль, таинственное пламя, поднявшееся ночью, и то, какъ «его видятъ и толкуютъ о немъ длинные ряды бѣглецовъ, «покрывающіе собою дороги, все это—картины, поражающія «трагическимъ величіемъ, написанныя чертами простыми и «красками трезвыми. Про себя, въ глубинѣ души, я думаю, «что ничего выше этого я не знаю ни въ какой литературѣ».

«Графъ Пьеръ остался въ городѣ, пожираемомъ пламенемъ; онъ, какъ въ галлюцинаціи, оставляетъ свой дворецъ «и въ крестьянскомъ платьѣ смѣшивается съ чернью; онъ «бродитъ безъ цѣли, съ смутною мыслью убить Наполеона, «быть мученикомъ, искупительною жертвой своего народа».

«Два одинаково-сильныя чувства (говоритъ Толстой) не «отразимо привлекали Пьера къ его намѣренію. Первое было «чувство потребности жертвы и страданія при сознаніи общаго несчастія, то чувство, вслѣдствіе котораго онъ 25-го «поѣхалъ въ Можайскъ и заѣхалъ въ самый пылъ сраженія, «теперь убѣжалъ изъ своего дома и, вмѣсто привычной роскоши и удобствъ жизни, спалъ, не раздвываясь, на жесткомъ «диванѣ и ѣлъ одну пищу съ Герасимомъ; другое было то «неопредѣленное, исключительно-русское чувство презрѣнія ко «всему условному, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра. Въ первый разъ Пьеръ испыталъ это «странное и обаятельное чувство въ Слободскомъ дворцѣ, когда онъ вдругъ почувствовалъ, что и богатство, и власть, и

«жизнь, все то, что съ такимъ стараніемъ устраиваютъ и безрегутъ люди, все это, ежели и стоитъ чего-нибудь, то только по тому наслажденію, съ которымъ все это можно бросить» («Война и Миръ», т. 5, стр. 123).

«И вотъ», говоритъ г. Вогюзъ, «идутъ страницы за страницами, гдѣ авторъ развиваетъ эту мысль, подмѣченную нами уже въ первыхъ изліяніяхъ его юности, этотъ гимнъ «нирванѣ, который не иначе поется на Цейлонѣ, или въ Тибетѣ. Нужно прямо сказать, Пьеръ Безуховъ есть старшій братъ тѣхъ богатыхъ и ученыхъ людей, которые нѣкогда *пойдутъ въ народъ*, станутъ по доброй волѣ раздѣлять его страданія, понесутъ динамитную бомбу подъ своимъ кафтаномъ, какъ Пьеръ несетъ кинжалъ,—движимые двоякой потребностію: принять участіе въ общемъ страданіи и насладиться уничтоженіемъ другихъ и самихъ себя».

«Безуховъ, ставши плѣнникомъ французовъ, встрѣчаетъ между товарищами своего несчастія бѣднаго солдата, крестьянина съ душою темною, едва мыслящую, Платона Каратаева. Этотъ человѣкъ переноситъ бѣдствія этихъ страшныхъ дней съ смиреніемъ и самоотреченіемъ (*l'humble résignation*) вячнаго животнаго, онъ смотритъ на графа Пьера съ доброю невинною улыбкою, обращаясь къ нему съ нѣсколькими наивными словами, съ народными пословицами мало опредѣленнаго смысла, проникнутыми отреченіемъ, братствомъ, особенно же фатализмомъ; разъ вечеромъ, когда онъ не въ силахъ идти далѣе, конвой его разстрѣливаетъ подъ сосной, среди снѣга, и онъ принимаетъ эту смерть съ тѣмъ же самымъ безразличнымъ воспріятіемъ всякаго рода вещей, какъ больная собака,—да, скажемъ прямо, какъ безсловесное животное (*la brute*). Съ этой встрѣчи начинается возрожденіе Пьера. Тутъ я уже не берусь ничего растолковать моимъ соотечественникамъ; я говорю то, что есть. Безуховъ, знатный, цивилизованный, ученый, идетъ въ ученики къ этому первобытному созданію, онъ нашель, наконецъ, для себя идеаль жизни, рациональное объясненіе міра въ этомъ нищемъ духомъ. Онъ хранитъ память и имя Каратаева какъ талисманъ; съ того времени ему стоитъ лишь подумать о смиренномъ мужикѣ (*moujik*), чтобы почувствовать себя

«успокоеннымъ, счастливымъ, расположеннымъ понимать и любить все, что создано. Умственное развитіе нашего философа закончено, онъ достигъ до высшаго *аватара*, до мистическаго безразличія» (стр. 285—286).

Эта страница—самая поучительная въ статьѣ; она всего лучше показываетъ и глубокое пониманіе смысла «Войны и Мира», и ту границу, на которой останавливается это пониманіе. Нѣсколько далѣе критикъ пытается, однако, уменьшить свое изумленіе и недоумѣніе примѣрами изъ исторіи. «Не правда ли», говоритъ онъ, «вы узнаете здѣсь ходъ мысли и вѣковое помѣшательство восточнаго аскетизма, культъ йоги, неподвижнаго факира, созерцающаго свой пупокъ? Мы не далеко отъ него съ добрымъ Каратаевымъ, который медленно разувался,—... отдѣляя отъ себя при всякомъ движеніи крѣпкій запахъ пота и, получше усѣвшись, обнажал свои поднятыя колѣни и прямо устался на Пьера» \*). «Западъ не всегда былъ застрахованъ отъ этой болѣзни; и онъ тоже, въ блужданіяхъ аскетизма, восхвалялъ скота (*la brute*) и искажалъ божественную притчу о нищихъ духомъ. Но истинное отечество этого заразительнаго отреченія—Азія; мать его—Индія и ея ученія; эти ученія воскресаютъ, съ очень малыми видоизмѣненіями, въ томъ неистовствѣ, которое увлекаетъ часть Россіи въ это умственное и нравственное отреченіе, иногда тупое по своему квіетизму, иногда высокое по своей преданности, какъ евангеліе Будды. Все связано между собою» (стр. 287).

Итакъ, все это—болѣзнь, по мнѣнію критика; весь смыслъ «Войны и Мира» заключается въ нѣкоторомъ извращеніи души, столь жестокомъ, что его даже не могутъ понять люди, наслаждающіеся душевнымъ здоровьемъ. Это извращеніе, съ одной стороны, примыкаетъ къ безумнымъ анархистамъ, съ другой, къ бессмысленнымъ факирамъ. Впрочемъ, эти

---

\*) Въ этой выдержкѣ изъ описанія, какъ разувался Каратаевъ, есть явная ошибка: слова *медленно* (*lentement*) вовсе нѣтъ въ подлинникѣ; напротивъ, сказано, что «онъ разувался аккуратно, круглыми, спорыми, безъ замедленія слѣдовавшими одно за другимъ движеніями» (стр. 228).



крайніе образчики, по видимому, еще нѣсколько понятны для критика; самое удивительное, самое непостижимое для него, это—Платонъ Каратаевъ. Каратаевъ, очевидно, не факирь и не анархистъ; по опредѣленію критика, онъ просто—la brute, скотъ, безсловесное животное. А между тѣмъ, онъ-то составляетъ для Пьера (а потому и для Толстаго) примѣръ человѣческаго достоинства, образецъ душевной красоты!

Тутъ—граница пониманія умнаго и глубоко просвѣщеннаго иностраннаго писателя, и тутъ же—разрѣшеніе всего узла. Дѣлая очень правильныя сближенія съ разными историческими явленіями, критикъ забылъ объ одномъ, которое казалось всего ближе,—о христіанствѣ. Платонъ Каратаевъ, мы знаемъ, что такое,—это крестьянинъ, т. е. христіанинъ. Не староцѣнное помѣшателство Азіи, не Индія со своимъ буддизмомъ, а именно христіанство сдѣлало Каратаева «лицевореніемъ духа простоты и правды», какъ выразился о своемъ героѣ Толстой (т. 5, стр. 236). Казалось бы, съ этой стороны дѣло должно быть для насъ и всего понятнѣе. Между тѣмъ, критикъ только вскользь упоминаетъ о европейскихъ *блужданіяхъ аскетизма*, но и не думаетъ останавливаться на существенномъ и истинномъ духѣ христіанства. Онъ съ отвращеніемъ смотритъ на фигуру Каратаева, нарисованную съ ясностью и глубиной. Это отвращеніе уже само по себѣ противно христіанскимъ чувствамъ, и очевидно,—оно вытекаетъ изъ двухъ причинъ: во первыхъ, изъ аристократической гордости просвѣщеніемъ, и во вторыхъ, изъ совершеннаго незнанія того, въ чемъ заключается истинный духъ христіанской религіи. Во Христѣ всѣ равны, и послѣдніе станутъ первыми—вотъ что непонятно для насъ, просвѣщенныхъ людей, воображающихъ, что просвѣщеніе подняло насъ на новую ступень человѣческаго достоинства. Въ дѣйствительности, наше просвѣщеніе только отвело насъ въ сторону отъ главнаго пути; мы выработали себѣ какое-то новое язычество, при которомъ раздѣленіе между людьми свободно разрослось и приняло тысячу разнообразныхъ формъ, и мы почти вовсе забыли сущность той религіи которая нѣкогда была источникомъ всей нашей духовной жизни. Ничего не можетъ быть поразительнѣе и поучительнѣе того презрѣнія, съ которымъ просвѣщенные люди смотрятъ на Каратаева, и

ни въ чемъ недостатки нашего просвѣщенія не выражаются такъ ясно, какъ въ томъ полномъ забвеніи христіанства, которое обнаруживается въ писаніяхъ даже корифеевъ современной мысли. положимъ напримѣръ, Ренава или Тэна. Индійская религіозность, этотъ недавній предметъ европейскаго любопытства, для насъ какъ-будто понятнѣе и занимательнѣе, чѣмъ ученіе Христа \*).

Но въ русскомъ простомъ народѣ это ученіе сохранилось, вошло въ плоть и кровь и составляетъ единственное руководящее правило нравственности. Эти души оправдали изреченіе Тертуліана: большею частью онѣ «по природѣ христіанки», и среди глубокой тьмы, въ которой часто живутъ, легко находятъ свѣтъ и вступаютъ на истинный путь. Для нашего крестьянина мужикъ и Царь—вполнѣ равны предъ Богомъ, то есть равны въ самомъ главномъ и высшемъ отношеніи. Эта высшая свобода и это высшее равенство незыблемо сохраняются въ душахъ, несмотря на все, что противорѣчитъ имъ во внѣшнемъ порядкѣ и ходѣ дѣлъ, тогда какъ онѣ, очевидно, изгладились до конца въ умахъ той страны, которая такъ часто провозглашала себя страной *свободы, равенства и братства*.

Въ русскомъ художникѣ, выведшемъ на сцену Каратаева, очевидно, сказалось христіанское чувство, проникающее собою весь русскій народъ, безсознательно живущее и въ тѣхъ классахъ, которые пытаются идти по другимъ путямъ. Симпатія, которою Л. Н. Толстой окружилъ Каратаева, и зна-

---

\*) Невольно вспоминаются стихи Тютчева къ „Краю русскаго народа“ (который онъ называетъ: „край родной долготерпѣвья“), оканчивающіеся такими строками:

Не пойметъ и не замѣтитъ  
Гордый взоръ иноплемennyй,  
Что сквозить и тайно свѣтитъ  
Въ наготѣ твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный  
Исходилъ благословая.

(Примѣчаніе И. С. Аксакова).

ченіе, которое далъ ему въ своей эпопее, ясно доказываютъ, что поворотъ художника къ религіознымъ мыслямъ, обнаружившійся въ послѣднее время, не былъ внезапною вспышкою, не совершился случайно, подъ какимъ-нибудь внѣшнимъ воздействиемъ, а есть только настроеніе, которое жило въ немъ всегда и все яснѣе и яснѣе раскрывалось въ его произведеніяхъ.

#### IV.

Приведъ теперь главное мѣсто, гдѣ критикъ характеризуетъ и обсуждаетъ тѣ заявленія религіозности, которыя въ послѣднее время сдѣланы были авторомъ «Войны и Мира».

«Толстой», говоритъ критикъ, «поетъ радостный гимнъ и утверждаетъ тономъ несомнѣнной искренности, что онъ «нашелъ, наконецъ, покой души, цѣль жизни, твердыню вѣры. И онъ зоветъ насъ за собою. Очень «опасаюсь, что «закоренѣлые скептики Запада, упорные противъ дѣятельной «благодати, вовсе откажутся вступать въ обсужденіе новой «религіи. Они напрасно будутъ искать въ ней оригинальной «мысли; они увидятъ въ ней только первый лепетъ раціонализма, старую мечту о милленіумѣ, преданіе постоянно во-«зобновлявшееся съ начала среднихъ вѣковъ—у вальденцевъ, «доллардовъ, амабаптистовъ. Счастливая Россія—для нея еще «новы эти прекрасныя фантазіи! Одно только должно удивить Западъ—то, что такія ученія оказались подъ перомъ «великаго писателя, несравненнаго наблюдателя человѣческаго сердца» (стр. 299).

Вотъ первое возраженіе противъ религіозныхъ мыслей Толстаго. Оно основано на томъ, что это уже старыя мысли, давно знакомыя и ясно напоминающія такое древнее для насъ время, какъ средніе вѣка.

Если бы мы не были способны, вслѣдствіе привычки, совершенно равнодушно слышать современные предразсудки, то такое возраженіе должно бы было чрезвычайно удивить насъ. Почему же старыя мысли непременно мысли слабыя, невѣрныя? Почему Западъ такъ пораженъ, встрѣчая ихъ



*подъ перомъ великаго писателя?* Не правильнѣ ли думать наоборотъ, что именно старыя мысли бываютъ очень хороши, что даже наилучшія мысли—вѣчныя, всегдашнія, неизмѣнно возникающія въ человѣческой душѣ? Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ о христіанскихъ мысляхъ, которыя уже двѣ тысячи лѣтъ назадъ проповѣданы и живутъ среди насъ. А если держаться положенія Тертулліана, что душа человѣческая по природѣ христіанка, то въ той или другой формѣ мы найдемъ сѣмя и слѣдъ этихъ мыслей въ другихъ религіяхъ, а особенно ясно во всѣхъ лучшихъ представителяхъ нравственной природы человѣка, не только средневѣковыхъ, но и до-христіанскихъ. Чему же дивиться, что именно подобными мыслями былъ возбужденъ и увлеченъ Л. Н. Толстой?

Исторія нерѣдко сбиваетъ насъ съ пути въ нашихъ сужденіяхъ. Мы не умѣемъ рассмотреть новаго, потому что старое своимъ привычными образами заслоняетъ намъ новизну. вмѣсто того, чтобы судить о томъ, есть ли жизнь и истина въ мысляхъ, которыя намъ проповѣдуютъ, мы спускаемся въ сближенія, мы говоримъ: это похоже на мысли Платона, или Лейбница, или Спинозы, и потомъ уже ничего отличить не можемъ. Мы совершенно отвыкаемъ судить *по существу дѣла* и вполне довольствуемся одною своею эрудиціею.

Такъ и здѣсь. вмѣсто того, чтобы въ новомъ появленіи давнишняго стремленія увидѣть жизненность и силу этого элемента человѣческой души, вмѣсто того, чтобы съ жаждою слѣдить за новымъ раскрытіемъ этого элемента, мы напередъ рѣшаемся ничего не видѣть, кромѣ того, что давно уже знаемъ. Еще хуже: мы не знаемъ и не хотимъ хорошенько знать этого стараго, но напередъ вѣримъ, что оно навсегда пережито человѣчествомъ, навсегда уже мертво, а потому и самое живое современное явленіе признаемъ по аналогіи мертворожденнымъ. Мы становимся равнодушными и невнимательными къ жизни.

Французскій критикъ замѣтилъ, однако, что есть что-то особенное, своеобразное въ настроеніи, которое онъ подверга-

еть своему анализу. Свое опредѣленіе онъ оканчиваетъ слѣдующими замѣчаніями:

«Впрочемъ, эти ученія принимаютъ у славянъ особенный характеръ, или, по крайней мѣрѣ, этотъ характеръ все-го явственнѣе у этого племени. Подъ совокупнымъ вліяніемъ древняго арійскаго духа въ народѣ и ученій Шопенгауэра въ образованныхъ классахъ, въ Россіи предъ нашими глазами происходитъ настоящее воскресеніе буддизма: — иначе я не могу назвать этихъ стремленій. Передъ нами здѣсь опять древнее индійское противорѣчіе между нигилизмомъ, или пантеистическою метафизикою, и чрезвычайно высокою нравственностью. Этотъ духъ буддизма, въ своихъ отчаянныхъ усиліяхъ — расширить еще далѣе евангельское милосердіе, напитать русскую литературу безавѣтною нѣжностью къ природѣ, къ самымъ низменнымъ созданіямъ, къ страждущимъ и обездоленнымъ; онъ подсказываетъ отреченіе отъ разума предъ скотомъ и внушаетъ безконечное сердечное соболѣзнованіе. Эта братская простота и безпредѣльная нѣжность придаетъ русской литературѣ нѣчто чрезвычайно трогательное» (стр.299, 300).

Итакъ, братская простота, безпредѣльное страданіе, безавѣтная нѣжность къ людямъ и къ природѣ — все это — Шопенгауэръ, индійскій буддизмъ, духъ арійскаго племени, но никакъ не христіанство. Почему же нѣтъ? Для самого Толстаго всего важнѣе, всего драгоцѣннѣе то, чтобы согласовать свои мысли съ ученіемъ Христа, вполне проникнуться этимъ ученіемъ. Таково, по крайней мѣрѣ, его стремленіе. Но мы не хотимъ этому вѣрить. Наши понятія о христіанствѣ такъ сузились, что мы не опознаемъ его, когда оно является намъ не вполне въ привычныхъ формахъ, что мы не умѣемъ представить себѣ, какъ оно можетъ превышать всякій буддійскій и обще-арійскій духъ, не потому, что отрицаетъ ихъ безусловно, а потому, что объемлетъ ихъ собою и доводитъ до настоящей полноты и опредѣленности. Мы обращаемъ вниманіе на частности, на мелочныя различія и изъ-за нихъ упускаемъ изъ виду самое существенное, потому что давно

потеряли чутье къ этому существенному, давно забыли корень того дѣла, о которомъ судимъ.

---

V.

Критикъ подъ конецъ выставляетъ еще одно важное и рѣшительное возраженіе противъ мыслей Толстаго и вообще противъ русской литературы. Оно состоитъ въ слѣдующемъ:

«Сначала», говоритъ онъ, «насъ трогаетъ и очаровываетъ эта широкая симпатія. Къ несчастію, я начинаю вспоминать и размышлять; я вспоминаю, что у насъ, у французовъ, тоже былъ свой вѣкъ чувствительности и простонародности: за двадцать лѣтъ до 93 года всѣ любили всѣхъ, мы возвращались къ полямъ, дѣлались вновь простыми, проливали слезы надъ земледѣльцемъ,—пока онъ не сталъ проливать кровь. Почти математическій законъ историческихъ колебаній таковъ, что за этими изліянiями слѣдуютъ страшныя реакціи, что жалость ожесточается въ неистовство. «*Di avertant omen!*» (стр. 300).

Опять мы находимъ здѣсь сближеніе съ историческимъ явленіемъ, сбивающее нашу мысль на давно знакомую колею. Настроеніе русской литературы здѣсь приравнивается къ той идилличности и сентиментальности, которая господствовала передъ Французскою Революціею. Между тѣмъ, такое приравниваніе совершенно несправедливо, если современный духъ русской литературы имѣетъ болѣе глубокий источникъ, если онъ шире простой мечты о счастьи на лонѣ природы, о новомъ золотомъ вѣкѣ, если мы находимъ въ этомъ духѣ воздѣйствіе религіозной идеи, вѣковѣчныя стремленія Азіи, а главное—воздѣйствіе христіанства.

Исторія есть, конечно, рассказъ о постоянныхъ неудачахъ человѣчества, о постоянномъ разрушеніи самыхъ свѣтлыхъ и благородныхъ надеждъ. И Европа такъ напугана своею исторіею, что уже боится во что нибудь вѣрить; она готова поэтому отрицать и самые источники жизни и вѣры.

---



VI.

Приведемъ, наконецъ, общее заключеніе критика, въ которомъ онъ не только подводитъ итогъ сказаннаго имъ о русской литературѣ, но и обращается къ собѣ, къ современному настроенію Европы.

«Изъ моего этюда я желаю вывести только одно заключеніе, въ которомъ мы, французы, прямо заинтересованы. Въ умѣ превосходнаго писателя и, слѣдовательно, въ болѣе смутномъ сознаніи читателей, слѣдующихъ за нимъ и его подталкивающихъ, мы прошли чрезъ четыре точки роковой линіи: чрезъ пантеизмъ, нигилизмъ, пессимизмъ, мистицизмъ. Русскіе, быстрые во всякомъ дѣлѣ, однимъ скачкомъ дошли до послѣдняго предѣла. Да и мы, французы, какъ мы уйдемъ отъ нигилизма, отъ этихъ столь мало французскихъ явленій, которыя въ послѣднія пятнадцать лѣтъ завладѣли нашею литературою и бросаются въ глаза самыхъ неопытныхъ зрителей? Еще болѣе, чѣмъ природа, духъ человѣскій боится пустоты; онъ не можетъ долго держаться въ равновѣсіи на небытіи. Не кончимъ ли мы скептицизмомъ? Можно думать, что нашъ національный характеръ предохранитъ насъ отъ этого; позволительно надѣяться, что пѣкото-рая религіозная идея, какъ необходимый предѣлъ прогресса, явится и утѣшитъ эти молодые таланты, съ такою горечью отрицающіе и страдающіе, или же воздвигнетъ новые таланты, если эти потяряютъ крушеніе.

«Мистицизмъ! Мнѣ говорили, что графъ Толстой, хорошо чувствуя, гдѣ опасность, энергически защищается отъ этого слова, которое, по его мнѣнію, не приложимо къ человѣку, признающему царство небесное на землѣ. Нашъ языкъ не представляетъ мнѣ другого термина для этого случая. Знаменитый писатель, котораго я не имѣю чести знать, благоговѣитъ простить меня» (стр. 301).

Итакъ, мастицизма еще нѣтъ во Франціи, тогда какъ русскіе, быстрые во всякомъ дѣлѣ, уже дошли до него. Мистицизмъ — такое печальное и жалкое явленіе, что критикъ извиняется предъ Толстымъ въ употребленіи этого тер-

мина, но настаиваетъ на томъ, что, однако же, это—точный терминъ для характеристики направленія Толстаго. Поэтому же, хотя Франція движется по той же *роковой линіи*, критикъ надѣется для нея лучшаго, не позорнаго мистицизма, а чего-нибудь заслуживающаго имени настоящей *религіозной идеи*.

Вопросы—важные выше всякой мѣры! Мы ищемъ религіи, Европа ея ищетъ; мы чувствуемъ эту глубочайшую потребность и ждемъ, что откуда-то придетъ восполненіе этого мучащаго насъ недостатка, что оно должно когда-нибудь прійти, что такъ жить, какъ мы теперь живемъ, нельзя. Говоря образно, но совершенно опредѣленно, это можно выразить такъ: мы ищемъ Бога и не находимъ Его; Богъ отъ насъ скрылся, и мы въ тоскѣ ждемъ, когда Онъ вновь намъ откроется.

Но какъ же это возможно? Какъ могло возникнуть такое невѣроятное состояніе? Мы называемъ что-то религіею и увѣряемъ, что мы ея не можемъ найти, несмотря на всѣ исканія, и что кто-то долженъ открыть намъ путь къ ней. Но развѣ вокругъ насъ уже не существуетъ никакой религіи? Развѣ намъ неизвѣстны великія формы религіознаго стремленія, которыми жили и живутъ сотни милліоновъ людей? Но мы, искатели религіи, ничего этого не хотимъ; мы не хотимъ ни пантеизма, ни буддизма, ни христіанства, ни мистицизма. Мы жаждемъ того, чего и сами не знаемъ, вопреки правилу: *ignoti nulla cupido*. Очевидно, состояніе нашихъ умовъ гораздо хуже, чѣмъ мы его выставаемъ. У насъ въ головѣ *винтъ свернулся* и нейдетъ впередъ, а вертится на мѣстѣ (выраженіе Л. Н. Толстаго).

Не Богъ скрылся отъ насъ, а мы упорно отворачиваемся отъ Бога. Если бы не это упорство, то мы легко нашли бы Его, потому что Онъ вездѣ и всегда. И если бы мы сколько-нибудь знали путь къ Богу, то для насъ открылась бы великая поучительность во всѣхъ религіозныхъ формахъ, нѣ которыя человѣчество облекало и облекаетъ свое вѣковѣчное стремленіе. Тогда и мистицизмъ, лучший цвѣтъ этого стремленія, не пугалъ бы насъ, и, можетъ быть, мы согласились бы съ давнишнимъ положеніемъ, что *всякій истин-*

*ный христіанинъ есть мистикъ* (иногда безсознательный), хотя бы мы при этомъ и отвергли обратное положеніе, по которому *и всякій мистикъ* (сознательный) *есть истинный христіанинъ* \*).

## VII.

Такъ встрѣтила Европа вѣсть о религіозныхъ стремленіяхъ, овладѣвшихъ Толстымъ. А какъ были встрѣчены эти вѣсти у насъ? Французскій критикъ, какъ мы видѣли, толкуетъ о Шопенгауэрѣ, о буддизмѣ, о религіозныхъ движеніяхъ среднихъ вѣковъ, о душевныхъ особенностяхъ русскаго народа, даже о *древнемъ арійскомъ духѣ*. Онъ глубоко заинтересованъ и не столько судить о предметѣ, сколько задумывается надъ нимъ и отказывается судить. У дасть дѣло было проще. Религіозными вопросами у насъ почти никто не занимается. Трудно указать у насъ даже маленькій слой людей, которые интересовались бы вопросами, подобными тѣмъ, какіе затрогиваетъ г. Вогюэ; напрасно онъ думаетъ, папримѣръ, что Шопенгауэръ имѣетъ у насъ много поклонниковъ. Въ отношеніи къ религіи наши просвѣщенные люди раздѣляются на два ясныхъ класса. Одни не занимаются религіею потому, что считаютъ ее позорнымъ и не стоящимъ вниманія заблужденіемъ людей; другіе, напротивъ, считаютъ религіозные вопросы дѣломъ святымъ, но, въ силу этого самаго, признаютъ себя совершенно недостойными столь высокаго дѣла и потому тоже имъ не занимаются. Изученіе и уразумѣніе религіи предоставлено особому классу людей, получающихъ за то приличное, а часто и неприлично малое вознагражденіе. Такъ что, когда прошли слухи, что Толстой читаетъ и объясняетъ Евангеліе, даже пишетъ на него толкованіе, то поднялось великое изумленіе. «Да онъ съ ума сошелъ!» — сказали вольнодумцы: «развѣ можетъ здравомыслящій человѣкъ заниматься этими давно отжившими предраз-

\*) Эти формулы часто повторяются у Лабзина.



судками?» «Да онъ съ ума сошелъ!» стали говорить вѣрующіе: «развѣ онъ можетъ, какъ слѣдуетъ, понимать Евангеліе? Для этого нужно быть архіереемъ и кончить курсъ въ духовной академіи!» Такъ и пошло ходить это сужденіе въ «обществѣ», и до сихъ поръ можно неожиданно услышать непріятный вопросъ: «не знаете ли, какъ *теперь* здоровье Толстаго?» — вопросъ, обыкновенно предлагаемый людьми, дѣйствительно, здоровыми, такъ какъ они не обременяютъ себя никакимъ мышленіемъ, а только повторяютъ тѣ слова, какія придется услышать.

Мѣжду тѣмъ если взять дѣло серьезно, то обращенію Толстаго къ Евангелію слѣдовало бы очень радоваться и видѣть въ немъ самое здоровое душевное явленіе. Если бы онъ даже впалъ въ ересь, то это было бы все же въ тысячу разъ лучше, чѣмъ то мертвенное равнодушіе и отчужденіе, съ которымъ мы относимся къ религіи. Какимъ образомъ будутъ у насъ раскрываться истины религіи и развиваться богословскія занятія, если все общество отшатнется отъ нихъ навсегда? Если бы писанія Толстаго имѣли смыслъ только одного возбужденія и толчка къ дѣятельности въ этой области, то и тогда слѣдовало бы только имъ радоваться.

Дѣло въ томъ, что напрасно мы будемъ ссылаться на архіереевъ и на духовныя академіи. По тѣмъ или другимъ причинамъ, наше духовное сословіе преимущественно занималось до сихъ поръ практическою стороною христіанства. Мы можемъ указать на хорошихъ проповѣдниковъ, и у насъ существуетъ проповѣдническая литература. Но богословской литературы у насъ почти нѣтъ. Сошлемся на недавнія заявленія г. Н. Гилярова-Платонова, конечно, воплѣ авторитетнаго судьи въ этомъ дѣлѣ.

«Православной богословной науки», говоритъ онъ, «вообще не начиналось еще; все, что имѣемъ мы, продолжаетъ «быть компиляціей съ западныхъ богослововъ, у однихъ болѣе удачною, у другихъ менѣе, но компиляціей,—не далѣе. «Въ самое послѣднее время явившіяся диссертациі магистровъ и докторовъ богословія—тѣ же компиляціи, хотя и «высматривающія съ высока, съ цитатами изъ первоисточни-

«ковъ. Знакомый съ западною литературой, однако, легко «открываетъ, что ученые изысканія авторовъ идутъ не далѣе вторыхъ рукъ и во всякомъ случаѣ черезъ нихъ» \*).

Не грустно ли, что въ такомъ положеніи находятся умственная жизнь страны, въ которой народъ проникнуть христіанскимъ духомъ больше, чѣмъ въ какой-нибудь другой? Ибо не даромъ французскому писателю, сумѣвшему такъ сочувственно отнестись къ душевному настроенію нашего народа, вспоминается и средневѣковой аскетизмъ, и индійскій буддизмъ, и обще-арійскій духъ—всякія формы сильнѣйшей религіозности. Религія есть, дѣйствительно, душа нашего народа, и *святой человекъ*—его высшій идеаль.

Въ этой глубокой народной жизни наша сила и наше спасеніе. Мы должны всячески стремиться примкнуть къ ней и сердцемъ, и умомъ, привести ее себѣ къ сознанію, проникнуться ею, цѣнить и беречь ее во всѣхъ ея проявленіяхъ. Л. Н. Толстой несомнѣнно одинъ изъ ея прямыхъ выразителей и представителей, и потому, какъ бы его дѣятельность ни представлялась намъ неясною, одностороннею и даже ошибочною, она должна быть для насъ въ высшей степени важна и поучительна.

6 дек. 1884.

(Русь. 1885, № 2).




---

\*) Изъ прожитаго. Н. Гилярова-Платонова. „Русск. Вѣстн.“ 1884. іюль, стр. 225.















PG  
3443  
S8  
1901a

Strakhov, Nikolai Nikolaevich  
Kriticheskii stat'i ob  
I.S. Turgenev i L.N. Tolstom

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

